

Лоуренс Рис

# Сталин, Гитлер и Запад

## Тайная дипломатия Великих держав

Астрель  
Москва

УДК 94(100)“1939/45”

ББК 63.3(0)

P54

Данная книга является переводом с оригинального издания World War II: Behind Closed Doors, впервые изданной в 2008 BBC Worldwide Limited и издано с разрешения Woodlands Books Ltd.

Книга является дополнением к телесериалу World War II: Behind Closed Doors, впервые показанному по BBC2 в 2008.

Перевод с английского А.Л. Уткина

**Рис, Л.**

P54 Сталин, Гитлер и Запад: Тайная дипломатия Великих держав / Лоуренс Рис; пер. с англ. А.Л. Уткина. – М.: Астрель, 2013. – 574, [2] с.

ISBN 978-5-271-42260-7 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 978-1-84607794-4 (англ.)

Почти всю вторую половину XX в. руководители Запада без особой охоты признавали факт тесного союзничества их стран со Сталиным. Внимание фокусировалось на героизме западных союзников – на Дюнкерке, битве за Англию и Дне «Д». Но ведь не только перечисленные события составляют историю Второй мировой войны. Почему ни Черчилль, ни Рузвельт не выступили с осуждением Сталина, хотя всегда подчеркивали свое негативное к нему отношение?

В этой книге рассказывается об отношениях между союзными державами и Советским Союзом, и именно личность Сталина доминирует на ее страницах.

УДК 94(100)“1939/45”

ББК 63.3(0)

Подписано в печать 22.01.2013. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 30,24.  
Тираж 2000 экз. Заказ 461.

Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

ISBN 978-985-18-1563-6  
(ООО «Харвест»)

© Laurence Rees, 2008, 2009  
© ООО «Издательство Астрель»

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	5
Глава 1. СОЮЗНИКИ НА СЛОВАХ .....	14
Странная дружба .....	14
Начало переговоров .....	25
Вступление Красной Армии в Польшу .....	34
Возвращения Риббентропа .....	42
Союзники противятся — но только на словах .....	49
Репрессии .....	54
Судьба Финляндии .....	59
Первые депортации поляков .....	66
Злодеяния в Катыни .....	71
Апрельские депортации .....	80
Реакция Союзников .....	87
Тайная военная помощь Германии .....	90
Нацисты одерживают победу .....	94
Вояж «Комет» .....	101
Молотов в Берлине .....	105
Американская помощь .....	111
Дилемма Сталина .....	114
Глава 2. РЕШАЮЩИЕ МОМЕНТЫ .....	121
Первые дни вторжения .....	121
Сталин и западные союзники — первые дни .....	128
Приключение на архипелаге Шпицберген .....	133
Встреча Черчилля и Рузвельта .....	139
Немцы наступают на Москву .....	143
Решающий месяц декабрь .....	153
Неуместный оптимизм Сталина .....	164
Ответ союзников .....	169
Арктические конвои .....	180
Углубление кризиса .....	192
Глава 3. КРИЗИС ДОВЕРИЯ .....	200
Встреча со Сталиным .....	200
Братание .....	216
Рейс в Нью-Йорк .....	225

Борьба с немцами на Волге .....	229
Западные союзники, второй фронт и Катынь .....	240
Ухудшение отношений со Сталиным .....	257
Реалии жизни в СССР .....	269
Наступление под Курском .....	279
<b>Глава 4. ВЕТЕР ПЕРЕМЕН .....</b>	<b>284</b>
Первые судьбоносные встречи в Тегеране .....	284
Рузвельт и Сталин .....	302
И вновь Катынь .....	326
Депортации как орудие возмездия .....	336
Поляки и Монте-Кассино .....	344
Долгожданное открытие второго фронта .....	352
Татары в изгнании .....	358
Возвращение Красной Армии .....	363
<b>Глава 5. РАЗДЕЛ ЕВРОПЫ .....</b>	<b>368</b>
Варшавское восстание .....	368
Встреча Черчилля с Андерсом .....	387
Поражение восстания .....	389
Встреча в Квебеке .....	396
Встреча Черчилля и Сталина в Москве в октябре 1944 года .....	403
Будапештская операция .....	416
Ялтинская конференция .....	427
<b>Глава 6. ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС .....</b>	<b>445</b>
Крах Ялты .....	445
Битва за Берлин .....	473
Новый президент .....	479
Потсдамская конференция .....	484
Советское наступление в Маньчжурии .....	500
Жизнь за «железным занавесом» .....	502
Фарс и трагедия Катыни в Нюрнберге .....	511
Участь поляков .....	516
Благодарность Сталина .....	520
Смерть Сталина .....	533
<b>ПОСЛЕСЛОВИЕ .....</b>	<b>536</b>
<b>ПРИМЕЧАНИЯ .....</b>	<b>546</b>

## ВВЕДЕНИЕ

Как вы считаете, когда завершилась Вторая мировая война? В августе 1945 года после капитуляции Японии?

Впрочем, это зависит, как на это посмотреть. Если вы полагаете, что конец войны, как предполагалось, принес «свободу» странам, пострадавшим от нацистской оккупации, то для миллионов людей эта война на самом деле продлилась вплоть до крушения коммунизма около двадцати лет назад. Летом 1945 года народы Польши, стран Балтии и многие другие в Восточной Европе просто сменили правление одного тирана на правление другого. Из чувства протеста президенты Эстонии и Литвы отказались посетить Москву в 2005 году для участия в «празднованиях», посвященных 60-летию «окончания войны» в Европе.

Как могла произойти столь трагичная нелепость? Это один из принципиальных вопросов, на которые пытается дать ответ предлагаемая вниманию читателя книга. И это — часть истории, предать гласности которую стало возможным лишь после краха коммунизма. До этого многие сотни очевидцев, с которыми мне пришлось встретиться в бывшем Советском Союзе и Восточной Европе, просто не имели возможности откровенно высказаться по поводу коммунистических режимов, к тому же наиболее важные архивные материалы, прежде тщательно скрываемые коммунистическими

правительствами, также стали доступны лишь недавно. Доступ к упомянутым документам позволил приоткрыть завесу истинной, «закулисной» истории взаимоотношений стран Запада со Сталиным. Хочется надеяться, все вышесказанное означает, что данная книга содержит массу нового для читателей.

Автору крупно повезло, что крах Восточного блока позволил начать работу над книгой. Изучая историю Второй мировой войны в школе в уже далекие 70-е годы прошлого столетия, я и предполагать не мог, что подобное произойдет при моей жизни. Тогда мой учитель истории предпочитал обходить острые углы, говоря об участии Советского Союза<sup>1</sup> в войне, причем наиболее простым способом — он вовсе не упоминал об этом. В те времена, в разгар «холодной войны» большинство людей на Западе вынуждено было признавать, хоть и без особой охоты, факт союзничества Запада со Сталиным. Внимание фокусировалось на героизме западных союзников — на Дюнкерке, битве за Англию и Дне «Д». Разумеется, об этом мы не вправе забывать. Но не только перечисленные события составляют историю мировой войны.

До падения коммунизма роль Советского Союза во Второй мировой войне в значительной степени принижалась в нашей культуре, ибо куда легче умолчать о горьких истинах, нежели найти в себе мужество признать их. Например, о том, как мы напрямую способствовали ужасной участи, постигшей в 1945 году Польшу, страну, которую мы были обязаны защищать в войне. Тем более что нас постоянно убеждали, что эта война — война против тирании. А если мы способствовали этому, в таком случае нам предстоит ответить на множество неприятных и отнюдь не простых вопросов. Есть ли на Западе те, которых с легкостью можно причислить к виновникам того, что происходило в конце войны? Как

быть с такими выдающимися личностями британской и американской истории, как Уинстон Черчилль и Франклин Делано Рузвельт?

Как это ни парадоксально, лучший способ попытаться ответить на все эти вопросы, это сосредоточить внимание на еще одной исторической личности — на Иосифе Сталине. Не случайно то, что поскольку предлагаемая книга посвящена отношениям между союзными державами, именно Сталин доминирует в ней. И реальное осмысление отношения советского лидера к войне возможно лишь при условии анализа его поведения непосредственно перед заключением им союза с Западом. Этот период, начавшийся после подписания пакта между фашистской Германией и СССР в 1939 году и завершившийся 22 июня 1941 года нападением фашистской Германии на СССР, практически скрыт от внимания широких масс. Разумеется, о нем всячески умалчивалось и в послевоенном Советском Союзе. Я помню, как однажды спросил одного русского после падения Берлинской стены: «Как вам преподносили в школе германо-советский договор в эру Советов? Разве это так просто объяснить?» Он улыбнулся в ответ. «Отнюдь, — сказал он. — Все очень просто. Я, например, вообще не знал о существовании германо-советского договора до самого конца 90-х годов и падения Советского Союза».

Союз Сталина с нацистами — один из наиболее значимых политических шагов коммунистического лидера, без осознания которого не может быть и речи об осмыслении его натуры, ибо, по крайней мере в первые годы добрососедских отношений, последние на самом деле были таковыми. Советские коммунисты и германские нацисты имели много общего — не идеологически конечно, а в чисто практических аспектах. И те, и другие преклонялись перед грубой авторитарной властью.

И те, и другие не скрывали презрения к ценностям, которыми такой человек, как Франклин Рузвельт, дорожил более всего, а именно: свободой слова и верховенством закона. И как следствие, мы видим, как Сталин на пару с Иоахимом фон Риббентропом, министром иностранных дел нацистского рейха, кромсает Европу. А вот что касалось его отношений с Черчиллем и Рузвельтом, тут советский лидер так и не достиг схожей степени взаимопонимания, общности интересов, причем практически по всем аспектам послевоенного развития Европы.

Не менее важно понять и уяснить то, каким образом Советы оккупировали Восточную Польшу в период между 1939-м и 1941 годами. Именно в этом следует искать причины недопустимых действий, впоследствии повторившихся в занятой советскими войсками в конце войны Восточной Европе, — пыток, повальных арестов, депортаций, инсценированных выборов и расстрелов. Ставшие всеобщим достоянием зверства, творимые Советами в 1939 году на территории оккупированной ими Восточной Польши, — и есть суть сталинизма.

Так что и Черчилль, и Рузвельт не питали иллюзий насчет того, с кем имеют дело. Ни тот, ни другой не пылали энтузиазмом по поводу заключения вынужденного союза со Сталиным после немецкого вторжения в Советский Союз в июне 1941 года. Черчилль считал такой союз родственным «союзу с Дьяволом», а Рузвельт, хотя Соединенные Штаты все еще официально сохраняли нейтралитет летом 1941 года, был весьма осторожен в характеристиках, делая первое заявление по поводу нацистского вторжения в СССР, и отнюдь не был склонен осуждать Советы за их предыдущие деяния.

То, как англичане и американцы сразу же по завершении Ялтинской конференции в феврале 1945 года резко сменили тон оправданного скептицизма в отношении



Сталина на чуть ли не славословия в его адрес — дескать, Сталин, «желает миру только хорошего», это человек «разумный и здравомыслящий», — и составляет главную идею данной книги. И ответ на то, почему Черчилль и Рузвельт перед всем миром изменили свое отношение к Сталину и Советскому Союзу, следует искать не только в осмыслении колоссальных геополитических проблем, поставленных на карту в ходе войны, и не в успешном отражении Советами удара нацистов, соответствующим образом оцененном Западом, но и в сфере личных впечатлений. И Черчилль, и Рузвельт являли собой пример личностей подавляющих, и обоим было отнюдь не чуждо стремление доминировать. И тот, и другой любили слушать себя. Иное дело Сталин. Этот человек был наблюдателем — агрессивно настроенным слушателем.

Не случайно, что двое весьма трезвомыслящих деятелей британской стороны — сэр Александр Кадоген, постоянный унтер-секретарь Форин Оффис, и лорд Аланбрук, начальник Королевского Генерального штаба, наиболее точно определили природу и характер Сталина. Они видели в нем не политического деятеля, заигрывавшего с толпой и упивающегося собственной риторикой популиста, а скорее бюрократа — практика, добившегося цели. Когда Кадоген с предельной откровенностью записал в своем дневнике в Ялте: «Должен сказать, что “Дядюшка Джо” [Сталин] из этих троих самый приметный. Он очень немногословен и сдержан... Президент распинался вовсю и обо всем, да и премьер-министр не отставал, а Джо сидел, слушал, мотал на ус, и, как мне кажется, все происходящее его даже забавляло. В своих выступлениях он никогда не допускал цветистых фраз, предпочитая говорить по существу»<sup>2</sup>.

Лорд Аланбрук «отметил... его [Сталина], силу характера и прозорливость»<sup>3</sup>. В частности, Аланбрука

весьма удивило то, что Сталин «продемонстрировал поразительное знание технических деталей в области железнодорожного транспорта»<sup>4</sup>. Никому и в голову не придет приписывать Черчиллю или Рузвельту — двум самым крупным фигурам «Большой тройки» — наличие «поразительных знаний технических деталей в области железнодорожного транспорта». Именно Аланбрук первым определил суть проблемы между Сталиным и Черчиллем: «Сталин — реалист, при условии, если таковые вообще могли быть там, — писал он в своем дневнике, — его интересуют факты и только факты... [Черчилль] же апеллировал к эмоциям Сталина, которых, как мне думается, нет и в помине»<sup>5</sup>.

Как выразился один историк, западные лидеры по возможности игнорировали факт, что «имели дело не с обычным, даже заурядным главой государства. Они столкнулись с хоть и психически травмированным, однако вполне дееспособным и весьма неглупым диктатором, оставившим зловещую отметину своей личности не только на ближайшем окружении, но и на всей стране, подогнав ее под себя с катастрофическими последствиями для нее»<sup>6</sup>.

Одна из проблем состояла в том, что Сталин по структуре личности был весьма далек от имиджа Сталина-тирана. Энтони Иден, один из первых политиков Запада, встречавшихся со Сталиным в Москве во время войны, по возвращении отметил, что изо всех сил старался представить себе советского лидера в виде «эдакого обгаренного кровью противников и соперников монстра, но подобный образ ни в коей мере не соответствовал действительности»<sup>7</sup>.

Впрочем, и Рузвельт, и Черчилль были в достаточной степени искушенными политическими деятелями, и неверно было бы предположить, что они оказались про-

сто обмануты Сталиным. Нет, здесь все складывалось куда любопытнее. И куда сложнее. Рузвельт и Черчилль пожелали выиграть войну с минимальными издержками для своих стран — это касалось и людских ресурсов, и финансовых. Водить Сталина за нос в течение нескольких лет с открытием второго фронта, когда Советы уже были почти уверены, что победоносно завершат войну в одиночку, было весьма нелегкой задачей и требовало, по выражению Рузвельта, «деликатного обхождения». В результате встреч за закрытыми дверями лидеры Запада пришли к осознанию необходимости политического компромисса. Частью этого компромисса было выставить советского лидера чуть ли не белым и пушистым; с другой стороны, необходимо было умалчивать всю правду и о Сталине, и о характере советского режима. В результате западные лидеры без особого труда, руководствуясь соображениями текущего момента и целесообразности, были вынуждены «искажать собственные интеллектуальные и моральные суждения», как выразился один почтенный британский дипломат во время войны<sup>8</sup>.

Однако я попытался соблюсти не только принцип «от общего к частному», не только исследовать менталитет и верования правящей верхушки. Изначально я осознавал важность обрисовать последствия принимаемых Сталиным и западными союзниками за закрытыми дверями решений и на «низовом» уровне, на примерах того, как они отразились на судьбах рядовых граждан. И в период работы над книгой я посетил и бывший Советский Союз, и ранее подконтрольную ему Восточную Европу, опрашивал людей, переживших период испытаний, чтобы выслушать их и позже поведать читателю их истории.

Эти исторические исследования оказались непривычными и в то же время увлекательными для меня.

И факты — по крайней мере для меня — отличала свежесть новизны и значимость. Со всей остротой я это почувствовал, оказавшись однажды на усаженной деревьями площади перед оперным театром во Львове. Этот красивый город вступил в XX столетие в составе Австро-Венгерской империи, позже, уже после Первой мировой войны стал частью Польши, затем в 1939—1941 годах отошел Советскому Союзу, с 1941-го по 1944 год он составлял часть нацистского рейха, а потом снова превратился в часть входившей в состав Советского Союза УССР и оставался ею вплоть до 1991 года, когда Львов вошел в состав уже независимой Республики Украина. За последнюю сотню лет город неоднократно переименовывали — он был и Лембергом, и Львовом, и Львувом, и Львівом. Среди людей, с которыми мне довелось встретиться, не оказалось ни одного, кто в ходе исторических событий XX века не пострадал бы за принадлежность к той или иной национальности или социальной прослойке. Будь то католики, евреи, украинцы, русские или поляки, все они, так или иначе, в разное время становились объектом репрессий или преследований. Естественно, что инициаторами и исполнителями бесчеловечной политики геноцида еврейского населения города были нацисты, но мы нередко упускаем, что в тогдашних коллизиях в этой части Центральной Европы пострадали не одни только евреи.

Мне посчастливилось встретиться с живыми свидетелями исторических событий — тем более что число людей, переживших войну, с каждым годом неуклонно уменьшается. И проведя столько времени в беседах с ветеранами из бывшего Советского Союза и стран Восточного блока, я считаю своим долгом сохранить для всеобщей истории их воспоминания. Наши страны пле-

чом к плечу сражались во время войны против общего врага. И мы обязаны им нашей победой, как обязаны мужественно воспринимать все реалии и последствия этой исторической истины.

Лоуренс Рис  
Лондон, май 2008 года

## Глава 1

### СОЮЗНИКИ НА СЛОВАХ

#### Странная дружба

Без нескольких минут 16 часов в среду, 23 августа 1939 года, личный автомобиль Сталина проехал через Красную площадь. В нем находился весьма любопытный визитер. Событие это, бесспорно, ознаменовало один из самых примечательных поворотов в истории дипломатии: Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел нацистской Германии, заклятый враг Советского Союза, был приглашен в Кремль. Оставив чуть в стороне купола храма Василия Блаженного, автомобиль приблизился ко въезду в Кремль — Спасским воротам. Риббентропа переполняло чувство тревоги. Он прибыл в Советский Союз всего несколько часов назад, и его растерянность сразу же подметил немецкий генерал Эрнст Кёстринг. «Я попытался успокоить его, — писал генерал. — [Но] Риббентроп был сильно взволнован, даже взвинчен»<sup>1</sup>.

Автомобиль, промчавшись мимо поста охраны НКВД — советской секретной службы — у въезда на территорию Кремля, остановился перед зданием Совета. Там Риббентропа, посла Германии в СССР графа фон дер Шуленбурга и советника посольства Хильгера (выполнявшего обязанности переводчика) препрово-

дили по коридору к приемной Вячеслава Молотова, советского наркома иностранных дел. Несколько минут спустя их пригласили в зал прямоугольной формы, где вдоль стены протянулся стол для переговоров, упиравшийся в письменный стол. Как все служебные помещения коммунистической элиты в Кремле, и это, по выражению одного британского дипломата, здорово смахивало на «зал ожидания второго класса на железнодорожной станции»<sup>2</sup>.

Молотов поднялся из-за стола приветствовать прибывших. Но рядом с ним стоял тот, кого Риббентроп никак не ожидал увидеть здесь, — приземистый мужчина, лет шестидесяти<sup>3</sup>, с рябоватым лицом, скользнувший по Риббентропу взглядом желтоватых глаз. Это и был глава государства Советского Союза Иосиф Сталин. Он вообще редко встречался с иностранными гостями, и, таким образом, его присутствие в кабинете придавало этой встрече и переговорам почти беспрецедентную значимость. «Этот жест, — как писал впоследствии Хильгер, — был предпринят с целью заставить [нацистского] министра иностранных дел растеряться»<sup>4</sup>.

Контраст между двумя самыми важными персонами вряд ли мог быть сильнее. Риббентропа, кроме того, что он был на полголовы выше Сталина, отличала шегольская одежда. Идеально пошитый, дорогой костюм резко отличался от висевших мешком полувоенного кителя и брюк Сталина.

Риббентроп с невероятно напыщенным видом замер — глава германского МИДа изо всех сил стремился сохранить достоинство. В отличие от нацистского костюма, так называемых «старых бойцов», сформировавших НСДАП, Риббентроп примкнул к нацистской партии позже, лишь в 1932 году, когда уже было ясно, что Гитлер стал реальной политической фигурой. В 1920-х

годах, в период Веймарской республики, он довольно успешно занимался коммерцией, занимаясь импортом шампанских вин. Очень многие из ключевых фигур НСДАП относились к нему без должного уважения. Например, Йозеф Геббельс, министр пропаганды нацистского рейха, утверждал, что Риббентроп «купил себе имя, женившись на деньгах, и обманным путем добился должности»<sup>5</sup>. Главнокомандующий люфтваффе Герман Геринг как-то сказал Гитлеру, что Риббентроп ставит ему палки в колеса в деловых отношениях с англичанами, будучи послом Германии в Лондоне. Гитлер ответил: «Но он на короткой ноге со многими влиятельными людьми в Англии», на что Геринг остроумно отпарировал: «Мой фюрер, это вполне может быть и так, но в таком случае тем хуже для них»<sup>6</sup>. Даже некоторые верные нацистам союзники были весьма невысокого мнения о Риббентропе. Граф Чиано, министр иностранных дел Италии, презрительно отметил, что «Дуче [Бенито Муссолини] говорит, что стоит только приглядеться к его головке, и сразу поймешь, что у него мозгов кот наплакал»<sup>7</sup>.

Риббентроп, вероятно, и не пользовался авторитетом среди товарищей по партии, но вот Сталин у всех, с кем ему приходилось сотрудничать или же просто встречаться, вызывал лишь одно чувство, а именно — страх. «Все мы при Сталине чувствовали себя людьми временными, — признавался Н. С. Хрущев, впоследствии сам глава Советского Союза. — Какое-то время он доверял нам до известной степени, и нам разрешали жить и работать. Но потом переставал доверять, и чаша его недоверия переполнялась»<sup>8</sup>. Степан Микоян<sup>9</sup>, сын члена Политбюро Анастаса Микояна, выросший в кремлевском окружении в 1930-х годах, подтверждает слова Хрущева. «[Сталин] во время разговора смотрел себе-



седнику прямо в глаза, — вспоминает Степан Мико-ян, — и стоило вам отвести взгляд, как он расценивал это как признак неверности ему или попытки обмануть. После чего могли последовать самые суровые меры. Он был крайне подозрителен. Это было его главной чертой... И очень беспринципным человеком... Он мог предать и обмануть кого угодно, если считал это продиктованным необходимостью. И именно поэтому ожидал такого же поведения от других... любой в его глазах мог оказаться предателем». Сталин был и оставался прежде всего революционером — он был марксистом-террористом, до прихода большевиков к власти занимался «экспроприациями», а попросту ограблениями банков, похищением людей и другими противозаконными видами деятельности, за что был судим и сослан в Сибирь.

И контраст между напыщенным Риббентропом и прощательным, циничным Сталиным немедленно проявился и в приемной Молотова в тот августовский день, когда Риббентроп высокопарно заявил: «Фюрер уполномочил меня предложить подписать пакт о ненападении между нашими двумя странами сроком на 100 лет».

«Если мы подпишем соглашение на 100 лет, — ответил Сталин, — нас засмеют. Предлагаю подписать соглашение сроком на 10 лет»<sup>10</sup>. Вот с такого явно не грешившего утонченностью высказывания и начались переговоры между нацистами и коммунистами.

Шли переговоры, которые в скором будущем потрясут мир: объединение двух идеологических антиподов; встреча, по выражению одного из нацистов, «огня и воды»<sup>11</sup>; союз, на первый взгляд, почти немыслимый. На самом деле, как могло произойти такое, чтобы Риббентропа зазвали в сердце Кремля? Ведь нацисты никогда не скрывали своей ненависти к Советскому Союзу. Во вре-

мя речи на партийном съезде в Нюрнберге в 1937 году Гитлер именовал лидеров СССР не иначе как «нецивилизованной еврейско-большевистской международной гильдией преступников», заявив, что Советский Союз представляет «наибольшую угрозу для культуры и цивилизации... после падения государств Древнего мира»<sup>12</sup>.

В книге «Майн Кампф» [«Моя борьба»] Гитлер открыто заявил, что Германия должна заполучить богатые сельскохозяйственные угодья России и остальной части Советского Союза: «Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно ставим крест на всей немецкой иностранной политике довоенного времени. Мы хотим вернуться к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие 600 лет назад. Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и на запад Европы и определенно указываем пальцем в сторону территорий, расположенных на востоке. Мы окончательно рвем с колониальной и торговой политикой довоенного времени и сознательно переходим к политике завоевания новых земель в Европе.

Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены. Сама судьба указывает нам перстом»<sup>13</sup>.

Но летом 1939 года прагматизм одержал верх над идеологическими принципами. Гитлер стремился захватить Польшу за несколько дней. Он жаждал присоединить к рейху исконно немецкие территории — город Данциг, Западную Пруссию и немецкие земли вокруг Познани, не позабыв о пахотных землях остальной Польши. И при этом он понимал, что вторжение в Польшу чревато военным конфликтом с Великобританией и Францией. В марте 1939 года после того, как британский премьер-министр Невилл Чемберлен, наконец, после вторжения

Гитлера в Чехословакию уразумел, что обещания, данные фюрером Германии в Мюнхене за год до этого, ничего не стоят, англичане обещали оказать Польше военную помощь в случае иностранной агрессии. Кроме того, нацисты так и не могли предугадать, как поведет себя Советский Союз, восточный сосед Польши, в случае немецкого вторжения в Польшу? Если Советский Союз заключит соглашение с французами и англичанами, немцы окажутся в кольце врагов.

И летом 1939 года, по завершении германо-советских торговых переговоров, прошедших в Берлине, немцы стали интенсивно выяснять, согласятся ли Советы заключить более серьезное соглашение с Германией на взаимовыгодных условиях. Надо сказать, что вначале Советы были настроены скептически, что вполне логично. Во время обсуждения летом 1939 года советский торгпред в Берлине Астахов заметил в беседе со Шнурре, своим коллегой с немецкой стороны, что московские товарищи «не уверены, что изменения в политике Германии, на которые он намекает, имеют серьезную основу, а не продиктованы чисто конъюнктурными соображениями и рассчитаны на длительный период времени». Шнурре ответил: «Скажите мне, какие доказательства вам нужны. Мы готовы продемонстрировать возможность достижения соглашения по любому вопросу — с предоставлением любых гарантий»<sup>14</sup>. Ко 2 августа 1939 года немцы уже не скрывали своей крайней заинтересованности в заключении такого соглашения. Сам Риббентроп признался Астахову, что «отныне не существует никаких нерешаемых проблем от Балтики до Черного моря»<sup>15</sup>. Экономическое соглашение между Германией и Советским Союзом было подписано 19 августа 1939 года в Берлине. После этого Риббентроп стал уговаривать Советы пригласить

его в Москву для подписания договора о ненападении. Советы колебались, но недолго; вмешался сам Гитлер, обратившись с личным посланием к Сталину, в котором изложил просьбу принять Риббентропа в Москве для подписания договора. Советы смягчились, и Риббентроп 23 августа 1939 года помчался в Москву.

Таким образом, разгадать мотивы немцев труда не составляет. Долгосрочная политика Гитлера — почти мессианское видение — оставалась ясной. Советский Союз был и оставался его идеологическим противником — противником, к тому же обладавшим неисчерпаемыми сельхозугодиями, хоть и обрабатываемыми «расово неполноценным» населением. Однажды на этих землях возникнет новый Германский рейх. Но не время было тешить себя иллюзиями. Теперь перед Германией стояла проблема, как быстрее и эффективнее нейтрализовать потенциального агрессора. Нацистский режим был в высшей степени динамичным. И быстрота, с которой нацисты стали продвигать подготовку, а затем и заключение этого договора, поразила Советы. «То, что г-н Риббентроп действовал со скоростью 650 километров в час, вызвало искреннее восхищение советского правительства, — заявил Молотов в своей речи в сентябре 1939 года. — Его энергичность и настойчивость стали залогом серьезности намерений к установлению дружественных взаимоотношений»<sup>16</sup>.

Относительно легко усмотреть выгоду из этого союза для немцев, куда сложнее понять намерения Советов; потому что, в отличие от немцев, у Советов был выбор партнеров. Они вполне могли отклонить инициативы немцев и заключить союз с британцами и французами. На первый взгляд, это было бы куда логичнее, в особенности принимая во внимание то, что в июле 1932 года Советы подписали пакт о ненападении с Польшей.

Кроме того, ни британцы, ни французы не были так уж непримиримо настроены против Советского Союза, как нацисты, да и британцы уже предпринимали попытки договориться с Москвой. Однако Сталин помнил, что ранее Великобритания предпочла политику умиротворения в отношении немцев, но не союз с Советами. Подписывая в сентябре 1938 года Мюнхенское соглашение, англичане не сочли необходимым даже проконсультроваться с Советским Союзом, когда Чемберлен передал Германии этнически немецкую Судетскую область, входящую в состав Чехословакии.

После своего возвращения из Мюнхена Чемберлен процитировал шекспировского героя Генриха IV: «...в зарослях крапивы опасностей мы сорвем цветок безопасности». Но в уничтожающей статье в «Известиях» Советы ответили собственной цитатой из той же самой пьесы: «Задуманное вами предприятие опасно, упомянутые вами друзья ненадежны, время неблагоприятно, и весь ваш план чересчур легковесен, чтобы преодолеть столь сильное сопротивление...»<sup>17</sup>

И то, что нацистское вторжение в Чехословакию и захват чешских территорий 15 марта 1939 года заставило британцев внезапно понять всю возможную выгоду от договоренности с Советским Союзом, не произвело должного впечатления на Сталина, который пятью днями ранее выступил с резким заявлением на XVIII съезде ВКП (б) в Москве. Он говорил: «Войну ведут государства-агрессоры, всячески ущемляя интересы неагрессивных государств, прежде всего Англии, Франции, США, а последние пятятся назад и отступают, давая агрессорам уступку за уступкой»<sup>18</sup>.

Отчасти именно презрение к пассивности «неагрессивных» государств вынудило Сталина в той же речи предупредить, что Советский Союз не намерен позво-

лить вовлечь себя в конфликт поджигателями войны, привыкшими таскать из огня каштаны чужими руками.

И все же Сталин и советское руководство все-таки не исключали возможного соглашения о взаимной помощи с Великобританией и Францией. Но проблемы возникли с самого начала.

В противоположность нацистам, действовавшим со скоростью «650 километров в час», западные союзники воспринимались Москвой как намеренно затягивавшие ход обсуждения. 27 мая англичане и французы предложили создание военно-политического союза, но этот план был отклонен Молотовым. Идея создания такого союза была весьма расплывчатой, изобиловала непродуманностью деталей, в особенности если речь заходила об ответной реакции Советского Союза в случае нападения Германии на Польшу.

По мнению Советов, нежелание британцев вступить в настоящие союзнические отношения с СССР выразилось уже в составе их делегации в Москву летом 1939 года, возглавляемой адмиралом Реджиналдом Эйлмером Рэнферли Планкетт-Эрнл-Эрл-Дрексом. Советский посол в Лондоне Майский ранее поинтересовался, готов ли прибыть в Москву британский министр иностранных дел лорд Галифакс для обсуждения всех вопросов непосредственно со своим коллегой Молотовым. Вместо этого англичане направили сначала малозначительную фигуру — главу одного из департаментов британского МИДа, а затем какого-то непонятного адмирала с длиннющей фамилией, о котором в Москве и слыхом не слыхали. А то, что Дрекс и его команда явно не торопились с началом переговоров, отправившись из Англии 5 августа на торговом судне, поездка на котором до Ленинграда заняла целых четыре дня, лишь усугубило положение.

Как только британская делегация прибыла в Москву, Советы вскоре получили соответствующие доказательства полнейшей некомпетентности делегации, изложенные в разведывательной сводке Майского из Лондона. Черным по белому там было написано: «Делегаты не наделены соответствующими полномочиями принятия решений на месте... что лишает переговорный процесс необходимой динамики»<sup>19</sup>. И действительно, перед отъездом в Москву Дрекс получил наставления от премьер-министра и министра иностранных дел, что в случае сложностей при ведении переговоров с Советами он должен всячески пытаться затянуть переговоры до октября месяца, когда наступление зимы серьезно осложнит для немцев условия вторжения в Польшу<sup>20</sup>. Британцы рассчитывали, что даже сам факт их переговоров с Советским Союзом подействовал бы на Гитлера отрезвляюще.

Нетрудно понять, что заставило англичан использовать столь вялый подход к переговорам с Советами. Во-первых, британская внешняя политика в течение многих лет осуществлялась на основе приоритетности дружественных отношений с Германией, но не с Советским Союзом. Более того, многие англичане британцы открыто ненавидели коммунистический режим Сталина по идеологическим причинам и не питали иллюзий относительно мощи и боеготовности советских вооруженных сил. Кроме того, существовала еще одна чисто утилитарная причина того, почему англичанам было непросто достичь всестороннего соглашения с Советским Союзом летом 1939 года: вопрос о Польше. Разногласия политического характера касательно этой страны, которые так никогда и не были преодолены ни в ходе Второй мировой войны, ни после ее победоносного завершения, были очевидны еще задолго до ее начала. Англичане понимали, что при условии заключения вышеупомянутого

военного соглашения Советы автоматически получали бы право прохода войск через территорию Польши для вступления в боевое соприкосновение с немцами в случае агрессии тех против поляков. Однако поляки были настроены резко негативно против подобного варианта развития событий. В стремлении избежать заведомого тупика британская делегация приняла вполне объяснимое, но в конечном счете пагубное, решение — она избрала тактику игнорирования предмета обсуждения всякий раз, как только заходила речь о необходимости прохода частей Красной Армии через территорию Польши. Когда советский маршал Ворошилов 14 августа задал прямой вопрос о том, позволят ли Красной Армии войти на территорию Польши для оказания отпора немцам, ответа от британской делегации так и не последовало.

Однако не следует носиться с идеей, что к нацистам Сталина и советское руководство подтолкнула позиция Великобритании и Франции. Что могли западные союзники предложить Советам за столом переговоров? С какой стати Сталину «вовлекать в конфликт» Красную Армию ради оказания помощи недружественным режимам, вызволять их из политических тупиков, в которые они сами себя загнали? А если попытаться рассмотреть идеологический аспект события, то Сталину Великобритания и Франция были ничуть не ближе нацистской Германии. И одна, и другая, согласно марксистской теории, находились под властью крупного капитала и угнетали трудовой народ. Один только Советский Союз гарантировал своим гражданам бесплатное образование, здравоохранение, «равное избирательное право» и коллективное владение собственностью — именно таким должно быть, по мнению Сталина, «настоящее государство». И учение Ленина призывало Советское государство отступить при подобных обстоятельствах и со стороны взирать, как капитали-



сты вцепляются друг другу в глотки. Поэтому, оказавшись между двух огней, для Сталина было все же предпочтительнее и разумнее рассмотреть договоренность, пусть изначально временную, с гитлеровской Германией. Что, вероятно, сулило Советскому Союзу перспективу неучастия в грядущей войне. К тому же западные союзники никак не могли гарантировать Сталину перспективы захвата дополнительных территорий, и отсюда — материальной выгоды для Советского Союза. Таким образом, встреча 23 августа 1939 года между Риббентропом и Шуленбургом, с германской стороны, и Сталиным и Молотовым — с советской, была если не встречей, продиктованной общими убеждениями, то уж, во всяком случае, встречей, обусловленной общими интересами.

### Начало переговоров

Признаком несомненно практического характера переговоров был быстрый переход обсуждения темы, эвфемистически обозначенной как «сферы влияния». Этот преднамеренно нейтральный термин мог трактоваться участниками практически как угодно, в зависимости от их пожеланий и предпочтений. В конечном счете, разумеется, уже после нацистского вторжения в Польшу, он использовался для разграничения контроля над странами Восточной Европы.

Риббентроп заявил: «Фюрер признает, что восточная часть Польши и Бессарабии, так же как и Финляндии, кроме того, Эстония и Латвия до реки Дуена будет находиться в пределах советской сферы влияния»<sup>21</sup>. Сталин сразу же возразил против немецких предложений, настаивая, чтобы вся территория Латвии находилась в пределах «советской сферы влияния». Риббентроп дал понять, что не в его компетенции согласиться с возра-

жениями Сталина без предварительной консультации с Гитлером. Встреча была отложена до получения указаний непосредственно от фюрера.

Гитлер ждал новостей о переговорах в Бергхофе, своем доме в горах южной Баварии. Тем же утром состоялось совещание генералитета, на котором Гитлер проинформировал командный состав армии о том, что Риббентроп отправился из Кёнигсберга в Москву для подписания договора о ненападении. «Явно удивленные генералы невольно переглянулись, — вспоминал Герберт Дёринг, ответственный служащий СС в Бергхофе, очевидец событий того дня. — Они были поражены, как такое могло произойти. Сталин — коммунист, Гитлер — национал-социалист, что может быть общего между ними? Этого никто не понимал»<sup>22</sup>.

Пока шли переговоры в Москве, в Бергхофе росло напряжение. «Вечер был душный, жаркий, — вспоминал Дёринг. — Адъютанты, гражданский персонал, министры и секретари сгрудились у коммутатора и на террасе, потому что первый звонок должен был поступить на коммутатор. Все страшно нервничали и ждали, ждали». Неожиданно последовал звонок из Москвы, Риббентроп изложил требования Сталина. «Гитлер не произнес ни слова, только слушал, это все заметили, — продолжал Дёринг. — Сталин явно приставил ему дуло пистолета к виску». И с приставленным к виску «дулом пистолета» Гитлер согласился признать всю территорию Латвии частью «сферы влияния» Советов.

Как только основные вопросы относительно «сферы влияния» были решены и затем изложены в секретном протоколе к договору, беседа в Москве приобрела более непринужденный характер. Сталин откровенно высказался о стране, которой суждено было стать его союзницей до июня 1941 года: «Я не люблю британцев и не до-

веряю им; они... упрямые противники. Но британская армия слаба. Если Англия все еще и правит миром, то от глупости других стран, которые позволяют обмануть себя. Смешно, что всего несколько сотен британцев все еще в состоянии управлять огромным населением Индии»<sup>23</sup>. Сталин продолжал утверждать, что англичане в течение многих лет пытались воспрепятствовать советско-германскому сближению и что «хорошо будет» положить конец этим «интригам».

Однако на переговорах в Москве не было никакого открытого обсуждения плана вторжения нацистов в Польшу, поскольку немцы знали, каков будет советский ответ на это. Верхом откровенности стала фраза Риббентропа: «Правительство Германского рейха больше не намерено терпеть преследования немецкого населения в Польше, и фюрер не станет медлить с решением этого вопроса». На что Сталин уклончиво ответил: «Я понимаю».

Проект коммюнике о договоре показали и Сталину и Риббентропу. Советский лидер, кажется, счел слишком уж цветистый язык первого варианта довольно комичным. «Неужели мы должны привлекать столько внимания к этому в наших странах? — заявил он. — Мы годами поливали друг друга грязью, и наши ребята-пропагандисты усердствовали в этом; и вдруг мы решаем сделать вид, что все прощено и забыто? Так быстро это не делается»<sup>24</sup>. И Сталин несколько умерил восторженную риторику документа.

В полночь женщина в красной косынке подала чай, конфеты, икру, бутерброды и обильное количество водки, российских вин и, наконец, крымского шампанского. «Атмосфера, — вспоминал Андор Хенке, немецкий дипломат, выступавший в роли дополнительного переводчика, — уже и без того непринужденная, стала теп-

лой, дружелюбной. Сталин и Молотов выступили в роли радушных хозяев. Правитель России лично наполнил бокалы своих гостей, предложил им папиросы и даже дал прикурить. «Добросердечие и в то же время достоинство, с которыми Сталин, не теряя лица, проявил внимание к каждому из нас, произвели на всех нас самое сильное впечатление... Я перевел то, что, вероятно, служило первым тостом, произнесенным Сталиным в честь Адольфа Гитлера. Он сказал: “Поскольку я знаю, как немцы любят своего фюрера, предлагаю выпить за его здоровье!”»<sup>25</sup>

Договор о ненападении между Советским Союзом и Германией был наконец подписан ранним утром 24 августа 1939 года. Немецким и советским фотокорреспондентам было разрешено увековечить эту не укладывавшуюся ни в какие рамки дружбу, внезапно объединившую две страны. Сталин выдвинул лишь одно условие для подлежащих публикации фотоснимков: «Убрать все пустые бутылки, — распорядился он, — потому что иначе люди могут подумать, что мы сначала напились, а потом подписали соглашение»<sup>26</sup>. Невзирая на стремление Сталина — хоть и шутовское — убрать все «следы торжества», один из немецких фотографов, Гельмут Ло, все же сделал снимок Сталина и Риббентропа, на которых оба стоят с бокалами шампанского. Сталин заметил, что публикация этого снимка явно создаст «неверное впечатление». Ло стал было вынимать пленку из фотоаппарата, чтобы отдать ее Сталину, но советский лидер жестом дал понять, что, дескать, невелика проблема и что он готов верить честному слову немца, что этот снимок не попадет в прессу<sup>27</sup>.

Генрих Гоффман, личный фотограф Гитлера, также присутствовал и с врожденным чувством превосходства распространялся о «допотопных фотокамерах русских». Он лично обратился к Сталину: «Ваше Превосходитель-

ство, — сказал он, — для меня большая честь передать вам сердечные поздравления и наилучшие пожелания моего фюрера и доброго друга Адольфа Гитлера! Хочу заверить вас, что он с нетерпением ждет дня, когда сможет лично встретиться с великим вождем русского народа». Если верить Гофману, эти слова «произвели сильное впечатление на Сталина», который ответил, что «дружбе с Германией и ее великим фюрером суждено продлиться долгие годы»<sup>28</sup>.

Празднование затянулось за полночь, а когда немцы уже собрались отбыть, Сталин, опять же, если верить Гофману, «был в приподнятом настроении»<sup>29</sup>. Советский лидер прекрасно понимал всю несообразность, едва ли не гротескность этого договора со своим бывшим врагом. «Давайте выпьем за нового антикоминтерновца, — предложил он, — за Сталина!»<sup>30</sup> Но последние слова Сталина Риббентропу отличались очевидной искренностью: «Заверяю вас, что Советский Союз относится к этому договору очень серьезно. Даю слово чести, что Советский Союз никогда не предаст своего нового партнера»<sup>31</sup>.

В Бергхофе же, в часы, предшествовавшие подписанию договора, напряжение достигло кульминации. Герберт Дёринг вспоминал, как в тот вечер Гитлер и его гости задумчиво смотрели на небо над горными вершинами. «На небе творилось непонятно что, — продолжает он. — Оно было то кроваво-красным, то зеленоватым, то серым и черным, как ночь... Все в ужасе уставились на него... Нужно было иметь крепкие нервы, чтобы сохранить хладнокровие». Дёринг слышал, как одна особа из приглашенных в Бергхоф, венгерка, заметила: «Мой фюрер, это дурное предзнаменование. Оно означает кровь, кровь и снова кровь». «Гитлер был потрясен, — свидетельствует Дёринг. — Он едва ли не трясся. И выразился так: “Чему быть, тому не миновать”». Он был страшно возбужден, с

трудом владел собой. С взлохмаченными волосами он уставился в пространство перед собой». А когда в конце концов новость о подписании договора добралась до Бергхофа, Гитлер, «попрощавшись со всеми, ушел, и все тоже стали расходиться».

Британская общественность реагировала на восстановление дружественных отношений между Германией и Советским Союзом с немалым удивлением. «Это — новая и непостижимая глава в истории немецкой дипломатии, — объявила одна британская кинохроника. — А как же быть с принципами “Майн Кампф”? Что общего между Россией и Германией?»<sup>32</sup>

Во всем мире коммунистические партии стран силились понять суть явления. В Великобритании Брайан Пирс<sup>33</sup>, тогда преданный сталинист, просто-напросто призвал поверить Сталину: «Мы же понимаем, что Сталин — умный и очень проницательный товарищ, и если такой договор подписан, думаю, отношение большинства коммунистов — тех, кто не был им абсолютно шокирован, вплоть до выходя из рядов партии — были, ну, в общем, в растерянности... ситуация сложилась непростая... Товарищ Сталин, по-видимому, через свои разведывательные источники кое-что узнал и теперь считает, что России лучше не оказаться в том положении, к которому его подталкивали западные союзники».

В Германии офицер СС Ганс Бернхард<sup>34</sup> узнал о подписании договора, ожидая приказа подразделению, которым командовал, о вторжении в Польшу. Подписание договора «несомненно, удивило» его. «Мы не могли уразуметь, как подобное могло произойти, ведь германская пропаганда годами внушала нам, что наш главный враг — большевики». В результате и он, и его товарищи сочли этот договор «политически абсурдным».

Но для лорда Галифакса, британского министра иностранных дел, этот факт не стал громом среди ясного неба. За четыре месяца до описываемых событий, 3 мая 1939 года, он предупредил британский кабинет о возможности подобного соглашения между Сталиным и Гитлером<sup>36</sup>. Теперь правительства Англии и Франции поняли, что соглашение между Советским Союзом и нацистской Германией развязало руки Гитлеру для вторжения в Польшу, и доказательства не заставили себя ждать. 1 сентября 1939 года германские войска перешли границу Польши, а два дня спустя Великобритания, в полном соответствии со своими обязательствами по договору с Польшей, объявила войну Германии. Вторая мировая война началась.

Но хотя немцы вторглись в Польшу с запада, Советский Союз не предпринимал немедленных попыток аналогичного вторжения с востока. Что в немалой степени озадачило Риббентропа: ведь после немецкого вторжения Сталин, по идее, должен был без промедления двинуть войска в Восточную Польшу, область, которой предстояло отойти к Советскому Союзу, как это и было накануне согласовано, иными словами, расширить свою сферу влияния. 3 сентября он телеграфировал Шуленбургу, послу рейха в Москве: «Естественно, нам предстоит из военных соображений продолжить принимать меры против польских вооруженных сил и на польских территориях, принадлежащих сфере влияния русских. Прошу вас обсудить это немедленно с Молотовым и выяснить, не считает ли Советский Союз желательным выступить против польских сил в рамках российской сферы влияния с целью овладения этой территорией. По нашим оценкам, это не только было бы облегчением для нас, но, кроме того, соответствовало бы подписанному в Москве соглашению, равно как и советским интересам»<sup>36</sup>.

Советское руководство не торопилось давать ответ на предложение Германии. Сталин был не из тех, кто действует, повинувшись импульсу. К тому же следовало считаться с рядом серьезных проблем. К примеру, каков будет вероятный ответ англичан и французов на подобный демарш? Незадолго до этого западные союзники объявили войну Германии, действуя в рамках соглашения об оказании Польше военной помощи в случае агрессии. И не объявят ли они в случае вторжения Красной Армии в Восточную Польшу войну и Советскому Союзу? И не был ли фактически договор «о ненападении» с нацистами средством втянуть их в войну вместо того, чтобы как раз удержать их в стороне?

Но были и оставались веские доводы, говорящие в пользу начала военных действий. Советы не просто сознавали очевидность материальной выгоды от присоединения значительной территории другой страны, тут в ход шли и мотивировки исторические. У Сталина были старые счёты с поляками. Он не забыл горечь поражения в войне, развязанной большевиками против Польши в 1919–1920 гг. (войну эту чаще называют советско-польской, хотя «Советский Союз» как политическая единица был учрежден лишь в 1922 году и не был формально признан до 1924 года). Польша, переставшая существовать как суверенное государство в XVIII столетии в результате передела ее территории более сильными соседями, была воссоздана после подписания Версальского мирного договора в конце Первой мировой войны. И пока польский лидер Юзеф Пилсудский стремился выдвинуть границу страны как можно дальше на восток, Ленин рассматривал Польшу как препятствие на пути продвижения коммунизма в Европу, в особенности в послевоенную Германию, по его мнению, вполне созревшую для социалистической революции.



Первоначально большевистская армия действовала успешно, продвинувшись к лету 1920 года почти до самой Варшавы. Но после контрудара польских сил она была разгромлена в битве у реки Неман. Вскоре (в марте 1921 года) в Риге было подписано соглашение, согласно которому поляки получали Западную Украину и Западную Белоруссию, и новая граница между двумя государствами была ратифицирована на Союзнической конференции в 1923 году (именно эта запутанная история и послужила причиной тому, что в речи Молотова на Верховном Совете СССР Польша удостоилась весьма некорректной характеристики: «...Уродливое детище Версальского договора, жившее за счет угнетения непольских национальностей»<sup>37</sup>). Следует отметить, что результат Польской кампании унижил не только большевиков, но и самого члена РВС Юго-Западного фронта, которым был не кто иной, как сам И. В. Сталин. Когда Тухачевский, командующий большевистским фронтом, попросил прислать подкрепление, Сталин так и не смог обеспечить это. В 1925 году Сталин даже попытался скрыть это позорное пятно на своей ранней карьере, изъяв соответствующие документы из киевских архивов<sup>38</sup>.

Но даже испытывая сильную неприязнь к полякам, в сентябре 1939 года Сталин не мог позволить возобладать эмоциям. Он понимал, что Советы имели возможность придать законность предстоящему вторжению на польскую территорию, развернув пропагандистскую кампанию, выстроенную на предложении, выдвинутом в 1919-м лордом Керзоном, в тот период британским министром иностранных дел. Суть его состояла в том, что должна быть определена граница между Польшей и ее восточными соседями — так называемая «Линия Керзона». Тогда это предложение было отклонено большевиками, но теперь граница, которую Сталин и

Молотов только что согласовали с Риббентропом по разделу «сфер влияния» на территории Польшу в значительной мере совпадала с «линией Керзона». К тому же поляки не составляли большинства населения указанных восточных территорий — там лишь около 40% населения считали себя поляками, 34% — украинцами и 9% — белорусами. Пропагандистский аппарат Советов понимал возможность придать любому вторжению статус акта «освобождения», в конкретном случае — освобождения «местного» населения от гнета поляков.

Наличие перечисленных факторов и определило то, что 9 сентября 1939 года, то есть 6 дней спустя после получения телеграммы Риббентропа, Молотов дал на нее ответ: Красная Армия готовилась занять взаимосогласованную советскую «сферу влияния» в Польше. На встрече в Москве на следующий день с немецким послом «Молотов перешел к политической стороне вопроса, заявив, что Советское правительство намеревалось воспользоваться дальнейшим продвижением германских войск и заявить, что Польша разваливается на куски и что вследствие этого Советский Союз должен прийти на помощь украинцам и белорусам, которым “угрожает” Германия. Этот предлог представит интервенцию Советского Союза благовидной в глазах масс и даст Советскому Союзу возможность не выглядеть агрессором»<sup>39</sup>.

### **Вступление Красной Армии в Польшу**

17 сентября 1939 года советские войска численностью в 600 000 солдат и офицеров в составе действовавшего севернее Белорусского фронта генерала Ковалева и Украинского фронта маршала Тимошенко перешли восточную границу Польши. В своем выступлении по радио в тот же день Молотов оправдал советское втор-

жение, приняв на вооружение уже изложенный Шуленбургу аргумент. Он объявил, что военные действия необходимы для спасения «родных братьев» советских людей, проживавших в Восточной Польше. Не принять меры, как утверждал Молотов, было бы равноценно «предательству».

«Мы официально протянули руку дружбы нашим русским и украинским братьям, — считает Георгий Драгунов<sup>40</sup>, один из советских солдат, которые вошли на польскую территорию в сентябре 1939 года. — Наша военная пропагандистская литература и наши политруки пытались промыванием мозгов вселить в нас веру в то, что рабочие нуждались в нашей помощи и что они эксплуатировались польской бюрократией». И действительно, в первые дни солдат Красной Армии встречали с восторгом. И на самом деле, была масса споров о том, считать ли сталинскую акцию вторжением вообще. Возможно, как думала часть населения тех областей, советские войска действительно пришли «на помощь». Возможно, они только пройдут через всю Восточную Польшу и вступят в бой с немцами, уже захватившими большую часть запада страны.

Богуслава Грынив<sup>41</sup> вместе с семьей проживала под Львовом<sup>42</sup>, одним из крупных городов Юго-Восточной Польши. Будучи украинцами по происхождению, они не имели оснований так уж сильно опасаться прихода Советов. «Люди приветствовали их [солдат], махали им, — вспоминает Богуслава. — Люди также иногда приветствовали их цветами и [украинским] сине-желтым флагом... Все они [солдаты Красной Армии] стояли в распахнутых люках танков и улыбались. Вот так они и пришли... Мы не ожидали никаких ужасов... Мой отец так и сказал матери, когда та предложила уехать. Он сказал: “Они не те большевики, что в 1919 году. После

двадцати лет там уже возникла культура, государство, система правосудия”. Другими словами, он надеялся, что они... ну, что это не бандиты».

«После прихода Красной Армии в 1939 году люди, в том числе и я, не испытывали к ним негативных чувств, но и особой любви тоже, — признает Зенон Врублевски<sup>43</sup>, в то время 12-летний школьник. — Мнения людей действительно разделились. Вместе с нами на этаже проживало несколько семей. Некоторые из них были рады приходу их [Красной Армии]. А другие говорили: “Ничего, ничего, они вам еще покажут! В Сибири места много, и для вас хватит!” Но я не верил этому. И не испытывал ни любви, ни ненависти. Просто принял их как новую армию, новую власть».

Войску польскому первоначально был дан приказ отступать без боя, хотя отдельные стычки имели место, в особенности в Гродно, однако польское правительство очень скоро поняло, что Красная Армия явилась не для «оказания помощи». Поляки видели, что надежды уцелеть в объединенной агрессии немцев и Советов не было никакой. Они помнили, как их страну проглотили в XVIII веке ее могущественные соседи, а теперь история повторялась.

Но когда Красная Армия вошла в Восточную Польшу в том сентябре, она никак не походила на могущественную армию огромной страны. От солдат сильно и неприятно пахло. «От них исходил, — продолжает Зенон Врублевски, — резкий запах отдушки для общественных туалетов». «Запах был довольно странным, — подтверждает Анна Левитская<sup>44</sup> и другие жители Львова. — Весьма специфический, неприятный запах». Многие из местных жителей заметили резкое отличие красноармейцев от подтянутых, аккуратных солдат Войска польского в сверкающих кожаных ремнях и безупречно подогнан-

ной форме. Теперь же их взорам предстала многотысячная неопрятная толпа, неизвестно во что одетая, во всяком случае, это тряпье мало напоминало военную форму. «Многие открыто потешались над ними, — говорит Зенон Врублевски. — Вы только посмотрите, во что они одеты! Посмотрите на этих оборванцев!»

«По мере продвижения в глубь польской территории, мы заметили, что они [поляки] живут куда лучше, чем мы, — утверждает Георгий Драгунов, который был поражен степенью различия между коммунистическим Советским Союзом и капиталистической Польшей. — Мы видели красивые здания — даже крестьянские дома. [Даже] самые бедные люди у них выглядели богачами в сравнении с нашими — у них в доме была полированная мебель. У нас-то такая мебель появилась куда позже. У каждого крестьянина-бедняка [на востоке Польши] было не менее двух лошадей, а в каждом крестьянском хозяйстве — по три-четыре коровы и множество домашней птицы. Увидеть такое мы никак не ожидали — вся пропаганда оказалась пустословием, потому что мы увидели, что в крестьянские дома проведено электричество, а в советской Белоруссии тогда ничего подобного не было».

Веслава Сатернус, польская школьница, проживавшая вместе с семьей вблизи границы с Украиной, была удивлена первой встречей с солдатом Красной Армии: «Этот русский солдат бежал по уже убранному полю и кричал, чтобы мы дали ему поесть. Потом он вошел к нам в дом, форма на нем висела кое-как, оружие болталось на ремне. Мать обещала дать ему поесть... [Вдруг] этот русский солдат увидел стоявшие на столе часики, он тут же схватил их и сунул в карман, даже не спросившись, и все время орал: “Дайте мне поесть”, моя мать дала ему много еды, и он распахивал ее по карманам и за пазуху».

В таком культурном городе, как Львов, считавшемся когда-то хоть провинциальной, но жемчужиной Австро-Венгерской империи, многие из оказавшихся здесь граждан Советского Союза почувствовали, будто оказались в своего рода волшебной стране. Много было для них в диковинку. Анна Левитская видела жену офицера Красной Армии в длинной ночной сорочке, которую она приняла за «красивое платье; отправившись на рынок, та же женщина приобрела ночной горшок и хвасталась потом, что ей досталась красивая «ваза». Люди рассказывали, что своими глазами видели, как солдаты Красной Армии напяливали женские бюстгалтеры на уши, чтобы согреться.

Неудивительно, что многие советские солдаты, да и не только солдаты, вдруг растерялись, оказавшись в этой буржуазной стране чудес, и принялись напропалую хвастать преимуществами той страны, из которой явились. «Они говорили: “У нас такого завались”, — вспоминает Зенон Врублевски. — “А работы? У нас полным-полно работы!” — “А вот есть у вас то-то и то-то?” — “Еще бы! У нас этого хоть отбавляй!” Однако люди не верили им ни на грош».

Однажды, в центре Львова, Врублевский видел, как один из местных жителей поддразнивал двух красноармейцев: «“Товарищи, у вас есть дома сыпной тиф?” И те с гордостью отвечали: “Конечно, есть — сколько угодно. Скоро пригоним вам сюда пару составов!” Люди расхохотались, и солдаты поняли, что сморозили глупость».

Анна Левитская присутствовала при подобном разговоре офицера Красной Армии с ее матерью. «Он сказал: “Здесь все для буржуев. Все для них, а простые люди ничего не имеют. Но в нашей стране, в Советском Союзе, эти вещи доступны любому рабочему человеку. У нас полным-полно всего. И апельсины, их делают на фабри-

ке. Бери — не хочу. Икра самого прекрасного качества. Тоже фабричная. Сюда все скоро доставят, сами увидите... Вот такая в нашей стране жизнь. Мы производим апельсины, мандарины, икру — и всё на заводах. И каждый может купить". Нам оставалось только улыбаться! Как, ну как такие вещи можно делать на заводах?»

Но уже скоро проявились и куда более мрачные стороны советской оккупации. Начиная с заурядного мародерства — были случаи, когда советские солдаты просто забирали ювелирные изделия у прохожих — и до куда более тяжких преступлений. Анна Левитская узнала о двух своих подружках по школе, которых изнасиловали офицеры Красной Армии: «Те две девочки, рассказывая мне об этом, буквально тряслись от страха. И плакали. Они просто не понимали, как такое могло случиться. Они были в ужасе от происшедшего, и я тоже, когда они мне рассказали об этом».

И хотя воровство и насилие официально считались тяжкими преступлениями в Красной Армии, с самого начала оккупации Советы были настроены разграбить Восточную Польшу — присвоить собственность, обчистить людей, перевернуть с ног на голову все идеи, представляя принцип равенства по-своему, «по-марксистски». Быть зажиточным отныне считалось небезопасным. Если пройтись хорошо одетым по улицам Львова мимо красивого здания оперного театра считалось вполне нормальным и приятным времяпрепровождением, то теперь это стало свидетельством «буржуазного» поведения, караемого арестом. Часто забывают, что и нацистская оккупация Западной Польши в 1939 году, как и советская в том же 1939-м, была продиктована идеологическими установками.

Прилавки магазинов Львова и других городов Восточной Польши вскоре опустели, потому что в первые

дни оккупации советские власти ввели новый способ грабежа, установив совершенно неадекватный обменный курс советского рубля к польскому золотому. Это означало, что солдаты Красной Армии могли «купить» все, что хотели. В результате золотый совершенно обесценился. Богуслава Грынив увидела это на примере своего соседа, учителя латинского и греческого языков в престижной школе Львова: «Государственным служащим хорошо платили, и сосед поместил все свои сбережения в банк. Как только в воздухе запахло войной, он забрал все свои деньги из банка. У него был чемодан, полный денег.. Однажды [его племянник] пришел и сказал: “Сегодня мы жгли костер. Дядя спалил свой чемодан”. Дядя-учитель стал бросать банкноты в огонь, приговаривая: “Это — все мои сбережения за тридцать лет службы. А теперь они превратились в бумажки”». Вскоре торговлю заменила примитивная бартерная экономика — больше не было ни банков, ни бумажных денег, ни чеков. Люди отдавали шубы в обмен на 3–5 литров бензина или свитер в обмен на ведро картошки.

И Советы не просто разрушали все предыдущие, казалось, незыблемые реалии, такие как твердую валюту, они упразднили понятие собственности на движимое имущество как таковое. Солдаты Красной Армии в поисках мест временного расквартирования, просто ходили по улицам, пока им не приглянется приличный дом, после чего барабанили в дверь и объявляли, что вселяются. Анна Левитская и ее семья, владельцы комфортабельной виллы в пригороде Львова, узнали об этом, когда на пороге появились двое офицеров Красной Армии и объявили: «Это будет нашим местом расквартирования».

Каждый офицер Красной Армии занял несколько комнат причем они пришли не одни, а с женами. «Они завладели и мебелью, да и всем остальным, — рассказы-



вает Анна Левитская, — что означало — теперь все в этом доме их... Дом был небольшой — всего пять комнат — они заняли четыре из них... И мы никакого права на них не имели... Даже на одежду: “Это платье очень пойдет моей жене”, — объявил один из офицеров, забирая его...»

Анна, ее отец и мать раньше дружно и счастливо жили в этом доме. Теперь их всех закинули в одну комнату: «Нас все это просто поразило, понимаете. Уму непостижимо, как совершенно чужие люди могли просто так явиться и заявить права на все и при этом считать, что это вполне в порядке вещей... Вот такая для нас началась жизнь. Это было просто возмутительно. Мы не понимали этого и мучились. Мучились оттого, что не знали, а вдруг завтра они возьмут да скажут нам: “А ну-ка убирайтесь вон! Нечего вам здесь делать!” Ужас, да и только.»

Представители населения, близкие к социальному статусу семьи Анны Левитской — так называемая «буржуазная интеллигенция», — были особенно уязвимы перед произволом. Войдя в Восточную Польшу, советские власти стали распространять листовки, в которых призывали жителей восстать против своих, так называемых «истинных врагов» — богатеев, помещиков, чиновников и военных. Это было вторжение, целью которого было полностью перекроить, реструктурировать польское общество. «Они приказали нам выстроиться, после чего стали проверять у всех руки, — вспоминает один сельский житель. — А потом заставили выйти из строя всех тех, чьи руки показались им нежными, и “угостили” их ударами прикладов, а одного полицейского застрелили из револьвера»<sup>45</sup>.

Отдельные факты произвола в отношении «классовых врагов» коммунистической системы вскоре вылились в систематические массовые аресты. 27 сентября — всего 10 дней спустя после того, как войска Красной

Армии вошли на территорию Польши – органы госбезопасности забрали отца Богуславы Гринив. Он был видным адвокатом и главой регионального отделения Украинской национальной демократической партии. Поскольку УНДП считалась действующей в рамках закона партией, он считал, что ему опасаться нечего, но, как оказалось, сильно заблуждался на этот счет.

В тот день был церковный праздник, поэтому семья Гринив весьма удивилась приходу местного представителя советской власти. Он сообщил, что отца Богуславы Гринив «приглашают» приехать на встречу с временным правительством. «Моя мать сказала: “Сегодня праздник – мы обедаем. Так что приходите позже”. По выражению лица папы я понял, что он несколько взволнован. Он тогда сказал матери: “Раз требуют, я должен пойти”. Когда отца увели, мать велела нам каждый вечер молиться на икону за его скорое возвращение домой. Впрочем, нам только и оставалось, что уповать на Бога и молить его, чтобы с таким хорошим, добрым человеком, как мой отец, ничего плохого не случилось». Отец Богуславы Гринив был одним из первых, кто пострадал от рук советской власти в Восточной Польше. За последующие месяцы пострадали очень многие.

### Возвращения Риббентропа

В тот же день, когда в Восточной Польше был арестован отец Богуславы Гринив, в Москве имели место события несколько иного толка. В ходе быстрого овладения Польшей Советское правительство попросило, чтобы их новый друг и союзник Иоахим фон Риббентроп вернулся в Кремль для окончательной утряски новых границ между гитлеровской Германией и СССР. Настроение – обеих сторон – было весьма приподнятым.

Советы заняли свою «сферу влияния», почти не встречая сопротивления — СССР даже формально не объявил войну Польше. Но и Германия, невзирая на ожесточенное сопротивление польских войск, практически завершила захват Западной Польши — уже на следующий день — 28 сентября 1939 года — пала Варшава.

Контраст между первым, едва ли не тайным визитом Риббентропа месяц тому назад, и вторым, торжественным, был разительным. На сей раз Риббентроп вместе со свитой явился не на одном самолете «Кондор», а на двух. Прием гостей в московском аэропорту был обставлен со всей надлежащей помпой<sup>46</sup>, если верить генералу Кёстрингу. Был выставлен почетный караул, оркестр играл «Интернационал» и «Дойчланд юбер аллес». Над зданием аэропорта развевались флаги со свастикой. Несмотря на то что часть флагов повесили неправильно, отчего свастика приобрела несколько другой вид, гости не оскорбились — в конце концов, ведь «все делалось из самых лучших побуждений».

Риббентроп приземлился в Москве в шесть часов вечера, а к десяти часам он встретился со Сталиным и Молотовым в том же помещении — кремлевском кабинете Молотова. Сталин выразил «удовлетворение»<sup>47</sup> успехами немцев в Польше и выразил надежду на то, что сотрудничество между Советским Союзом и Германией будет развиваться в благоприятном направлении. В ответ Риббентроп, что было вполне в его духе, начал с серии вычурных и неконкретных заявлений об огромной значимости дружбы между двумя странами. Он подчеркнул стремление немцев к «сотрудничеству» с Советским Союзом. Но несмотря на напыщенность и безудержное красноречие, довольно трудно было понять, в какой именно форме будет осуществляться пресловутое «сотрудничество». Сталин, который произвел на

иностранных дипломатов впечатление присущими ему способностями с места в карьер переходить к сути обсуждаемых вопросов, ответил, что «министр иностранных дел Германии осторожно намекнул, что под “сотрудничеством” Германия не подразумевает потребность в оказании военной помощи или намерений втянуть Советский Союз в войну. Это было верно и тактично заявлено».

Затем советский лидер сделал, на первый взгляд, весьма экстраординарное заявление (причем остававшееся неизвестным вплоть до 90-х годов, пока не стал всеобщим достоянием расписанный буквально по минутам ход этой встречи; соответствующие документы были обнаружены Густавом Хильгером в архиве посла Германии в СССР Шуленбурга)<sup>48</sup>. «Факт — то, что в настоящее время Германия не нуждается в иностранной помощи, — сказал Сталин, — и возможно, что в будущем также не будет в ней нуждаться. Однако, если, вопреки всем ожиданиям, Германия окажется в сложном положении, то может рассчитывать, что советские люди придут на помощь Германии и не позволят Германии оказаться побежденной. Сильная Германия в интересах Советского Союза, и он не позволит, чтобы Германию втоптали в землю».

Действительно ли Сталин не исключал возможности оказания военной помощи Красной Армией Германии, если нацисты окажутся в «сложном положении»? Перспективы ужаснее для западных союзников и вообразить было трудно. Разумеется, в конечном итоге посулы Сталина не сбылись. Немцы так и не оказались в «сложном положении», настолько сложном, чтобы попросить о помощи своего новоиспеченного союзника. Но заявление Сталина все же доказывает, как далеко он был готов пойти в своем альянсе с Гитлером, и, принимая во

внимание последующие события, это заявление было и остается самым сенсационным из всех, когда-либо сделанных им.

Затем вождь Советского Союза перешел к частностям, вопросам чисто практического характера, высказав пожелание вновь рассмотреть вопрос об установленных на встрече 23 августа 1939 года границах. Теперь он пожелал обменять часть удерживаемой Советами Польши — территорию Люблина и южную часть варшавского региона — чтобы у него были развязаны руки в отношении Литвы. Таким образом, Советский Союз оставлял себе восточные территории Польши, со значительным процентом русского и украинского населения, и отказывался от чисто польских в этническом отношении регионов. Обсуждения продолжились в весьма прагматичном ключе. Риббентроп заявил о претензиях Германии на Августовские леса между Восточной Пруссией и Литвой (судя по всему, исключительно из-за прекрасных охотничьих угодий), а Сталин, в свою очередь, продемонстрировал стремление оказывать давление на все страны Балтии с тем, чтобы вынудить их стать сателлитами Москвы.

В тот же вечер в Андреевском зале Кремля был дан роскошный банкет. В отличие от подчеркнуто скромного кабинета Молотова, банкетный зал был «в цветах, а на столах драгоценный фарфор и позолоченное серебро»<sup>49</sup>. Среди этой воистину царской роскоши члены многочисленной свиты Риббентропа сидели попеременно с коммунистическими функционерами. Сталин представил Риббентропу Лаврентия Берия, главу НКВД, сопроводив это незабываемой фразой: «Посмотрите, это — наш Гиммлер — и он неплохой работник»<sup>50</sup>. Атмосфера была дружественной, было немало выпито. «С точки зрения репрезентативности, щедро-

го гостеприимства и теплоты, — вспоминал немецкий дипломат Андор Хенке, — этот ужин был одним из самых примечательных событий за все 23 года моей дипломатической карьеры»<sup>51</sup>. Сталин обошел весь банкетный зал и персонально чокнулся с каждым из членов немецкой делегации. А Молотов не упускал возможность поднять бокалы за здоровье товарища Сталина, «великого вождя Советского Союза и инициатора германо-советской дружбы». Сталин отреагировал на словословия Молотова шуткой: «Если Молотову хочется выпить, — сказал он, — я, конечно, не против. Но вовсе не обязательно использовать меня каждый раз в качестве оправдания»<sup>52</sup>.

На банкете немецкого дипломата Густава Хильгера посадили рядом с Лаврентием Берией. Советский руководитель НКВД — низкорослый, плешивый и жестокий — был, конечно, не самый лучший вариант для соседства на торжественном ужине. Хильгер впоследствии вспоминал, как Берия все время пытался спойть его. Сталин, сидя наискосок, заметив дружескую перебранку, поинтересовался, в чем дело. На объяснения Хильгера Сталин ответил: «Ну, если вы не хотите пить, никто вас не заставит». «Даже сам руководитель НКВД?» — в шутку спросил Хильгер. «Здесь, за этим столом, — пояснил Сталин, — даже у руководителя НКВД не больше прав, чем у остальных»<sup>53</sup>.

Молотов предложил тост за Риббентропа. «В знак уважения нашему гостю, приносящему удачу! — провозгласил он. — Ура Германии, ее фюреру и министру иностранных дел!»

«Соседство Германии и России, — произнес Риббентроп в ответ, — складывавшееся на протяжении многих столетий, закладывает основу дружбы между нашими странами. Фюрер рассматривает дальнейшую реализа-

цию нашей дружбы как вполне возможную, несмотря на различия наших систем. И в этой связи я предлагаю выпить за здоровье товарищей Сталина и Молотова, оказавших мне столь любезный прием»<sup>54</sup>.

После банкета немецкая делегация отбыла в Большой театр на балет «Лебединое озеро». Сталин и Молотов тем временем тут же приступили к запугиванию глав государств Балтии. Где-то в кремлевских коридорах их дождался министр иностранных дел Эстонии, которому Молотов сообщил о намерении разместить на территории Эстонии 35 000 солдат и офицеров Красной Армии. «Да ну, Молотов, — не согласился Сталин. — Не надо так пугать наших друзей». И советский лидер тогда предложил сократить численность контингента до 25 000<sup>55</sup>.

В ранние утренние часы произошла еще одна встреча членов германской и советской делегаций, и после консультации по телефону с Гитлером были доработаны детали соглашения. Подали карту, и Сталин подписал ее огромными буквами, пошутив при этом: «Ну, как? Подпись хорошо видна?»<sup>56</sup>

Для многих из присутствовавших на переговорах в Кремле описанные события ознаменовали начало нового мирового порядка. «Мне представлялось бесспорным, что новые германо-советские отношения, — писал Хильгер, — скрепленные двумя серьезными соглашениями, будут иметь долгосрочную выгоду для обеих сторон»<sup>57</sup>. Но крайне маловероятно, что Сталин всерьез полагал, что упомянутое соглашение на самом деле долгосрочно, куда вероятнее, что он рассматривал его лишь как способ дать на время задний ход, пока нацисты и западные союзники не вцепятся друг другу в волосы. Бытует мнение, что на заседании Политбюро 19 августа 1939 года он заявил, что «Советский Союз должен был сделать все возможное, чтобы затянуть войну и измотать

в ней западные державы»<sup>58</sup>, и в этом смысле договор о ненападении, конечно же, служил именно этой цели.

Однако, если следовать вниз по ступеням советской иерархии, на более нижних ее уровнях вера в соглашение была вполне искренней. Всего несколько дней спустя после подписания соглашения о границе Тюленев, один из советских военачальников в оккупированной Польше, прочел плененному Советами польскому генералу Владиславу Андерсу «пространную лекцию», в которой заявил: «Соглашение о дружбе с Германией обеспечило господство в мире русских и немцев. Вместе эти страны одолеют и Францию, и Великобританию, злейшего врага Советского Союза, покончив с ним навсегда». По словам Андерса, Тюленев тогда продолжил мысль, добавив, что «вступления в войну США не ожидается и что СССР будет использовать влияние коммунистической партии США для недопущения этого»<sup>59</sup>.

Но за океаном, хоть и не имея конкретной программы вступления США в войну, президент страны Франклин Делано Рузвельт не имел ни малейших сомнений насчет того, чью сторону он поддержит в военном конфликте. В середине августа он заявил Константину Уманскому, советскому послу в Вашингтоне, что ради будущего Советскому Союзу разумнее достичь в первую очередь соглашения с Великобританией и Францией, но не с нацистской Германией. Далее, послу было поручено «передать Сталину, что если его правительство намерено вступить в союзнические отношения с Гитлером, то как только Гитлер захватит Францию, наступит черед Советов»<sup>60</sup>.

Необычайный дар политического предвидения Рузвельта подсказал ему, что Гитлеру никак нельзя доверять. Но к концу сентября 1939 года советское руководство, вероятно, считало, что американский президент,



сделав столь грозное предупреждение, просто желал спровоцировать события. Потому что для русских все обстояло как нельзя лучше, не исключено, что даже куда лучше, чем предполагалось. Не в последнюю очередь из-за того, что Советы успокоились – теперь, после заключения мирного договора с Германией их заклятые враги Великобритания и Франция уже не осмелятся объявить войну СССР после вторжения Красной Армии в Восточную Польшу, и их планам втянуть СССР в войну не суждено осуществиться.

### **Союзники противятся – но только на словах**

20 сентября 1939 года британский премьер-министр Невилл Чемберлен, выступая в палате общин, заявил о вступлении советских войск в Восточную Польшу следующее: «Для несчастной жертвы этого циничного нападения результатом явилась трагедия самого мрачного характера. Мир, с глубоким сочувствием глядя на неравную борьбу Польши с превосходящим ее по силам противником, тем не менее восхищен доблестью, с которой народ даже теперь отказывается признать свое явное поражение... Нет такой жертвы, на которую мы не способны пойти, нет такой операции, которую мы не совершим... ради нашего вклада в победу. Но мы не станем ввязываться в авантюры, сулящие лишь кратковременный успех и рассчитанные на то, чтобы ослабить нас и тем самым оттянуть окончательную победу»<sup>61</sup>. Слова британского премьера впечатляют, но это всего лишь слова.

Британские дипломаты выразили куда меньший восторг по поводу перспективы военного конфликта с Советским Союзом (т. е. в «...авантюры, сулящие лишь кратковременный успех и рассчитанные на то, чтобы ослабить нас и тем самым оттянуть окончательную по-

беду», как выразился Чемберлен). «Я лично не вижу преимуществ для нас в войне с Советским Союзом, — писал посол Великобритании в Москве, сэр Уильям Сидс 18 сентября 1939 года в секретной телеграмме в Форин Офис, — хотя я отнюдь не против лично объявить ее г-ну Молотову»<sup>62</sup>. В той же самой телеграмме Сидс высказывает предположение, которому в скором будущем суждено было оказаться горестно неверным: «...советское вторжение в Польшу в перспективе все же возымеет для нас в будущем кое-какие преимущества, поскольку неизбежно оттянет значительную часть армии из самой России, а армии нужны продовольствие, горючее, обмундирование, транспорт, и, таким образом, немцам уже не придется рассчитывать на поставки военной техники или продовольствия»<sup>63</sup>.

Однако после подписания германо-советского соглашения о границе в конце сентября месяца сэр Уильям сделал пророчество куда более реалистичное, и что примечательно — как раз в тот момент, когда Великобритания без малого месяц находилась в состоянии войны с нацистской Германией. «Это следует принимать во внимание, — писал он в телеграмме от 30 сентября 1939 года, — что в случае затягивания войны захваченные Советами районы Польши, большей частью будут очищены от несоветского населения или классов, и его будет в принципе невозможно отделить от остальной части России». Сидс тогда засыпал вышестоящих в Лондоне вопросами, а нельзя ли вскользь намекнуть Кремлю, что «наши военные цели в целом отнюдь не противоречат возможности мирного урегулирования [в Польше] на этнографических и культурных принципах»<sup>64</sup>.

На первый взгляд, это было невообразимым предложением. Советский Союз только что ввел войска и только приступил к установлению своих порядков на восточ-

ной части страны, которую англичане перед всем миром поклялись защищать, и тут же высокопоставленное лицо правительства Великобритании конфиденциально предлагает эти агрессивные действия подать совершенно под другим соусом. Но другой высокопоставленный дипломат в Лондоне, сэр Айвон Киркпатрик, подтвердил взгляды Сидса в отчете от 1 октября: «Вмешательство России, естественно, в значительной мере затруднило восстановление Польши в прежнем виде, если вовсе не исключило его. Поэтому нам предстоит проявить мудрость и не делать громких заявлений о том, что мы признаем прежние границы Польши. Такое неизбежно втянет нас в весьма нежелательный для нас конфликт с Россией. Аргументация сэра В. Сидса достаточно убедительна...»<sup>65</sup> Киркпатрик приложил «карту-схему Польши» к своему отчету, подчеркнув, что новая граница, установленная Советами, почти совпадает с «линией Керзона», то есть демаркационной линией, предложенной лордом Керзоном, британским министром иностранных дел в 1919 году, когда его предложение было отклонено и поляками, и большевиками.

Между тем часть населения Великобритании была в явном замешательстве от того, что их страна так и не объявила войну Советскому Союзу. Если британские обязательства защитить Польшу от агрессии привели к войне с немцами, почему они не привели к войне с Советским Союзом?

Вышло так, что в этом вопросе британское правительство оказалось в весьма пикантной ситуации, поскольку германо-советский договор не был просто соглашением, к нему имелся еще и секретный протокол, впрочем, подобный же протокол прилагался и к англо-польскому договору 1939 года. Если обнародованный раздел этого соглашения в общих чертах предусматривал обязательства

Великобритании защитить Польшу от «агрессии», существовал и другой, секретный пункт, существенно сужавший круг обязательств, но только на случай агрессии со стороны Германии. Для объяснений бездействия англичан перед лицом явно агрессивных действий СССР граф Пертский, главная фигура в британском министерстве информации, 5 октября 1939 года обратился с посланием к постоянному заместителю министра иностранных дел сэру Александру Кадогену, убеждая его в том, «что настало время сообщить о существовании секретного протокола к договору между Польшей и нами»<sup>66</sup>.

Что примечательно, он также добавил, что такой шаг сулит выгоду, дескать, «российское правительство, узнав о существовании упомянутого протокола, как мне представляется, убедится в том, что в наши планы не входит возврат Польши в старые границы до начала войны».

Кадоген, имевший за плечами Итон и Оксфорд, человек, отнюдь не склонный к поспешным эмоциональным реакциям, не давал ответа на письмо Перта до 3 ноября 1939 года, но в ответе заявил, что, мол, хотя польское правительство в изгнании и дало согласие на обнародование секретного протокола, «мы все же решили, что нецелесообразно делать какие-либо заявления о существовании аналогичного секретного протокола и у нас с поляками, ибо это лишь вызовет вопросы, а не существуют ли подобные секретные протоколы и к другим нашим соглашениям...»<sup>67</sup> Ко времени письма Кадогена линия британского правительства в отношении этой досадной темы прояснилась окончательно. Хотя открытого признания секретного протокола так и не последовало, в Палате общин было сделано заявление, пояснившее, что поляки «поняли», что «рамки соглашения ограничиваются лишь случаем агрессии со стороны Германии»<sup>68</sup>.

Так изначально была проведена черта между действиями советской и германской армий в Польше. Причины налицо. На чисто практическом уровне вряд ли было разумным для Великобритании объявлять войну еще одной тоталитарной державе. Британское правительство уже доказало, что не в состоянии защитить Польшу от одного агрессора, не говоря уже о двух. Просто Польша лежала слишком далеко от Великобритании, чтобы эффективно защитить ее. Нагляднее всего нежелание британцев с самых первых дней войны гарантировать полякам неприкосновенность их границ иллюстрируют секретные обмены дипломатическими посланиями. И это не только очередной пример твердолобого прагматизма, но и демонстрация того, что часть высокопоставленных дипломатов из британского МИДа считала восточные границы Польши «до известной степени подвижными». Нетрудно усмотреть в этих дипломатических и правительственных обсуждениях пропасть между высокопарными публичными заявлениями британского правительства; с одной стороны – «циничная агрессия... мрачайшая трагедия», и, с другой стороны, совершенно иная тональность в обменах секретными посланиями – «...советское вторжение в Польшу в перспективе все же возымеет для нас в будущем кое-какие преимущества...»

С одной стороны, конечно, удивляться особенно нечему. Ни для кого не секрет, что политики всегда столь уверены в своей правоте, что без колебаний утаивают факты, противоречащие их позиции. Однако в данном случае это важно, поскольку Вторая мировая война изначально приняла обличье войны «идей», едва ли не крестового похода нового времени против Зла, и, как мы убедимся, во всех последующих заявлениях лидеров западных союзных держав упор будет делаться именно

на столкновение идей. Но на начальном уровне негласно существовал некий довольно ясно определяемый баланс — необходимость выбора между «этикой» и традиционным, старым, как мир, стремлением действовать в угоду собственным, национальным интересам.

### Репрессии

Будучи уверенными в том, что западные союзники не предпримут никаких практических шагов для воспрепятствования Советам извлечь максимальную выгоду из возникшей ситуации, советские власти не медлили в своем стремлении установить контроль над населением Восточной Польши. И ключевую роль в этом играли репрессии, масштаб которых не в силах был скрыть и фарс с «выборами», проведенными уже 22 октября 1939 года.

Право баллотироваться на выборах получили лишь кандидаты, одобренные советскими властями — а в некоторых случаях это, по сути, означало, чтоб выбирать было не из кого. «Верно, — признает Николай Дюкарев<sup>69</sup>, бывший сотрудник НКВД, действовавший на территории оккупированной Польши, — [если] существовал только один кандидат, [то] все мы выбирали его. Не так, как сейчас».

Советские власти нередко сознательно отыскивали потенциальных кандидатов из малообразованных, зачастую вовсе неграмотных крестьян. «Мы пытались выбрать бедняков, потому что мы доверяли им больше, — признает Дюкарев. — Они поддерживали Советский Союз, в то время как богатые думали только о собственных интересах. В конце концов, [бедняк] проработал всю жизнь, и, значит, он хороший человек». На одном предвыборном собрании некий пан Ковалевский набрался

смелости и высказался начистоту: «Вы нарочно выбираете идиотов в кандидаты, — заявил он, — чтобы набрать списки побольше»<sup>70</sup>. Какова была его дальнейшая участь, так и осталось неизвестным, но, принимая во внимание беспощадность органов НКВД, вполне можно предположить, что он был подвергнут аресту.

Другой главной задачей было систематическое разрушение прежней системы образования. Тем учителям, которым все же удалось остаться в школах, было настоятельно рекомендовано всячески проповедовать совершенно новые, прежде греховные и недопустимые вещи, например, очернять католическую церковь, восхвалять Сталина и коммунизм. Естественно, все это осуществлялось в атмосфере постоянно нагнетаемого страха.

«Когда пришла Красная Армия, — вспоминает Зенон Врублевски, в ту пору школьник, — они в классной комнате повесили портрет Сталина. Мы были детьми старого режима, и в особенностях нового не разбирались. Ну, взяли и подрисовали Сталину усы попышнее! Наш старый учитель — пожилой человек — тут же кинулся к директору школы. Тот прибежал в класс. Был скандал, и он снял портрет. А мы хохотали. Но позже мы все поняли. Учитель сказал нам: “Как вы не понимаете, идиоты? Неужели вы не понимаете, что вам-то ничего не будет, а вот нас, учителей они упрячут за решетку [за это]!” Мы были страшно напуганы. Кто мог подумать, что эта, в общем, невинная шутка послужит поводом, чтобы посадить в тюрьму наших учителей?»

Но советские власти полагались не только на запугивание при преобразовании польской системы образования — они использовали и моральные стимулы. Польский генерал Андерс рассказывал о некоем приеме, широко использовавшемся Советами, — они за-

ставляли детей понять, что их мир изменился: «Большевистская комиссия... посетила одну из начальных школ, где большинство учеников голодали вследствие нехватки еды. “Вас приучили молиться, — сказали русские. — Вот теперь возьмите и помолитесь своему Богу, чтобы он дал вам хлеба”. И заставили детей молиться. Потом наступила продолжительная пауза. “Вот видите, ничего он вам не дал. А теперь попросите о том же великого Сталина”. И тут же в класс внесли чай, бутерброды и конфеты. “Теперь вы видите, кто лучше и могущественнее”»<sup>71</sup>.

Той осенью одновременно с попытками «перевоспитания» населения Восточной Польши крепло сотрудничество с немцами в форме практической работы германо-советского пограничного комитета. Эта группа была создана после состоявшейся 27 сентября встречи Риббентропа и деятелей Советов, ей было поручено формально закрепить прохождение границы между двумя государствами. В конце октября 1939 года всех членов различных подкомитетов собрали в оккупированной немцами Варшаве для получения соответствующих инструкций. «Эта [встреча] организовывалась немецким посольством, — писал Андор Хенке<sup>72</sup>, — которую я, как руководитель немецкой делегации, должен был представить. Это была первая возможность, начиная с изменения политики, чтобы отплатить русским за их гостеприимство. Согласно срочному распоряжению имперского министра иностранных дел особое внимание уделялось организации двухдневного пребывания советских чиновников (и офицеров Главного пограничного комитета, а также подкомиссиям, действовавшим в германской сфере контроля) с тем, чтобы эти два дня в польской столице стали для них приятным событием».



Ганс Франк, только что назначенный нацистским правителем этой части занятой немцами Польши, даже пригласил советскую делегацию на завтрак. В его выступлении в германо-советском пограничном комитете Франк выразил «восхищение», что одна из его первых задач как генерал-губернатора состояла в том, чтобы принять представителей Советов. Он добавил, что «целью комитета является восстановление мирной жизни жителей [бывшей] польской территории, которым прежние слепцы-правители причинили невероятные страдания»<sup>73</sup>. Глава советской делегации, ответственный работник министерства Александров, выступил с ответной речью, в которой заявил, что «эти переговоры проникнуты духом сотрудничества на благо пользу народов Германии и СССР, двух самых великих народов в Европе». Эта атмосфера неподдельного дружелюбия выразилась и в жесте Франка, предложившего Александрову сигарету, сказав при этом: «Мы с вами оба закурим польские сигареты, чтобы символизировать факт, что мы развеяли Польшу по ветру»<sup>74</sup>. (Франк знал, что говорил, — впоследствии он будет казнен по приговору Нюрнбергского трибунала за совершенные на территории Польши военные преступления, а прах его развеян по ветру.)

Тем временем в части Восточной Польши, занятой Красной Армией, процесс советизации продолжал осуществляться на национальном уровне — только что «избранные» делегаты обратились с просьбой о включении захваченных территорий Восточной Польши в состав Советского Союза. Верховный Совет — удивляться этому не приходится — согласился с их просьбой, и 28 ноября 1939 года все жители Восточной Польши враз превратились в граждан СССР, причем независимо от их воли.

И конечно же, ключевая роль советского контроля — того, который шел рука об руку с радикальным административным переделом, — был и оставался террор. Всего за первый период после прихода Советов, т.е. между сентябрем 1939-го и июнем 1941 года было арестовано около 110 000 человек<sup>75</sup>. Мы ведь уже видели на примере с отцом Богуславы Гринив, как осуществлялись аресты отдельных лиц, представителей польской интеллигенции, и не только, поскольку Советы именно в них видели серьезную угрозу новому режиму уже с момента, когда Красная Армия перешла восточную границу страны. И заведомо надуманное обвинение, по которому был арестован отец Богуславы Гринив, — не более чем пример, своего рода образец советского правления в Восточной Польше.

Сразу же после ареста отец Богуславы Гринив был брошен в местную тюрьму. «Это была маленькая камера, — вспоминает его дочь, — в которой содержались пьяницы, мелкие воришки и хулиганье... И мы уже знали, что самые важные люди, оставшиеся в городе, также находились в этой тюрьме... Они считали это временным недоразумением. Но примерно три недели спустя мы навестили их, но их уже там не было». Отец Богуславы был направлен в более крупную тюрьму в Черткове, но и там он все еще полагал, что просто стал жертвой «недоразумения». Как выяснилось, ему в вину вменялось лишь пребывание в рядах Украинского национального демократического союза, организации, вполне легальной в прежней Польше до вторжения Советов и не отличавшейся антибольшевистской платформой. Гринив не понимал, в чем состоит его преступление, — по мнению Советов, оно состояло в том, что в нем усмотрели потенциально опасного человека — принадлежавшего к бывшему «правлящему классу». Именно такие

люди более всего уязвимы, когда воцаряется новый режим. И однажды, это было уже в конце 1939 года, отец Богуславы Гринив просто бесследно исчез из тюрьмы. Лишь полвека спустя его семья наконец узнала, что он был расстрелян НКВД весной 1940 года.

### Судьба Финляндии

Никаких акций массового протеста общественности по поводу ввода советских войск в Польшу ни в Великобритании, ни в США осенью 1939 года не последовало — сработала версия Советов об «освободительном походе» в Восточную Польшу. А вот в случае с другой, граничившей с Советским Союзом страной — Финляндией — использование подобной аргументации было уже чересчур.

Сталин и советское руководство жаждали отторгнуть от Финляндии кусок территории по двум главным причинам: существующая граница пролегла лишь 30 км западнее Ленинграда, и Советы опасались нападения финнов, желавших заполучить порт на Балтийском море. Прежде, до революции, Финляндия управлялась из Санкт-Петербурга на правах великого княжества Финляндского, а после революции обрела суверенитет, и остальному миру намерения Советов представлялись уже вполне агрессивными, несмотря ни на какие заверения в том, что ввод советских войск в Финляндию также окажется «освободительным походом», как это имело место в Восточной Польше.

В октябре, когда стало окончательно ясно, что Финляндия вот-вот подвергнется нападению Советов, британские политики были в явном замешательстве. Несмотря на советско-германский договор, англичане пытались достичь заключения торгового соглашения с

Советским Союзом; с одной стороны, чтобы запастись весьма необходимым лесом, с другой – чтобы лишний раз не раздражать Сталина. Уинстон Черчилль, тогда 1-й лорд Адмиралтейства, даже отважился заявить членам Кабинета 16 октября 1939 года: «Именно в наших интересах СССР [Советский Союз] должен усилить присутствие на Балтике, таким образом, предотвращая риск доминирования Германии в упомянутом регионе»<sup>76</sup>.

Однако теперь действия Советского Союза представляли уже несомненную опасность для Северной Европы – отнюдь нельзя было исключать, что с оккупацией Финляндии вся Скандинавия окажется под угрозой установления над ней советского контроля. В этом случае англичанам приходилось думать и над тем, как сохранить лицо. Г-н Сноу, британский посланник в Хельсинки, сформулировал это по-своему 21 октября 1939 года: «Я предполагаю, что об оправдании столь хладнокровного преступления [советская оккупация Финляндии] не может быть и речи со стороны главных заинтересованных лиц [Великобритании и Франции], ведущих с агрессором войну идей в аспекте имевшего место попрания Советами всех норм [вступление в Восточную Польшу], полный разрыв отношений с Советским правительством вызвал бы только поддержку в общенациональном масштабе, поскольку всякое попустительство скомпрометирует нас не только в глазах скандинавов, но и наших соотечественников...»<sup>77</sup> Сноу отстаивал точку зрения о том, что в случае советского вторжения в Финляндию (названного им «вопиющим преступлением») единственный выбор для англичан – «разрыв дипломатических отношений с Россией или объявление ей войны».

Разумеется, изложенное Сноу мнение резко отличается от куда более прагматических взглядов на данный вопрос, высказанных его коллегами из Форин Офис. И это

заявление Сноу тем не менее никак нельзя сбрасывать со счетов, причем не потому, что оно сыграло некую определяющую роль (никакой роли оно вообще не сыграло), а потому, что продемонстрировало, что искренняя вера в «войну идей против агрессии» в тот период была присуща не только всякого рода романтикам вне властных структур, но и внутри таковых.

Британский Комитет начальников штаба попросили рассмотреть практический аспект войны с Советским Союзом в свете возможного советского вторжения в Финляндию. В их отчете, разумеется, отсутствовал едва ли не мессианский пыл Сноу, хотя в нем признавалось, что «в настоящее время искренность намерений Франции и Великобритании подвергается сомнению, а германская пропаганда обретает силу, в особенности в Италии и Испании, ибо мы не объявили войну России, невзирая на то, что она, по примеру Германии, уже посягнула на свободу малых стран»<sup>78</sup>. Для начальников штабов, однако, главной проблемой были не принципы, а чисто практические аргументы за и против: «Таким образом, главное в том, перевесят ли преимущества от поддержки нейтральными государствами предпринятых нами шагов, направленных против российской агрессии, те явно неблагоприятные условия, проистекающие из бесспорного увеличения наших военных затрат, а также из вероятности того, что мы, таким образом, сплотим Германию и Россию». Заключение состояло в том, что «мы вместе с Францией не в состоянии взять на себя бремя дополнительных трудностей», но «если» кабинет военного времени решит, что Великобритания все же должна занять определенную позицию, важно выбрать «нужный момент», а он наступит с созданием угрозы жизненно важным для нас залежам железной руды Швеции.

С британским правительством — в отличие от г-на Сноу — дело обстояло иначе: оно все еще не могло определиться в том, какова должна быть их политика в случае нападения Советского Союза на Финляндию 30 ноября 1939 года. Советы рассчитывали завершить эту войну в 12 дней, и западные союзники были едины во мнении, что Красная Армия с преимуществом в живой силе почти три к одному быстро управится с финнами. Но она не управилась.

Михаил Тимошенко<sup>79</sup>, в то время рядовой 44-й украинской дивизии Красной Армии, вспоминал, насколько эффективно финны использовали тактику партизанской войны против вторгшихся Советов: «Небольшими группами, скажем, человек в 10–15, финны подкрадывались к нашим привалам у костров, открывали автоматный огонь короткими очередями и тут же снова исчезали... Когда мы посылали солдат им вдогонку по их следам на снегу, они уже не возвращались. Финны подстерегали их и уничтожали огнем из засады. Мы поняли, что с финнами воевать было просто невозможно... Я лично считал, что это было просто недоразумением — решение объявить им войну не укладывалось у меня в голове. Почему они послали нашу дивизию туда, где противника не было, да еще в такие морозы? Когда люди гибли, замерзая?» Из полка, в котором служил Тимошенко, в живых осталась лишь восьмая часть из двух с половиной тысяч бойцов.

Тем временем в Великобритании росло возмущение действиями Советского Союза. В отличие от успешной пропагандистской кампании, когда Москве удалось ввести в заблуждение Запад об истинном характере ввода войск в Восточную Польшу, в случае с Финляндией нарушение международных норм было налицо. В конце концов, различия между нападением

Германии ни Польшу и Советского Союза на Финляндию были довольно небольшими. И там, и там — пример сильной страны, оказывающей давление на более слабую.

Под давлением общественного мнения и опасаясь потенциальной угрозы всей остальной Скандинавии, британское правительство предложило помощь — хоть и весьма ограниченную — финнам в виде десятка бомбардировщиков «Бленхейм» и кредита в полмиллиона фунтов стерлингов. Но скоро стало ясно, что финнам долго не устоять против Красной Армии. В первые месяцы войны лучшим союзником финнов оказалась погода — сильнейшие морозы. Но морозы не вечны — зимы кончаются веснами. И как только сойдет снег, огромное превосходство живой силы Красной Армии заявит о себе. В результате от начальника Генерального штаба потребовали вновь рассмотреть возможность ведения прямых военных действий на стороне финнов.

Слухи об этом дошли до британского коммуниста Брайана Пирса, недавно завербовавшегося в подразделение Королевских Нортумберлендских стрелков — и эта новость поставила его в чрезвычайно затруднительное положение. Он пошел в армию, поскольку считал, что «все коммунисты обязаны участвовать в войнах, одним словом — быть рядом с рабочими... Коммунисты всегда презирали пацифизм... Самое главное — быть вместе с рабочими, рабочие идут в армию, и вы идите вместе с ними; разумеется, могут возникнуть обстоятельства, когда вы, будучи в армии, сможете послужить делу революции. Вы же понимаете, что может случиться и так, когда именно коммунисты и спасут отечество, короче говоря, войны открывают массу возможностей».

Пирс признает, что для него «было бы весьма неблагоприятно», если бы его вдруг отправили в Финляндию сражаться против советских войск. «Мне бы тогда пришлось просто перейти на их сторону... Нет сомнений, что Красная Армия – наша армия, и в подобной ситуации я должен быть за Советский Союз... Мы ведь были теми, кто хранил верность другой стране. Мы и не рассматривали ее как чужую страну; это был штаб мировой революции. Мы были британской частью Коммунистического интернационала – они – российской секцией, они первыми совершили революцию и поэтому были авангардом».

Он даже признал, что и его, и других британских коммунистов призывали провоцировать беспорядки в Великобритании с целью борьбы за дело коммунизма. «Думаю, что мы, вероятно, пошли на это. Вполне возможно, что в те дни пошли. Понимаете, мы ведь были так преданы Советскому Союзу. Советский Союз был светочем мира, выражаясь религиозным языком. И тебе ничего не стоило пойти на мелкие преступления ради достижения великой цели, в конце концов, цель оправдывает средства...»

На счастье Брайана Пирса, британское правительство все же решило не предпринимать полномасштабной военной операции в целях оказания помощи финнам, и, таким образом, ему так и не пришлось перебежать на сторону противника.

Но сотни британских добровольцев, которые, в отличие от Брайана Пирса, настроенные резко отрицательно к советской агрессии, действительно отправились в Финляндию плечом к плечу с финнами сражаться против Красной Армии. Но все это было напрасно, ибо, как и прогнозировалось, стоило сойти снегу, как вместе с ним сошли на нет и преимущества финнов.



Война завершилась в марте 1940 года, и финнов вынудили пойти на заключение мира с Советским Союзом, причем на условиях даже более унижительных, чем первоначально поставленные Кремлем еще до начала вооруженного конфликта.

Вероятно, советско-финскую войну можно было считать своего рода «малой войной», да еще в отдаленной стране, но тем не менее без внимания она не осталась. Она продемонстрировала дальновидным представителям как германского, так и британского генералитета неспособность советских вооруженных сил к боевым действиям в сложных условиях. Немецкий Генштаб пришел к заключению, что «советская “масса” не идет ни в какое сравнение с армией, располагающей опытными командирами высшего звена»<sup>80</sup>. И британские военные эксперты прямо заявили, что, если Германия в будущем задумает нарушить договор Молотова — Риббентропа и вторгнуться в Советский Союз, Красная Армия окажется не в состоянии отразить удар<sup>81</sup>. Эту же мысль высказал и рядовой Красной Армии Михаил Тимошенко: «Немцы, вполне естественно, пришли к выводу о слабости Красной Армии. И во многих отношениях они были правы».

Финская война также в очередной раз продемонстрировала и неразбериху в стане британцев, отсутствие у Великобритании четкой политической линии в отношении Советского Союза. Англичане, как мы убедились, оказали весьма скромную военную помощь финнам, сражавшимся против Красной Армии. Так были ли Советы врагами или все же не были? Вела ли Великобритания — по выражению г-на Сноу — «войну идей», или же просто заурядную во всех отношениях войну? Стала ли война справедливее с угрозой интересам британцев — в виде потери доступа к залежам железной руды в Шве-

ции? В общем, все выглядело крайне непоследовательно, путано, и адекватной оценки тем событиям как не было дано тогда, так не дано и поныне.

### Первые депортации поляков

В феврале 1940 года под грохот пушек финской войны советские власти приступили к массовым репрессиям и депортациям населения Восточной Польши. Всего было четыре волны высылки, и каждая из них была направлена против конкретной группы населения. Первая началась в ночь на 10 февраля 1940 года, и высылке подлежали те, кто представлял собой объект особой ненависти Сталина — участники войны 1920 года между Польшей и большевистским государством, известные как «осадники»<sup>81а</sup>.

2 декабря 1939 года Берия представил Сталину отчет об осадниках, помеченный грифом «Совершенно секретно». Отчет начинался с исторического экскурса: «В декабре 1920 года бывшее польское правительство издало декрет о расселении так называемых осадников в приграничных с СССР областях. Осадники были выбраны исключительно из бывших польских военнослужащих, они получали земельные наделы по 25 гектаров, а также домашний скот и сельхозинвентарь и расселялись вблизи советской границы (у Белоруссии и Украины)»<sup>82</sup>. Берия считал, что само существование этих людей в Восточной Польше представляет угрозу для Советского государства. Он утверждал, что они «представляют благоприятную почву для любых антисоветских действий». Резюме было простым: «Мы считаем необходимым депортировать их вместе с семьями...» Всего два дня спустя он получил добро; все осадники должны были быть высланы в самые отдаленные районы Советского Союза на принудительные рабо-

ты на «лесозаготовительных предприятиях»<sup>83</sup>. Из их числа предстояло выявить «злостные элементы» и подвергнуть их отдельному аресту.

Николай Дюкарев был сотрудником подразделения НКВД в восточной части Польши [ныне Украина] в городе Ровно, ему было поручена организация высылки. «В конце 1939 года мне было приказано выселить осадников, — вспоминает он, — и мы приступили к расчетам, сколько семей придется высылать... В то время я был молодым человеком, мне было всего 20 лет. Я не понимал большую часть происходящего — и потом у меня на руках был приказ из Киева». Дюкарев понимал, что осадники «были нашими врагами. Они были настроены против Советского Союза и поддерживали Польшу. Мы были наслышаны, что местные жители ненавидели их, они были люди зажиточные, имели землю, у них было все, в то время как другие перебивались с хлеба на воду».

При проведении депортаций НКВД действовал с максимальной внезапностью и достаточно быстро, и этим мероприятиям предшествовала тщательная и засекреченная подготовка. Николай Дюкарев в течение нескольких недель объезжал крестьянские хозяйства осадников в Ровенской области, выдавая себя за «специалиста по сельскому хозяйству». Его приглашали в крестьянские дома, где он расспрашивал, сколько человек в семье, о размерах земельных наделов и количестве домашнего скота. Лишь после того, как все упомянутые сведения были собраны, НКВД был готов приступить к массовой депортации.

Первое, что Веслава Сатернус узнала об операции, проводимой НКВД, это когда ранним утром 11 февраля 1940 года их семья была разбужена громким стуком в дверь. Веслава Сатернус проживала вместе с отцом, ма-

терью и тремя братьями и сестрами. Ее отец за двадцать лет до описываемых событий сражался против большевиков и за это получил земельный надел в районе Влодзимежа-Волыньского — таким образом, вся семья подпала под категорию «осадников». Полусонный отец отпер дверь и впустил солдат. «Двое из них вели себя очень жестоко и агрессивно, — вспоминает Веслава. — Они приказали отцу сесть на пол, а руки заложить за голову».

Старший группы из троих, по словам Веславы, вел себя вежливее, он объявил, что вся семья подлежит «переселению». Бабушка Веславы находилась в их семье в гостях и пыталась протестовать, дескать, «а причем здесь я», однако офицер НКВД отмахнулся: «Это не имеет значения — вы подлежите переселению вместе с вашими родственниками». В суматохе мать Веславы торопливо складывала все, что могла. Дети расплакались, видя, что творится, солдаты подвергли личному досмотру отца — не прячет ли он что-нибудь под одеждой. Один из солдат велел ее сестре Кристине взять с собой куклу — подаренную ей к Рождеству — но та не хотела. «Тогда он [солдат НКВД] отдал эту куклу мне, — утверждает Веслава, — и сказал мне по-польски, непонятно откуда он знал наш язык, так вот, он сказал мне: “Забери хоть куклу, потому что там, куда вас повезут, таких уже не будет”. Ну, я и прихватила эту куклу с собой, и правильно сделала, потому что потом мать сумела обменять ее на еду».

Семье дали всего полчаса на сборы, а потом вывели из дому и усадили на грузовик. После того как их доставили к ближайшей железнодорожной станции, велели забраться в товарные вагоны: «Потом вагоны закрыли... Я даже запомнила характерный звук замка — мне до конца жизни его не забыть. И тогда мы поняли, что нас посадили под замок, как рабов, собственно, нас и превратили в рабов». В ходе первой депортации было вы-

слано примерно 130 000 человек — по некоторым оценкам — до 200 000 человек. Этот ужасающий переезд длился неделями. Веслава Сатернус и ее семья были доставлены в сборный лагерь в Сибири. «Голод был страшный, — вспоминает женщина, — странная вещь — голод. Этого никто не в состоянии понять, пока сам не почувствуешь. Настоящий голод способен превратить человека в животное».

«Я отвечал за высылку одной или двух деревень, — вспоминает Николай Дюкарев. — Не знаю, что уж там с ними было. Но это была очень тяжелая работа [организовать депортации]. И неприятная. Когда я был молодым, все было по-другому — тебе приказали, ты выполнил. Но сейчас я считаю, что так нельзя было поступать, в особенности с маленькими детьми, иной раз вспомнишь об этом, и на душе тяжело. Не могу я об этом говорить. Я знал, что они были нашими врагами, врагами Советского Союза, и должны были быть “перевоспитаны”... Это сейчас я раскаиваюсь, а тогда я об этом не задумывался».

За всеми акциями НКВД, как считал Дюкарев и его коллеги, маячил призрак вождя Советского Союза: «Поймите, Сталин в те времена был для нас почти что богом. И любой его приказ — истиной в последней инстанции. Ты даже подумать не мог, что он может ошибаться. Любое его решение было единственно верным. И так думал не только я один, так думали мы все. Мы строили коммунизм. Мы выполняли приказы. Мы верили».

Параллельно с высылкой «классовых врагов» осуществлялся непрерывный контроль за недавно советизированным населением Восточной Польши с тем, чтобы гарантировать их лояльность новому политическому режиму. Не существовало ни свободы слова, ни свобо-

ды совести, ни свободы передвижения, да и вообще никаких свобод. И, в первую очередь, советские власти были настроены с корнем вырвать любое проявление национализма.

Галина Ставарская<sup>84</sup> на собственном опыте познала, как новый режим расценивает любое проявление политического инакомыслия, когда в первые дни советской оккупации в дверь ее небольшого дома неподалеку от Львова раздался стук. НКВД пожелал допросить ее о деятельности Организации украинских националистов (ОУН) – политической группировки, ставшей при новом режиме незаконной. Сотрудники НКВД считали, что Галина, которой тогда было 19 лет, сотрудничала с ней. Ее доставили в львовскую тюрьму на допрос:

«Там сидело трое сотрудников. Физически сильных мужчин. И они спросили меня: “Вы состоите в подпольной организации?”»

Я ответила: “Нет”.

“Вы действительно – член этой организации?”

“Нет”.

“Какова ваша роль в этой организации?”

Я сказала: “Я не состою ни в какой организации. Как у меня может быть роль в ней, если я не член организации?”

И тогда они стали избивать меня... Били как попало, и в спину, и по голове. Крепкие были ребята, откормленные. И, знаете, очень спортивные».

Когда у следователей устали кулаки, они стали охаживать девушку резиновыми дубинками: «Такие палки резиновые длиной в полметра. У меня на шее был синий кровоподтек, темная полоса, она долго не заживала. Я вся была в черных полосах от этих дубинок. Мне казалось, что я попала в ад... Больно обо всем этом вспоминать. Били меня и били... Без конца... Но я так сказала им – я скорее подохну, чем что-то скажу им».

Галина умоляла своих мучителей, ссылаясь на отца, мать, на друзей. Но напрасно. «Они наслаждались, избивая меня... Это были самые настоящие садисты... А как они меня оскорбляли. Я ведь была девчонкой, даже и не целовалась ни разу с мужчиной».

Потом избрали новый вид истязаний — стали рвать волосы на голове у Галины: «Они вырвали мне волосы... Такие красивые волосы у меня были, светлые, вьющиеся».

После «допроса» девушку бросили в камеру, где было полно других арестованных. Камера была битком забита людьми. И там ей помогли другие девушки. Одна меня умыла. В камере находилась и одна монахиня... Очень верующая женщина с ласковыми руками. Она погладила меня, и я сразу успокоилась».

В перерывах между допросами и побоями Галина урывками спала на единственном свободном месте — у ведра с нечистотами, служившим туалетом: «Мочились люди как придется, пол вокруг ведра был весь залит мочой и испражнениями. Кто был дежурным по камере, тот и прибирал. Наталия Шухевич [тоже арестованная] не выдержала этой работы — ее рвало. Ужас, что там творилось».

Однако все описанные здесь страдания жителей Восточной Польши, оказавшейся в руках Советов, так и не стали тогда общеизвестным фактом на Западе, поскольку их затмило другое преступление, ставшее, невзирая на препоны, общественным достоянием. Речь идет о массовых убийствах, известных как Катынские расстрелы.

### Злодеяния в Катynie

5 марта 1940 года Сталин<sup>85</sup> вместе с другими членами Политбюро — Ворошиловым, Микояном и Молотовым, подписал лично предложенный Берией вариант

расправы над поляками, вылившийся в расстрел свыше 20 000 граждан Восточной Польши, большинство из которых составляли офицеры регулярной службы и запаса Войска Польского. Об этих расстрелах мир впервые узнал в апреле 1943 года, когда немцы, к тому времени еще оккупировавшие Смоленск и Смоленскую область в Западной России, обнаружили братскую могилу в лесу у деревушки под названием Катынь (это было фактически лишь одно массовое захоронение жертв НКВД из трех). Этому открытию суждено было на многие годы стать камнем преткновения в отношениях СССР и стран Запада.

Катынские расстрелы (получившие общее название по первому из обнаруженных мест захоронения — там было найдены останки свыше 4000 человек) стали именем нарицательным по ряду причин; не в последнюю очередь потому, что вообще массовые расстрелы были характерны для политики Сталина и его окружения. Разумеется, в Советском Союзе отдельные группы населения подлежали физическому устранению и прежде, но полностью истребить, например, почти весь офицерский корпус армии, пусть и недружественной страны, — ничего подобного не имело места. До Катыни «обыденным явлением» — способом, которым сталинский режим избавлялся от многочисленных групп неугодных, была высылка. Уровень смертности в различных лагерях в советском ГУЛАГе колебался, доходя нередко и до 20% ежегодно. Большая часть польских офицеров запаса и рядовых солдат, захваченных Красной Армией осенью 1939 года в плен, например, попали именно в лагерь.

Георгий Драгунов, офицер Красной Армии, служивший на занятой Советами Восточной Польше, вспоминает, как высылки стали «рядовым событием, уж на это мы насмотрелись. Я раньше жил рядом с железной до-



рогой, и в 1930-х годах видел составы, битком набитые людьми... В конце концов мне это стало казаться обыденным явлением — если поезда с людьми шли в Сибирь из Москвы, почему бы им не идти из Западной Белоруссии [такое название получила после присоединения к СССР часть Восточной Польши]. Мы были воспитаны в убеждении, что так поступают со всеми врагами народа, а врагов надлежит отправлять подальше. Только теперь, задним числом, я понимаю, что это были лучшие люди, — но ведь такие вещи понимаешь далеко не сразу, нужно прожить жизнь, чтобы понять это». И если высылки, да и расстрелы стали «обыденным явлением» в СССР и широко применялись к советским гражданам, почему для бывших польских граждан должны быть исключения?

Документы НКВД позволяют предположить о нескольких возможных причинах этих расстрелов. Во-первых, советская система ГУЛАГа была практически переполнена и уже не могла вместить осенью 1939 года внезапный приток польских военнопленных — а их было захвачено около 250 000 солдат и офицеров. И на самом деле проблема оказалась настолько серьезной, что был отдан приказ об освобождении приблизительно одной трети захваченных солдат. Существенно то, что лишь самым младшим чинам было позволено возвратиться домой — ни один из офицеров так и не был освобожден. Вместо этого их распределили по трем лагерям — в Козельске (юго-восточнее Смоленска), Осташкове (Калининская, ныне Тверская область) и в Старобельске (Луганская область, Восточная Украина). Помимо офицеров Войска Польского среди заключенных было много представителей польской интеллигенции, видных граждан страны: врачей, адвокатов, академиков и писателей. НКВД оставался верным постав-

ленной цели и проявившейся еще в первые дни оккупации — выявление и изоляция представителей польской интеллигенции.

Условия жизни в этих лагерях осенью, которые никак не назовешь комфортными, все же считались по советским стандартам вполне приемлемыми. Заключенным делали прививки от болезней, таких как сыпной тиф и оспа, им разрешалось отправлять и получать письма. Но один из документов НКВД от 1 декабря 1939 года<sup>86</sup> доказывает, что советские власти уже не рассматривали этих захваченных поляков как «обычных» военнопленных — они были отнесены к категории «контрреволюционеры». И, будучи таковыми, подлежали суду и вынесению приговора, наказанию за их «преступления». В лагеря были направлены следователи НКВД, которые допрашивали заключенных, так продолжалось несколько месяцев. Следователи быстро разобрались, кто из них готов сотрудничать с коммунистическим режимом или даже стать коммунистами. Но большей частью поляки стояли на своем — придерживались традиционных взглядов: приверженности римско-католической церкви, повсеместной на их родине. Уже в первые недели 1940 года, после того как НКВД завершил изучение всех военнопленных до единого, все считали, в первую очередь, сами представители НКВД и властей, что поляков просто-напросто распылят по необозримому ГУЛАГу<sup>87</sup>. Однако к 5 марта было принято решение уничтожить их.

Общеизвестный факт, что Сталин смертельно ненавидел Польшу и поляков. Именно это и определило упомянутое преступное решение, кроме того, масла в огонь подлил и Берия, заявив Сталину, что польские заключенные, дескать, «неисправимы». Кроме того, из более поздних переговоров Сталина с западными союзниками понятно, что он не собирался включать в состав

будущего польского государства территории, захваченные Советским Союзом осенью 1939 года. В сложившихся обстоятельствах представители польской элиты, которую Советы держали в лагерях, считались наиболее опасными. Большинство из них, вне всякого сомнения, после возвращения в оккупированную Советами Восточную Польшу оказывали бы сопротивление сталинскому режиму.

Другим фактором, который, возможно, оказывал влияние на Сталина, было его ознакомление с методами и менталитетом нацистов. Существовали контакты с нацистами, оккупировавшими западную часть Польши, причем они не ограничивались сотрудничеством в пограничной комиссии. Проводился и обмен тысячами заключенных. Сотрудники гестапо и НКВД даже встретились во Львове в октябре 1939 года для обсуждения вопросов, представлявших взаимный интерес, а позже рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер и 1-й заместитель наркома внутренних дел СССР Меркулов встретились в Берлине в ноябре 1940 года. Сталин был прекрасно осведомлен о репрессивных акциях, проводимых нацистами на западе Польши. В безумных этнических чистках нацисты выселяли в восточную часть занятой ими Польши десятки и сотни тысяч польского населения из таких регионов, как Данциг/Западная Пруссия и область вокруг Познани, переименованных нацистами в Вартегау и включенных в состав Великогерманского рейха. Наряду с этим нацисты насильственно загоняли польских евреев в гетто, а выявленных представителей польской интеллигенции отправляли в концентрационные лагеря. И на самом деле, последние исследования доказывают, что часть акций — таких как арест в ноябре 1939 года нацистами членов Академии наук Польши в Кракове и подобные же аресты, проводимые

практически одновременно органами НКВД в университетах Львова, предварительно обсуждались и координировались сотрудниками нацистской и советской служб безопасности<sup>88</sup>. Из этого явствует, что Сталин и Берия, видя, насколько радикальными методами нацисты перекраивали Западную Польшу, решили последовать их примеру и тоже действовать более радикально.

Впрочем, трудно со всей определенностью утверждать, насколько эффективным оказалось влияние нацистов на образ действия Советов, одно является бесспорным – Советы понимали всю выгоду для себя от устранения польского правящего класса. К тому же и опасаться было просто некого – ну, кто сможет когда-либо вскрыть подобные преступления? И если бы Берия выбрал место для расстрела польских военнопленных где-нибудь подальше, скажем, в Сибири, а не Катьинский лес под Смоленском, упомянутые преступления, вполне возможно, не стали бы достоянием гласности и поныне.

Без тени сомнения в том, что безнаказанность гарантирована, Сталин и его приближенные подписали приказ 5 марта 1940 года. Согласно этому приказу после «проведения особого расследования» поляки подлежали физическому уничтожению в случае, если данные расследования будут свидетельствовать об их «нежелательности» для советского режима. Приказ от 5 марта 1940 года распространялся не только на немногим менее 15 000 поляков, находившихся в трех перечисленных лагерях, но и на почти 11 000 граждан Восточной Польши, многие из которых были украинского или белорусского происхождения, арестованных за «контрреволюционную деятельность» и содержавшихся в тюрьмах. «Проведение особого расследования» поляков в лагерях для военнопленных представляло собой просто трагифарс. Почти все они были осуждены на смерть по-

сле беглого прочтения их «дел» так называемой «тройкой» — Меркуловым, Баштаковым и Кобуловым. Меньше 400 поляков сумели избежать пули расстрельной команды — фактически все они ранее выразили желание остаться в Советском Союзе.

Из этих 11 000, находившихся в тюрьмах, предполагалось уничтожить чуть более 7000. Таким образом, в общей сложности, согласно официальным данным — причем представленным лишь после падения коммунистической системы, — 21 857 человек были казнены в соответствии с приказом от 5 марта 1940 года.

Но одно дело отдать приказ об уничтожении тысяч и тысяч людей, другое — его исполнить. И Сталин, и его окружение, отдав такой приказ, столкнулись с еще одной проблемой — организовать быструю физическую расправу над несколькими тысячами иностранных граждан и суметь соответствующим образом надавить на руководство НКВД с тем, чтобы избежать возможных «сбоев в работе».

Полную картину того, как НКВД выполнял этот приказ, удалось получить лишь в 1991 году, когда сотрудник военной прокуратуры России опросил генерал-майора Дмитрия Степановича Токарева, бывшего начальника НКВД по Калининской области<sup>89</sup>. Он признал, что вместе с двумя другими сотрудниками НКВД в марте 1940 года его вызвали в Москву, где Богдан Кобулов, начальник Главного экономического управления НКВД СССР, проинформировал его, что «в высших эшелонах власти» было принято решение расстрелять всех поляков. Токарев тогда попросил Кобулова побеседовать с ним с глазу на глаз. Как только они остались вдвоем, Токарев заявил, что, дескать, ни разу в жизни не принимал участия ни в чем подобном. Но ему было сказано, что «мы на вас рассчитываем!».

Вернувшись в Калинин, Токарев приступил к подготовке. В Калининской тюрьме для убийств было выделено два помещения с обитыми войлоком стенами — заглушить звуки выстрелов. Сначала заключенных приводили к сотруднику НКВД, который сверял его фамилию по списку — чтобы ненароком не расстрелять не того. Затем на него надевали наручники и уводили в соседнее помещение, где выстрелом в затылок убивали. Тело тут же убирали, и процесс повторялся.

Первый транспорт поляков из близлежащего лагеря Осташков прибыл в калининскую тюрьму в апреле 1940 года. «Я должен признаться, что в первую ночь доставили 300 человек, — показал Токарев. — Это было слишком много. Ночи становились короче, а мы вынуждены были работать только по ночам. После этого стали доставлять по 250 человек на ночь». Вследствие нехватки людей к расстрелам привлекались и младший состав НКВД, и вспомогательный, включая водителей и надзирателей. Один из них, Блохин, даже изобрел для себя особую «рабочую одежду» — коричневый кожаный передник, кожаные рукавицы и кожаную кепку. «Я был в ужасе», — признавался Токарев. По зловещей иронии судьбы советские убийцы пользовались немецкими пистолетами вальтер: отечественные часто давали осечки. Но даже отличное немецкое оружие быстро изнашивалось от интенсивной эксплуатации, и, как вспоминал Токарев, приходилось всегда иметь при себе «чемоданчик» запасного огнестрельного оружия. Токарев показал, что расстрелы продолжались около месяца — всегда по ночам. Как только все поляки калининской тюрьмы были умерщвлены, состоялся банкет в честь успешного «выполнения задания». По словам Токарева, он в этом мероприятии не участвовал.

Расстрелы поляков, находившихся во втором по счету из трех лагерей — под Старобельском, осуществлялись в харьковской тюрьме НКВД по той же схеме. Тела расстрелянных транспортировали на грузовиках к месту массовых захоронений в близлежащей сельской местности.

Расстрелы заключенных козельского лагеря осуществлялись иначе. Их сначала транспортировали в Катьинский лес под Смоленском и там же, вблизи будущего места захоронения, и расстреливали. Нина Воеводская<sup>90</sup>, в 1940 году одиннадцатилетняя девочка, вспоминает, как видела прибывавшие на запасные пути станции Гнёздово товарные вагоны с поляками. Станция эта располагалась всего в нескольких километрах от Катьинского леса. Девочку пропускали в запретную зону, поскольку ее дядя, сотрудник НКВД, предложил ей и младшей сестре «поглядеть на поляков». Он проводил девочек, минуя посты охраны НКВД, к запасным путям, где стоял состав из вагонов с зарешеченными окнами. «Поляки махали нам из вагонов, — вспоминает она. — Это были молодые ребята в военной форме. Я даже помню, что они мне понравились — такие симпатичные».

Согласно более ранним данным, всех поляков по ночам перегоняли от станции в лес. Но один из прокуроров, назначенных российскими властями в 1990 году для расследования Катьинских расстрелов<sup>91</sup>, подтвердил верность показаний Нины Воеводской: по последним данным, палачи в лесу не могли справиться с таким наплывом людей, поэтому полякам иногда приходилось дожидаться казни прямо в вагонах на станции Гнёздово, иногда сидя в них целыми сутками под охраной НКВД. И каким неправдоподобным может показаться рассказ Нины Воеводской, что, дескать, поляки были само дружелюбие, это вполне укладывается в ло-

гические рамки — дело в том, что полякам говорили, что их переправляют в лагерь добровольцев. И убедительности ради даже снабдили сухим пайком на срок пути и сделали прививки. Ну, кто станет делать прививки обреченным на заведомую гибель?

От станции Гнёздово поляков на грузовиках НКВД отправляли в лес. И вскоре местным жителям стало ясно, что в этом лесу происходило. Один колхозник, О. Киселёв<sup>92</sup>, признавался немцам в 1943 году, что «весной 1940 года, месяца полтора, а то и дольше в лес прибывали по 3—4 грузовика с людьми ежедневно... Потом слышалась стрельба и крики, голоса были мужские... В нашей округе все знали, что поляков расстреливали сотрудники НКВД».

Нет достоверных сведений о причинах, почему поляков свозили на расстрел в Катинский лес, а не в Смоленскую тюрьму НКВД, чтобы уже потом транспортировать их к месту захоронения в Катыни. Но, возможно, роль сыграло то, что лес был обнесен забором — в течение многих лет территория захоронений считалась запретной зоной — по-видимому, именно это, а также наличие небольшого дома в лесу, в котором палачи НКВД имели возможность расправляться с жертвами, и определило выбор — куда удобнее и безопаснее расстреливать поляков рядом с их будущими могилами.

### Апрельские депортации

Одновременно с тем, когда польские офицеры и представители интеллигенции расстреливались в Катыни, Калинин и Харькове, их родственникам в Восточной Польше также была уготована нелегкая участь. Вскоре после 5 марта 1940 года Берия добился у Сталина одобрения еще одной директивы НКВД — о высылке



из Восточной Польши матерей, сестер, детей и других родственников расстрелянных поляков.

Семья Богуславы Грынив, чей отец был расстрелян в рамках исполнения пресловутого приказа от 5 марта 1940 года в Катыни, прознала про то, что предстоящей ночью за ними явится НКВД. Однако ее мать отказалась от попытки скрыться, полагая, что ее собираются отправить на воссоединение с мужем, исчезнувшим из тюрьмы за несколько месяцев до этого. «Нет, нет, — сказала она, — вспоминает Богуслава. — Мы едем к нашему отцу. Мы должны доказать ему, что помним и любим его».

Около полуночи 13 апреля 1940 года они услышали стук в дверь. Это был солдат НКВД. И оказалось, что он даже каким-то образом сочувствовал этой семье. «Мать сказала ему: “Мы готовы, мы здесь”. Он ответил: “Что вы имеете в виду?” И, войдя в чулан, спросил: “Что это все значит?” “Мы собрались”, — пояснила мать. “Куда и зачем?” — не понял солдат.

Короче говоря, солдат, зная о том, что им предстоит высылка, дал им множество полезных советов насчет того, что с собой взять — моя мать никогда практичностью не отличалась. Вы знаете, он фактически заставил нас взять [все эти вещи с собой]. Мы были ему очень благодарны».

И что поражает — подлежавшие высылке высказывают самые разные мнения относительно поведения солдат НКВД. Если Богуслава Грынив была «очень благодарна» человеку, выславшему ее и ее семью, то мнение Тадеуша Маркова<sup>93</sup> было диаметрально противоположным. «Мы только успели захватить хлеб на завтрак, потому что нам было сказано, что к ужину мы вернемся, — писал Марков. — Они [также] велели нам одеться похуже, потому что тогда легче будет освободить нашего отца». (Пример

неприкрытого обмана — всего-навсего вещи получше уже приглядели себе сами сотрудники НКВД.)

В городе Ровно на восточной окраине занятой Польши у самой границы с Украиной одну семью подняли с постелей сотрудники НКВД. Это произошло тоже в апреле месяце 1940 года. Нина Андреева<sup>94</sup>, школьница, жила со своей овдовевшей матерью. Минувшей осенью арестовали ее старшего брата, харцера<sup>94а</sup>. Ее история, как и история Богуславы Грынив, еще одно доказательство далеко идущих последствий катынской резни и напоминание о том, что от директивы Берии пострадали не только польские офицеры и представители интеллигенции и их родственники.

НКВД приехали за братом осенней ночью: «Я так перепугалась, когда мама разбудила меня. К нам пришли незнакомые люди в военной форме. Юрик [брат Нины Андреевой] стоял в своем школьном пальто и попрощался со мной. Тогда я видела его в последний раз». Мать отчаянно пыталась отыскать сына или хотя бы разузнать о его судьбе, но единственное, что она узнала, то, что НКВД проводили массовые аресты — в особенности они охотились за харцерами, — якобы в связи с тем, что одного из советских комиссаров незадолго до этого обнаружили убитым в близлежащем парке: «Они проводили расследование, выясняли, кто из мальчиков был соучастником убийства. Короче говоря, они арестовали всех мальчиков для «перевоспитания» — те ведь были воспитаны в польском духе. Что означало — анти-советски».

Как и семья Богуславы Грынив, Нине Андреевой и ее матери дали всего двадцать минут на сборы, после чего они были депортированы сотрудниками НКВД. Но в отличие от солдат, явившихся в семью Богуславы Грынив, эти солдаты особой порядочностью не грешили.

«Не берите с собой много», — сказали они ей и ее матери. «Не берите ни ценных вещей, ни золота, ни денег».

«А что тогда брать? — спросила Нина. — Ладно, возьму свою куклу».

Как и остальных, подлежащих депортации, их с матерью усадили на грузовик, довели до ближайшей железнодорожной станции, а там распихали по переполненным вагонам для отправки на восток СССР.

Условия в вагонах были ужасны. Богуслава и ее мать ехали в железнодорожном вагоне, превращенном в двухэтажный — багаж внизу, а люди с постельными принадлежностями наверху. Люди не имели возможности даже встать. «Вот тогда я и заработала заболевание вен на ногах, — свидетельствует Нина Андреева. — Именно из-за того, что много дней пришлось сидеть в неподвижности».

«Было просто невыносимо. Туалетом служило ведро. Трудно было привыкнуть к такому способу отправления естественных надобностей. Кроме того, не было никакой возможности ни постирать, ни переодеться. И так продолжалось целых две недели... Почти у всех женщин вследствие стресса начались месячные».

«Все время, пока находились в этом вагоне, мы не могли отделаться от чувства вопиющей несправедливости в отношении нас. [Мы всегда считали], что наше имущество и жилище неприкосновенны. Один крестьянин однажды сказал: “Меня уже не понизишь — я простой крестьянин...” Они думали, что, если у вас была земля, дом, то это навеки ваше, никто не вправе отобрать у вас их, а вас самих отправить неизвестно куда. Когда мой отец строил наш дом, он сказал: “Это — моим детям и внукам...” А тут вдруг все рухнуло».

Осмотревшись, Богуслава поняла, что в этом вагоне собрались представители всей этнической палитры Восточной Польши — хотя большинство составляли поляки

католического вероисповедания, но были также украинцы и евреи. Она так и не сумела определить, по каким критериям Советы подвергали их насильственной высылке. Откуда ей было знать, что все дело было в родстве с расстрелянными польскими военнопленными.

Хуже всего в дороге пришлось старикам и детям. На глазах Нины Андреевой умерла девочка женщины, сидевшей рядом с ней, а один из охранников НКВД на ходу поезда выбросил тело мертвого ребенка из вагона. «Тяжело, очень тяжело вспоминать об этих ужасах», — признается Нина Андреева.

Депортированных в апреле 1940 года поляков направляли в самые отдаленные регионы Советского Союза, включая Сибирь и Казахстан, но никого из них не направили на север, как это имело место с депортированными в феврале месяце того же года. Поскольку целые семьи — включая кормильцев — были взяты в феврале, многих из них отправили на лесоповал. Но поскольку апрельские высланные были в основном женщины и дети, их рассредоточили по изолированным колхозам.

Поезд, на котором ехали Нина Андреева и ее мать, прибыл на место поздно вечером после более чем двухнедельной поездки на какой-то отдаленной станции в Северном Казахстане. Все вокруг было покрыто снежной кашей и грязью, куда ни кинь — степь и редкие деревья.

По прибытии на место депортированных снова посадили на грузовики и доставили на конечный пункт. «Ехали мы медленно, — говорит Нина, — из-за снега. А снег весной тает. И наш грузовик застрял посреди поля. А поле огромное, конца не видно, там в Казахстане все поля огромные. Вдали виднелся лес, и мы своими глазами видели, как оттуда вышла целая стая волков».

Нина и остальные, кто сидел в кузове, в ужасе смотрели на пытавшихся атаковать грузовик волков: «Кузов

располагался достаточно высоко, но все равно было очень и очень страшно. Мать свернула коврик, который мы взяли с собой, водитель смочил его в бензине и поджег, а потом стал размахивать горящим ковриком как факелом. Волки отступили, но до самого утра не уходили».

Прибывший утром трактор вытащил грузовик из снега, и поездка продолжалась до самого отдаленного колхоза. Там их ждал еще один неприятный сюрприз. Казалось, и деревни никакой нет: «Там не было вообще никакого жилья. Потом вдруг мы заметили струйку дыма... Потом еще одну и еще. Отовсюду шел дым. Оказалось, он исходит из землянок. Потом из землянок стали выбираться люди».

Разумеется, для Нины и ее семьи, людям привыкшим к более-менее цивилизованным условиям проживания, землянки воспринимались как нечто невообразимое. Но и это еще не все — прибывший председатель колхоза стал науськивать людей на прибывших: «Он сказал [сельским жителям]: «Вы этих не принимайте, это враги народа. Они — поляки и враги народа». Для нас это могло означать лишь одно — гибель на холоде. Но некоторые из сельских жителей, казахи, сжалились над высланными и предоставили им убежище в сараях или землянках».

Однако женщина, которая взяла Нину Андрееву и ее семью, несколько недель спустя умерла от туберкулеза, председатель колхоза снова выгнал их на холод: «Тогда мама пошла в областной центр пешком. А до него было 17 километров, если не больше... Там они согласились взять ее санитаркой в больнице».

На полученные гроши, заработанные в больнице, мать Нины смогла нанять землянку вместе с другими высланными: «Жилище был кошмарное — двенадцать семей проживали в нем. У нас был угол в землянке и

только корзины, взятые из дому. Там мы и спали и жили... В общем, так продолжалось три года».

В первую зиму умерла мать одной из высланных женщин, проживавших в той же землянке, что и семья Андреевых: «Это была очень суровая зима. Мороз был настолько сильным, что невозможно было даже вырыть могилу для покойницы. Никакого кладбища не было и в помине. Умерших просто выносили и зарывали в снег. Одичавшие псы и волки пожирали их [тела]. Он [сын умершей женщины] никак не соглашался похоронить мать в снегу. «Прошу вас — не злитесь, но я не хочу, чтобы мою мать разорвали волки. Пусть она пока полежит здесь [пока земля не оттаяла, и тогда ее и похороним]. Она и так превратилась почти в скелет. И при таком холоде тело не будет разлагаться». Люди пошли сыну навстречу и в сенях уложили покойную». И все каждый день ходили мимо умершей — мать на работу, а я в школу».

Депортированные — а это были в основном женщины и дети, были вынуждены выживать в совершенно невероятных условиях, худших, какие только можно себе вообразить, и при этом мучились еще и оттого, что не знали ничего о судьбе своих близких — мужей, братьев, отцов. В российском архиве отыскался листок бумажки с нацарапанными словами — кто-то из высланных с горестью вспоминал дни, когда они жили всей семьей. Это было письмо, написанное маленькой девочкой по имени Крыся Мыкунска, письмо было адресовано «нашему доброму дорогому отцу Сталину». «Я сейчас заболела, — пишет она, — и мне очень грустно, потому что я скучаю по своему папе, которого я не видела очень долго. И я думаю, что только ты, великий Сталин, сможешь вернуть его. Он был инженером, и во время войны его призвали в армию, а потом он попал в плен. Он сейчас в Козельске [в тюрьме], неподалеку от Смоленска. Нас

прислали из Пинска [в Восточной Польше] в республику Казахстан... Здесь у нас нет семьи. Моя мать очень слаба. Верни нам нашего отца, прошу тебя всем сердцем»<sup>95</sup>. Разумеется, письмо маленькой девочки Сталину так и осталось без ответа.

Нет точных статистических данных, сколько людей было выслано из Восточной Польши в тот апрель 1940 года и погибло на чужбине, хотя называют число в одну треть депортированных. По результатам архивных изысканий, обычно называется около 60 000 человек, но многие считают эти данные заниженными — цифра в 300 000 человек куда ближе к истине<sup>96</sup>.

Что действительно доказывают документы, так это непосредственную связь между апрельскими высылками и массовыми расстрелами в Катыни. После расстрелов мужчин их семьи надлежало разбросать по бескрайним морозным степям восточной части Советского Союза. Никого из членов семей расстрелянных ни в чем не обвиняли — они были невинные жертвы — даже по советским меркам. Единственная их «вина» — родственная связь со зверски умерщвленными польскими офицерами. Это невероятное по масштабам преступление. Преступление, за которое никто пока что не был привлечен к ответственности.

### Реакция Союзников

Депортации не представляли тайны, о них сообщалось в западной печати. «Советские власти отправляют огромную массу населения Восточной Польши во внутреннюю Россию, — сообщала «Нью-Йорк таймс» 15 апреля 1940 года. — Высылаемым дают лишь четверть часа на сборы... даже тяжело больных людей транспортируют в нетопленных товарных вагонах...»<sup>97</sup> В статье

также сообщалось о ночных арестах поляков сотрудниками НКВД, ужасающих условиях в советских тюрьмах в Восточной Польше и о том, что на оккупированных территориях происходит демонтаж всего мало-мальски пригодного промышленного оборудования, а также захват транспортных средств.

Британское правительство было в деталях осведомленно о событиях в Польше. Сэр Говард Кеннард, английский посол при польском правительстве в изгнании, находившемся в Лондоне, представил 18 мая 1940 года соответствующий отчет лорду Галифаксу, министру иностранных дел Великобритании. Вот что говорится в этом отчете: «Продолжаются широкомасштабные депортации населения... Арестованные большей частью принадлежат к кругам интеллигенции, включая их жен и семьи польских офицеров, в данный момент находящихся за границей. По имеющимся данным, арестам подвергнуто много школьников... Подобная участь грозит и полякам-землевладельцам в северных частях оккупированной Советами Польши, и самое ужасное, что оставшиеся в живых — главным образом, женщины и дети, близкие тех, кто находится сейчас за границей или же в советских тюрьмах или лагерях для интернированных»<sup>98</sup>.

Всего за две с лишним недели перед тем, как послать упомянутый отчет, Кеннард предупредил своих коллег в британском МИДе, что польское правительство в изгнании рассматривало вопрос об обращении к правительству Великобритании с требованием осудить «злодеяния», имеющие место в занятой Советами Польше и выразить «решительный протест» против этих «варварских» методов<sup>99</sup>. По словам Кеннарда, он предупредил членов польского правительства, что «считает чрезвычайно затруднительным добиться согласия на подобное заявление британского правительства. Во-первых, Со-



веты не в состоянии войны с нами, и, во-вторых, я понимал, что мы в данный момент не испытываем желания делать подобные заявления».

Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел сэра Уильям Стрэнг ответил на отчет Кеннарда 14 мая, заявив, что «мы вполне согласны с линией, проводимой вами... Одно дело для всех трех союзников сделать совместное заявление против Германии, с кем мы все находимся в состоянии войны, и совсем другое сделать подобное совместное заявление против Союза Советских Социалистических Республик, с которым одни только поляки разорвали дипломатические отношения»<sup>100</sup>. Отсюда нетрудно сделать вывод, что британское правительство не только знало о злодеяниях, творимых в Восточной Польше, но и стремилось замалчивать их, в то же время гневно осуждая нацистов за злодеяния, творимые в оккупированной ими Западной Польше.

Нетрудно понять, почему Форин Офис проводил подобную линию, ибо это было по существу продолжение политики, избранной сразу же после советского вторжения в Восточную Польшу в сентябре 1939 года. Не просто было воевать с Германией и при этом не ссориться с Советским Союзом. Однако такое официальное умалчивание в конечном итоге привело к тому, что большая часть населения Великобритании вообще не в состоянии была провести параллель между поведением нацистов и русских в Польше и что советское руководство, в свою очередь, поняло, что безнаказанность им гарантирована, пусть даже их деяния в Восточной Польше и публично порицались.

Позиция Великобритании основывалась на убежденности, что Советский Союз никогда всерьез не воспринимал нацистов как своих союзников, а Советы просто-напросто решили заключить договор с Герма-

нией о ненападении. В действительности, однако, все обстояло несколько по-другому. Фактически на тот момент — правда исключительно на словах — Советский Союз был союзником нацистов и обеспечивал поставки сырья для подпитки германской военной машины и даже — что стало одной из непостижимых загадок войны — оказывал немцам военную помощь.

### Тайная военная помощь Германии

Начиная с осени 1939 года германские торговые суда, не таясь, заходили в незамерзающий порт Мурманск на Крайнем Севере Советского Союза, загружаясь там пшеницей для доставки ее в Фатерланд. Немецкие моряки свободно передвигались по городу и отдыхали в «Международном клубе моряков», размещавшемся в деревянном доме неподалеку от порта. В результате, причем невзирая на официальное неодобрение, существовали весьма тесные отношения немецких моряков с местными девицами. По словам Марии Вечевой<sup>101</sup>, в то время семнадцатилетней мурманчанки, «было вполне обычно, если некоторые моряки заводили среди наших подружек».

Но пока моряки германского торгового флота общались с жителями советского Мурманска, постепенно развивалось тайное военно-морское сотрудничество, о котором, естественно, вслух не говорили. Истоки этого сотрудничества следует искать в вопросе, заданном Риббентропом на сентябрьской встрече в 1939 году со Сталиным и Молотовым<sup>102</sup>. Министр иностранных дел Германии пустил тогда пробный шар — поинтересовался, а не могли бы Советы предоставить в Мурманске базу для ремонта подводных лодок Кригсмарине, и тогда же это было в принципе согласовано. Но советские власти были весьма обеспокоены тем, что в один прекрас-

ный день это станет известно англичанам — или кому-нибудь еще. Шутка сказать: СССР предоставляет военную помощь нацистам!

5 октября посол Германии в Москве Шуленбург сообщил, что Молотов считает, что Мурманск «недостаточно изолирован»<sup>103</sup> как военно-морская база для принятия германских подлодок и предложил в качестве базы отдаленный порт Териберка<sup>103а</sup>. Но уже шесть дней спустя Советы вновь изменили планы и выбрали соседний залив Западная Лиза. Вскоре Наркомат Военно-морского флота СССР официально подтвердил, что немцы могут использовать этот залив в качестве ремонтной базы для своих подводных лодок и, возможно, других военно-морских плавсредств. В целях соблюдения секретности категорически воспрещалось упоминать название залива в сообщениях, впредь должно было использоваться нейтральное название «Северная база». 1 декабря 1939 года германское судно обеспечения «Заксенвальд» вошло в гавань «Северной базы»; оно стало первым из нескольких судов, которым предстояло разместиться там. Чуть позже, 9 декабря, в рамках расширения военного сотрудничества между СССР и гитлеровской Германией, Советы обратились к немцам с просьбой: «Не могли бы германские суда, направлявшиеся в Северную Швецию, захватить провиант и топливо для советских подлодок и затем не приметно передать им грузы в открытом море»<sup>104</sup> в целях оказания помощи советскому флоту при проведении операций по морской блокаде Финляндии. Однако четыре дня спустя Советы, судя по всему, спохватились и отозвали запрос.

Однако советские власти все же довольно настороженно относились к германскому военному присутствию в этой отдаленной части Советского Союза. Немцам, например, не разрешалось установить собственную радио-

связь с базой. Все их сообщения передавались только через передатчик советского сторожевого катера, стоявший на якоре в заливе. Это было чрезвычайно затруднительно, поскольку Советы плохо владели методикой передачи латинского текста, отсюда нередко возникали ошибки. Минувала неделя за неделей, однако база как была, так и оставалась захолустьем. Ни подводные лодки, ни другие плавсредства не прибывали. База была рассчитана на ремонт двух подлодок, но одна потонула еще до обустройства базы, а вторая так и не прибыла, что, вполне вероятно, объяснялось недоверием немцев в ответ на недоверие русских. В конце концов, дело дошло до того, что суда обеспечения едва не исчерпали доставленные запасы.

В середине апреля 1940 года немцев попросили перебросить базу дальше на восток вдоль побережья в еще более отдаленное место — в Иоканьгскую губу Святоносского залива Баренцева моря. Молотов заявил германскому военно-морскому атташе в Москве, что, дескать, переброска продиктована опасениями СССР, что авиация союзников, поддерживавшая финнов, вполне могла засечь германские суда. Посетив новую «Северную базу» 20 мая 1940 года, немецкий офицер связи Ауэрбах обнаружил своих соотечественников на судах обеспечения в деморализованном состоянии. Он не обнаружил ни малейшего улучшения, как было обещано, более того, «настроение упало, по сути дела, оттого что “Северная база” оказалась бесперспективной затеей»<sup>105</sup>. Да и гостеприимство Советов оставляло желать лучшего; на судне, забравшем Ауэрбаха в Мурманск, как сообщил он, советский коллега вообще отказался говорить с ним. Это переполнило чашу терпения немца, и по завершении визита Ауэрбах едва не слез с нервным расстройством.

Официальные лица в германском посольстве в Москве полагали, что все ошибки проистекают от со-

ветской системы управления, но никак не от саботажа Кремля. Немецкий военно-морской атташе писал, что «военно-морской наркомат и часть других советских ведомств боятся главы правительства... они не хотят брать на себя ответственность [самостоятельно]»<sup>106</sup>.

Жизнь для немецких моряков на «Северной базе» была невеселой. В апреле 1940 года доктор Кампф, врач германского судна обеспечения «Финикия», жаловался в своем дневнике на «российские условия, которые лишь относительно можно считать приемлемыми — пересоленная рыба, оленина и говядина с весьма заметным душком и прогорклое сливочное масло»<sup>107</sup>. Сочетание отвратительного провианта, полнейшей изоляции и осознания очевидной бессмысленности миссии негативно повлияли на здоровье немецких моряков. В среднем каждый из них потерял свыше 12 кг веса, моряки ощущали «постоянную усталость, заставлявшую их спать по 16–18 часов в сутки... Кроме того, у многих открылось кровотечение десен, вызванное цингой... и другие непонятные симптомы... Многие чуть ли не постоянно ощущали позыв к мочеиспусканию, причем мочеиспускание носило скудный характер...»<sup>108</sup>

«Мы чувствуем себя совершенно заброшенными, — писал доктор Кампф 4 мая. — Окрестности не очень привлекательны: серые сопки и снег. Ни единого дерева, ни кустарника даже... Мы почти исчерпали запасы питьевой воды... Атмосфера на борту гнетущая, постоянные конфликты. Некоторые моряки направили письменные жалобы главнокомандующему...»<sup>109</sup> А впечатление, произведенное на Кампфа одним советским офицером, выражено в его дневниковой записи от 29 мая: «Русский офицер связи — злобный тип, недоверчивый и при любом удобном и неудобном случае задевает нас. И постоянно оправдывается: “Сначала необходимо запросить

свое командование”. Он — лейтенант, но больше смахивает на недалекого подхалима, а не на офицера. Я просто вне себя»<sup>110</sup>.

Факт существования «Северной базы» весьма существенен, хотя выгоды от нее немцам не было никакой (за исключением единственного судна, стоявшего там на приколе и в апреле отбывшего для оказания помощи Кригсмарине во время успешного вторжения немцев в Норвегию). Он важен, поскольку наглядно иллюстрирует двойственное отношение Советов к оказанию помощи немцам. С одной стороны, Советы, несомненно, предоставили немцам военную базу снабжения; но с другой, если рассматривать идеологически, нацисты были и оставались их непримиримыми врагами. Да, они были союзниками, но такими, которые в любой момент готовы вцепиться друг другу в глотки. Чтобы угодить немцам, Советы должны были предложить им практическую помощь и таким образом содействовать увеличению военной мощи рейха. Неудивительно, что советские офицеры береговых служб были явно смущены таким подходом.

Но пока доктор Кампф излагал свои воззрения на страничках дневника, в мае месяце 1940 года в 3000 километрах к юго-западу от «Северной базы» разыгрывались события, которые привели к радикальному изменению в балансе отношений между Германией и Советским Союзом, а также насмерть перепугали западных союзников.

### **Нацисты одерживают победу**

Отношение Сталина с нацистской Германией непосредственно перед заключением советско-германского договора о ненападении и сразу же после его подписания основывалось на глубокой убежденности советско-

го вождя в том, что любая попытка немцев вторгнуться во Францию обречена превратиться в затяжной и кровопролитный конфликт. Иными словами, Гитлер увяз бы по уши на Западе, так что ему было бы уже не до Советского Союза. Однако сталинские прогнозы оказались фундаментально неверными.

10 мая 1940 года в ходе операции «Гельб» немецкие силы продвинулись через Арденнский лес через Бельгию во Францию. В ходе одной из самых драматических военных операций в истории и отчасти благодаря весьма решительным, если не авантюристичным командующим танковыми соединениями, таким как Гудериан и Ромель, немецким частям удалось окружить войска союзников практически в полном составе. К 16 мая 1940 года, с падением Седана, дорога на Париж была открыта.

В Лондоне, после провала британской кампании в Норвегии, Невилл Чемберлен ушел в отставку с должности премьер-министра, передав свои полномочия Уинстону Черчиллю. Именно Черчиллю выпало вести Великобританию от поражений к победам в самые нелегкие для нее годы, возможно, даже в наихудшие в ее истории. В последние дни мая, когда немцы заняли все северное побережье Франции, заманив сотни тысяч союзных войск в дюнкеркскую ловушку, многим уже стало казаться, что ничто не в силах защитить и Великобританию — разве что воды пролива Ла-Манш.

Черчилль позже писал в своих мемуарах: «Будущие поколения, несомненно, заметят, что главнейший вопрос о том, сражаться ли нам в одиночку или нет, никогда не стоял на повестке дня заседания военного кабинета»<sup>111</sup>. Но все было не так просто. Фактически уже в мае 1940 года министр иностранных дел лорд Галифакс предложил Военному кабинету попытаться уговорить Муссолини повлиять на Гитлера и разузнать, на

каких условиях тот согласился бы на перемирие. Черчилль, согласно протоколу заседания Военного кабинета 27 мая, заявил следующее: «Если господин Гитлер готов заключить мир на условиях возвращения Германии ее колоний и сохранения статус-кво в Центральной Европе, то, вероятно, эти условия могли бы считаться приемлемыми, но о подобной возможности лично он и думать не хочет»<sup>112</sup>.

Черчилль предпринял попытку уравновесить силы — он не желал отставки Галифакса, но и не хотел пойти на подписание мирного договора с Германией. Он утверждал, что если и заключать мир с Гитлером, то только в том случае, «если Германия предпримет обреченную на провал попытку вторгнуться в Великобританию, условия будут совершенно иными». Черчилль полагал, что Гитлер с подписанием мирного договора никогда не позволит Великобритании перевооружиться и что страна будет отдана «полностью ему на откуп. Стоит нам поддаться ему, условия для нас будут куда более худшими, чем если бы мы продолжали борьбу, пусть даже чреватую разгромом для нас». Что же касалось идеи Галифакса, Черчилль милостиво расценил ее как «попытки воспользоваться возможностями посредничества», добавив, что «страны, продолжавшие сражаться, всегда в конечном итоге выигрывали, а те, кто сдавался на милость врагу, — никогда».

В тот вечер 28 мая 1940 года Черчилль отправился в палату общин для беседы с многочисленным Военным кабинетом — в 25 членов. Согласно Хью Далтону, министру экономической войны, Черчилль не делал тайны из серьезности положения, в котором оказалась Великобритания. Британские войска были оттеснены к французскому побережью, и их предстояло вызволить из беды. Речь могла идти, возможно, о 100 000 солдат и



офицеров, которых необходимо было срочно эвакуировать с побережья Франции. Черчилль тогда сказал: «Я в эти дни тщательно взвесил все, я не мог не рассмотреть и возможность вступления в переговоры с этим субъектом [Гитлером]. Но думать о заключении мира сейчас было бы неразумно, нам необходимо заручиться куда более благоприятными условиями, чем нынешние. Немцы непременно потребуют от нас отдать им наш флот — и назовут это разоружением, — наши военно-морские базы и все что угодно. Мы превратимся в государство-марионетку, а во главе британского марионеточного правительства станет Мосли [лидер британских фашистов] или ему подобный тип. И куда мы придем? С другой стороны, мы располагаем огромными запасами и преимуществами. И я убежден, что любой из вас вскочил бы и вытолкал меня вон, только намекни я на возможность мирных переговоров или капитуляции. Если истории нашего острова суждено завершиться, то лишь ценой нашей крови»<sup>113</sup>.

После своего заявления Черчилль писал: «Очень и очень многие вскочили с мест, подбежали ко мне и с восторженными криками стали хлопать меня по спине. Безо всяких сомнений, если бы спасовал в тот момент, меня стоило вышвырнуть вон. Я не сомневался, что все, министры были готовы скорее погибнуть и потерять все что имели, включая семьи, но только не капитулировать»<sup>114</sup>.

Это был один из самых решающих моментов войны — если не самый решающий. Случись так, что Черчилль дрогнул бы и поддался уговорам Галифакса, предложившего начать зондировать почву относительно мирных переговоров с Гитлером, весьма сложно предсказать, в каком положении оказалась бы Великобритания в той войне. И мир с Гитлером для Великобритании, вне всякого сомнения, оказался бы именно

таким, каким его обрисовал Черчилль. И на самом деле, фюрер не раз в ходе войны в бешенстве задавал себе вопрос — ну, почему, почему Великобритания не действовала «рационально», как он предполагал, и не заключила с ним мир.

Черчилля есть за что критиковать, причем вполне заслуженно, в частности, за многие из его шагов более позднего этапа войны, но тогда, в тот день 28 мая 1940 года в палате общин он во весь голос заявил о непримиримой в отношении нацистов позиции и тем самым спас Великобританию как суверенное государство. Но что еще существенно для того кризисного периода — и нередко это ускользает от внимания — то, что Черчилль в то время верил, что неотъемлемым условием продолжения англичанами войны являлась помощь от США. «Если бы США бросили нас на произвол судьбы, — писал он президенту Рузвельту 18 мая 1940 года, — никто не вправе тогда упрекнуть ответственные лица за шаги, предпринятые ими ради спасения своих соотечественников»<sup>115</sup>.

Пока Черчилль сплачивал силы во благо Британии и у себя на острове, и за океаном, Сталин опоминался после скорой капитуляции французов. Когда новость о том, что немцы маршируют по Парижу, добралась до Москвы (17 июня 1940 г.), он с грустью заметил: «Разве они не могли оказать хоть какое-то сопротивление?»<sup>116</sup> Политика Сталина оставаться сторонним наблюдателем, пока Германия и Франция сражаются на Западном фронте, дала сбой. Гитлер овладел всей континентальной Западной Европой. Одни только англичане противостояли ему. И кто мог сказать, сколько еще это продлится?

В ответ на подобное развитие событий Сталин решил удвоить советские поставки нацистам. Поток сырья из Советского Союза в Германию значительно вырос за следующие месяцы, поскольку Сталин стремился убе-

доть Гитлера в том, что нацисты могли заполучить все необходимое от Советского Союза и без войны с ним. Чего Сталин не знал, конечно, так это о продолжавшейся углубляться ненависти Гитлера к коммунизму вообще, и к Советскому Союзу в частности. На встрече со своим генералитетом 31 июля 1940 года в Бергхофе Гитлер подтвердил свою идеологическую решимость расправиться с коммунистами на практике, объявив о решении готовить вторжение в Советский Союз.

Пусть несколько замысловато, но Гитлер рассуждал так: надежды англичан на победу основывались на том, что Красная Армия однажды все же предложит им военную помощь в войне с Германией. Таким образом, вывод из игры Советского Союза означал бы, что у Великобритании больше не будет никаких оснований продолжать борьбу. Изначально эти рассуждения, разумеется, были, мягко выражаясь, безосновательны. Для продолжения борьбы Великобритания полагалась на вполне реальную американскую помощь, а не на виртуальную советскую. Однако фундаментальное утверждение Гитлера, что, мол, Советский Союз — «колосс на глиняных ногах» и может быть сокрушен относительно легко, сомнению германским генералитетом не подвергалось. Не в последнюю очередь оттого, что они накануне сумели одолеть трехмиллионную французскую армию — причем, если пользоваться риторикой нацистов, «цивилизованную армию». А что ему могли противопоставить «большевистские орды»? Так что разгром большевизма был лишь вопросом времени. Хотя нацисты были в тот момент на пике могущества, не было никакой гарантии, что эта ситуация продлится вечно. «Мы знали, что пару лет спустя, — утверждает Губерт Менцель, в ту пору майор Оперативного отдела германского Генштаба, — то есть к концу 1942-го — началу 1943 года, англичане успе-

ют подготовиться, американцы и русские тоже, и вот тогда нам придется иметь дело со всеми тремя сразу... Нам необходимо попытаться устранить самую большую угрозу с Востока... В тот период это представлялось возможным»<sup>117</sup>.

Учитывая, какие потери впоследствии понесли гитлеровские войска на Восточном фронте, нетрудно истолковать решение Гитлера напасть на СССР как граничившее с идиотизмом безумие. Однако майор Менцель напоминает нам, что тогда в верность идей фюрера безоговорочно верили очень и очень многие немцы. Спору нет, Гитлер пребывал в шорах идеологии нацизма, но все же сумел доказать верхушке своей армии, что самое время подумать о том, как разгромить Советский Союз.

И потом, наступление Германии на Востоке для многих офицеров вермахта было явлением отнюдь не беспрецедентным. Во время Первой мировой войны немецкая армия захватила бóльшую часть Белоруссии и Украины. Ленин впоследствии был вынужден согласиться на Брестский мир 1918 года, навязанный Советам немцами, и передать им не только Украину с Белоруссией, но и Польшу, Финляндию, Латвию, Литву и Эстонию. Поражение Германии в войне в конце того же, 1918 года упразднило этот фантастически выгодный для немцев договор, вызывавший ностальгическую эйфорию при одном лишь упоминании о нем даже в 1940 году. Если немцы сумеют завоевать Восток, как еще совсем недавно, то это подтолкнет недоразвитое Советское государство к очередному и еще более унижительному миру. Так почему, считали немцы, не попробовать снова?

Вторжение в Советский Союз также предлагало и решение все чаще и чаще назойливо заявлявшей о себе германскому руководству проблемы — постоянную зависимость рейха от поставок советского сырья. Гитлер и

многие нацистские бонзы считали просто невыносимым факт того, что будущее великой Германии всецело зависит от доброй воли Сталина. Как выразился Вальтер Функ, имперский министр экономики, Германия не должна «зависеть от сил и полномочий, на которые не в состоянии воздействовать»<sup>118</sup>.

### Вояж «Комет»

Вслед за захватом нацистами Франции Сталин продолжил политику умиротворения. И одной из вопиющих форм стремления во что бы то ни стало потакать своему влиятельному соседу стал тайный и беспрецедентный акт военного сотрудничества, объектом которого стало германское судно «Комет».

Будучи обычным торговым судном, «Комет» фактически являлся вспомогательным крейсером, вооруженным 150-миллиметровыми орудиями, несколькими зенитными орудиями и торпедами, и представлял собой результат развития идеи кораблей-ловушек, прекрасно зарекомендовавших себя в Первую мировую войну. Упомянутые суда были замаскированы под обычные торговые корабли и служили приманкой для подлодок противника. При виде их командиры подлодок предпочитали атаковать безоружные суда палубным оружием, а не тратить впустую ценные торпеды. Но стоило подлодке показаться на поверхности, как корабль-ловушка вводил в действие мощное оружие, и вскоре подлодка шла на дно.

Летом 1940-го, когда гитлеровские генералы все еще переваривали сногшибательную новость о том, что их «фюрер» замыслил вторжение в Советский Союз, «Комет» предпринял попытку провести одну из самых дерзких операций за всю войну<sup>119</sup>. Выйдя в море из узкого морского залива Кола, капитан корабля капитан

1-го ранга Роберт Эйссен запланировал пройти вдоль северного побережья Советского Союза, внезапно появиться в Тихом океане и столь же внезапно атаковать там торговые суда союзников. Этот маршрут, известный как «Северный переход», был чреват опасностью и возможен лишь при наличии мощного ледокола. После месяца странствий по территориальным водам Советов, включая и первоначально предложенное место для «Северной базы» в заливе Териберка, «Комет» отправился в плавание утром 13 августа 1940 года. К 19 августа корабль вошел в усеянное льдинами Восточно-Сибирское море. «Поставленная задача потребовала от нас огромных усилий и умений, — вспоминал Карл-Герман Мюллер<sup>120</sup>, один из членов команды. — Мы знали, что идем на риск, но были готовы пожертвовать собой».

26 августа капитан 1-го ранга Эйссен встретился с двумя советскими летчиками и двумя офицерами на ледоколе «Иосиф Сталин». Из отчетов ОКВ следует: «После беседы насчет льдов и ледового сопротивления “Комета”, скорости судна и т. д. все направились к карте... В шесть утра Эйссену и Кропешу [еще одному немецкому офицеру] было предложено выпить по граненому стакану водки...»<sup>121</sup> Сотрудничество между советскими и немецкими моряками носило дружеский характер. «Русские показали себя немногословными, спокойными и деловитыми, — утверждает Мюллер. — Отношения были хорошие... Нам они понравились. Мы понимали, что они стоящие люди. Не было никаких трений или конфликтов».

И хотя «Комет» был замаскирован под торговое судно, Советы знали о наличии вооружения на борту. «Разумеется [они знали], — говорит Мюллер. — И команда состояла из военных моряков... они все время расхаживали в форме». И при этом Советы явно шли на нарушение принципа нейтралитета в этой войне. Мало того что

они оказывали германской военной экономике ощути- мую помощь, обеспечив переход «Комета», но когда команда немецкого судна решила отпраздновать успешную атаку англичан, Мюллер своими глазами видел, как «русские ликовали по этому поводу. И праздновали вместе с нами. И искренне за нас радовались. Русские, несомненно, были на нашей стороне».

Однако 1 сентября капитан одного из ледоколов сопровождения, «Лазаря Кагановича», поднялся на борт «Комета» и заявил, что поскольку в Беринговом проливе замечены американские и японские суда, он получил приказ из Москвы не сопровождать далее «Комет», а только назад в случае надобности. «Я воспринял это вполне хладнокровно, не показав ни волнения, ни разочарования — записал в тот день в дневник Эйссен. — Но в душе я чувствовал себя по-другому. Еще совсем немного, и мы окажемся в открытом океане, один на один с противником. До него каких-то 400 морских миль! И возвращаться?! Нет, возвращаться мы просто не могли, и я вынужден был действовать самостоятельно, то есть вопреки распоряжению Верховного командования флота»<sup>122</sup>.

На следующий день Эйссен повторил свое намерение продвигаться только вперед и даже согласился подписать документ, освобождающий капитана «Кагановича» от ответственности за любые неприятности в будущем. Советы тогда сопровождали «Комет» еще один день. «Потом мы распрощались как друзья, — пишет Карл-Герман Мюллер. — Наше судно дало прощальный гудок».

Советы провели «Комет» через самый тяжелый участок льдов, и несколько дней спустя немцы уже самостоятельно вышли в Берингово море далеко на востоке Советского Союза. Северный переход был завершен в рекордные сроки — за 23 дня. «Я горд тем, что выпол-

нил свою миссию, и мы стали первым немецким судном, прошедшим через Северный морской путь на восток, — считает Карл-Герман Мюллер. — Это было бы невозможно без помощи [советских] ледоколов». «Комет» мог теперь совершенно спокойно разбойничать на морских трассах Тихого океана, атакуя и топя суда союзников где угодно и как угодно. Всего «Комет» уничтожил девять судов за несколько месяцев пребывания на другом конце мира, включая грузопассажирский корабль «Ранжитан», потопленный перед самым возвращением в Германию уже по традиционному маршруту, обогнув мыс Доброй Надежды на южной оконечности Африки.

Германские Кригсмарине, ответственные за военноморские аспекты войны, были благодарны Советам за их помощь в переходе «Комета» по Северному морскому пути и за предоставление «Северной базы». Гросс-адмирал Рэдер даже сподобился отправить 16 сентября 1940 года благодарственное письмо наркому ВМФ СССР адмиралу Кузнецову. В нем он объяснил, что в результате успешной немецкой оккупации Норвегии больше нет необходимости в «Северной базе», и подчеркнул, что «использование российского залива» отвечало «военно-морским целям Германии в войне». Рэдер также упомянул, что «Северная база» представляла «огромную ценность для ведения Германией военно-морской войны», завершив послание фразой: «Для меня огромная честь выразить искреннюю признательность от лица германского флота Вам, уважаемый г-н народный комиссар, за Вашу неоценимую поддержку». Письмо было лично передано адмиралу Кузнецову германским военно-морским атташе в Москве Баумбахом, впоследствии отметившему, что адмирал принял это письмо с «чувством глубокого удовлетворения». Баумбах тогда заявил советскому адмиралу, что его также попросили



поблагодарить Кузнецова лично за «оказанную советским флотом поддержку при переходе нашего судна через Северный морской путь»<sup>123</sup>.

Неудивительно, учитывая все эти трогательные изъятия признательности со стороны немцев, что и существование «Северной базы», и оказанная «Комету» помощь впоследствии рассматривались как весьма странные для Советов жесты. После немецкого вторжения в СССР в июне 1941 года факты оказания Советским Союзом действенной помощи нацистскому вермахту и Кригсмарине мгновенно обрели колоссальную взрывную мощь. И поныне они остаются весьма пикантной и неудобоваримой составляющей российской военной истории.

### Молотов в Берлине

Но несмотря на сердечный тон послания адмирала Рэдера и крайне предупредительное поведение Сталина, в отношениях между Германией и Советским Союзом проявлялась скрытая напряженность и недоверие. Мучившие Сталина страхи по поводу столь быстрого разгрома немцами Франции проявились и в энтузиазме, с каким он в октябре 1940 года принял приглашение немецкой стороны, адресованное Молотову, его главе внешнеполитического ведомства, посетить Берлин для дальнейшего обсуждения наболевших вопросов. С лета Сталин не исключал возможности — только возможности, — что немцы собираются обмануть Советский Союз.

Совпадение интересов, доминировавшее на двух встречах в минувшем году в связи с подписанием договора о ненападении, к 1940 году практически испарилось, уступив место взаимным подозрениям. Объектом недоверия Советов были намерения немцев относи-

тельно участи буферных государств, разделявших Германию и СССР, — Венгрии, Румынии и в особенности Болгарии — а также граничившая с одержимостью настойчивость, с которой Советы требовали беспрепятственного прохода через Босфор и Дарданеллы — узкие проливы между Черным и Средиземным морями. Советы страшно тревожил вопрос о проливах, в то время находившихся под контролем нейтральной Турции. Эта идея-фикс выкристаллизовалась в результате многолетней политики России за минувшие два столетия, когда ей неоднократно угрожали иностранные вторжения именно через проливы, ярким примером чему была Крымская война в 1850-х годах.

И перед тем как в ноябре 1940 года отправиться в Берлин, Молотов получил от Сталина ряд указаний касательно получения ответов на практические вопросы о намерениях Германии в Восточной Европе и на Балканах. Сталин категорически запретил своему наркому дать втянуть себя в переговоры с обсуждением всех деталей, в особенности по вопросу перспектив советской внешней политики. Намерения Советов состояли в том, чтобы обсудить все более-менее важные проблемы на одной из ближайших встреч, например, в ходе очередного визита Риббентропа в Москву, когда он получит возможность напрямую обсудить их со Сталиным.

У Гитлера, с другой стороны, были совершенно иные намерения относительно встречи с Молотовым. Хотя в июле он распорядился о начале подготовки вторжения в Советский Союз, все же это были пока лишь планы предстоящих действий, хотя никак нельзя было отрицать, что план нападения на Советы носил первоочередной характер. Немцы стремились воспользоваться встречей с Молотовым для окончательного прояснения вопроса о том, готовы ли Советы отдать Восточную Ев-

ропу им на съедение, а сами повернуть взоры на, скажем, Персидский залив и Индийский океан. В этих более теплых странах, по мнению нацистского руководства, советская внешняя политика могла бы возыметь успех, и Советы имели все шансы отхватить лакомый кусок от пирога Британской империи.

По-прежнему оставался открытым и вопрос о бесперебойности советских поставок сырья. Что могут предложить Советы для заверения Гитлера и его окружения в том, что они останутся надежными партнерами в обозримом будущем?

И к моменту прибытия Молотова в Берлин утром 12 ноября эти проблемы касались как германской, так и советской стороны. На Силезском вокзале столицы рейха в честь прибытия главы советского НКВД и его делегации была устроена торжественная встреча. Риббентроп и Молотов обошли строй почетного караула, и в тот же день Молотова впервые принял Гитлер. Эту первую встречу — впрочем, как и все последующие в этой поездке — трудно было назвать прорывом. Молотов, в отличие от Гитлера, был человеком въедливым и недоверчивым. Пунктуально и монотонно Молотов задавал вопрос за вопросом о намерениях Германии. Почему немецкие войска находятся в Финляндии? Почему немецкие войска находились в Румынии? Каковы в перспективе намерения Германии на Балканах? Как отреагировала бы Германия, если бы болгары попросили ввести к себе в страну советские войска?

Гитлера явно раздражал этот подробный и унылый перечень. Гитлер был из тех, кому претила всякая канцелярщина и повседневность, он предпочитал оперировать вселенскими категориями, а здесь его едва ли не допрашивает какой-то русский. И вообще, с какой стати Молотов ведет себя так — ведь он обязан трепетать

при одной мысли о германской мощи! Одно только здание новой Имперской канцелярии, где проводилась встреча, лучше всяких заявлений говорило о грандиозности планов Гитлера. Он велел Альберту Шпееру, своему придворному зодчему, выстроить это здание именно для того, чтобы поражать дипломатов. «Гитлеру было особенно по душе, когда гостям и дипломатам приходилось долго брести до его приемной», — писал Шпеер<sup>124</sup>. И на самом деле, чтобы добраться до фюрера, Молотову пришлось миновать сияющую мрамором галерею, которая была в два раза длиннее Зеркальной залы Версаля. «Очень правильно, — согласился Гитлер, когда Шпеер поведал ему о планах относительно облицовки пола. — У дипломатов должен быть навык передвижения по скользкой поверхности». Шпеер вспоминал, как Гитлер восхищался своим кабинетом в новом здании: «Особенно ему понравилась инкрустация на столе — меч, наполовину вытянутый из ножен. — Хорошо, хорошо [сказал Гитлер]... пусть-ка дипломаты, сидящие передо мной за этим столом, увидят, поймут и задрожат от страха и почтения».

Но Молотов трепетать перед Гитлером явно не собирался. И в ответ на вопросы советского наркома иностранных дел Гитлер, не скрывая раздражения, бросил в ответ, что, дескать, немецкие войска находятся в Финляндии только как часть сил, действующих в Норвегии, и что болгары никогда не станут просить войска Красной Армии войти в их страну, и так далее. Гитлер был готов представить лишь панорамную, общую картину, напыщенно заявив, что англичане разгромлены и вскоре запросят пощады. Отсюда — не заинтересован ли Советский Союз присоединиться к договору стран «оси», подписанному в сентябре 1940-го между Германией, Японией и Италией? Если Великобритания устранена,

то вся Британская империя только и ждет, чтобы ее прибрали к рукам. Разве Советский Союз не желает своей доли?

Это был истинный пример диалога глухого с немым — Молотов не дал втянуть себя в обсуждение столь глобальных проблем, навязываемое ему Гитлером. Вместо этого он стал задавать еще более детальные вопросы о немецких намерениях на ближайшее будущее. Павлов, переводчик советской стороны, впоследствии описал переговоры как «утомительные, и, судя по всему, бесполезные»<sup>125</sup>, и с подобной оценкой трудно не согласиться.

При дальнейших обсуждениях во время этого визита, но уже с Риббентропом, Молотов тактику не изменил. Каким образом Германия собирается поступить с Польшей? Как Германия воспринимает нейтралитет шведов? Как она расценивает поведение Венгрии, Югославии?

Риббентроп запротестовал против того, что, мол, его «буквально засыпали вопросами»<sup>126</sup>. Как и фюреру, ему все же хотелось бы вернуться к «главному» вопросу: «Готов ли Советский Союз сотрудничать с Германией в ликвидации и разделе Британской империи... Ведь в сравнении с этим гигантским по важности вопросом все остальные просто меркнут и решатся сами собой, как только будет достигнуто полное взаимопонимание»<sup>127</sup>.

Кульминацией встречи стало продолжение беседы Риббентропа и Молотова в бомбоубежище во время британского воздушного налета. Пока Риббентроп разглагольствовал о том, что, мол, Британская империя уже положена на лопатки, Молотов заметил: «Вы утверждаете, что Англия побеждена. Тогда почему мы с вами находимся здесь, в этом бомбоубежище?»<sup>128</sup>

Не составляет труда понять, что в отношениях между двумя странами наступил серьезный кризис. Навязчи-

вая идея Гитлера подтолкнуть Советский Союз к участию в будущем переделе Британской империи была очевидной уловкой, целью которой было убедиться, можно ли склонить Сталина отвести взоры от потенциального конфликта с нацистами в Европе. Молотов не поддался на уловку, и его серия щекотливых вопросов продемонстрировала лишь всю хлипкость пресловутой германо-советской дружбы. Таким образом, Гитлер удостоверился, что был прав, санкционировав подготовку ко вторжению в СССР, чтобы раз и навсегда разделаться с большевизмом. Формальная директива по вторжению в Советский Союз была издана 18 декабря 1940 года.

Что же касалось Сталина, у него особого выбора не было, оставалось и дальше поддерживать отношения с Гитлером на прежнем уровне. Но кое-кто из его окружения в Политбюро постепенно склонялся к тому, что пресловутая дружба с гитлеровской Германией – внешнеполитическая ошибка. Вероятно, и устранение большей части польского офицерского корпуса также было не до конца продуманным решением, учитывая тот факт, что, начнись война с Германией, поляки вмиг бы превратились из недругов в союзников.

Вероятно, именно такой точки зрения придерживался и глава НКВД Берия, ее он высказал на весьма странном званом ужине в Лубянке в Москве в октябре 1940 года. Берия обсуждал вопрос создания Войска польского, лояльного Советскому Союзу, с использованием того небольшого числа польских офицеров, что приняли идеи коммунизма и поэтому (так и не поняв почему) избежали общей участи в Катыни и других местах массовых расстрелов. С самого начала сотрудничавший с органами госбезопасности польский полковник Берлинг поинтересовался, возможно ли освободить из лагерей некоторое количество офицеров, чтобы те помогли

сформировать новое Войско польское. Берия, наверняка знавший, что, фактически все офицеры были расстреляны, ответил: «Мы допустили грубую ошибку». И несколько раз повторил эту фразу<sup>129</sup>.

### Американская помощь

В тот самый день, когда Гитлер издал официальную директиву о вторжении в Советский Союз, по ту сторону Атлантики произошло историческое событие, возымевшее далеко идущие последствия для хода Второй мировой войны в целом и отношений между двумя великими державами в частности. Именно на пресс-конференции 17 декабря 1940 года президент США Франклин Делано Рузвельт впервые заговорил о возможности оказания помощи осажденной Великобритании посредством системы экономической помощи, ставшей известно как ленд-лиз<sup>129а</sup>.

Как мы уже видели, для Черчилля с момента вступления в должность премьер-министра было очевидным, что без американской помощи Великобритания уже не могла продолжать войну. В одном из его самых известных писем Рузвельту, датированном 31 июля 1940 года, Черчилль буквально умолял президента предоставить англичанам военную помощь, говоря, что «за всю историю нашего мира это — первоочередная вещь»<sup>130</sup>. К сентябрю того же года эта просьба приобрела конкретные очертания: было заключено соглашение, в рамках которого Великобритания должна была получить 50 уже поступивших на вооружение в ВМФ США эскадренных миноносцев в обмен на разрешение Соединенным Штатам использовать часть британских владений — главным образом, в Вест-Индии — в качестве военных баз. С американской точки зрения это была весьма вы-

годная сделка — и она обязана была быть выгодной для США, ибо Рузвельту предстояла в общем-то нелегкая задача убедить своих скептически настроенных соотечественников помочь Старому Свету. Если бóльшая часть американской общественности желала помочь Великобритании, то так, чтобы все же не ввязываться в европейскую войну, ибо летом 1940 года американцы не очень-то верили в победу Великобритании<sup>131</sup>.

Желание Рузвельта предоставить более серьезную помощь, а не только выдавшие виды эсминцы, причем выходящую далеко за рамки сделки «корабли в обмен на базы», наталкивалось на трудности, в первую очередь, финансового характера — дело в том, что за год войны Великобритания успела изрядно исчерпать денежные ресурсы. Лорд Лотиан, посол Великобритании в Вашингтоне, 23 ноября 1940 года лаконично сформулировал проблему, объявив американским журналистам: «Ну, ребята, англичане сидят без гроша. Поэтому нам придется залезть в ваши карманы»<sup>132</sup>.

А вот сенсационное заявление Рузвельта на пресс-конференции 17 декабря: «Я хочу пояснить вам на наглядном примере, — сказал президент. — Если горит дом соседа, а у тебя есть садовый шланг, одолжи его соседу, пока не загорелся и твой дом. Когда пожар будет потушен, сосед вернет тебе шланг, а если тот окажется поврежденным, то заплатит за него, когда поднакопит деньжат»<sup>133</sup>.

Эта идея захватила очень многих и в США, и в Великобритании. Простонародная аналогия Рузвельта сыграла на «добрососедстве» обеих стран и святой обязанности американцев помочь оказавшемуся в беде другу. Лишь парочка циников ухватила за то, что сегодня кажется очевидным — дескать, весьма маловероятно, что отправленная британцам военная техника будет возвращена. Американцы предоставляли не шланг, они предо-



ставляли товары, которые вполне можно было реализовать и у себя. Но — как бы то ни было — помощь была предоставлена, и ленд-лиз позволил Великобритании продолжать вести войну.

Эта договоренность не стала неожиданностью ни для Сталина, ни для Гитлера, поскольку Рузвельт никогда не скрывал своих чувств к обоим репрессивным режимам. За девять месяцев до этого, в феврале 1940 года, он отправил Самнера Уэллса, действующего госсекретаря, в ознакомительную миссию в Европу, включая Германию, где и состоялась недоброй памяти встреча Уэллса с Риббентропом. Имперский министр иностранных дел «холодно... без подобия улыбки... полуприкрыв глаза», прочел госсекретарю США двухчасовую лекцию<sup>134</sup>. Приговор Уэллса главе гитлеровского МИДАа был краток: «Риббентропа отличает крайняя ограниченность... даже глупость... Мне редко приходилось видеть столь неприятную личность».

И пока Уэллс на личном опыте подтверждал мнение Рузвельта о невозможности разумным путем договориться с Гитлером о завершении войны, действия Советского Союза продемонстрировали американскому президенту, что Сталин явно не принадлежал к числу тех государственных деятелей, кто признавал верховенство закона. Рузвельт был оскорблен и взбешен советским вторжением в Финляндию и 10 февраля 1940 года, выступая перед явно прокоммунистическим Молодежным конгрессом Америки, изложил свое видение события: «Я, как и многие из вас, надеялся, что Россия решит свои собственные проблемы и что ее правительство в конечном счете станет миролюбивым, уважаемым в народе правительством со свободными выборами, правительством, которое не станет покушаться на территориальную целостность соседних стран. Этой на-

дежде суждено либо рассыпаться в прах, либо воплощение ее в жизнь следует отложить до лучших времен. Советский Союз, и это в состоянии понять любой, у кого есть мужество взглянуть правде в глаза, управляется диктатурой, столь же абсолютной, как и любая другая в мире. Она вступила в союз с другой диктатурой, эта диктатура посягнула на своего соседа, маленькую страну, которая при всем желании не может представлять никакой угрозы для Советского Союза, страну-соседа, стремящегося жить в мире и в условиях демократии, либеральной, дальновидной демократии»<sup>135</sup>.

Президент недвусмысленно сформулировал свои взгляды, в особенности для государственного деятеля, считавшегося воплощением уклончивости. И Сталин не мог оставить их без внимания.

### Дилемма Сталина

Все это в значительной степени усложняло понимание советским диктатором и без того непростой картины мира конца 1940 года. Американцы не скрывали враждебности к Советскому Союзу и, судя по всему, явно не собираясь в ближайшем будущем впутываться в войну, тем не менее были готовы оказать англичанам необходимую помощь, которая позволила бы островитянам если не выиграть эту войну, то хотя бы дать отпор немцам. Что касалось Германии, она верховодила на европейском континенте, превращая одну за другой страны Европы в свои марионетки.

В итоге Сталина занимал единственный, но всеобъемлющий вопрос: как поступит Гитлер в ближайшем будущем? Сталин понимал, что как минимум один вариант действий Гитлера предполагал вторжение в Советский Союз. Последствия этого варианта рисовались Сталину в

крайне мрачных тонах. К концу 1940 года почти три четверти немецкой армии расположились вдоль восточной границы Советского Союза — и Сталин знал об этом. Он регулярно получал разведывательные сводки, свидетельствующие о намерении Гитлера напасть. Например, агент под псевдонимом «Метеор» сообщал, что Карл Шнурре, отвечавший за экономические вопросы ответственный сотрудник германского МИДа, допустил такое высказывание: Гитлер «намеревался решить проблему на Востоке военными средствами»<sup>136</sup>. И Анатолий Гуревич<sup>137</sup>, резидент советской военной разведки во Франции и Бельгии, в начале 1941 года отправлял в Москву информацию, фактически говорившую о том, что «война должна была начаться в мае 1941 года».

Но Сталин явно не желал верить этим сводкам. Он считал, что отнюдь не в интересах Гитлера начинать войну с Советским Союзом, не покончив с Великобританией. Советский диктатор полагал, что силы, сосредоточенные на восточных рубежах рейха, скорее предостережение ему, Сталину. Поскольку взгляды Сталина были хорошо известны его окружению, они не могли не наложить отпечатка и на представляемые ему разведывательные данные. Кремль оказался в пучине самообмана. Чем более очевидный характер принимала возможность вторжения немцев, аргументированно изложенная в поступавших Сталину агентурных сообщениях, тем выше была вероятность того, что они будут отклонены им как явная дезинформация. По мнению Сталина, англичане всячески стремились сравить между собой Советский Союз и Германию, преследуя при этом собственные узкие интересы, таким образом, любое разведывательное донесение, поступавшее от того или иного источника на Западе, попадало в категорию дезинформации.

Сталин просто выдавал желаемое за действительное. Военные игры, проводимые Красной Армией в январе 1941 года, доказали, что советские силы были явно не в состоянии сдержать наступление немцев у западных границ Советского Союза, с тем чтобы организовать контрудар со стремительным наступлением уже на вражеской территории – что в советской военной теории считалось «тактикой активной обороны», на которой, собственно, и базировалась вся советская военная теория. Красная Армия, в значительной мере ослабленная чистками 30-х годов, когда тысячи квалифицированных военных специалистов были сняты с должностей, отправлены в ГУЛАГ или расстреляны, просто не обладала необходимой для молниеносного сокрушения немцев боеспособностью.

Отдавая себе отчет о неготовности своих вооруженных сил, Сталин тревожился о том, что немцы своими действиями в любой момент могли организовать вооруженную провокацию на границе с СССР и, учитывая крайне низкую степень боевой подготовки Красной Армии, сделать Советский Союз еще более уязвимым. Единственно возможным Сталин считал умиротворение немцев и договоренность об оказании дополнительной поддержки дипломатическим путем. Это вполне укладывалось и в концепцию договора о ненападении, заключенного с Японией 13 апреля 1941 года. В тот же день Сталин на платформе вокзала, прощаясь с министром иностранных дел Японии господином Мацуокой, завидев среди провожающих полковника Ганса Кребса из германского посольства, приятельски обнял его со словами: «Мы останемся вашими друзьями – что бы ни случилось!» Было видно, что Сталин в напряжении. Два дня спустя полковник Кребс описал своему берлинскому коллеге этот эпизод, отметив, что «Сталин показался

мне по сравнению с предыдущими встречами постаревшим. Он поседел, цвет лица был нездоровым, а левый глаз подергивался. Мне даже показалось, что Сталин тогда находился под влиянием алкоголя...»<sup>138</sup>

Ситуация еще более ухудшилась, как только немецкая армия к концу апреля 1941 года, почти не встречая сопротивления, овладела Грецией и Югославией. С некоторым запозданием 5 мая 1941 года Сталин попытался поднять боевой дух своих вооруженных сил, выступив с докладом в Кремле перед выпускниками советских военных академий. «Теперь, когда мы сильны, — заявил он им, — мы должны теперь от обороны перейти к нападению. Чтобы надежно оборонять страну от врагов, нам необходимо действовать наступательно. Нам предстоит реорганизовать нашу пропаганду, агитацию и печать, придать ей наступательный дух. Красная Армия — современная армия, а современная армия — армия нападения». Эта речь иногда истолковывалась как доказательство стремления Сталина напасть на Германию. Но это не так. Она в очередной раз подтверждает советскую военную теорию, суть которой состоит в том, что в случае внезапного нападения противника Красная Армия быстро перейдет в контратаку и разгромит врага на его собственной территории. Сталина возмущало, что его генералы Жуков и Тимошенко также относились к числу тех, кто неверно понял его речь 5 мая 1941 года — уже 15 мая они представили ему план нанесения превентивного удара по скоплению немецких войск у границ СССР. «Вы что, с ума сошли? Вы же провоцируете немцев! — такова была реакция Сталина. — Тимошенко — человек нормальный, и голова у него ничего, вот только мозгов не хватает... Если вы спровоцируете немцев на границе, если перебросите силы без нашего разрешения, имейте в виду — полетят головы»<sup>139</sup>.

Советы предприняли все возможные меры, чтобы убедить немцев, что они куда ценнее как друзья, чем как враги. Они продолжали поставки огромного количества сырья немцам (включая 232 000 тонн нефти и 632 000 тонн зерна<sup>140</sup> только за первые 4 месяца 1941 года), и это при том, что советская экономика изнемогала от напряжения. Советы получали от Германии средства в счет оплаты, иногда в виде товаров на оговоренную сумму или же техническую помощь, например чертежи и техническую документацию нового линкора; но все это вряд ли адекватно компенсировало затраты Советов в практических условиях.

Нервозность Сталина лишь усилилась, когда он узнал, что 10 мая 1941 года Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по партии, улетел в Шотландию. По мнению Сталина, это было очевидное доказательство, что между немцами и англичанами тайно ведутся переговоры о мире. На деле ничего подобного не было, вскоре выяснилось, что Гесс действовал без санкции Гитлера. Но Сталин в это не верил. Англичане, сами того не желая, подпитали параноидальные идеи Сталина еще за три недели до полета Гесса. 18 апреля 1941 года британский посол в Москве сэр Стэффорд Криппс написал Сталину и Молотову, что «...если война затянется, для определенных кругов в Великобритании трудно будет удержаться от соблазна пойти на переговоры с Гитлером о мире, пусть даже на выдвинутых им условиях»<sup>141</sup>. Криппс намеревался этим письмом припугнуть советское руководство, подтолкнуть их таким образом к заключению союза с Великобританией против немцев. Но его шаг возымел диаметрально противоположный результат, уверив Сталина в том, что англичане пошли на тайный сговор с немцами за его спиной, и после полета Гесса в Шотландию страхи диктатора лишь усилились.

Теперь Сталин цеплялся за любую, пусть самую абсурдную идею, которая доказывала бы отсутствие у немцев намерений напасть на СССР. Меньше чем за неделю до роковой даты 22 июня Сталину представили донесение Меркулова, народного комиссара государственной безопасности СССР, в котором черным по белому было написано следующее: «Источник, работающий в штабе Верховного командования люфтваффе, докладывает: 1. Германия завершила все необходимые меры для подготовки вооруженного нападения на СССР, и это нападение можно ожидать в любой момент». Сталин наложил на документ резолюцию следующего содержания: «Товарищ Меркулов, вы можете послать свой “источник” из штаба люфтваффе к е...й матери. Он не “источник”, а дезинформатор»<sup>142</sup>.

Такая реакция породила тенденцию «не раздражать» вождя резкими высказываниями, как это было прежде; и уж конечно не допускать оценок в духе Уинстона Черчилля, считавшего Сталина и его окружение «одураченными растяпами»<sup>143</sup>. Надо признаться, что разобраться в событиях того периода было непросто, и, как впоследствии выразился маршал Жуков: «Нет ничего проще, чем заново объяснить события, когда они свершились и их последствия налицо»<sup>144</sup>. И все же суждения Сталина даже для того сложного периода были явно слабы. Нарастание немецких сил у границ СССР было очевидным фактом, и все же он отчего-то не решался привести Красную Армию в состояние боевой готовности — это было фундаментальное заблуждение, которое маршал Василевский впоследствии назовет «опасным»<sup>145</sup>. Как прямой результат неверной оценки Сталиным обстановки, большинство выдвинутых к границе советских самолетов и огромное количество другой военной техники были уничтожены буквально в

первые минуты войны. Если уж сам Сталин проявил себя «одураченным растяпой», то трудно сказать, кто тогда не проявил.

В четыре часа утра с минутами 22 июня 1941 года немецкий посол в Москве граф Шуленбург прибыл в кабинет Молотова в Кремле объявить о том, чего так страшились Советы: регулярные войска Германии перешли границу Советского Союза. Шуленбург пояснил, что на этот шаг Германию вынудила растущая концентрация советских войск на западных границах СССР. Это было очевидным предлогом. «После того как посол вручил ноту, — вспоминал Густав Хильгер, присутствовавший в кабинете главы советского МИДа вместе с Шуленбургом, — на несколько секунд воцарилась гробовая тишина. Молотов пытался перебороть охватившее его сильное волнение... Он назвал действия Германии беспрецедентным в истории злоупотреблением доверием. Германия без каких-либо причин напала на страну, с которой заключила договор о ненападении»<sup>146</sup>. (Молотов, очевидно, забыл, что на самом деле исторический прецедент действиям Германии существовал — менее чем за два года до этого, в сентябре 1939 года, Советский Союз вторгся в Польшу, страну, с кем он еще в июле 1932 года также подписал договор о ненападении).

В конце концов, Молотов только и мог сказать Шуленбургу: «Неужели мы этого заслужили?» Вопрос был риторическим.



## Глава 2

### РЕШАЮЩИЕ МОМЕНТЫ

#### Первые дни вторжения

Немцы начали самое крупное вторжение в мировой военной истории в предрассветные часы воскресенья 22 июня 1941 года. Свыше 3-х миллионов солдат образовали три направления главного удара: группу армий «Север» под командованием генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Лееба, устремившуюся на Прибалтику и Ленинград; группу армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Федора фон Бока, действовавшую на восточном направлении — Минск, Смоленск, Вязьма, Москва; и группу армий «Юг», под командованием генерал-фельдмаршала Герда фон Рундштедта, осуществившую бросок к Черноземью Украины.

Красная Армия сильно уступала немцам по численности войск. И хотя кое-где на отдельных участках были очаги яростного сопротивления, общая картина складывалась трагично: «Я сражался на границе трое суток, — вспоминает Георгий Семеняк<sup>1</sup>, красноармеец 204-й стрелковой дивизии. — Бесперывные бомбежки, перестрелки... взрывы оружейных снарядов». На четвертый день его часть беспорядочно отступала: «Это была жуткая картина. Днем самолеты врага постоянно бом-

били наши отходящие части». Под натиском немцев большинство командиров бросили своих солдат: «Лейтенанты, капитаны, старшие лейтенанты вскакивали на проходящие грузовики, идущие в восточном направлении... Понятно, что они воспользовались своими званиями для спасения собственной жизни, мы это хорошо понимали. Но у каждого бывают минуты малодушия».

Невообразимый хаос тех первых дней вторжения пережил и Иван Кулиш<sup>2</sup>, тоже красноармеец, из тех, кто участвовал в занятии Восточной Польши около двух лет назад в 1939 году: «Я никогда не думал, что мы отступим из Львова, — заявил он, — а мы не то что отступали, а бежали... была полнейшая неразбериха... Никакой связи; ни командующие дивизиями, ни даже командующие армиями не знали, где их войска... Паника. Наступление носило панический характер». Потери Красной Армии катастрофически росли. Советские ВВС были почти полностью уничтожены уже в первые часы немецкого наступления, а менее чем месяц спустя группа армий «Центр» захватила свыше 300 тысяч военнопленных. И хотя в немецких боевых сводках говорилось о «мощном и яростном отпоре» Советов, например в Бресте<sup>4</sup>, Красная Армия явно уступала вермахту.

В разгаре паники НКВД издавало приказ расстрелять всех наиболее «опасных» заключенных (почти наверняка арестованных по политическим мотивам), помещавшихся в тюрьмах непосредственно в близости от линии фронта. В Львове согласно приблизительным подсчетам было расстреляно НКВД около 4000 человек<sup>5</sup>. Ольга Попадынь<sup>6</sup> находилась в тюремной больнице Львова и помнит, что в последнюю неделю июня явственно ощущался «смерд трупов». Сомнений не было, что «они [НКВД] убивали заключенных. С каждым днем из-за жары смерд усиливался...» Сталинский режим оставал-

ся верным себе. Советы как вошли на территорию Польши, неся смерть, так и уходили с нее, совершая злодеяния.

В те первые дни войны советский вождь никак не хотел верить сообщениям о нападении Гитлера. Когда Сталина разбудили в первые часы после начала военных действий 22 июня на Кунцевской даче близ Москвы, он на срочно созванном в Кремле совещании продолжал утверждать, что это так называемое нападение — провокация, или, что также возможно, генералы Гитлера действуют без ведома своего фюрера. Когда же стало очевидным, что это никакая не провокация, Сталин стал издавать совершенно не отвечающие сложности момента приказы. Его Директива № 3, например, предписывала Красной Армии продвинуться на территорию врага к Люблину, а не организовать на месте эффективную оборону.

Но эмиссары, направленные Сталиным из Москвы на фронты разобраться в обстановке, вскоре столкнулись с ужасной реальностью. Н.С. Хрущев, один из ведущих партийных функционеров, засвидетельствовал на собственном опыте полную несостоятельность офицерского корпуса, встретившись с совершенно деморализованным членом Военного совета Юго-Западного фронта корпусным комиссаром Николаем Вашугиным. «Я решил застрелиться, — напрямик заявил Вашугин Хрущеву. — Я виновен в том, что отдавал неправильные приказы командирам механизированных корпусов. И больше не хочу жить».

«Как это так?» — потребовал ответа Хрущев.

Вашугин стал было объяснять, но Хрущев прервал его, не желая быть втянутым в дискуссию, и сказал только: «Что за глупости? Решили стреляться — стреляйтесь! Чего вы ждете?»

Тогда Вашугин выхватил пистолет, приставил его к виску и нажал на спусковой крючок. И тут же грохнулся под ноги Хрущеву<sup>7</sup>.

Самоубийство Вашугина символизировало уязвимость сталинской системы в самый сложный момент начального периода войны. Чистки 1930-х годов, когда Сталин приказал разделаться с оппозицией — зачастую с мнимой — в советских вооруженных силах, необратимо ослабили Красную Армию. Были сняты с должностей и уничтожены не только талантливые военачальники, а на их место назначены относительно молодые и малоопытные офицеры (например, командующему советскими ВВС в то время было всего лишь 29 лет), и к тому же гнетущая атмосфера вечного страха лишала командующих способности принимать самостоятельные решения.

Проблема состояла не только в том, что сталинская система была основана на терроре, повсеместным явлением стала практика вынесения совершенно не обоснованных юридически обвинений. Чаще всего Берия и Сталин навешивали на своих мнимых противников ярлык «врагов народа». Но каким образом можно было защитить себя от подобного обвинения? Многие из офицеров чувствовали, что единственный способ выжить — это вообще не принимать никаких решений вообще — именно на это и сетовал совсем недавно, в 1940 году, немецкий офицер связи на «Северной базе», именно это и являлось самой пагубной составляющей советской системы.

Мало того что Красной Армии пришлось отбивать натиск немцев в условиях острой нехватки вооружений, свою лепту внесла и дававшая непрерывные сбои система командования, порванная цепь инстанций. Ко всему прочему, Красной Армии противостоял вермахт, построенный совершенно по-другому. К моменту нападения на СССР немцы успели отработать, даже отточить

применяемую ими тактику блицкрига до уровня повсеместного превосходства, красноармейцы были беззащитны перед их бронированными кулаками, а их *Auftragstaktik*<sup>7a</sup> обеспечивала их системе командования гибкость и эффективность.

В отличие от советских командующих боевыми частями и подразделениями, избегавших брать на себя ответственность за свои действия, немецкое Верховное командование делегировало принятие конкретных решений вниз по команде вплоть до унтер-офицеров. Германское Верховное командование определяло общие задачи, а решать, каким способом эти задачи будут выполнены, было уже делом офицеров и унтер-офицеров непосредственно на поле боя. Именно такая *Auftragstaktik* и предопределила невиданный успех танковой группы Гейнца Гудериана в первые дни войны. Танкам Гудериана удалось продвинуться до Смоленска, в глубь Советского Союза и три недели спустя после начала войны захватить этот город. (Неудивительно, что за Гудерианом закрепилось прозвище *Schneller Heinz* — «Стремительный Гейнц»).

«Думаете, это пустяк, — говорил Альберт Шнейдер, боец 201-го немецкого дивизиона штурмовых орудий. — Мы думали, что война будет закончена через шесть месяцев — самое большее через год мы доберемся до Урала, и делу конец... Тогда же мы думали, бог ты мой, да что с нами может случиться? Ничего с нами не случится. Мы были, в конце концов, победители. Все было отлично, и мы наступали с песнями! Трудно поверить, но так и было».

Невиданное по скорости продвижение немцев повергло Сталина в отчаяние. Когда на военном совещании 29 июня ему доложили, что немцы вот-вот возьмут Минск, столицу Белоруссии, он вышел из кабинета, на

ходу бросив: «Ленин оставил нам великое наследие, а мы, его наследники, все это просрали...»<sup>8</sup> И отправился на дачу. Если бы остальные члены политбюро надумали бы устранить Сталина, лучшего момента для этого найти было трудно. В конце концов, именно некомпетентность Сталина и привела к неготовности Красной Армии к войне, в первую очередь, объяснявшуюся уничтожением наиболее опытных представителей высшего комсостава в ходе чисток 1930-х, и, кроме того, полнейшим игнорированием данных разведки, касавшихся подготовки немцами вторжения в СССР. Да и его поведение в течение первой недели вторжения было совершенно нетипично для него. Чего стоил один только отказ выступить с радиобранием к народу, это пришлось делать Молотову – и это тогда, когда страна должна была услышать четкую и ясную позицию вождя. Остальные члены Политбюро были просто в шоке от такого поведения всемогущего и всезнающего Сталина. Прозвучало даже расплывчатое предложение Вознесенского, чтобы Молотов взял на себя руководство страной («Вячеслав Михайлович [Молотов], идите, а мы пойдем за вами!» – так сказал Вознесенский)<sup>9</sup>. Однако другие члены политбюро просто сделали вид, что не слышали этого.

Именно в этот момент Сталин извлек выгоду из атмосферы террора, насаждаемой им все предыдущие годы. Невзирая на все огрехи, он добился того, что никто из советского руководства не был готов заменить его на посту главы огромного государства. Все до единого члены политбюро боялись, что стоило им только заикнуться о смещении Сталина, и это автоматически причислило бы их в разряд заговорщиков со всеми вытекающими из этого последствиями.

30 июня ключевые фигуры политбюро, включая Берию, Микояна и Молотова, направились к приземисто-

му, выкрашенному зеленой краской зданию ближней дачи Сталина, скрытому в роще деревьев.

«Приехали на дачу к Сталину. Застали его в малой столовой, сидящим в кресле. Увидев нас, он как бы вжался в кресло и вопросительно посмотрел на нас. Потом спросил: “Зачем пришли?” Вид у него был настороженный, какой-то странный, не менее странным был и заданный им вопрос. Ведь, по сути дела, он сам должен был нас созвать. У меня не было сомнений: он решил, что мы приехали его арестовать.

Молотов от нашего имени сказал, что нужно сконцентрировать власть, чтобы поставить страну на ноги. Для этого создать Государственный комитет обороны. “Кто во главе?” — спросил Сталин. Когда Молотов ответил, что во главе — он, Сталин, тот посмотрел удивленно, никаких соображений не высказал. “Хорошо”, — говорит потом. Тогда Берия сказал, что нужно назначить пять членов Государственного комитета обороны. “Вы, товарищ Сталин, будете во главе, затем Молотов, Ворошилов, Маленков и я”, — добавил он.

Сталин заметил: “Надо включить Микояна и Вознесенского. Всего семь человек утвердить”. Берия снова говорит: “Товарищ Сталин, если все мы будем заниматься в ГКО, то кто же будет работать в Совнаркоме, Госплане? Пусть Микоян и Вознесенский занимаются всей работой в правительстве и Госплане”. Вознесенский поддержал предложение Сталина. Берия настаивал на своем, Вознесенский горячился. Другие на эту тему не высказывались.

Впоследствии выяснилось, что до моего с Вознесенским прихода в кабинет Молотова Берия устроил так, что Молотов, Маленков, Ворошилов и он, Берия, согласовали между собой это предложение и поручили Берии внести его на рассмотрение Сталину»<sup>9</sup>.

1 июля Сталин вернулся в Кремль и приступил к работе. Теперь уже не сомневаясь в полной поддержке своих подчиненных, он решил, что пришло время как вождю обратиться к народу. И 3 июля он выступил с радиообращением, ставшим впоследствии знаменитым не столько изворотливыми попытками оправдать действия советского руководства, связанные с подписанием договора с гитлеровской Германией в 1939 году, или призывами к сплочению всех народов великой страны — Советского Союза — узбеков, татар, грузин, армян и остальных на борьбу против фашистских агрессоров, сколько совершенно новым в его устах обращением: «Товарищи! Братья и сестры». Для многих советских граждан эти простые слова воплощали нового Сталина — вождя, заботившегося о них, считавшего их не только «товарищами», но и своими близкими, членами одной и той же семьи. Эти слова продемонстрировали, что Сталин призывал не к идеологическому сражению против нацизма, а к защите Родины от захватчиков. А вот такую борьбу они понимали и принимали.

### **Сталин и западные союзники — первые дни**

Одно только изменение риторики Сталина, разумеется, не могло сдержать натиск немцев. И Сталин решается на отчаянный шаг. В конце июля через одного из агентов Берии, Павла Судоплатова, он выходит на болгарского посла в Москве, Ивана Стаменова, с тем, чтобы тот осторожно выяснил у нацистов, возможно ли через уступку ряда уже захваченных ими территорий достичь перемирия. «В кабинете обсуждали вопрос о капитуляции Советского Союза перед фашистской Германией — они договаривались отдать Гитлеру Советскую Прибалтику, Молдавию и часть территории других рес-



публик. Причем они пытались связаться с Гитлером через болгарского посла. Ведь этого не делал ни один русский царь. Характерно, что болгарский посол оказался выше этих руководителей, заявил им, что никогда Гитлеру не победить русских, пусть Сталин об этом не беспокоится... Не сразу, но Москаленко разговорился... Во время этой встречи с болгарским послом, вспоминал маршал показания Берии, Сталин все время молчал. Говорил один Молотов. Он просил посла связаться с Берлином. Свое предложение Гитлеру о прекращении военных действий и крупных, территориальных уступках (Прибалтика, Молдавия, значительная часть Украины, Белоруссии) Молотов, со слов Берии, назвал “возможным вторым Брестским договором”. У Ленина хватило тогда смелости пойти на такой шаг, мы намерены сделать такой же сегодня. Посол отказался быть посредником в этом сомнительном деле, сказав, что “если вы отступите хоть до Урала, то все равно победите”»<sup>12</sup>.

Ничего из этого маневра не вышло. Стаменов посчитал, что Советский Союз в конце концов одержит победу, несмотря на начальные неудачи, и даже если он и попытается выяснить мнение нацистов, вероятнее всего, учитывая быстрые победы германских войск, Гитлер откажется обсуждать условия мира на пике своего фантастического успеха. Но факт, что советское руководство было готово заключить сепаратный мир с фашистской Германией, является весьма существенным. Еще и потому, что вполне могло произойти и так, что Сталин попытался бы выпутаться из войны и дать нацистам возможность, при условии относительной стабильности на Востоке, сосредоточить силы на разгроме западных союзников. И это бы не ушло от внимания Черчилля и Рузвельта. Англичане подписали соглашение о взаимной помощи с Советским Союзом 12 ию-

ля 1941 года — почти сразу же после германского вторжения. И согласно условиям упомянутого соглашения ни одна из стран не станет «вступать в переговоры о перемирии или заключении мирного договора [с Германией], кроме как по взаимному согласованию». Однако советское руководство тайно нарушило этот пункт соглашения уже две недели спустя, когда агент Берии встретился с болгарским послом.

С самого начала заключения этого альянса в нем — с обеих сторон — присутствовали притворство, лицемерие, фальшь. О своем отношении к Советскому Союзу заявил в своей речи Черчилль 22 июня 1941 года: «Прошлое, со всеми его преступлениями, безумием и трагедиями имеет далеко идущие последствия»<sup>13</sup>; как заявил он же в конфиденциальной беседе с Джоном Колвиллом, своим секретарем незадолго до германского вторжения: «Если Гитлер вторгнется в ад, я произнесу панегирик в честь дьявола»<sup>14</sup>.

Не очень многие среди власть предержащих Великобритании считали, что Советский Союз устоит перед натиском немцем. Многие политические деятели и крупные фигуры британских вооруженных сил полагали, что Советам долго не продержаться. Военное министерство, например, заявило в интервью ВВС, что «сопротивление русских продлится не более полутора месяцев»<sup>15</sup>. И потом приходилось считаться и с предупреждениями в отношении СССР. Генерал-лейтенант Генри Поунол, представитель генерала сэра Алана Брука, начальника Королевского Генерального штаба, отразил свои взгляды в дневниковой записи от 29 июня 1941 года: «Я бы предпочел воздержаться от термина «Союзники», если речь идет о русских, поскольку они — грязная свора убийц, воров и подлых обманщиков самого низкого пошиба. Пусть эти двое самых отъ-

явленных в Европе головорезов, Гитлер и Сталин, вцепятся друг другу в глотки»<sup>16</sup>.

В США первая реакция на нацистское вторжение была, в целом, довольно осторожной. Действующий госсекретарь Самнер Уэллс (замещавший госсекретаря Кордела, находившегося на лечении) 23 июня сделал заявление. Ему предшествовала личная консультация с президентом Рузвельтом, в сдержанных выражениях осудившего «принципы и доктрины нацистской диктатуры», равно как и «принципы и доктрины коммунистической диктатуры», хотя правительство США признало, что «войска Гитлера – главная опасность для Америки сегодня. Это заявление оставляло место для предоставления военной помощи Советскому Союзу, однако ни к чему США не обязывало.

Часть американских политических деятелей открыто выразили взгляды, подобные изложенным генерал-лейтенантом Поунолом в его дневнике: «Это – тот случай, когда сцепились двое псов, – заявил сенатор от штата Миссури Беннетт Кларк. – У Сталина руки в крови ничуть не меньше, чем у Гитлера. Думаю, нам не следует помогать ни тому, ни другому»<sup>17</sup>. Другой американский сенатор выступил с весьма прагматичным заявлением: «Если мы увидим, что побеждает Германия, мы должны будем помогать России. А если будет побеждать Россия, мы должны будем помогать Германии, и пусть они убивают друг друга, хотя мне никак не хочется видеть Гитлера в роли победителя». Эти слова, широко цитировавшиеся американскими газетами, принадлежат сенатору Гарри Трумэну, тогда еще малоизвестному политическому деятелю из штата Миссури – слова, которые припомнят ему, когда он станет президентом Соединенных Штатов весной 1945 года и вынужден будет вести переговоры лично со Сталиным.

Но приз за цинизм, безусловно, принадлежал сенатору Роберу Ла Фоллетту, члену крохотной Прогрессивной партии и убежденному изоляционисту, написавшему в журнале *The Progressive*, что Соединенным Штатам вскоре придется лицеизреть «самые яростные попытки сокрытия исторических фактов» ради втягивания страны в войну: «Американскому народу скажут позабыть о чистках в России... о конфискации собственности, преследовании религии, вторжении в Финляндию и роли стервятника, которую сыграл Сталин в отхватывании куска обессиленной Польши, Латвии, Эстонии и Литвы. Все это будет подано как “демократические акции”, направленные на борьбу с нацизмом».

Но в те первые дни после вторжения немцев Сталина куда меньше заботило то, как именно Советский Союз будет воспринят в будущем, и куда больше – возможность доказать миру, что у Советского Союза, невзирая ни на что, есть будущее. И в его первом послании Черчиллю, переданном советским послом в Великобритании Майским 19 июля 1941 года, отразилась именно эта идея. Сталин, сделав упор на сложной обстановке на фронтах, попросил Черчилля содействовать как можно быстрому открытию второго фронта во Франции. Тогда Черчилль отклонил просьбу Сталина, и аргументы его решения много раз повторялись в ходе войны: Черчилль ссылаясь на дислоцированные на севере Франции 40 немецких дивизий. Хотя, в конце концов, пусть и три года спустя, но второй фронт все же был открыт в июне 1944 года.

Но англичане все же провели летом 1941 года оставшуюся почти неизвестной военную операцию, направленную на помощь Советскому Союзу – на отдаленном острове архипелага Шпицберген, всего в 600 милях от Северного полюса. И хотя эта операция вряд ли была

соизмерима с масштабами второго фронта, желаемого Сталиным, все же она была весьма показательна, привлекавшая во внимание довольно напряженные советско-британские отношения.

### Приключение на архипелаге Шпицберген

В июле 1941 года в Лондон поступило сообщение от сэра Стэффорда Криппса, английского посла в Москве, суть которого состояла в том, что Советы весьма оценили бы овладение архипелагом Шпицберген для обеспечения безопасности морского пути к советским портам Мурманска и Архангельска. После ряда обсуждений англичане в конечном счете дали добро на проведение операции «Латная рукавица» (*Gauntlet*). Идея состояла в том, что оперативная группа канадских солдат высадится на Шпицбергене для захвата угольных шахт и предотвращения использования немцами острова в качестве базы судов и подводных лодок, а заодно и обеспечить эвакуацию 2000 советских шахтеров и около 700 норвежцев, проживавших там. (Хотя архипелаг Шпицберген официально являлся норвежской территорией, Советский Союз управлял значительной концессией горной промышленности в Баренцбурге на западном побережье).

19 августа три эсминца, два крейсера и переоборудованный пассажирский лайнер «Эмпресс оф Канада» (*Empress of Canada*; «Императрица Канады») покинули базу Королевского флота Скапа-Флоу и после краткой остановки в Исландии прибыли 25 августа к побережью Шпицбергена. Вот здесь и начались проблемы. Когда канадские солдаты высадились в Баренцбурге, они обнаружили «с десяток хмурого вида, немногословных русских, настроенных весьма недоверчиво к нашим намерениям, хотя они были предупреждены из Москвы о

нашем прибытии»<sup>18</sup>. Кроме того, «когда мы вошли в город, вдруг почувствовали странный, тошнотворный запах — навязчивый аромат одеколона. Казалось, им пропахло здесь все. Дело в том, что на Шпицбергене действовал “сухой закон”, но выход был найден: шахтерам доставляли в больших количествах одеколон, который и служил заменой спиртным напиткам»<sup>19</sup>.

Солдаты союзников встретились с советским консулом, вначале он ни на что не соглашался, но в конце концов все же согласился принять участие в назначенной на следующий день эвакуации. И 26 августа большинство советских граждан поднялись на палубу «Эмпресс оф Канада». Но на острове все же осталась часть советских граждан, включая консула, который явно не решался уезжать. По слухам, они продавали уголь немцам и, вполне естественно, тревожились за свою судьбу после возвращения в Советский Союз. Консул также потребовал отправки части тяжелого горного оборудования на борту «Эмпресс оф Канада» — чего англичане и канадцы, разумеется, сделать не могли.

Бригадир Поттс, командующий британско-канадскими силами, посетил консула в его резиденции на окраине Баренцбурга и предпринял попытку найти компромиссный вариант. Во время встречи консул явно налегал на шампанское и вообще на спиртные напитки, — включая и бутылку мадеры, — но по-прежнему стоял на своем<sup>20</sup>. В конце концов он просто отключился и, согласно отчету об инциденте, составленному майором Брюсом Блэйком, офицером связи, «Консула [тогда] отнесли на борт [ожидавшего его судна] на носилках под одеялом, чтобы его соотечественники ничего не заметили»<sup>21</sup>. В полночь 26 августа «Эмпресс оф Канада» все же отчалила, увозя советских граждан в Архангельск. Утром 29 августа советский посол в Лондоне

Майский позвонил в министерство иностранных дел с жалобой на поведение британцев и канадцев. Все претензии о якобы нежелании идти на сотрудничество и невежливость были начисто отмечены союзниками, которые прекрасно понимали, что источник претензий — не кто иной, как сам консул, стремящийся отвести от себя вину за пьяные выходки.

Но поведение британцев и канадцев на Шпицбергене также представлялось сомнительным. Дождаясь возвращения «Эмпресс оф Канада» из Архангельска, они выполнили отданные им приказы и уничтожили горнодобывающее оборудование, чтобы оно не досталось немцам. Но произошло и еще кое-что — большая часть города была якобы вследствие случайности сожжена дотла. «Пожар начался около 6 часов утра 1 сентября в деревянной вокзальной постройке, — говорилось в рапорте министра иностранных дел Энтони Идена от 11 сентября Военному министерству<sup>22</sup>. — Огонь распространялся чрезвычайно быстро вследствие характера деревянных построек, в доски которых вьелась нефть и угольная пыль... Было проведено соответствующее расследование инцидента, но установить причину пожара так и не представилось возможным». Разумеется, пресловутое «не представилось возможным» звучит, мягко выражаясь, малоубедительно, поскольку сохранилась кинолента, снятая оператором кинохроники, которая хранится и поныне в Имперском военном музее, на кадрах которой видно, как солдаты союзников энергично поджигают добывающее оборудование и взрывают телеграфные столбы. В общем и целом трудно назвать эти действия тщательно распланированной и проведенной военной операцией, и гибель от пожара Баренцбурга скорее всего можно приписать именно халатности исполнителей. И хотя британское

правительство официально считало описанную операцию успешной, в памятной записке одного из сотрудников министерства иностранных дел, составленной позже в сентябре месяце 1941 года, говорится «что у Военного министерства должна быть нечиста совесть в связи с пожаром в Баренцбурге, ибо мне неоднократно приходилось слышать от многих людей, что поведение канадских военных оставляло желать лучшего»<sup>23</sup>.

Как ни странно, эту совершенно бездарную «операцию» всю расхваливали в одной из радиопередач BBC 9 сентября, где была названа «смелым» рейдом на Шпицберген и «первой крупной операцией с участием канадских сил»<sup>24</sup>. Сэр Стэффорда Криппс был в ярости, услышав эти похвалы, о чем не замедлил сообщить в телеграмме в МИД Великобритании, заявив буквально следующее: «Ввиду их [Советского Союза] недавнего оказываемого на нас давления предпринять на Западном фронте нечто значительное, инцидент на Шпицбергене выставят как наше стремление выдать совершенно провальную операцию за нечто важное и значительное и тем самым заполучить повод презирать и высмеять нас»<sup>25</sup>.

В аспекте военной значимости операция на Шпицбергене заслуживает мало внимания. Ее значимость скорее в том, что она была первой попыткой практического сотрудничества заинтересованных сторон в деле борьбы против Гитлера. Взаимное подозрение и неуважение друг к другу недвусмысленно проявились на территории Шпицбергена, именно они и доминировали в те первые месяцы войны у руководителей обеих стран — Великобритании и Советского Союза.

К началу сентября Сталин повторно попытался уговорить англичан поскорее открыть второй фронт с целью отвлечения части сил немцев из Советского Союза на запад. И в этом случае англичане мало что могли сде-



дать в практической сфере, разве что отправить немногочисленный конвой в Архангельск да предоставить Советскому Союзу трехпроцентный кредит в размере 10 миллионов фунтов стерлингов. Майский передал последнее официальное письмо Сталина в Лондон 4 числа. Без открытия второго фронта, предупреждал советский лидер, его держава будет разгромлена или в лучшем случае необратимо ослаблена. Когда Майский попытался запугать Черчилля в беседе касательно этой важнейшей проблемы, британский премьер-министр ответил: «Вы забыли, что всего четыре месяца назад мы толком и не знали, на чьей вы стороне выступите — на нашей или на немецкой... Что бы ни происходило и что бы вы ни предпринимали, вы не имеете никакого права упрекать нас в чем-либо»<sup>26</sup>. Однако Черчилль все же пообещал увеличить, пусть даже скорее символически, и без того скромную британскую помощь — поставлять СССР до 200 самолетов и 250 танков ежемесячно.

США первоначально относились серьезнее к просьбам Сталина. Президент Рузвельт, как мы убедились на примере заявления американского правительства, сделанного сразу же после вторжения нацистов в Советский Союз, осуждавший оба режима как «неприемлемые», на вопрос журналистов о том, «важно» ли для Америки защищать Россию, ответил весьма уклончиво: «О, спросите меня о чем-нибудь другом...»<sup>27</sup> Но как бы то ни было, уже спустя два дня после вторжения Рузвельт обеспечил Советскому Союзу доступ к замороженным до сих пор активам в размере 39 миллионов долларов, что вполне можно было расценить как дружественный шаг. Отчасти его сдержанность объяснялась широко распространенным в политических кругах США мнением о том, что, дескать, Советский Союз доживает последние дни. Фрэнк Нокс, министр ВМФ,

сказал президенту: «Возьму на себя смелость утверждать, что через полтора-два месяца Гитлер приберет к рукам Россию»; а Генри Стимсон, его «военный секретарь»<sup>27а</sup>, писал Рузвельту 23 июня, утверждая, что «немцы полностью разгромят Советский Союз минимум за месяц и максимум за три»<sup>28</sup>. Но другой причиной поначалу сдержанного отношения Рузвельта к оказанию поддержки Советскому Союзу почти наверняка было его стремление не заходить слишком далеко в глазах общественного мнения. В этой связи уместным будет вспомнить его знаменитое высказывание: «Ужасно, когда вы ведете за собой массы, но, обернувшись, не видите никого»<sup>29</sup>. И Рузвельт не упускал из виду результаты опросов общественного мнения в США: большинство американцев искренне желали победы Советского Союза в схватке с Гитлером, однако не торопились высказаться за предоставление существенной военной помощи Сталину.

В итоге Рузвельт в своей обычной манере продвигался вперед с осмотрительностью прагматика. Он дал добро на визит своего доверенного советника Гарри Хопкинса в Москву в конце июля 1941 года. Там, в ходе двух продолжительных обсуждений, Хопкинс пришел к выводу, что общаться со Сталиным все равно что общаться с «идеально отлаженной, говорящей машиной»<sup>30</sup>. Но на переговорах эта «машина» сделала одно поразительное предложение — Сталин заявил, что будет рад приветствовать американские войска под американским командованием в Советском Союзе, если они, конечно, готовы сражаться плечом к плечу с русскими против немцев. Это высказывание могло свидетельствовать лишь о том, что советский вождь был на пределе отчаяния.

И хотя пока что Америка никак не могла предоставить помощь в том объеме, которую желал получить

Сталин, тем грозным для Советского Союза летом стало ясно, что Рузвельт готовится выступить против Гитлера на стороне Великобритании.

### Встреча Черчилля и Рузвельта

Главы США и Великобритании провели первую за войну встречу у берегов острова Ньюфаундленд в августе 1941 года. Черчилль коротал время в поездке через океан на борту военного корабля «Принс оф Уэльс» (*Prince of Wales*; «Принц Уэльский») за игрой в трик-трак с Гарри Хопкинсом (только что вернувшимся из Москвы, где он встречался со Сталиным) и вкушением черной икры, привезенной Хопкинсом из Советского Союза. Британский премьер шутливо заметил в беседе с сэром Александром Кадогеном, также находившимся на борту «Принс оф Уэльс»: «Хорошо бы заполучить такую икру, она стоит того, чтобы сразиться из-за нее с русскими»<sup>31</sup>.

Это была первая после Первой мировой войны встреча Рузвельта и Черчилля, тогда Рузвельт прибыл с визитом на европейский континент. Американский президент не питал особо теплых чувств к Черчиллю, да и не скрывал этого, поскольку заявил в своем окружении в мае 1940 года, узнав о том, что Черчилль стал премьер-министром Великобритании, что, дескать, «он [Рузвельт] считает Черчилля лучшим из англичан, пусть даже тот почти все время навеселе»<sup>32</sup>.

На первых порах отношения между Черчиллем и Рузвельтом были куда сложнее, чем это пыталась изобразить пропаганда того времени. Невзирая на принадлежность к высшим кругам — Рузвельт происходил из весьма состоятельного семейства так называемых «Никербокеров»<sup>32а</sup>, а Черчилль был сыном лорда Рэндолфа Черчилля<sup>32б</sup> и состоятельной американки Джен-

ни Джером, — каждый из них исповедовал свою, отличную от другого систему политических ценностей. На самом деле это были два человека, которым, при обычных обстоятельствах, весьма непросто было договориться. Черчилль, например, на страницах печати высказался перед войной о том, насколько мало ему импонирует «Новый курс» — пакет социальных реформ, на котором базировалась политическая программа Рузвельта<sup>33</sup>. Рузвельт, в свою очередь, был непоколебимым противником Британской империи, а именно уважение к ней и служение ей и определяло политическое видение Черчилля. Их личные качества, невзирая на то, что и тот, и другой в избытке обладали и самоуверенностью, и самоуверенностью, оба были люди совершенно разные. Черчилль продемонстрировал личное мужество, еще будучи 23-летним офицером кавалерии в 1898 году на поле битвы в Омдурмане в Судане, в то время как мужество Рузвельта, как и его политический ум, проявлялись скорее на культурном уровне. В 1921 году, в возрасте 39 лет, Рузвельта сразил серьезный недуг, как полагали в ту пору, полиомиелит — хотя его болезнь, как считается ныне, носила название болезни Гийена-Барре<sup>33а</sup>, характеризующейся схожим с полиомиелитом параличом. В результате болезни нижняя часть тела Рузвельта утратила подвижность. Однако он не позволил физическому недугу негативно повлиять на его политическую карьеру — сказались присущий ему врожденный оптимизм и мужество. Рузвельт, как мы убедимся, был мастером по части пустить пыль в глаза, но, вероятно, пиком его мастерства стала его способность убедить американскую общественность в том, что он — почти нормален. Рузвельт, зная, что парализован, тем не менее продолжал убеждать мир, что, дескать, все это пустяки, и передвигался не на инвалидной коляске, а на ногах, обутом в специальные про-

тезы, что было весьма болезненно. Этот человек никогда не позволял публично — да и наедине с собой, как утверждают очень многие, — ни малейших проявлений жалости к себе. Как он однажды признался Джорджу Элси, офицеру военно-морской разведки в Белом доме, он был человеком «позитивного мышления».

И вот 9 августа 1941 года в территориальных водах Канады на военно-морской базе Арджентия оба лидера государств собрались на свою уже вторую встречу. Теперь их объединяло стремление сокрушить Германию и показать остальному миру пример непоколебимой сплоченности. Встреча двух лидеров исторически важна по двум причинам. Первое — Рузвельт дал понять, что готов направить американские войска на выручку британцам. Когда Черчилль сказал ему, что британцы планируют занять Канарские острова и вследствие этого не будут располагать ресурсами, необходимыми для обороны Азорских островов, Рузвельт предложил помощь. Президент сказал, что Америка защитит Азорские острова, если Португалия (которой принадлежали эти острова) попросит об этом. Впоследствии Черчилль отказался от захвата Канарских островов, но этот пример показал, что Рузвельт в принципе был готов предоставить американские вооруженные силы в помощь англичанам, даже при условии нейтралитета Соединенных Штатов. Впрочем, этот довольно хитроумный способ участия на самом деле был лишь увертюрой ко вступлению в войну, на что так надеялись англичане.

Но эта конференция запомнилась и еще одним важным событием — подписанием Атлантической хартии. Этот документ — заявление согласованных принципов — вызвал массу проблем в ходе войны. Действительно, он стал символом деловых отношений между западными союзниками и Сталиным, отличавшимися

взаимоисключающими мотивами, ибо Атлантическая хартия представляла собой благородство идеалов, в то время как (и мы в этом уже имели возможность убедиться) в отношениях со Сталиным должна была доминировать чистая прагматика.

Атлантическая хартия в восьми пунктах сформулировала принципы, на которых главы США и Великобритании основывали «свои надежды на лучшее будущее мира». Но на самом деле этот документ был детищем одного человека — Франклина Рузвельта. Потому что Рузвельт, занимаясь текущей политикой, ее чисто практическими аспектами, не чураясь при этом банальной изворотливости, все же не утратил перспективного видения — некий поствильсоновский идеал (после Первой мировой войны Вудро Вильсон, в тот период президент страны, внес значительный вклад в учреждение Лиги Наций), нашедший свое отражение в 8-м пункте Атлантической хартии: «Они [президент США и премьер-министр Соединенного Королевства] считают, что все государства мира должны, по соображениям реалистического и духовного порядка, отказаться от применения силы, поскольку никакой будущий мир не может быть сохранен, если государства, которые угрожают или могут угрожать агрессией за пределами своих границ, будут продолжать пользоваться сухопутными, морскими и воздушными вооружениями. Черчилль и Рузвельт считают, что впредь до установления более широкой и надежной системы всеобщей безопасности такие страны должны быть разоружены. Англия и США будут также помогать и поощрять все другие осуществимые мероприятия, которые облегчают миролюбивым народам избавление от бремени вооружений». Именно такое видение партнерства в рамках мирового сообщества в конечном счете вынудило к концу войны Рузвельта

проталкивать идею Организации Объединенных Наций. Но наибольшие сложности вызывали пункты второй и третий этого, явно тяготевшего к идеализму документа. США и Англия «...не стремятся к территориальным или другим приобретениям» — второй пункт; и «...не согласятся ни на какие территориальные изменения, не находящиеся в согласии со свободно выраженным желанием заинтересованных народов» — третий. Проблема, безусловно, состояла в том, что новый союзник Великобритании, Советский Союз, уже действовал вопреки идеалу, выраженному в пункте втором Хартии, захватив Восточную Польшу в сентябре 1939 года, и огромное число людей — причем не только в Советском Союзе, но и на территории Британской империи, в частности в Индии, было лишено возможности осуществлять свои права согласно пункту третьему.

Но пока что все эти жесты носили весьма отвлеченный характер, ибо Америка пока что формально не вступила в войну и — что, вероятно, куда важнее — Советский Союз оказался на грани разгрома.

### **Немцы наступают на Москву**

18 сентября 1941 года танковая группа Гудериана взяла Киев, столицу Украины, захватив в плен около 600 000 солдат и офицеров Красной Армии. Постигшая Советы катастрофа — единственное в военной истории окружение и уничтожение столь гигантской войсковой группировки — была в значительной степени обусловлена просчетом Сталина, поскольку именно он настоял на том, чтобы не отдавать город немцам. Маршал Жуков предложил отвести части Красной Армии на оборонительные рубежи, однако Сталин расценил это как «ерунду». После этого Жуков попросил освободить его

от должности начальника Генерального штаба, и Сталин без долгих колебаний согласился. Теперь немецкие войска, закрепившись на южном фланге в результате овладения Киевом, двинулись дальше к Москве, и в первые дни октября 1941 года 3-я и 4-я танковые группы продвинулись до Вязьмы и Брянска соответственно западнее и юго-западнее советской столицы. В районе Вязьмы немцы вновь нанесли сокрушительный удар Красной Армии — там были окружены пять советских армий. Советским солдатам пришлось прорваться через кольцо окружения нередко с винтовками времен Первой мировой войны, а зачастую и вовсе с пустыми руками.

В ходе сражений под Вязьмой и Брянском в немецком плену оказались 660 000 советских солдат. Эти успехи, а также тот факт, что Ленинград уже находился в кольце блокады, вынудили Отто Дитриха, пресс-секретаря Гитлера, объявить о том, что: «Все военные задачи в Советской России решены»<sup>34</sup>. Оставался лишь пустяк — захватить Москву — не только столицу Советского Союза, но и крупнейший транспортный узел и промышленный центр страны. И овеянная славой побед под Вязьмой и Брянском германская армия маршировала к главной цели, которая должна была ознаменовать кульминационный пункт «операции «Тайфун».

19-летний Григорий Обозный<sup>35</sup> был одним из советских солдат, брошенных на защиту города в октябре месяце 1941 года. Он помнит канонаду немецкой артиллерии, постоянно приближавшуюся, и панику в Москве. Другие очевидцы рассказывают, как продавцы магазинов распахивали двери, призывая людей брать все, что угодно, без денег, лишь бы продукты и товары не попали в руки немцев. «Были тысячи тех, кто в панике бежал, — вспоминает Зоя Зарубина<sup>36</sup>, в то время молодая девушка. — Люди хватали все, что под руку попадало. [Но] бы-



ли и другие, те, кто минировал [здания]... они потом плакали, что, мол, приходится взрывать созданное своими же руками, но лучше взорвать, чем отдать врагу».

Этот момент в советской истории – Москва объятая паникой, Москва, откуда люди бежали, – совершенно расходится с идеологическим мифом о бесстрашной и победоносной Красной Армии. Любое упоминание об истинной обстановке в столице в середине октября 1941 года в годы правления коммунистов было запрещено. Лишь после падения Берлинской стены был открыт доступ к документам российских архивов, содержание которых подтверждает ту степень ужаса, охватившего город той осенью. Например, секретный документ № 34 Государственного комитета обороны, датированный 15 октября 1941 года, доказывает, что было принято решение «эвакуировать Президиум Верховного Совета и высшее руководство страны» и что на случай вторжения противника в Москву органам НКВД – товарищам Берии и Щербакову – было приказано взорвать предприятия, складские помещения и другие здания и учреждения, не подлежавшие эвакуации, а также всю подземную энергосеть».

Также выяснилось, что в этот драматический момент сам Сталин рассматривал вариант бегства из Москвы. Николай Пономарев<sup>37</sup>, личный телеграфист Сталина, подтвердил, что в ночь на 16 октября оборудование связи советского лидера в Кремле было демонтировано и погружено на состав, ожидавший Сталина и его ближайшее окружение, чтобы доставить их на восток страны. Но потом Сталин все же отказался от эвакуации и остался в Москве, объявив в столице осадное положение. Приказ об осадном положении проводился в жизнь самыми жестокими методами, которые только можно себе вообразить. В конце концов все же удалось

остановить немцев на ближних подступах к Москве с помощью срочно переброшенных свежих сил.

Тогда же, в октябре 1941 года, под Москву было переброшено из восточных районов Советского Союза и подразделения, где служил рядовой Василий Борисов<sup>38</sup>. По его словам, «мы ждали нападения Японии». Однако 18-я дивизия, в которой служил Борисов, получила приказ немедленно грузиться в эшелоны и следовать на запад. «Летом мы знали, что немцы продвигались очень быстро и захватили советскую территорию, и мы знали, что их войска были лучше технически оснащены, чем наши... мы знали, что обстановка была крайне серьезная». Следуя на запад, он и его товарищи понимали, «что многие из нас погибнут. Мы понимали, что война предстоит трудная, именно так и произошло. Война была на самом деле ужасная... приходилось преодолевать страх».

Они прибыли на защиту рубежей обороны, располагавшихся на окраинах Москвы. «Мы отступали... мы вынуждены были отступать, потому что мы были слабее немцев... у нас не хватало оружия, в особенности качественного, такого, как у немцев... Всюду огонь, дым, ничего не видно — мы только слышали крики командиров: “Вперед! Вперед!” Трудно все это описать... Мы видели горы трупов — и наших, и немецких... Было очень страшно. Все было в огне — снег почернел от разрывов... для меня это был самый страшный период за всю войну... Солдаты Красной Армии, по правде говоря, были необученными. Стрелковая подготовка сводилась к нескольким дням на стрельбище... Если пулеметчик погибал, я не мог заменить его — меня не учили обращаться с пулеметом».

Николай Брандт<sup>39</sup>, 18-летний студент, призванный в Красную Армию и брошенный на оборону Москвы, вспоминает, что почти все командиры не владели даже

необходимым минимумом навыков участия в бою: «Один раз я не смог передернуть затвор винтовки и обратился к командиру. Тот сказал, что, мол, винтовка твоя промерзла насквозь и надо ее отогреть. А где я ее отогрею, если мороз под тридцать градусов? Я обратился к командиру взвода, и тот сказал то же самое: “Надо отогреть ее”. И только командир батальона, лейтенант, смог разобраться что к чему — снял винтовку с предохранителя, и все было в порядке... Помню, я страшно обрадовался».

Николай Брандт понимал, что и ему, и его отделению не устоять под натиском немцев. У него была хоть и допотопная, но все же винтовка, с которой он с грехом пополам мог обращаться. Многие из его товарищей вообще были безоружны. Командование планировало использовать их во второй волне атаки, когда можно было подобрать оружие погибших в атаке первой волны. «Посылать в бой совершенно необученных, необстрелянных, — считал Брандт, — абсолютно бессмысленно и бесчеловечно». Сам он был тяжело ранен буквально в первые секунды боя: «Я был ранен осколками разорвавшейся мины и упал в глубокий снег. Это меня и спасло». Он так и пролежал в снегу весь день, одежда пропиталась кровью, а с наступлением темноты уполз к своим. Выяснилось, что фактически все отделение в тот день погибло. «Необстрелянный солдат, оказавшись под пулями, уже ничего не соображает, — продолжает он. — Он теряет рассудок. А опытный солдат знает, что делать. Если мина на подлете, он знает, куда бежать и где укрыться от осколков. Только так и обретаешь опыт, которого я тогда не имел».

К тому времени у Сталина уже не было иллюзий относительно боевой подготовки Красной Армии. Многие из ее солдат, таких как Николай Брандт, были пло-

хо обучены и плохо вооружены. И в данных обстоятельствах Сталин решил прибегнуть к крайней форме принуждения, не раз срабатывавшей в прошлом, — угрозам. Самый наглядный пример тому, как он гнал войска в бой, памятный телефонным звонком комиссару одной из армий Степанову в октябре 1941-го. Степанов был послан в штаб Западного фронта в Перхушково доложить обстановку. Он тогда попросил Сталина позволить советским силам отступить к востоку от Москвы. В трубке воцарилось долгое молчание, наконец Сталин ответил:

«— Выясните, есть ли у ваших подчиненных лопаты.

— Что, товарищ Сталин? — не понял Степанов.

— Есть у ваших подчиненных лопаты? — повторил вопрос Сталин.

Прежде чем ответить, Степанов обратился к стоявшим тут же командирам — надо было выяснить, о каких лопатах шла речь.

— Товарищ Сталин, а какие лопаты? Саперные или обычные?

— Не имеет значения, какие — ответил Сталин.

— Товарищ Сталин, — взволнованно произнес Степанов. — У нас есть лопаты! Что мы должны сделать с ними?

— Товарищ Степанов, — ответил Сталин, — передайте своим подчиненным, пусть они возьмут лопаты и выроют себе могилы. Москву мы не сдадим»<sup>40</sup>.

Именно эта жестокость в конечном счете и спасла Москву — психологический нажим, оказавшийся куда более эффективным, чем свежие части с востока страны. И как часть такого подхода к ведению войны, Сталин распорядился о создании так называемых заградотрядов, следовавших позади наступающих частей. Солдаты заградотрядов были наделены правом расстреливать на месте всех без исключения независимо от

звания и должности при попытке уйти в тыл с поля боя. Советские солдаты под Москвой понимали, что лучше погибнуть в бою от пули врага, чем от пули соотечественников.

«Эти заградотряды вмиг повысили упавший было боевой дух, — считает Владимир Огрызко, офицер НКВД, служивший в одном из таких отрядов, предотвращавших отступление частей Красной Армии. — Если он [солдат, пытающийся сбежать] оказывал нам сопротивление, мы устранили [его]. Расстреливали — и все. Это были не бойцы»<sup>41</sup>.

Огрызко, как и многие советские солдаты, был вдохновлен примером Сталина. Советский лидер решил остаться в Москве и разделить ее судьбу, также должны были поступать и они. Осень 1941 года была для Сталина — как весна 1940 года для Черчилля — моментом, когда лидер демонстрирует свой истинный характер, оказавшись в бедственной ситуации. «Сталин поступил правильно, — считает Огрызко. — Несмотря на все его недостатки... Сталина будут добрым словом поминать в истории. Тогда нужен был сильный человек. И страх сокрушали страхом».

На пути к Москве немцам первоначально доставляли массу неприятностей раскисшие от дождей грунтовые дороги, но ударившие к 15 ноября морозы сковали их, что дало вермахту возможность совершить ошутимый рывок. На советскую столицу наступало около миллиона солдат германских сухопутных сил. Им противостояли чуть меньше половины этой цифры бойцов Красной Армии. К концу ноября месяца 7-я танковая дивизия преодолела один из последних стратегических барьеров на пути к советской столице — канал Москва–Волга. Немцы теперь находились всего в примерно 35 километрах от резиденции Сталина в Кремле. Но

Красной Армии удалось удержать немцев у канала. Захватчики исчерпали резервы выносливости — из-за растянувшихся на сотни и сотни километров линий обеспечения нередко были перебои в войсковом подвозе, в частности горючего, что обусловило небоеспособность моторизованных сил.

Роковую роль сыграла и полная неготовность германских войск к ведению боевых действий в условиях суровой русской зимы, поскольку верховное командование немцев рассчитывало завершить русскую кампанию к осени; у немцев отсутствовало зимнее обмундирование, не рассчитанная на сильные морозы авто- и бронетехника постоянно выходила из строя. «Когда морозы доходили до минус тридцати градусов и ниже, наше оружие заклинивало, — вспоминает Вальтер Шефер-Кенерт<sup>42</sup>, офицер немецкого танкового подразделения, сражавшегося под Москвой в декабре 1941 года. — Наши автоматы были очень тщательно подогнаны, но смазка на морозе замерзала, и оружие давало осечку — вот это было на самом деле страшно». Осечки оружия, вышедшая из строя техника и транспортные средства, отсутствие надлежащего обмундирования — все это крайне негативно сказывалось на боевом духе немецких солдат.

Но ничуть не менее важную роль, чем чисто практические проблемы, вызванные неспособностью немцев обеспечить в тех условиях бесперебойное снабжение своих войск всем необходимым для ведения боевых действий было и то, что нередко упускается, а именно — антагонистические различия психологического характера Красной Армии от вермахта, что впервые проявилось именно под Москвой в декабре 1941 года и вновь подтвердилось годом позже уже на развалинах Сталинграда. Вне сомнения, немцы считали себя вы-

ше славянских недочеловеков – солдат Красной Армии. Нацистская пропаганда объявила войну с Советским Союзом «войной на уничтожение», иными словами, искоренением неполноценной расы. И надо сказать, подобные расистские установки срабатывали в ходе молниеносного наступления немецких войск на территории Советского Союза. Свою роль сыграла и неспособность Красной Армии сопротивляться моторизованному натиску немцев, что лишь подтверждало нацистские идеологические доктрины о зияющей пропасти между представителями «расы господ» и «неполноценными славянами». Для многих немецких солдат эта война была столкновением современной, промышленно развитой страны с отсталой и неразвитой во всех отношениях. Именно эту точку зрения исповедовал Адольф Гитлер, требовавший от своего окружения и генералитета обращения с жителями Советского Союза как с «краснокожими» Северной Америки<sup>43</sup>.

Но германское превосходство в технике разбилось о трескучие морозы России. Они уравнили и русских, и немцев. Василий Борисов считает, что его и его товарищей тогда под Москвой спасли «сибирское упорство и выносливость... Командующие имели обыкновение говорить, что именно сибиряки спасли тогда Москву...» И пока приходилось отступать, Борисов и его товарищи не могли избавиться от страха, но с контрнаступлением Красной Армии, развернувшимся 5 декабря 1941 года, боевой дух и уверенность в победе вернулись. «Мы – силачи и здоровяки... Вот – истинно сибирский дух. Это – то, как люди воспитаны с детства. Все знают, что сибиряки – народ выносливый... Я – истинный сибиряк, и у нас все знают, что нас так просто не возьмешь».

Именно эта выносливость и упорство и определяли теперь ход войны: «Контратаки нередко переходили в рукопашные схватки. Мы сражались с немцами в траншеях. Сильнейшие выживали и побеждали, слабые — гибли... У нас были винтовки со штыками, а я был тогда очень физически силен — спокойно насаживал на штык немца и выкидывал его из траншеи... они же были в тонюсеньких шинельках, которые наши штыки без труда прошивали. Все равно что нож в хлеб воткнуть... Тут вопрос стоял так — либо ты его, либо он тебя... Но я никогда не испытывал гордости от того, что убил человека. Просто знал, что добился победы, пусть и небольшой, но победы, и могу продолжать борьбу. Но никогда не чувствовал ни удовлетворения, ни радости от этого».

Столкнувшись с немцами в рукопашных схватках, Василий Борисов и его товарищи заметили, что отношение к ним немцев изменилось: «Когда они увидели, что сибиряки одолевают их, они сразу перепугались — сибиряки на самом деле были очень здоровыми ребятами... Их [немцев] воспитывали по-другому. Они были слабее нас, сибиряков. Вот и запаниковали... Сибиряки не паникуют. Немцы — люди более слабые. Они и холод не так, как мы, переносят, да и физически куда слабее». Федор Свердлов, принимавший участие в сражении за Москву в должности командира роты 19-стрелковой бригады, подтверждает сказанное Борисовым: «Немецкая армия под Москвой представляла собой жалкое зрелище. Я очень хорошо помню немцев в июле 1941 года. Это были уверенные в себе, сильные, высокие ребята. Они перли вперед с засученными рукавами и с автоматами в руках. Но потом сразу превратились в несчастных горемык, скорчившихся от холода, увешанных замерзшими соплями и закутанных в платки, сорванные с наших деревенских баб».



И пока у немцев зуб на зуб не попадал от зверского холода под Москвой, на другом конце мира произошло событие, подарившее Сталину еще одного союзника, а Гитлеру — еще одного противника.

### Решающий месяц декабрь

7 декабря 1941 года, всего два дня спустя после начала советского наступления под Москвой, японцы почти уничтожили американский флот на базе Перл-Харбор на Гавайях. И хотя американцы оказались застигнутыми врасплох, они прекрасно поняли, что время дипломатических переговоров с японцами миновало безвозвратно.

Отношения между Соединенными Штатами и Японией стремительно ухудшались, начиная с захвата Японией южного Индокитая (территория современного Вьетнама) летом 1941 года. В качестве ответной меры американцы заморозили японские активы в США и угрожали прекратить поставку нефти и остальных видов стратегического сырья в Японию. Потом последовали месяцы бессвязных и отвратительно проводимых (обеими сторонами) попыток достичь компромисса. Но его достижению никак не способствовал и посол Японии в Вашингтоне, одряхлевший, глуховатый и полуслепой адмирал Номура Китисабуро, впавший чуть ли не в маразм.

Американцы явно не ожидали оказаться в роли жертв внезапной атаки японцев. Многие американцы, отчасти от осознания сохранения деловых связей с нацистами — которые совершенно не желали участия в войне США, — считали, что японцы скорее всего станут прибирать к рукам голландские или британские колонии на Востоке, вероятно, позарившись на нефтеносные районы голландской Ост-Индии. Однако японцы опериро-

вали куда более глобальными категориями. Их нападение на Перл-Харбор, базу ВМФ США, расположенную в самом центре Тихого океана, было попыткой вообще исключить из игры Америку. «Америка – большая страна, и мы понимали, что нам ее не одолеть в случае затягивания войны, – признает Окумия Масатакэ<sup>44</sup>, служивший в декабре 1941 года на японском Императорском военно-морском флоте. – Но в те времена именно флот составлял костяк военной мощи, будь то США, Великобритания или Япония. Флот представлял национальную военную мощь. И уничтожение флота означало невосполнимый урон. Уничтожение флота сводило на нет авторитет президента Рузвельта как главнокомандующего, он оказался бы в безвыходном положении».

Это было широко распространенное и в корне неверное мнение. После нападения на Перл-Харбор американцы менее всего были склонны «выйти из боя», скорее их переполнял праведный гнев и стремление взять реванш. «Не забывайте о Перл-Харборе!» – этот лозунг сплотил всех американцев в ходе военных действий против Японии, и не только против Японии. Это был призыв ко всем американцам никогда не доверять «коварным япошкам» (*Tricky Nipper*), именно так японцев окрестила во флотских кругах Америка, и не допустить повторения Перл-Харбора.

Японское нападение на американцев затрагивало Советский Союз в двух важных аспектах. Во-первых, это подтвердило, что японские силы в обозримом будущем уже не будут представлять угрозы Советскому Союзу на Дальнем Востоке. И действительно, поступившие двумя месяцами ранее агентурные донесения от Рихарда Зорге, советского разведчика в Японии, говорили о том, что японцы намеревались нанести удар далеко на юге, что и позволило Сталину перебросить значительную часть сил

из Сибири и Дальнего Востока для обеспечения обороны Москвы. Во-вторых, атака Перл-Харбора автоматически вынудила Германию объявить войну Америке, что, в свою очередь, гарантировало Сталину весьма сильного союзника. Решение Гитлера объявить войну Америке, официально это произошло 11 декабря 1941 года, нередко ставит в тупик тех, кто плохо знает историю. С какой стати Гитлеру добровольно взваливать на себя еще и бремя войны с США, если и на Восточном фронте хлопот хоть отбавляй?

Ответ на этот вопрос прост. Гитлер, как Сталин, был политическим лидером, считавшимся и с реальностью, а не только следовавшим идеологии. И Гитлеру было ясно, что войны с Соединенными Штатами не избежать. Все решил не удар японцев по Перл-Харбору, а другое событие, произошедшее несколькими месяцами ранее, когда Рузвельт распорядился об отправке американских военных кораблей для сопровождения британских конвоев по водам Атлантики.

Как отметил Черчилль, ко времени подписания Атлантической хартии в августе 1941 года Рузвельт был готов «вести войну, но без ее объявления»<sup>45</sup>. Именно к такому заключению пришел и адмирал Рэдер, который доложил свои соображения Гитлеру еще за несколько месяцев до Перл-Харбора: мол, если нашим подводным лодкам не дадут официальный приказ топить американские суда, битву за Атлантику нам не выиграть. Решение Рузвельта о сопровождении английских судов американскими военными кораблями в западной части Атлантического океана незамедлительно повлекло за собой ряд инцидентов – самым заметным из которых стала атака германской подводной лодкой военного корабля ВМФ США «Грир» (*Greer*) в сентябре 1941 года и потопление еще одного американского военного ко-

рабля «Рубен Джеймс» (*Reuben James*), повлекшее за собой гибель свыше ста американских моряков в ноябре месяце 1941 года. Так что к декабрю 1941 года Гитлер, вероятно, понимал, что, объявить Америке войну — просто неизбежный в сложившейся ситуации шаг плюс возможность некоторое время держать события под контролем. И потом, Гитлер полагал, что вступление США в войну, по сути, мало что изменит в расстановке сил, во всяком случае, в течение года статус-кво останется прежним и вряд ли негативно повлияет на ход войны с Советским Союзом — а именно сражение со Сталиным, как он считал, так или иначе определит исход конфликта. Кроме того, Гитлер склонялся к мысли, что японцы свяжут руки американцам на Тихом океане и превратятся в угрозу британским интересам на Дальнем Востоке.

Но декабрь 1941 года стал решающим месяцем и по менее известным причинам. 3 декабря, за четыре дня до Перл-Харбора, премьер-министр польского правительства в изгнании генерал Сикорский вместе с главнокомандующим Войска польского генералом Андерсом встретился со Сталиным и Молотовым в Кремле. Теперь, когда Польша стала союзником Советского Союза, Сталин оказался в довольно неловком положении. Всего за немногим более полутора лет до описываемых событий он распорядился уничтожить большую часть офицерского корпуса Войска польского. Неудивительно, что отношение советских властей к оставшимся в живых полякам, оказавшимся в роли заложников, внезапно резко изменилось после немецкого вторжения. Сначала они считались орудиями в руках буржуазного государства, которое Советский Союз помог стереть с карты мира, теперь же превратились в потенциальных союзников в борьбе против нацистов.

Тадеуш Руман<sup>46</sup> пережил эту метаморфозу на собственном опыте. Будучи 20-летним студентом, он был арестован весной 1940 года за попытку перехода границы между немецкими и советскими зонами оккупации Польши. Хотя он так и не признался советским пограничникам, арестовавшим его, что действовал в роли курьера польского Сопротивления, он был заключен в тюрьму под вымышленным именем. Первоначально его держали в печально известной львовской тюрьме Бригидки, в переполненной камере, где он буквально погибал от голода. Оттуда его направили на северо-восток Советского Союза, в трудовой лагерь, где ему и группе других поляков объявили приговор: 15 лет лагерей. «Никакого суда не было, — вспоминает он. — Суд происходил на допросах, тоталитарная система в доказательствах чьей-либо вины не нуждается». Но не 15 лет срока волновали тогда 20-летнего поляка в лагере: «Единственное, о чем я мог думать, это где достать еды? Когда ты голоден, ты уже ни о чем больше не думаешь».

Но однажды летом 1941 года отношение к нему стало другим. Его вызвали к коменданту лагеря подполковнику НКВД. Руману было предложено сесть, его угостили папиросой. Молодого поляка насторожила такая резкая перемена в обращении, ибо он знал, что обычно сотрудник НКВД угощает тебя папиросой, а потом бьет по спине. Но эту встречу отличала вежливость. Офицер НКВД объяснил, что нацисты вторглись в Советский Союз и что теперь у поляков есть возможность сражаться вместе с Красной Армией против «нашего общего врага».

«А что же со мной? — спросил Руман. — Я получил 15 лет за то, что сражался за дело поляков».

«Ах! — махнул рукой подполковник. — Забудем об этом». И взяв папку с «делом» Румана, поставил на ней крестик, сделав пометку «освобожден».

Так Тадеуш Руман, изнуренный, ослабевший, был выпущен на свободу из советского плена, а приговор 15 лет лагерей исчез, будто его и вовсе не было, причем столь же быстро и без особых церемоний, как и был объявлен. Он стал одним из десятков тысяч поляков, которых теперь предстояло превратить в боевое соединение для борьбы против немецко-фашистских захватчиков во имя будущей Польши плечом к плечу с новым союзником – Советским Союзом.

Однако собрать этих людей, разбросанных по всему ГУЛАГу, оказалось делом весьма нелегким, как и проблема проживания и пропитания их. Именно для решения этих практических вопросов и прибыла в Москву польская делегация, возглавляемая генералом Сикорским. Польские посланцы пытались разузнать, почему так мало их офицеров освобождено до сих пор. На встрече в Кремле Сикорский объяснил Сталину, что недавно советское «распоряжение об амнистии» польских военнопленных «не осуществлялось» и что «многие из наших наиболее опытных офицеров до сих пор находятся в трудовых лагерях и тюрьмах»<sup>47</sup>.

«Этого не может быть, – ответил Сталин. – Поскольку амнистия относилась ко всем, все поляки были освобождены». Молотов кивнул в знак согласия.

Сикорский продолжал объяснять, что, дескать, у него на руках список из нескольких тысяч поляков, которых недосчитались. Ни один из них не был освобожден, и Сикорский наивно полагал, что их все еще держат в неволе где-нибудь в Советском Союзе.

«– Этого не может быть, – повторил Сталин. – Значит, они сбежали.

– Куда они могли сбежать? – спросил генерал Андерс.

– Может, в Маньчжурию – ответил Сталин».

Это — один из характерных приемов Сталина. Советский лидер лучше, чем кто-либо, знал об участии солдат и офицеров, которых «недосчитались», и при этом не моргнув глазом лгал: мол, они «сбежали» далеко-далеко в северо-восточную Азию. Сомнений нет, это была одна из самых циничных уловок советских властей. Раз Советское государство могло декретировать вас «врагом народа» — причем вне каких бы то ни было объективных критериев — так и Сталин, прибегнув к своему, вероятно, богатому воображению, мог «возродить» расстрелянных польских офицеров и превратить их в беглецов через сопки Маньчжурии.

Генерал Андерс, познавший на себе все ужасы советской судебной и пенитенциарной системы, все попытался возразить Сталину:

«— Ну, не все же, в конце концов, смогли сбежать.

— Их, разумеется, освободили, — утверждал Сталин, — просто не успели добраться до места».

Польский вопрос напомнил Сталину о себе и во время еще одной весьма важной встречи на международном уровне, проходившей в декабре 1941 года, — на сей раз с учтивым британским министром иностранных дел Энтони Иденом. После того как Иден морским путем прибыл в Мурманск, а оттуда поездом направился в Москву, он впервые встретился со Сталиным 16 декабря 1941 года. Этой встрече также была уготована роль знаменательной, дававшей возможность понять логику мышления и воззрения Сталина. Поскольку немецкие войска все еще находились в опасной близости от Москвы, поскольку держава все еще балансировала на краю гибели, поскольку прослеживалось очевидное нежелание британцев открывать второй фронт, поскольку военная помощь их по-прежнему оставалась весьма скромной, Сталин предпочел обсудить вопросы, хоть и

не первостепенной важности, однако достаточно серьезные – например, будущие послевоенные границы Советского Союза.

Сталин весьма убедительно объяснил Идену, что примет ни больше ни меньше (правда, с небольшими изменениями) существовавшие до 1941 года границы СССР, согласованные с нацистами. Советы, таким образом, стремились узаконить свой контроль над огромным фрагментом того, что перед войной представляло собой Польшу. Сталин также потребовал, чтобы прирост территории страны за счет финнов также была узаконен, как и контроль Советов над бывшими странами Балтии и еще над несколькими меньшими территориями на западных границах Советского Союза. Сопровождавший Идена дипломат, сэр Фрэнк Робертс, позже вспоминал сделанное Сталиным заявление. «И когда я вместе с Энтони Иденом в декабре 1941 прибыл Москву, когда немцы все еще находились всего в 19 километрах от нас, когда мы говорили, первое, о чем завел разговор Сталин на той встрече, было: “Г-н Иден, мне хотелось бы заручиться вашими гарантиями, что в конце войны вы поддержите мои требования всех этих областей”... Иден тогда ответил: “Может, уместнее будет сейчас подумать о том, как выиграть эту войну?” “Нет, нет, – не согласился Сталин, – мне хотелось бы с самого начала иметь обо всем ясное представление”. Естественно, Иден только и мог сказать, что, дескать, мы не наделены соответствующими полномочиями для обсуждения подобного рода вопросов, во всяком случае до окончания войны. И я помню, что тогда решил для себя – хотя бы потому, что занимался Польшей: “Нам никогда не восстановить независимость Польши, если мы будем дожидаться, пока Сталин закончит эту войну”»<sup>48</sup>. Что примечательно, Сталин также предложил на встрече, чтобы Великобри-



тания и Советский Союз подписали некий «секретный протокол», определявший послевоенные границы СССР. Выражение «секретный протокол» сразу же напомнило о позорном альянсе с нацистами, оформленном здесь же, в этом же кабинете немногим более двух лет ранее. Иден, по очевидным причинам, считал такое предложение «неприемлемым»<sup>49</sup>.

Вторая встреча Идена со Сталиным, состоявшаяся в полночь на следующий день, носила еще более резкий характер. Иден заявил, что он не имеет возможности согласовать требования Сталина, поскольку британцы согласились с американцами в том, что такие чисто территориальные вопросы должны быть урегулированы лишь после того, как будут успешно решены все военные проблемы, связанные с немцами. Сталин был явно раздосадован таким поворотом, хотя, была ли его досада истинной или же наигранной, сказать трудно. Такова была сталинская тактика: запугивание. Вторая встреча имела тенденцию к критике советским лидером посланца иностранной державы, а третья, заключительная, приберегалась для попыток успокоить его, модерировать предыдущие страхи.

Так было и с Иденом. На третьей, и последней, встрече Сталин был куда более любезен, но все еще продолжал повторять уже сказанное — он желал заключить соглашение о послевоенных границах, закрепившее бы за Советским Союзом право на отторгнутые им до 1941 года у других государств территории.

Иден, эталон английского джентльмена-аристократа, был явно озадачен поведением Сталина. И на самом деле, в этой встрече нетрудно усмотреть не только конфронтацию двух разных политических идеологий, но и конфронтацию ценностных приоритетов вообще. Сталин — кого в Великобритании, разумеется, не причис-

ляли к «джентльменам», — как и ожидалось, продемонстрировал чисто крестьянскую неотесанность. Очевидная нехватка у него чисто дипломатической утонченности позволила части британцев с легкостью счесть его ниже себя или же воспринимать его как своего рода диковинку, на которую стоит взглянуть. И тот, и другой подходы ошибочны. Сэр Александр Кадоген, например, написал после встречи со Сталиным 17 декабря 1941 года в своем дневнике: «Трудно сказать, внушительен ли S. [Сталин]. Это диктатор, наделенный куда большей властью, чем любой из царей (и более удачливый). Но если ты видишь его впервые, он вполне может показаться ничем не примечательным человеком. Своими маленькими блестящими глазками и жесткими, зачесанными назад волосами он скорее походит на дикобраз. Очень сдержан и немногословен. Вероятно, обладает чувством юмора. Я сначала подумал, что он просто блефует. Но оказался не прав»<sup>50</sup>.

Разница во взглядах и психологии британской и советской сторон компенсировалась банкетом в последнюю ночь переговоров. Он состоялся в Екатерининском зале Кремля, и Иден описал его как «почти до неприличия обильный»<sup>51</sup>. После того как гости и хозяйева отведали жареного поросенка, осетрины и икры, приступили к серьезному питию. Вскоре, к изумлению гостей, манеры хозяев опростились до уровня буйства, хотя даже один из младших секретарей британского посольства в Москве, поддавшись всеобщему веселью, принялся бороться с маршалом Ворошиловым, который был сильно навеселе»<sup>52</sup>. Другой советский маршал, Тимошенко, был настолько пьян, что Сталин невольно спросил Идена: «А ваши генералы напиваются так когда-нибудь?» Иден, дипломат до мозга костей, ответил уклончиво: «У них редко бывает такая возможность»<sup>53</sup>.

Независимо от пьяных причуд представителей неограниченной власти, независимо от обескураживающей прямоты требований Сталина о признании Великобританией границ СССР 1941 года, неоднократно звучавших во время встреч в Кремле, действительно возымели эффект на Идена. 5 января 1942 года он написал Черчиллю, что не сомневается в том, что «этот вопрос — для Сталина пробный камень нашей искренности, и если мы не пойдём ему навстречу, его подозрения относительно нас и правительства Соединенных Штатов сохранятся»<sup>54</sup>. Иден тогда в общих чертах обозначил «случай непосредственного признания», хотя добавил, что «я, разумеется, понимаю, что наибольшую сложность достижения взаимопонимания с правительством Соединенных Штатов представляют собой противоречия Атлантической хартии».

Когда предложение Идена добралось до Черчилля, тот был возмущен до глубины души и с ходу отклонил требования Сталина. «Мы никогда не признавали границ СССР 1941 года, — писал Черчилль, — кроме де-факто. Они были установлены в результате актов агрессии и в позорном сговоре с Гитлером»<sup>55</sup>. Черчилль также напомнил Идену об обстоятельствах, при которых Советский Союз стал союзником англичан, указав, что «они вступили в войну только после нападения Германии, до этого проявляя полнейшее равнодушие к нашей участи, и тем самым усугубили постигшие нас проблемы». Свой ответ он закончил фразой: «И не должно быть никаких заблуждений относительно мнения британского правительства, возглавляемого мной; а именно, оно придерживалось и будет придерживаться принципов свободы и демократии, сформулированных в Атлантической хартии и руководствоваться упомянутыми принципами всякий раз, когда возникает вопрос о территориальных изменениях».

Черчилль не мог позволить выразиться туманно — принципы Атлантической хартии, подписанной всего несколько месяцев до декабрьских переговоров в Москве, были основополагающими. Никаких изменений границ без свободного волеизъявления населения. Таким образом, Черчилль безоговорочно одобрил фундаментальные ценности, ради защиты которых Великобритания вела войну. Но в ходе войны британскому премьеру пришлось не раз столкнуться с негативными для себя последствиями вышеприведенного заявления.

### Неуместный оптимизм Сталина

Ободренный успехом Красной Армии, отбросившей немцев от Москвы, Сталин 5 января 1942 года объявил в Ставке Верховного главнокомандования, что советские войска должны одновременно попытаться освободить Ленинград на севере, атаковать группу армий «Центр» у советской столицы и организовать широкомасштабное наступление на юге у Харькова. Оптимизм этих планов граничил с фантазией. Маршал Жуков и 1-й заместитель председателя Совета Министров СССР Николай Вознесенский попытались объяснить Сталину причины неосуществимости его замысла, но тщетно. Жуков предлагал бросить дополнительные силы Красной Армии на укрепление обороны Москвы, однако Сталин заявил: «Давайте не будем сидеть в обороне» и приказал начать подготовку к весеннему наступлению.

Бесчисленные примеры доказывали, что, несмотря на некоторые успехи под Москвой, Красная Армия пока что не была готова к успешному проведению широкомасштабной наступательной операции стратегического значения. В частях и подразделениях отчаянно не хватало вооружений, транспортных средств, и тактиче-

ского опыта противостояния немцам в ходе крупной операции. Василий Борисов делится своими впечатлениями того периода.

После участия в успешной обороне Москвы Борисов и его подразделение в начале весны направили на поддержку 33-й армии на Юго-Западном фронте. Однако оно почти сразу же попало в немецкое окружение. Вермахт, вновь воспользовавшись тактическим преимуществом в танковой войне, сумел заманить целую советскую армию в западню. В течение нескольких недель Борисов и его товарищи пытались контратаковать постепенно сжимавших кольцо окружения немцев. «Немцы сбрасывали листовки, требуя от нас сдачи в плен, — вспоминает Василий Борисов. — И установили крайние сроки. Дескать, тех, кто не сдастся, расстреляют из орудий и пулеметов». Обстановка в кольце окружения была просто неопишмым ужасом: «На телегах громоздились горы раненых — многие без рук, без ног.. Повсюду кровь, трупы людей, лошадей, люди с выпущенными кишками, умолявшие пристрелить их или хотя бы дать им гранаты, чтобы они могли подорвать себя и положить конец мучениям...»

Командир Борисова приказал выжившим бойцам подразделения построиться на лесной лужайке. Он был полон решимости прорвать кольцо окружения врага. Но немцы открыли огонь, и командир получил ранение обеих ног. Борисов своими глазами видел, как тот вытащил пистолет из кобуры и приставил к виску. «Живым не сдамся» — таковы были его последние слова. После этого офицер нажал на спусковой крючок, прогремел выстрел, и командир упал замертво. «И тогда мы почувствовали, что это конец, — продолжает Борисов. — Мы поняли, что живыми отсюда не выбраться».

Борисов, как мог, скрывался за деревьями, а немцы «охотились на нас, как на кроликов». Он был одним всего лишь из трех оставшихся в живых в тот день, когда погибло несколько сотен человек. И Борисов сумел спастись только потому, что скрылся в глубине леса и чудом просуществовал там год и один месяц, питаясь чем придется, пока Красная Армия не освободила этот район весной уже 1943 года. Сначала он и его товарищи питались «падалью — промоем подгнившее мясо, а потом поджарим как следует на костре и едим». Но довольно скоро он и его товарищи все же набрали на местных жителей из близлежащих деревень, и те спасли их от голодной смерти.

Опыт Василия Борисова и немногих оставшихся в живых бойцов разгромленной 33-й армии, по идее, должен был заставить Сталина крепко подумать, прежде чем дать добро на начало широкомасштабного наступления на юге под командованием маршала Тимошенко, которое должно было начаться в начале мая 1942 года. Но он предпочел не обращать внимания ни на какие предупреждения и своего приказа не отменил — все продолжалось, как и было запланировано.

Многие из солдат Красной Армии, участвовавших в подготовке Харьковского наступления, разделяли не критичный оптимизм Сталина. Борис Витман<sup>56</sup>, офицер 6-й армии, действовавшей на центральном участке наступления, помнит, что в штабе «те, кто планировал операцию, не сомневались в ее успехе, и настроение было приподнятым... все надеялись закончить войну к 1943 году».

Замысел Харьковского наступления основывался на предположении, что немцы также запланировали весеннее наступление, но на Москву. Однако это предположение оказалось неверным. Фактически немцы сосредото-

чили главные силы именно вокруг Харькова, который собралась атаковать Красная Армия. Советские силы стали выдвигаться в район стратегического развертывания к немецкой линии обороны 12 мая 1942 года. Первоначально они полагали, что отсутствие сопротивления противника, с которым они столкнулись, объяснялось проведенной артподготовкой. Но это было еще одно неверное предположение — стоило частям Красной Армии дойти до немецкой линии обороны, как они убедились, что оборонительные позиции покинуты врагом. И части русских продолжали продвигаться дальше, так и не встречая сопротивления. «Мы шли и шли, — вспоминает Витман. — О том, что немцев вокруг нет, мы не задумывались. Мы вообще думали, что идем на Берлин».

Несколько советских армий (21-я, 28-я, 38-я и 6-я на севере, и 57-я и 9-я на юге) беспечно устремились вперед в ловушку: чем глубже они забирались в немецкий тыл, тем более легкой добычей становились для немцев, которым ничего не стоило организовать успешное окружение. И как только русские оказались достаточно далеко, немцы стали стягивать удавку. 19 мая генерал Паулюс, командующий немецкой 6-й армией, перешел в контратаку на севере, заставшую Советы врасплох. Кольцо окружения замкнулось, солдаты Красной Армии отчаянно сражались, пытаясь прорвать его. «Они [солдаты Красной Армии] не верили, что мы позволили им так углубиться в наши тылы, — вспоминает Иоахим Штемпель<sup>57</sup>, офицер немецкой 6-й армии. — Тысячи русских пытались спастись бегством — огромная человеческая масса — они открывали по нам огонь, чтобы вырваться, а мы им тоже отвечали огнем. Они судорожно пытались отыскать лазейки, чтобы выбраться, но там их встречал наш пулеметный и артиллерийский огонь... После таких неудачных попыток прорыва кар-

тины были ужасающие, изуродованные люди и повсюду трупы, повсюду». Сомнений не было, что советский план рухнул. 28 мая 1942 года маршал Тимошенко отдал приказ остановить наступление, но было уже слишком поздно. Большинство солдат Красной Армии, принимавших участие в операции, угодили в плен под Барвенково, немцы так и окрестили это место – «Барвенковская мышеловка», тогда немцы захватили в плен 200 000 советских солдат и офицеров.

Трудно переоценить значение победы немцев под Харьковом. Что касается Сталина, он показал полнейшую свою непригодность к роли стратега. Он не только одобрил и всеми силами и средствами поддерживал первоначальный план наступления, но и отказался принять во внимание просьбу советского Верховного главнокомандования 18 мая о том, чтобы позволить 9-й армии попытаться выйти из окружения. Но не один Сталин виноват в харьковской катастрофе. Неумение командовать, неумение взаимодействовать, неумение вести разведку, неспособность мыслить стратегически, да и тактически, были повсеместным явлением в Красной Армии. И что еще важнее, невзирая на факт, что Красная Армия изначально имела численное превосходство над силами немцев – три советских солдата приходилось на двух немецких – она потерпела сокрушительное поражение. То, что со всей беспощадностью продемонстрировал Харьков, доказывало, что Советский Союз не мог выиграть эту войну просто численным превосходством.

Сталин, как водилось, отказался взять на себя ответственность за собственные ошибки. Зато был отстранен от должности маршал Тимошенко, один из немногих, кому удалось пережить «благосклонность» Сталина. И еще Н. С. Хрущев, главный политрук, также ответст-



венный за наступление, был отозван в Москву и доставлен прямо в сталинский кабинет. «Я был очень подавлен, — утверждал Хрущев. — Мы потеряли многих, многие тысячи людей. Более того, мы потеряли надежду, которой жили... И что еще хуже, выглядело так, будто я оказался перед необходимостью взять вину за это на себя лично»<sup>58</sup>. Хрущев, верный соратник Сталина еще с начала 1930-х годов, хорошо понимал, что советский лидер «не остановится ни в чем, чтобы избежать ответственности за что-то, что пошло не так, как надо».

Сталин просто играл с ним. И делал вид, будто еще не решил судьбу Хрущева. С одной стороны, Хрущев нес львиную долю ответственности за провал наступления под Харьковом. С другой, он был и оставался верен вождю, и всегда был готов стать объектом сталинских шуток, нередко недобрых. Нет, Хрущев должен был избежать лубянского подвала, но вот унижение он вынес сполна. Несколько месяцев спустя, по свидетельству сталинских военачальников, Сталин выбил трубку о лысую голову Хрущева. Свой поступок советский лидер объяснил тем, что решил последовать древней традиции: «Когда римский командующий проигрывал сражение, он разжигал костер, усаживался перед ним и посыпал голову пеплом»<sup>59</sup>.

### Ответ союзников

Но не только Советам выпало испытать горькую чашу поражений в первые месяцы 1942 года, но и их западным союзникам. 15 февраля 1942 года генерал-лейтенант Артур Персиваль сдал японцам Сингапур, и в результате 70 000 британских и союзных солдат оказались в японском плену. Черчилль назвал это событие «худшей из бед и самой крупной капитуляцией в британской исто-

рии»<sup>60</sup>. В марте месяце 1942 года на Филиппинах потерпели тяжелое поражение от японцев и американцы — что повлекло за собой унижительное бегство командующего американскими войсками генерала Дугласа МакАртура.

Именно в этот наиболее тяжкий период, когда союзников преследовали неудачи почти на всех театрах военных действий, Черчилль и направил знаменитую телеграмму Рузвельту. 7 марта 1942 года британский премьер-министр сделал крутой поворот, отойдя от принципов, изложенных всего за два месяца до этого в своих комментариях к телеграмме Идена. «Растущая серьезность войны, — писал Черчилль американскому президенту, — вынудила меня признать, что принципы Атлантической хартии не должны быть приняты во внимание для отказа принять границы России, которые та имела на день нападения на нее Германией»<sup>61</sup>. Этот внезапный отход от прежних моральных установок, столь смело поддерживаемых еще совсем недавно, был вызван чисто практическими соображениями, как считал сам Черчилль. «Все говорит о массированном наступлении германских войск весной, и мы в силах предпринять лишь очень небольшое для оказания помощи единственной стране, втянутой в тяжелейшую битву с Гитлером». Теперь Черчилль попытался аргументировать, что, дескать, поскольку Советы успели занять страны Балтии и Польшу еще до подписания Великобританией и Америкой Атлантической хартии, их желание сохранить эти территории за собой по окончании войны, вероятно, может считаться законным. Подобная аргументация была, конечно же, сомнительной, ибо населению стран Балтии и Восточной Польши не была предоставлена возможность проведения свободного и честного референдума по данному вопросу, короче говоря, никто не спрашивал, желают ли они стать совет-

скими гражданами или же нет. И, разумеется, никто не забыл, как Черчилль всего за считанные месяцы до телеграммы Рузвельту с пеной у рта призывал неукоснительно соблюдать пункты Атлантической хартии в комментариях к телеграмме Идена.

Попытка Черчилля соединить несоединимое окончилась ничем. Но сам факт, что он предпринял подобную попытку и даже приводил некие доводы в ее пользу, уже существенен сам по себе, ибо британский премьер продемонстрировал подозрительную готовность — даже принимая во внимание то, что многим все еще казалось, что Советский Союз обречен на поражение в войне — нарушить положения Атлантической хартии о самоопределении.

Столь стремительно обновившиеся воззрения Черчилля вызвали решительное осуждение американцев. Самнер Уэллс, заместитель государственного секретаря, заявил, что «отношение британского правительства не только непростительно со всех точек зрения морали, но и чрезвычайно глупо»<sup>62</sup>. Уэллс высказал мнение, что советский лидер затребовал многое, видя слабость позиции оппонента на переговорах, а идти на поводу у Советов и делать им уступки чревато опасностью того, что впоследствии их аппетиты вырастут. Эту точку зрения разделяла и часть членов военного кабинета Великобритании, и, в конце концов, было принято решение не согласиться с требованиями Советов о том, что отныне любое подписанное соглашение должно содержать пункты о послевоенных границах. В частности, правительство Рузвельта не собиралось отказываться от соблюдения Атлантической хартии на данном этапе войны, невзирая на связанные с этим сложности.

В апреле 1942 года, вскоре после того, как Рузвельт отклонил предложение Черчилля уступить Сталину в

вопросе о границах СССР 1941 года, молодой офицер ВМФ Джордж Элси прибыл в Вашингтон поработать в кабинете карт Белого дома, то есть в сердцевине американской власти. Его впечатления проливают свет на то, как функционировал Белый дом при Рузвельте, и дает представление о том, как американский президент выработывал линию поведения в отношении Сталина. Отдавая должное Белому дому, как «очень интересному месту», он тем не менее быстро обнаружил некие удивительные принципы в работе высшего звена руководства страной. «У Франклина Рузвельта были странные привычки, — утверждает он. — Он имел обыкновение отсылать сообщения через один отдел, а ответы на них получать через другой, потому что хотел, чтобы никто полностью не мог заполучить полный текст его переписки, например с премьер-министром Уинстоном Черчиллем...»<sup>63</sup> Через свой собственный опыт работы в Белом доме Элси пришел к выводу, что манера Рузвельта нередко держать свой государственный департамент в неведении была «постыдной» и вызывала хаос в управленческой работе. Президент переносил на личные деловые отношения технику лидерства: «Поскольку Рузвельт никогда не доверял полностью своим сотрудникам, это приводило к тому, что многого они не знали. Они обязаны были хранить ему верность, быть исполнительными, но действительно не знали, какова его лояльность в отношении их. Это было частью его линии поведения, которую трудно объяснить и принять, если только она не происходила от самой природы этого человека».

Мнение Элси подтверждают и многие из тех, кто работал с Рузвельтом на важных руководящих постах. Даже Генри Моргентгау, его сосед в штате Нью-Йорк, верой и правдой служивший ему с 1933 года, полагал, что нередко решения принимались без его ведома — и это при том, что

он был — ни мало ни много — министром финансов страны. Известно одно весьма примечательное высказывание Рузвельта Генри Моргентау, дескать, как президент он предпочел бы не «сообщать своей левой руке», что делает его «правая»<sup>64</sup>. Именно в этом ключ к пониманию методов руководства Рузвельта, что отразилось и на выработке им политики взаимоотношений со Сталиным.

Однако, работая с картами в Белом доме, Элси познакомился не только с характером Рузвельта и методами его руководства. Он имел возможность воочию убедиться в безграничной уверенности в себе своего нового босса: «Когда меня в апреле 1942 года назначили на работу с картами, мне нередко выпадали ночные дежурства, я пребывал в одиночестве, и вообще ночью жизнь в Белом доме замирала. [Таким образом], я имел возможность порыться в документах и узнать, как обстояли дела до моего прибытия. И обнаружил среди прочих документов весьма любопытные письма и телеграммы, копии телеграмм из переписки президента с премьер-министром Великобритании». Одна из телеграмм поразила молодого офицера.

Речь шла о секретном донесении, отправленном Рузвельтом Черчиллю 18 марта 1942 года. «Знаю, что вы не будете возражать против моей прямоты и откровенности, — писал Рузвельт, — если скажу, что мне куда легче общаться лично со Сталиным, чем всему Вашему МИДу или же моему Государственному департаменту. Сталин не выносит ваших высокопоставленных сотрудников. Я ему больше по душе, как он считает, и я надеюсь, что его мнение обо мне не изменится»<sup>65</sup>.

«Любимым словечком Рузвельта, — продолжает Элси, — было: “обработать” [handle]. “Обработать людей”, “обработать события”. И меня тогда еще здорово удивило, как это может быть применимо к премьер-мини-

стру Великобритании. Выражение крепко-накрепко за- село у меня в голове, и я всю войну вспоминал его. Рузвельт никогда не сомневался, что мог “обработать” кого угодно, независимо от того, кем эти люди являлись и какой пост занимали. Он обладал уверенностью в себе, позволявшей ему осознать и взять под контроль ситуацию, о чем бы ни шла речь... как и в том, что он, будучи “большим боссом”, во всем разберется».

Рузвельт намеревался продемонстрировать на практике, как он полагал, свои умения «обрабатывать» и с советским руководством — что едва не обернулось катастрофой для Альянса. Случай представился, когда в мае 1942 года в США прибыл советский нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. Это была первая встреча такого уровня между США и Советским Союзом, и она пришлась как раз на период наибольшей напряженности в межгосударственных отношениях.

По пути в Америку Молотов сделал остановку в Лондоне, где встретился с Черчиллем и другими ключевыми фигурами британского правительства. Встреча оказалась нелегкой. Премьер-министр хотел подписать новое формальное соглашение о союзе с СССР взамен уже существовавшего; но имелись, на первый взгляд, непреодолимые проблемы, вызванные двумя уже известными разногласиями между британцами и Советами — вопрос второго фронта и еще более сложная проблема о послевоенных границах. Англичане сознавали, что Советский Союз не проявлял ни малейшей уступчивости в части присоединенных к СССР территорий Восточной Польши в рамках пакта Молотова — Риббентропа, а также в отношении включения в Советский Союз стран Балтии.

Черчилль лишал Молотова всяких иллюзий на счет перечисленных двух главных проблем. Это означало, что встреча, начавшаяся 21 мая, отличалась прохладностью.

Черчилль стремился подчеркнуть огромные сложности, связанные для британцев при открытии второго фронта, в частности, утверждая, что вряд ли окажется возможным подготовить и осуществить успешное крупномасштабное форсирование пролива Ла-Манш ранее 1943 года. Если в принципе он был за вторжение во Францию, то вопрос относительно сроков начала операции по-прежнему оставался открытым. И что примечательно, если британцы последовательно отстаивали свои позиции, то Молотов был готов изменить первоначальную точку зрения. После консультации с Москвой 26 мая глава советского НКВД согласился подписать соглашение, не содержащее упоминания о послевоенных границах, как и конкретной даты открытия второго фронта.

С четко сформулированной позицией англичан 29 мая 1942 года Молотов прибыл в Вашингтон. Во время своего визита он разместился в Белом доме. Это нечто совершенно из ряда вон выходящее за всю мировую историю. Бывший политссыльный, человек, напрочь отрицавший систему ценностей Соединенных Штатов — кроме того, тот, кто лично вел переговоры с Гитлером и Риббентропом, — обрел пристанище, хоть и кратковременное, в одном из главных символов системы, противником которой был.

Едва ли не абсурдная ситуация была отмечена двумя событиями уже в первый день посещения. Оба имели место в спальне Молотова в Восточном крыле Белого дома. Во-первых, когда камердинер Белого дома распаковал чемодан советского наркома иностранных дел, он обнаружил там «буханку черного хлеба, круг колбасы и пистолет». Вероятно, эти реквизиты относились ко временам его бурной молодости. Супруга президента США Элеанор Рузвельт позже писала: «Сотрудники секретной службы не питали особой любви к гостям,

вооруженным пистолетами, но тогда все решили промолчать. Судя по всему, г-н Молотов не исключал возможности, что ему придется от кого-то обороняться, ну а хлебом запасся на случай непредвиденного голода»<sup>66</sup>.

Второй любопытный момент произошел после одиннадцати часов в тот же вечер. В дверь к Молотову раздался стук. Открыв дверь, он обнаружил Гарри Хопкинса, специального советника Рузвельта.

«Я могу сказать вам несколько слов, г-н Молотов, перед завтрашней встречей?» — осведомился Хопкинс.

Молотов пригласил его войти.

«Могу вам сказать, что президент Рузвельт — весьма убежденный сторонник открытия второго фронта в 1942 году, — сказал Хопкинс ему. — Но американские генералы не видят реальной потребности во втором фронте. В этой связи рекомендую вам изобразить обстановку в Советском Союзе как угрожающую, чтобы довести до понимания американского генералитета всю серьезность положения»<sup>67</sup>.

Молотов ответил, что обстановка на фронтах на самом деле серьезна, таким образом, ему не придется пересиливать себя, следуя рекомендациям Хопкинса. Хопкинс также рекомендовал Молотову выделить время для переговоров с Рузвельтом за полчаса до официальной встречи и сообщить американскому президенту, что рекомендации Хопкинса приняты. Молотов согласился.

Эта краткая встреча не упомянута в протоколах официальной встречи; и ее содержание не предназначено было для широкой огласки. Хопкинс, в пространной памятной записке о посещении Молотова<sup>68</sup> лишь вскользь упомянул о ней, дескать, что я «перебросился парой слов с советским министром иностранных дел», причем без каких-либо ссылок на поручение президента.



Эта в высшей степени неофициальная встреча поздним вечером в Белом доме дает нам картину того, как Рузвельт «обрабатывал» людей. (Принимая во внимание близость Хопкинса Рузвельту и то, что Хопкинс конкретно рекомендовал Молотову переговорить с президентом еще до намеченной официальной встречи, читателю ясно, что Рузвельт был прекрасно обо всем осведомлен.) Именно направив Хопкинса с конфиденциальным визитом в покои Молотова, Рузвельт получил возможность достичь куда больше. Во-первых, он мог убедить главу советского МИДа, что лично он, президент США Франклин Рузвельт, целиком и полностью на стороне Молотова по такой важной проблеме, как второй фронт, и что ему самому приходилось защищать эту позицию перед упрямым генералитетом, но что еще важнее, он мог показать, что стремится стать другом, которому советское руководство вполне может довериться.

Фактически такой метод «обработки», «обхаживания» людей, похоже, был в ходу в Белом доме. Меньше чем месяц спустя, 21 июня, когда англичане были в Вашингтоне, генерал сэр Алан Брук (впоследствии 1-й виконт Аланбрук), начальник Имперского Генерального штаба, был удивлен, когда Хопкинс пригласил его зайти к нему в спальню переговорить. «Мы пошли в его комнату, — писал Брук в своем дневнике, — где уселись на краю постели Хопкинса, в соседстве с бритвенным прибором и кисточкой для бритья, и тут он стал мне выкладывать сокровенные мысли президента! Я упоминаю об этой встрече, поскольку подобный жест был вполне в духе этого человека, который в Белом доме даже не занимал никакой официальной должности, однако был и оставался одним из самых влиятельных лиц»<sup>69</sup>.

Что касается Молотова, тот, судя по всему, последовал совету «странного» Гарри Хопкинса на решающей встре-

че 30 мая 1942 года. В присутствии не только президента Рузвельта, но и генерала Джорджа Маршалла, всесильного начальника штаба Вооруженных сил США, Молотов обрисовал все проблемы, с которыми Советский Союз столкнулся бы, если бы открытие второго фронта отсрочилось до 1943 года. В таком случае приходилось опасаться того, что «Гитлер уже мог бы захватить всю Европу», а Советский Союз, что никак нельзя было исключать, был бы разбит в пух и прах. Молотов добавил, что, дескать, намеренно сгустил краски и продолжал утверждать, что, мол, ожидает «прямого ответа» на свой вопрос о том, готовы ли американцы к открытию второго фронта. И согласно американским протоколам встречи, он прямой ответ получил: «Президент тогда обратился к генералу Маршаллу с вопросом, можем ли мы обещать г-ну Сталину, что готовим открытие второго фронта. “Да”, — ответил генерал. Президент тогда уполномочил г-на Молотова передать г-ну Сталину, что уже в текущем году США надеются открыть второй фронт»<sup>70</sup>.

Нетрудно понять, как отчаянно желали Советы, чтобы англичане вместе с американцами организовали десантирование войск через Ла-Манш, что вынудило бы немцев снять с Восточного фронта не менее 40 дивизий. И это обещание исходило из уст президента США Рузвельта, а не британского премьер-министра, который всеми силами старался обойти этот вопрос. Что также примечательно, учитывая важность этих переговоров, в недавно опубликованных российских протоколах встречи<sup>71</sup> отсутствует ключевая фраза: «Президент тогда уполномочил г-на Молотова передать г-ну Сталину, что уже в текущем году США надеются открыть второй фронт», хотя приведены слова генерала Маршалла о том, что, «вероятно», второй фронт может быть открыт в 1942 году и что американцы сделают «все возможное» для этого.

Но если российские протоколы встречи, похоже, сядутся доказать, что Рузвельт и Маршалл готовы были взять на себя не столь конкретно сформулированные обязательства, чем это говорится в американских протоколах, последующие дискуссии насчет формулировки заключительного коммюнике о встрече Молотова и Рузвельта, что американские отчеты в большей степени отражают истинный дух обсуждения. Когда генерал Маршалл увидел предложенное заявление, содержащее прямое указание на возможность открытия второго фронта в 1942 году, он выдвинул ряд возражений. Маршалл «убеждал, что никаких обязательств насчет открытия второго фронта в 1942 году не было»<sup>72</sup>, однако Рузвельт настоял на включении именно такой формулировки с тем, чтобы произвести благоприятное впечатление на Советы.

Вероятно, возможность того, что Советы могли бы предпринять попытку выхода из войны, слишком уж будоражило ум Рузвельта, и столь оптимистичное заявление об открытии второго фронта было одним из способов подбодрить Красную Армию продолжать сражаться с немцами. Возможно, он даже — хотя это и маловероятно, учитывая получаемые от военных советы, — всерьез полагал, что американцы сумеют на самом деле открыть второй фронт уже в 1942 году. Но безотносительно истинных побуждений, которыми руководствовался Рузвельт — и, как правило, он никогда и никому не объяснял, почему он так цеплялся за включение в коммюнике именно этой даты: «1942 год», — в широком смысле это все же не укладывалось в его традиционную манеру «обработать» Сталина. Советский лидер был из тех, кто ожидал, что после громких обещаний непременно последуют конкретные дела. И в этом смысле Рузвельт сильно недооценивал Сталина.

Молотов возвратился в Москву с заключительным коммюнике, содержащим предложение: «В ходе бесед было достигнуто полное взаимопонимание неотложных задач открытия второго фронта в 1942 году». Когда Черчилль узнал об этом, столь недвусмысленно оформленном обязательстве, он изо всех сил старался вновь указать Молотову, что это заявление представляло всего лишь «протокол о намерениях», но тем не менее Молотов представил заявление Политбюро. И исключавшие всякого рода двойное толкование фразы советское руководство прочло до конца, поняв их смысл — западные союзники пообещали высадиться в Северной Франции уже в 1942 году с тем, чтобы уменьшить натиск немецких сил на Восточном фронте.

Трудно переоценить важность этого момента в истории антигитлеровской коалиции. Сталин уже подозревал, что западные союзники не прочь остаться в стороне, в то время как Советы и немцы уничтожают друг друга. Теперь, что было едва ли не хуже, Сталин подумывал о том, а не придал ли Рузвельт своими обязательствами некую двусмысленность ситуации. А когда второй фронт, столь желанный, так и не будет открыт в 1942 году, Сталин воспримет это как обман, если не предательство. А как можно довериться западным союзникам, если они готовы обвести его вокруг пальца, да еще в столь важных вопросах?

### **Арктические конвои**

Для Советов два главных приоритета в отношениях с союзниками были и оставались требования об открытии второго фронта и подтверждение законности границ СССР на 1941 год. Но на третьем месте в их списке пожеланий стояло продолжение — а в перспективе и увеличение — поставок материалов и вооружений.

Но и здесь, по мнению Сталина, западные союзники явно недорабатывали. Объединенная англо-американская делегация во главе с министром снабжения лордом Бивербруком и послом США по особым поручениям Авереллом Гарриманом прибыла в Москву в конце сентября 1941 года для подписания соглашения о том, что западные союзники будут поставлять значительное количество оборудования в Советский Союз ежемесячно, включая 500 танков и 400 самолетов, плюс олово, цинк, медь и другие виды необходимого сырья<sup>73</sup>. Однако все обещания так и остались обещаниями – лишь незначительное количество помощи прибыло в Советский Союз в ноябре – декабре 1942 года. Лорд Бивербрук ушел из правительства в феврале 1942 года отчасти из протеста против «недостаточной» помощи Советскому Союзу и еще для проведения кампании за скорое открытие союзниками второго фронта – кампании, которая нашла множество сторонников в Великобритании, где в Лондоне в мае 1942 года состоялся пятидесятитысячный митинг в поддержку открытия второго фронта<sup>74</sup>.

В первые месяцы 1942 года поток помощи Советскому Союзу увеличился, хотя так и не достиг оптимистичного уровня, предусмотренного Московским соглашением сентября 1941 года. Большая часть поставок осуществлялась по железной дороге из Ирана или же через Тихий океан во Владивосток, но значительный объем достиг Советского Союза по одному из самых опасных военных морских путей – мимо побережья Норвегии и Баренцева моря к северным портам Советского Союза, в основном Мурманску и Архангельску.

Первый конвой по маршруту «Ливерпуль–Архангельск» отправился 12 августа 1941 года, прибыв в Советский Союз 31 августа, но самый первый из известных конвоев PQ (они получили свое название по пер-

вым буквам фамилии и имени ответственного за проведение морских конвоев офицера британского Адмиралтейства, командера Филиппа Келлина Робертса — *Phillip Quellyn Roberts*) прибыл из Вальфьорда в Исландии 29 сентября. Черчилль пообещал Сталину в октябре 1941 года, что конвои в Советский Союз будут отплывать каждые десять дней, но оказалось невозможным придерживаться столь амбициозного графика — еще одно невыполнение условий, раздражавшее Сталина.

По-видимому, советский лидер все же так и не смог осознать огромные трудности, с которыми было связано следование конвоев. Вначале это были неблагоприятные метеоусловия: зимой — льды, мешавшие продвижению, но как только погода улучшилась, возросла другая опасность. Долгие летние ночи северных широт в сочетании с дислоцированными в северной Норвегии силами германских люфтваффе, постоянная угроза атак подводных лодок и низкая скорость торговых судов в конвоях, практически не защищенных от авианалетов, — все перечисленное превращало рейсы в опаснейшее предприятие. И 16 мая 1942 года, менее чем за неделю до прибытия Молотова в Лондон, британские военные обсуждали вопрос об отправке PQ-16, который должен был отправиться из Исландии на Мурманск.

Судьба PQ-13, покинувшего порт Рейкьявика в Исландии 20 марта, была известна всем начальникам штаба — 5 из 20 торговых судов этого конвоя были потеряны вместе с кораблем сопровождения. Из всей команды торгового судна «Индана» (*Induna*) численностью в 66 человек выжило лишь 24 моряка, и только шестеро из них завершили рейс в добром здравии. Два других торговых судна союзников впоследствии были потоплены в результате воздушных атак немцев прямо в советском порту Мурманск. И хотя последний конвой, PQ-15, не

пострадал, начальники штаба считали, что это отнюдь не доказательство безопасности отправки конвоев на Север России. Опыт показывал, что, «если метеоусловия неблагоприятны для авиации противника, даже в этом случае возможности судна, движущегося со скоростью 18 узлов, избежать атаки с воздуха крайне низки»<sup>75</sup>. Так, 16 мая премьер-министру было рекомендовано, чтобы когда лед отступит севернее и конвои также смогут следовать сдвинутым к северу маршрутом, это позволит им оказаться недосягаемыми для стартующих с немецких авиабаз в Норвегии самолетов. В результате как минимум два запланированных конвоя были отменены.

Поскольку следующий конвой, PQ-16, был должен отправиться лишь два дня спустя, 18 мая, вопрос этот не терпел отлагательства. Черчилль дал ответ на 17 мая в послании генералу Исмею: «Не только премьер Сталин, но и президент Рузвельт будут возражать против остановки нами отправки конвоев. Русские в тяжелом положении и будут ожидать риска и от нас... У меня тоже вызывает озабоченность то, что конвой должен отправиться 18 мая. Если половина отправленных конвоев доходит до портов назначения, операция уже считается эффективной. И невыполнение нами обязательств неизбежно ослабит наших главных союзников. Что касается метеоусловий, они никогда стопроцентно не предсказуемы, но существует и такое понятие, как удача. Разделяю ваши опасения, однако вопрос обязанности превыше всего»<sup>76</sup>.

На следующий день Черчилль поднял вопрос об отправке PQ-16 на заседании военного кабинета. Но поскольку он уже решил, каков должен быть ответ начальникам штаба, результат был предрешен. Черчилль сначала обрисовал в общих чертах проблемы Адмирал-

тейства и затем заслушал предложение осведомиться у Сталина, действительно ли он так уж заинтересован в британских конвоях, поскольку половина из них имеет все шансы пойти на дно. Это предложение тут же отменили — дескать, об этом речь не идет вообще, что же касается нас, мы обязаны действовать на свой страх и риск и не перекладывать наши заботы на чужие плечи. Черчилль тогда недвусмысленно заявил, что «наш долг суметь провести конвои любой ценой... И если последует отмена отправки в мае месяце запланированных конвоев, боюсь, негативный эффект на боевое товарищество будет весьма серьезен»<sup>77</sup>.

Черчилль недвусмысленно дал понять, что решение об отправке PQ-16 носило политический, а не военный характер. Объявив во всеуслышание о своей готовности послать конвой даже ценой 50%-ных возможных потерь, британский премьер продемонстрировал, что готов пожертвовать сотнями жизней англичан, американцев и других союзников плюс восемнадцатью полностью загруженными торговыми судами с военными грузами на борту ради того, чтобы доказать Сталину серьезность намерений Великобритании в ее стремлении помочь советской военной экономике. Разумеется, если мыслить чисто военными категориями, подобные потери выглядели чистой авантюрой, однако в сложившейся ситуации решение Черчилля было вполне обоснованно.

Выбор времени был жизненно важен. Через несколько дней в Лондон должен был прибыть Молотов, и Черчилль знал, что тот вновь будет призывать к открытию второго фронта. И, сознавая невозможность предоставить СССР военную поддержку таких масштабов, Черчилль, по крайней мере, пытался убедить Советы в своей готовности оказать военную помощь иного характера,



пожертвовать хоть чем-то, чтобы помочь Красной Армии, как он выразился, «заплатить цену за союз с Советами». И хотя моряки, солдаты и летчики на борту торговых судов и кораблей сопровождения конвоя PQ-16 понятия не имели о всех описанных политических тонкостях, они твердо знали, по словам Эдди Гренфелла<sup>78</sup>, моряка Королевских ВМФ, служившего на «Эмпайр Лоуренс» (*Empire Lawrence*), что «это будет не увеселительная прогулка, поскольку мы уже были наслышаны о массированных атаках люфтваффе и, разумеется, о погодных условиях в тех широтах».

Нейл Халс<sup>79</sup>, моряк торгового флота на борту того же самого судна, помнит, что Арктика «снискала недобрую репутацию». И поначалу он отнюдь не рвался участвовать в PQ-16: «...Сперва я собрался наняться на другой корабль, следовавший другим рейсом, и просто зашел напоследок в один из ливерпульских пабов... И вдруг мне стало стыдно». Нейл Халс вспомнил о примере с капитаном Даркина с «Эмпайр Лоуренс», которому было уже под 70, и, невзирая на возраст, старина капитан все-таки решил послужить военной экономике. Нейл Халс передумал, вернулся в ливерпульские доки и поднялся на борт судна.

«Эмпайр Лоуренс» с грузом танков для Красной Армии на борту, выйдя из Биркенхеда, присоединилась к PQ-16, отправившемуся от берегов Исландии 21 мая 1942 года. Северное море прошли «очень спокойно», утверждает Нейл Халс. «Но мы получали радиодонесения с корабля, идущего впереди, предупреждавшие о возможности атак с воздуха и подводных лодок». Эдди Гренфелл был настроен едва ли не фаталистически в отношении предстоявшего рейса: «Так же обстояли дела и в Средиземном море, повсюду одно и то же. Нас всегда и везде атаквали. Это была война, и мы только и дума-

ли, что как-нибудь да выживем... Никто и никогда не думал, что выживут все до единого, нет, такого никто не думал... Но мы думали: «Я непременно выживу»».

Первая атака PQ-16 произошла 26 мая 1942 года в 370 милях от северного побережья Норвегии, и следующие четыре дня конвой непрерывно атаквали. «Я ни разу за всю войну не переживал такие мощные воздушные атаки, как в Арктике, — вспоминает Эдди Гренфелл. — Были дни, когда на нас набрасывались по 150 пикирующих бомбардировщиков и бомбардировщиков-торпедоносцев, и это не считая подводных лодок, которые постоянно преследовали нас... Поймите, им ведь ничего не стоило до нас долететь — за считанные минуты, они ведь базировались совсем недалеко, в Норвегии, и накатывались на нас волнами — по 20–30 машин. Атаковав, они возвращались на аэродромы, заправлялись горючим и снова атаквали... Этот постоянный гул, грохот разрывов. Жуткие обстрелы, нас постоянно обстреливали — описать невозможно, что это было».

Курт Дальман<sup>80</sup> был одним из немецких пилотов, атаквавших конвой PQ-16. Он сбрасывал бомбы на конвой со своего «Юнкерса-88», а его товарищи — с бомбардировщиков «Хейнкель» сбрасывали торпеды: «У самолетов были различные скорости. He.111 был тихходнее Ju.88, и было очень трудно скоординировать полеты так, чтобы атаковать одновременно». Для экипажей немецких самолетов — как и для моряков — злейшим врагом была погода: «Конечно, опасность обморожений была огромна — тем более что у нас не было никакого опыта действовать в таких условиях».

«Эмпайр Лоуренс» располагала собственной системой ПВО — в виде единственного истребителя «Харрикейн», которым управлял пилот-южноафриканец Алистер Хэй. «Взлетать с наших кораблей было чистейшим

самоубийством, — утверждает Эдди Гренфелл, — потому что самолет при старте выстреливался катапультной, но сесть на палубу уже не мог. Это же не авианосец, чтобы приземляться. Таким образом, пилот изначально понимал, что обречен, если только не приземлится где-нибудь на воду, да и в ледяной воде больше пяти минут человек не выдерживает — погибает».

«Если кто-то из нас и был камикадзе, — считает Нейл Халс, — так это наш пилот. Он [пилот] переговаривался со мной по радио, потому что я был вторым офицером. Он только сказал мне: “Нейл, я точно шлепнусь на воду и не сомневаюсь, что вы подберете меня как можно скорее”. По его виду нельзя было сказать, что он напуган до смерти... Он был изумительный пример парня, который знал то, что он хотел, и, казалось, это ничуть его не беспокоило».

«Мы привыкли к гибели людей, — говорит Эдди Гренфелл. — Мы только понимали, что он делал ему порученное, и желали ему всего наилучшего. Мы знали, что это было опасно — самое опасное, что нам когда-либо приходилось видеть. Но никогда не думали: «Бог ты мой — какой он храбрец». Просто потому, что все одним и тем же занимались — [и] два дня спустя до нас дошло, что пережили куда больше, чем нам казалось».

26 мая Алистер Хэй сидел в кабине своего «Харрикейна» на носу «Эмпайр Лоуренс». Дав полный газ, он снял машину с тормозов. Катапульта вытолкнула его в воздух. Идя прямо на скопление немецких самолетов, Хэй кричал по радио: «Вхожу в бой, вхожу в бой!» В одиночку он атаковал целую авиаэскадрилью немецких “Хейнкелей”. Двух он успел подбить, потом иссяк боекомплект. Тогда ему приказали по радио: “Прыгай! Прыгай!”»

Хэй вернулся обратно к конвою, перевернул машину брюхом вверх, чтобы было легче выброситься с пара-

шютом, и покинул машину. Ему удалось приводниться около одного корабля сопровождения «Волонтир» (*Volunteer*; «Доброволец»), и уже несколько минут спустя его подняли на борт. Воспользовавшись сигнальной лампой Олдиса, команда «Эмпайр Лоуренс» с тревогой справлялась о его судьбе. «Как там наш пилот?» — передавали они. Последовал ответ: «Отгаивает...»

Но не только полет Алистера Хэя на «харрикейне» был единственным актом мужества на борту «Эмпайр Лоуренс» в тот день. Эдди Гренфелл вызвался вместе с еще одним моряком взобраться на мачту судна и попытаться наладить радар. Задача была опасной, принимая во внимание максимальную скорость корабля даже в условиях благоприятной погоды, а в бурных водах Арктики карабкаться на обледенелую мачту было весьма и весьма рискованно. Осторожно поднявшись, Эдди и его товарищ все же сумели благополучно добраться до радара и соединить оборванные провода. И тут вновь атака немцев. «Все зенитки нашего суденышка стали палить вовсю, — вспоминает Эдди, — но затем налетели пикирующие бомбардировщики и дали нам прикурить. Ей богу, за всю свою жизнь я никогда так не боялся, пока мы спускались». Потом раздался грохот — оказывается, в нескольких метрах от них разорвался снаряд. В грот-мачте возникла огромная дыра, лестница была повреждена, однако мачта сохраняла вертикальное положение. После атаки оба каким-то чудом все же спустились по поврежденной мачте, добравшись до палубы, где моряки были уже в относительной безопасности. «Дайте этим ребятам рома!» — потребовал капитан. «Подобной храбрости я еще не видел».

На следующий день, 27 мая, интенсивность атак возросла. «Мы взаимодействовали с силами люфтваффе, — вспоминает Юрген Эстен<sup>81</sup>, капитан подводной лодки,

который координировал операцию с базы в северной Норвегии. — Информация, которую мы получали от люфтваффе, — о смене курса судна и так далее — означала, что мы имели возможность лечь на соответствующий курс». И как это ни парадоксально, учитывая опасность, которой подвергались команды кораблей конвоя, для подводных лодок Арктика являлась одним из самых безопасных мест для боевых операций: «Мы, собственно говоря, потеряли больше лодок в Атлантике, чем во льдах [Арктики]».

Как правило, подводные лодки не атаковали британские конвои так, как это описывается в разного рода популярных мифах — то есть выпуская по ним торпеды. «В те времена подводные лодки были совсем не такими, как сейчас, — утверждает Юрген Эстен. — Это были просто надводные корабли, способные к погружению. Но проблема состояла в том, что, когда они шли в погруженном состоянии, они не обладали ни необходимой маневренностью, ни скоростью». В результате они чаще всего атаковали в темное время суток и в надводном положении. «Например, — продолжает Эстен, — тремя подводными лодками, которыми мне довелось командовать во время войны, я потопил двадцать судов. Но девятнадцать из них были потоплены с надводного положения».

Подвергаемые постоянным атакам с воздуха днем и торпедным атакам подводных лодок ночью, суда PQ-16 пробивались к берегам Советского Союза в Баренцевом море. Моряки на борту судов спрашивали себя, кому из них суждено вернуться живыми из этого рейса, где с каждой пройденной милей риск не уменьшался, а, напротив, возрастал. Утром 27 мая Эдди Гренфелл видел, как на одном из кораблей конвоя, обьятом пламенем на палубе застыл пожилой моряк: «Мы были сов-

сем близко и кричали ему, чтобы он прыгнул в воду, потому что судно горело как спичка, но он так и не прыгнул. А потом мы увидели, как это судно исчезло в воде вместе с этим моряком на борту, который, отчаявшись, отдал себя воле судьбы. Больше мы его не видели. Вот как все было».

Потом, где-то без четверти два в тот же день, Гренфелл и остальные члены команды «Эмпайр Лоуренс» заметили группу бомбардировщиков Ju.8». По-видимому, они хотели убедиться, с этого ли судна днем раньше стартовал истребитель. И как только заметили катапульту на палубе, их догадка подтвердилась и они стали атаковать. «Эмпайр Лоуренс» была подбита первым бомбардировщиком и стала медленно погружаться в воду. Капитан Даркин отдал приказ покинуть судно, и моряки стали спускаться в море спасательные лодки.

Когда Эдди Гренфелл вышел на верхнюю палубу, пикирующие бомбардировщики целой группой набросились на корабль, забрасывая его бомбами и поливая пулеметным огнем. «Самое интересное, — говорит он, — что взрыва ты не слышишь. Корабль ходуном ходит. Ты ощущаешь что-то похожее на удар. Ждешь взрыва — а его нет. Только сотрясение, а потом корабль вздымается из воды».

Гренфелл тут же повалился на палубу, а когда самолеты, завершив атаку, улетели, он обнаружил, что завален телами раненых и убитых моряков. Пришлось выбираться из-под трупов. «Чуть позже последовал еще один налет — нас атаковали четыре бомбардировщика, и последняя бомба, очевидно, попала в склад боеприпасов. Наше судно взлетело на воздух. Я никогда не забуду этого. Меня швырнуло, и я пролетел по воздуху несколько метров. Лежа на спине, я видел, как в воздухе просвистели стальные обломки. Все выглядело как в замедлен-

ной съемке в кино. Я с трудом разобрал трубу судна. А следующее, что я помню, — я барахтаюсь в ледяной воде...»

В момент взрыва судна Нил Хулс как раз садился в спасательную лодку. «Помню, что меня подбросило вверх вместе с обломками — вентиляторами, кранами, оторванными люками. То же самое произошло и с несколькими другими моряками. Мы упали в море. Одна из наших спасательных лодок перевернулась, и многие моряки вцепились в борт в ледяной воде».

А Эдди Гренфелла выбросило на поверхность взрывом котла «Эмпайр Лоуренс». Но на этом ужасы не закончились. «Я выплыл на поверхность, а потом снова стал тонуть. Меня охватила паника. Я подумал: “Ну, вот, вроде бы уцелел, а тут снова тону”. Я за что-то ухватился... Оказалось, это труп с разможенной прямо по центру головой... Я даже видел серую массу, сочившуюся из черепа, скорее всего мозг».

Товарищ по команде, ухватив Эдди за край свитера, потянул его под воду. «Поняв, что он уже мертв, я разжал его пальцы, и он уплыл прочь».

Гренфеллу удалось вкарабкаться на перевернутую спасательную шлюпку. Но он понимал, что это всего лишь отсрочка: «Когда я, добравшись до спасательной шлюпки, не увидел ни одного нашего корабля, я подумал, что нас бросили. Подумал, что мы навек останемся здесь в Арктике... Стало страшно, одна мысль мне не давала покоя: “О, Боже! Я ведь только что женился, всего несколько месяцев назад...”»

Нейлу Халсу также посчастливилось выбраться из воды — он взобрался на небольшой плот. Находившийся на этом же плотике молодой пилот ВВС вдруг сказал ему: «Вам ногу оторвало, сэр». Халс похолодел даже в ледяной воде, но, набравшись мужества, взглянул вниз.

Оказалось, что нога на месте, просто ее закрывал вонзившийся в ягодицу гвоздями обломок борта судна. Время шло, помощь не приходила, и мысли Халса вертелись вокруг гибели в арктическом море.

Эдди Гренфеллу и другим морякам, вцепившимся в лежавшую вверх дном на воде спасательную шлюпку, крупно повезло — их подобрал один из кораблей сопровождения Королевских ВМФ: «Когда мы оказались на борту, мы не могли передвигаться. Пришлось морякам нас нести...»

Из тридцати шести судов, следовавших в составе PQ-16, в общей сложности шесть были потоплены в результате атак немцев, а еще одно судно получило серьезные повреждения почти сразу же после прибытия в Мурманск. Но как ни ужасна была участь PQ-16, если пользоваться категориями Уинстона Черчилля, рейс оказался успешным — ведь «больше половины судов уцелело». И с политической точки зрения рейс также представлял собой триумф — он продемонстрировал Сталину, что англичане и американцы готовы идти на лишения ради оказания помощи советской военной экономике.

### Углубление кризиса

Разумеется, Советы нуждались в срочной помощи, ибо для Красной Армии следующие несколько недель и месяцев представляли самый тяжелый период за всю войну. После поражения Красной Армии под Харьковом 28 июня 1942 года немцы приступили к проведению операции «Блау» — начали широкомасштабное наступление на Южном фронте Советов.

Наступление немцев стремительно продвигалось вперед. Все очень напоминало июнь прошлого, 1941, года. В результате харьковского разгрома в рубеже обо-



роны Красной Армии зияла брешь, через которую и устремились 1-я и 4-я танковые армии немцев. К концу июля 1942 года, когда немецкие войска вышли к Дону, Гитлер решил разделить силы. Группе армий «А» предстояло наступать на южном направлении с целью овладения нефтеносными районами Кавказа, в то время как группа армий «Б» продвигалась непосредственно на восток к Сталинграду на Волге.

Анатолий Мережко<sup>82</sup>, офицер Красной Армии, был одним из тех, кто участвовал в попытке советского командования остановить наступление немцев тем летом: «Немцы были настолько уверены в своей победе, и это вполне естественно — они ведь от Харькова дошли до самого до Дона». Мережко вспоминает, как они шагали «засучив рукава гимнастеров и горланя песни. Что касается наших отступающих разрозненных частей, они были полностью деморализованы. Бойцы не знали, куда шли, и не знали, где искать свои подразделения».

Но не только Красная Армия терпела поражения летом 1942 года. Войска союзников в Северной Африке в ожесточенных боях пытались сдержать наступавший Африканский корпус немцев под командованием генерал-лейтенанта Эрвина Роммеля. В конце концов, Тобрук пришлось сдать. Это произошло 21 июня 1942 года. Рольф Муммигер<sup>83</sup> служил в армии Роммеля и хорошо помнит груды и груды тел солдат союзников: «Они, наверное, не один день там пролежали. На меня эта картина оказала сильнейшее эмоциональное воздействие». В целом около 70 000 британцев и солдат других стран-союзников были убиты или захвачены в плен под Тобруком. Тобрукское поражение явило собой самый провальный момент всей кампании в Западной Пустыне, начавшейся около двух лет назад с нападения итальянцев на англичан в Египте.

Черчилль находился в Белом доме, когда до него дошла весть о поражении. Это был его второй за войну визит в Америку. Сначала он прибыл в Вашингтон сразу же после катастрофы в Перл-Харборе, 22 декабря 1941 года, и решил обосноваться на время пребывания в американской столице на втором этаже Белого дома. Британцы были удивлены отсутствием четкой линии в высших эшелонах американского командования. Сэр Джон Дилл, начальник Комитета начальников штабов в Вашингтоне от Великобритании, писал генералу сэру Алану Бруку, начальнику Имперского Генерального штаба: «Никаких регулярных встреч начальников штабов здесь не производится, и если производятся, то отсутствует секретарь для ведения протокола заседаний. Не знают здесь и о таком понятии, как совещание Военного кабинета... Вся организация ничем не отличается от той, которая была во времена Джорджа Вашингтона...»<sup>84</sup>

Теперь, летом 1942 года, Черчилль вновь попытался наладить контакт с военными представителями из числа преднамеренно дезорганизованного Белого дома Рузвельта. И первая встреча штатного сотрудника Белого дома Джорджа Элси как раз совпала с новостями из Тобрука. «Мне нужно было на третий этаж [жилого крыла Белого дома] отнести кое-какие бумаги Гарри Хопкинсу. И когда я вошел с бумагами, по залу прошелся премьер-министр в купальном халате. “Гарри! Гарри!” — звал он. Ну, а Хопкинса там не было. Я вытянулся в струнку. Поскольку на мне не было головного убора, отдать честь я не мог, но пожелал Черчиллю доброго утра. И в ответ услышал лишь неразборчивое хмыканье. Так и не обнаружив Хопкинса, премьер повернулся и вышел... Черчилль был в тот день в премерзком настроении, потому что до него дошло известие о поражении британцев в Северной Африке».

Несмотря на явно неблагоприятное стечение обстоятельств при первой встрече Элси с Черчиллем, американец нисколько «не обиделся, напротив: впечатление о нем у меня сложилось самое положительное — это был действительно великий человек, и мне выпала честь лично видеть его... Я еще удивился, что он, оказывается, был ниже ростом, чем мне казалось, и вдобавок сутулый... Но в моих глазах он был все равно что божество, которое уберегло Запад».

Едва ли не фанатичное отношение Элси к Черчиллю, без сомнения, весьма трогательно, и оно говорит куда больше. Поскольку летом 1942 года всем казалось, что для обеспечения победы союзников нужны, вероятно, какие-то сверхъестественные силы. Потому что вскоре после поражения в Тобруке, британцы пережили одно из самых крупных поражений на море за всю историю страны — гибель конвоя PQ-17.

PQ-17 был самым многочисленным конвоем, из до сих пор отправленных в Советский Союз. Ему было выделено весьма мощное сопровождение: 4 эсминца и 10 корветов, а также линкоры британский «Дюк оф Йорк» (*Duke of York*; «Герцог Йоркский») и американский «Вашингтон» (*Washington*), еще 2 крейсера и 8 эсминцев находились неподалеку от пути следования. В ночь на 4 июля Адмиралтейство в Лондоне получило прогноз разведки о том, что немецкий линкор «Тирпиц» (*Tirpitz*) вместе с «Адмиралом Шеером» (*Admiral Scheer*) и «Адмиралом Хиппером» (*Admiral Hipper*) отдали швартовы в Тронхейме в Норвегии и вышли в море атаковать конвой. В результате 1-й морской лорд, сэр Дэдли Паунд, послал адмиралу Тови, командующему PQ-17, радиogramму следующего содержания: «Секретно и весьма срочно: группа крейсеров идет на запад на большой скорости». Еще один сигнал поступил двенадцать ми-

нут спустя: «Секретно и весьма срочно: вследствие угрозы от надводных судов конвой должен рассеяться и продолжать следовать к российским портам»<sup>85</sup>. Но отправив последнюю радиограмму, Паунд забеспокоился: простое слово «рассеяться» могло означать лишь постепенное разбивание конвоя на части, и менее чем четверть часа спустя он послал уже третью по счету радиограмму: «Секретно. Весьма срочно: конвою срочно разойтись в разные стороны». Сочетание радиограмм могло свидетельствовать о скорой и неизбежной атаке конвоя — что не соответствовало истине. И на самом деле, оказалось, что первоначальные разведданные оказались недостоверными — «Тирпиц» и остальные немецкие крупные боевые корабли вообще не задумывали никаких атак PQ-17.

2 июля 1942 года PQ-17 уже атаковали немецкие бомбардировщики и подводные лодки, да и 4 июля — когда сэр Дэдли Пунд послал свои роковые радиограммы — два судна уже были потоплены. Таким образом, было очевидно ясно, что немцы знали точно местонахождение конвоя и курс его следования.

«Конвой только что начал расходиться, — вспоминает Фрэнк Хьюитт<sup>86</sup>, один из участников рейса в составе PQ-17. — И все были полностью деморализованы». При таких обстоятельствах приказ конвою «разойтись» был равнозначен приказу самоликвидироваться». «[Мы] не могли поверить в это, — продолжает Хьюитт. — Невероятно..., страшно даже подумать, что флот покинул конвой. Это не только не имело смысла... — [скорость] самого медленного из кораблей составляла около 4 узлов, и они были просто легкой добычей».

Фрэнк Хьюитт служил на «Ла Малуйне» (*La Malouine*), одном из боевых кораблей сопровождения, которому приказали самостоятельно следовать к Баренцеву мо-

рю, а оттуда в Архангельск: «Мы понимали, что бросаем их [торговые суда конвоя], и фактически так и было». На пути в Советский Союз они подняли на борт спасательные лодки, полные оставшихся в живых моряков судов, которые были потоплены немецкими бомбардировщиками и подводными лодками, и Хьюитт вспоминает, как ему кто-то из спасенных членов команды американского торгового судна рассказал: «Нам говорили, что всплыла подводная лодка, и шкипер предупредил: “Сожалею, господа, но я должен потопить ваше судно. Война есть война. Даю вам десять минут сесть в шлюпки. Провианта у вас хватает? В таком случае, удачи вам”. И еще одна партия спасенных почти слово в слово повторила слова американца. Сначала всплывает подводная лодка: “Весьма сожалею, господа. Война есть война. Я должен потопить ваше судно. У вас десять минут, чтобы сесть в шлюпки. Почему вы сражаетесь за большевиков? Вы ведь не большевики, так?”»

У Хьюитта состоялась столь же корректная во всех отношениях встреча с немецкой подводной лодкой, когда он участвовал в противолодочном патруле в районе Архангельска на севере Советского Союза: «Мы шли вдоль края ледяного покрова, тут появилась подводная лодка, до нее было, наверное, с полмили. Они явно собрались подзарядить аккумуляторы. Ну, мы и погнались за ней... Обстреляли. У нас было четырехдюймовое оружие, самое тяжелое наше вооружение, но случился недолет. И с лодки нам просигналили: “Не попали! Попробуйте еще разок!” И кто-то из наших, по-моему, шкипер ответил: “Попытаемся”. И так продолжалось часа четыре или пять, потом они зарядили аккумуляторы и просигналили: “Благодарим за преследование. Оставляем вас в покое. Удачи”. И затем лодка погрузилась и ушла под лед».

Встреча Фрэнка Хьюитта с немецкой подводной лодкой неподалеку от Архангельска продемонстрировала неспособность британского флота в решающий период войны в Арктике. Реальность была такова, что предупреждения Адмиралтейства об опасностях сопровождения конвоев в период долгого северного лета ничуть не преувеличена. И в сочетании с недостоверными разведданными о передвижении «Тирпица» привело к катастрофе. Из 39 судов конвоя PQ-17 были уничтожены 24 — свыше 60%. В общей сложности 153 моряка торгового флота погибли, и около 100 000 тонн военных грузов пошли на дно — включая 210 бомбардировщиков, 430 танков и свыше 3000 других транспортных средств.

Неудивительно, что после постигшей PQ-17 катастрофы отправка конвоев в Советский Союз была временно приостановлена.

И летом 1942 года Черчиллю пришлось столкнуться с поражением союзных сил у Тобрука в Северной Африке, уничтожением PQ-17 в Арктике и молниеносным наступлением немцев по степям в рамках осуществления плана «Блау». Картина складывалась весьма удручающая. Казалось, все говорило в пользу того, что союзникам ни за что не выиграть эту войну.

Черчилль ясно понимал, что одним из ключей к вероятной победе был Советский Союз. Советские люди приняли на себя основной удар немецкого нападения. Существенную роль сыграло то, что Сталин сумел поддержать боевой дух Красной Армии на должном уровне, а самым важным из всего — ни при каких обстоятельствах не пытаться выйти из этой войны. Но Черчилль понимал и то, как действуют на Сталина последние события. Западные союзники явно не откроют второй фронт в 1942 году — поражение в Тобруке, да и другие, менее значительные военные неудачи

полностью исключали проведение подобной операции. Следует добавить и приостановку отправки конвоев после потопления PQ-17. Советский лидер не пришел бы в восторг от новостей такого рода. И Черчилль поступил так, как поступал всегда в подобных случаях: не отпрянул от надвигавшейся беды. Британский премьер заявил, что полетит в Москву на переоборудованном британском бомбардировщике и лично объяснит Сталину, почему союзники не смогли выполнить все требования советского руководства. И он пролетел без малого 3000 километров, позабыв о комфорте, ради попытки сохранить отношения со Сталиным.

## Глава 3

### КРИЗИС ДОВЕРИЯ

#### Встреча со Сталиным

В то время как немцы летом 1942 года продвигались по степям Южной России, Николай Байбаков, заместитель наркома нефтяной промышленности СССР, торопился на встречу со Сталиным в его кремлевском кабинете.

«Всего у меня состоялось примерно пять встреч со Сталиным, не считая этой, — вспоминает Байбаков<sup>1</sup>, в тот период один из главных инженеров-нефтяников Советского Союза, — и он произвел очень сильное впечатление на меня... Это были деловые встречи. Иосиф Виссарионович Сталин всегда проявлял интерес к положению дел в нефтедобывающей промышленности и много сделал для ее развития».

Но эта встреча носила особый характер. Байбакова вызвали в кабинет Сталина, и он, мучаясь неизвестностью, ждал, пока вождь скажет первое слово.

«— Товарищ Байбаков, — произнес Сталин, — Гитлер рвется к Кавказу. Он объявил, что если не захватить кавказскую нефть, то проиграет войну. Все должно быть сделано так, чтобы ни капли нефти не досталось немцам».



Байбакову было указано, что его обязанность — отправиться на Кавказ и не позволить немцам завладеть нефтью. И Сталин добавил — и в этот момент, по словам Байбакова, в голосе его прозвучал металл:

— Учтите, что, если оставите немцам хоть тонну нефти, вы будете расстреляны. Но и если сорвете поставки, заблаговременно разрушив нефтепроводы, и нефти не достанется ни немцам, ни нам, в этом случае вы также будете расстреляны<sup>2</sup>.

Как это ни удивительно, Байбаков считал такие методы Сталина «оправданными». «Конечно, допусти я ошибку, это было бы преступлением, — утверждает он. — Это было бы преступлением, если бы я сдал месторождения нефти немцам. Я поступил бы во вред своей стране». Все же Байбаков признает, что «приложил бы все усилия» для защиты месторождений нефти и без сталинских угроз. Звучит парадоксально, но сам факт того, что вождь советского народа изыскал время в уплотненном графике работы для угроз Байбакову делает немалую честь главному инженеру-нефтянику Советского Союза, являясь своего рода признаком доверия. «Окажись я на его месте, я поступил бы в точности так же, — продолжает Байбаков. — Цель оправдывает средства».

В конечном счете, Николай Байбаков, разумеется, не был расстрелян, поскольку немцы так и не добрались до нефтеносных районов Кавказа, и заместителю наркома нефтяной промышленности СССР не пришлось принимать решения о разрушении нефтепроводов. Но методы Сталина вкупе с тем, как они воспринимались самим Байбаковым, весьма поучительны. Они наглядно демонстрируют ту степень жестокости, которая и составляла сущность сталинских методов руководства страной. Сталин считал, что, если поставить

перед кем-то важнейшую задачу и быть до конца уверенным, что она будет выполнена, необходимо пригрозить исполнителям смертью в случае ее невыполнения.

Примерно в это же время Черчилль был на пути в Москву, где ему также предстоял ряд встреч с советским лидером. Отношения между Великобританией и Советским Союзом явно ухудшались. 18 июля 1942 года Черчилль написал Сталину, сообщив дурные вести о ходе поставок и о втором фронте. Не приходится удивляться тому, что Сталина это послание не вдохновило, и он 23 июля ответил на письмо Черчилля холодной и довольно резкой телеграммой:

«Получил Ваше послание от 18 июля.

Из послания видно, что, во-первых, правительство Великобритании отказывается продолжать снабжение Советского Союза военными материалами по Северному пути и, во-вторых, несмотря на известное согласованное англо-советское коммюнике о принятии неотложных мер по организации второго фронта в 1942 году, правительство Великобритании откладывает это дело на 1943 год».

После этого сокрушительного удара – прямого обвинения Великобритании в отказе от военных поставок Советскому Союзу, Сталин утверждает, что его собственные военные и военно-морские эксперты сочли причины приостановки конвоев «совершенно неубедительными». «Наши военно-морские специалисты считают доводы английских морских специалистов о необходимости прекращения подвоза военных материалов в северные порты СССР несостоятельными. Они убеждены, что при доброй воле и готовности выполнить взятые на себя обязательства подвоз мог бы осуществляться регулярно с большими потерями для немцев. Приказ английского Адмиралтейства 17-му конвою по-

кинуть транспорты и вернуться в Англию, а транспортным судам рассыпаться и добираться в одиночку до советских портов без эскорта наши специалисты считают непонятным и необъяснимым. Я, конечно, не считаю, что регулярный подвоз в северные советские порты возможен без риска и потерь. Но в обстановке войны ни одно большое дело не может быть осуществлено без риска и потерь. Вам, конечно, известно, что Советский Союз несет несравненно более серьезные потери. Во всяком случае, я никак не мог предположить, что Правительство Великобритании откажет нам в подвозе военных материалов именно теперь, когда Советский Союз особенно нуждается в подвозе военных материалов в момент серьезного напряжения на советско-германском фронте. Понятно, что подвоз через персидские порты ни в какой мере не окупит той потери, которая будет иметь место при отказе от подвоза Северным путем.

Что касается второго вопроса, а именно вопроса об организации второго фронта в Европе, то я боюсь, что этот вопрос начинает принимать несерьезный характер. Исходя из создавшегося положения на советско-германском фронте, я должен заявить самым категорическим образом, что Советское правительство не может примириться с откладыванием организации второго фронта в Европе на 1943 год.

Надеюсь, что Вы не будете в обиде на то, что я счел нужным откровенно и честно высказать свое мнение и мнение моих коллег по вопросам, затронутым в Вашем послании.

И. СТАЛИН»<sup>3</sup>.

Сэр Арчибальд Кларк Керр, экстраверт и человек слегка эксцентричный, посол Великобритании в Моск-

ве, в феврале 1942 года заменивший напыщенного сэра Стэффорда Криппса, согласился с теми соображениями, которые предшествовали высказанным столь резким и отнюдь не дипломатическим языком мыслям Сталина. В телеграмме в Лондон от 25 июля он писал, что на его взгляд советское руководство не верит, «что мы всерьез воспринимаем войну. Они сравнивают собственные огромные потери с нашими...»<sup>4</sup>. И три дня спустя, 28 июля, Кларк Керр предложил, чтобы британский премьер-министр посетил Москву в попытке успокоить Сталина лично.

Черчилль понимал, что ему предстоит нелегкий визит, учитывая настроение советского лидера в крайне сложное для СССР время. Перед отъездом он признался своему личному врачу, доктору Чарльзу Уилсону, впоследствии 1-му барону Морану, что не горит желанием встречаться со Сталиным, ибо «тому не понравится то, что мне предстоит ему сказать»<sup>5</sup>, и позже писал, что его поездка в Москву «походила на перенос огромной глыбы льда через Северный полюс»<sup>6</sup>. Но сэр Алан Брук, генерал и начальник Имперского Генерального штаба, в своей фразе выразил проблему, с которой столкнулись англичане: «Мы собрались забраться в логово льва, не имея ничего, чтобы задобрить его»<sup>7</sup>.

Черчилль вылетел в неотапливаемом и негерметичном американском бомбардировщике, сидя в кислородной маске, снабженной особым устройством, позволявшим курить сигары, и в конце концов после промежуточной остановки в Каире, где он устроил разнос командующим за поражение, понесенное от войск Ромеля, 12 августа 1942 года прибыл в Москву. Уже в 7 часов вечера в тот же день у него состоялась первая встреча с советским лидером в Кремле. Местом встречи был выбран кабинет Сталина на втором этаже здания Вер-

ховного Совета. Внутреннее убранство не шло ни в какое сравнение с аристократической роскошью Бленхеймского дворца, где Черчилль родился, ни даже с Черкес — загородной резиденцией британского правительства, находящейся в распоряжении премьер-министра страны. Сталин не только питал слабость к простой одежде, но жил и работал подчеркнуто просто. Кабинет его выглядел довольно мрачно, мебель состояла из неудобных деревянных стульев вокруг прямоугольного стола переговоров. В дальнем углу помещения стоял письменный стол Сталина, на стене висела фотография Ленина, читающего «Правду», на других стенах — портреты Маркса и Энгельса. В углу возвышалась изразцовая печь. Стены кабинета до середины были облицованы деревянными панелями, в помещении пахло полиролью для мебели и табаком.

Едва Черчилль занял место за столом переговоров, как Сталин объявил, что новости с фронта были «неутешительные» и что немцы пробиваются к Сталинграду и Баку. Он не сомневался, что «стянули войска со всей Европы». И в этом депрессивном интерьере Сталин тогда показался британским официальным лицам человеком «мрачным»<sup>8</sup>. Черчилль по части дурных новостей подлил масла в огонь: он повторил уже ранее сказанное Молотову о том, что англичане не могли сдержать «обещания об открытии второго фронта в 1942 году» и что «британские и американские правительства не сочли возможным предпринимать главную операцию в сентябре... Но, как известно г-ну Сталину, британские и американские правительства готовят крупную операцию в 1943 году».

По утверждениям британских официальных лиц, после того как Черчилль закончил свое пространное долгое объяснение того, почему англичане и американцы

не смогут оказать помощь Советскому Союзу открытием второго фронта в 1942 году, Сталин «помрачнел еще больше». Явно раздосадованный словами Черчилля, Сталин объявил, что «на территории Франции нет ни одной стоящей немецкой дивизии». Черчилль на это ответил, что «во Франции 25 дивизий». Сталин парировал, что «тот, кто не готов рискнуть, войн не выигрывает».

Премьер-министр попытался разрядить обстановку, напомнив о практических шагах, предпринятых британцами и американцами для оказания военной помощи — массированные бомбардировки городов Германии, на что Сталин тут же ответил: «Бомбить нужно не только промышленные объекты Германии, но и гражданские». Тогда Черчилль, в своем противоречивом заявлении, целью которого была попытка дистанцироваться от «террористических» массированных бомбардировок к концу войны, недвусмысленно заявил: «Что касается гражданского населения [Германии], мы рассматривали его боевой дух как военный объект. И пусть они не ждут от нас пощады».

«Это — единственный путь», — ответил Сталин, и это было первым его согласием за всю встречу.

Черчилль, слегка приободрившись от ответа советского лидера, принялся доказывать, чего «можно достичь с помощью увеличения числа самолетов и их бомбовой нагрузки». Он договорился до того, что «если потребуется, пока идет война, мы разрушим весь жилой фонд всех городов Германии». Эти слова, как подтверждается другими официальными лицами, «возымели стимулирующий эффект при встрече, и после них атмосфера заметно улучшилась».

Показав пример незаурядной политической изворотливости, Черчилль попытался пересмотреть понятие второго фронта. «Каков был второй фронт? — задал он

чисто риторический вопрос. — Разве это только высадка сил на укрепленное побережье Франции? Или же все будет происходить в рамках широкомасштабной операции, способной повлиять на весь дальнейший ход войны?» И теперь он, преодолев смущение первых минут, перешел к добрым новостям — западные союзники планируют в октябре 1942 года высадку в Северной Африке. Чтобы доказать преимущества этой высадки, Черчилль нарисовал крокодила, наглядно показав Сталину, что англичане и американцы намерены нанести удар, так сказать, пониже пупа крокодила, то есть, в самое уязвимое место животного. К концу встречи настроение Сталина заметно улучшилось, он явно уловил выгоду для себя в высадке союзников на севере Африки, и в 22 часа 40 минут встреча завершилась на положительной ноте.

Черчилль был удовлетворен итогами первой встречи, но уже на следующий день стало ясно, что ему так и не удалось «обработать» Сталина, как собирался. Черчиллю предстояла встреча с непримиримым и не восприимчивым к лести Молотовым, который действовал так, словно предыдущим вечером ни слова не слышал о североафриканской операции и просто-напросто вновь затронул вопрос об открытии второго фронта. Вскоре доставили написанную Сталиным памятную записку<sup>9</sup>. В этом документе англичане вновь обвинялись в нарушении их обязательств. «Как известно, — говорилось в памятной записке, — открытие второго фронта в Европе в 1942 году было предварительно решено во время пребывания Молотова в Лондоне... Нетрудно понять, что отказ правительства Великобритании открыть второй фронт в 1942 году в Европе наносит моральный ущерб всему общественному мнению СССР, рассчитывающему на открытие второго фронта, осложняет по-

ложение Красной Армии на фронтах и ставит под угрозу планы советского командования».

В общем, имела место обычная грубая прямолинейность Сталина, если не сказать больше. И в ночь на 13 августа, уже во время второй встречи между Черчиллем и Сталиным, советский лидер продемонстрировал весь запас сарказма. Он высказал предположение о том, что англичане не желают открыть второй фронт из-за страха перед немцами. Черчилль не на шутку рассердился и даже расстроился, услышав это. В конце концов выдвинутая Сталиным гипотеза настолько вывела его из себя, что он принялся весьма эмоционально защищать Британию и англичан, столь красноречиво, что даже переводчикам пришлось трудно. «Важны не слова, — высказался Сталин после того, как британский премьер закончил свою пламенную речь. — Важны дела».

Московская встреча со Сталиным не на шутку встревожила Черчилля. И, вернувшись на дачу, подмосковную правительственную резиденцию, специально отведенную ему, посол США в Москве Аверелл Гарриман, сопровождавший его на переговорах, провел с ним несколько часов, пытаясь успокоить его. В своем отчете Военному кабинету, составленном уже на следующий день, 14 августа 1942 года, Черчилль открыто задал вопрос, отчего столь внезапно и сильно переменялось поведение Сталина с внушавшей оптимизм первой встречи. Одной из причин, рассуждал Черчилль, могла быть прямолинейная тактика Советов, та самая, что применялась к Идену в декабре предыдущего года, однако Черчилль также допускал возможность, что Совет Народных Комиссаров (СНК), которому Сталин, как полагал Черчилль, представил отчет о ходе переговоров, негативно воспринял представленные британским премьером новости. (Совершенно ошибочное предположе-



ние о наличии за спиной Сталина неких «темных сил» и о том, что Сталин был не самостоятелен в проведении советской внешней политики; оно еще не раз всплывет в решающие моменты в отношениях между лидерами союзников в ходе войны).<sup>10</sup>

14 августа Черчилль раздраженно расхаживал по даче в своем домашнем халате, заявив, что, дескать, не расположен присутствовать на обеде в свою честь, устроенном Советами вечером того же дня. Кларк Керр, британский посол в Москве, присутствовавший при этом, был человеком весьма терпеливым, если это касалось настроения Черчилля, и писал, что единственное, что было нужно в тот момент премьер-министру, так это «хороший пинок под зад»<sup>11</sup>.

В конце концов Черчилль, все же поняв, что его отсутствие на торжественном обеде будет равносильно дипломатическому самоубийству, не переставая брюзжать, согласился пойти. Но, по-видимому из протеста, решил надеть «самую жуткую одежду, которую, по его словам, он специально заказал пошить для носки во время воздушных налетов». Вышеупомянутая одежда, согласно записям Кларка Керра, смахивала на «комбинезон механика или, еще сильнее, — на детские ползунки». Невзирая на весь свой революционный пафос, советское руководство строжайше соблюдало правила ношения одежды на официальных церемониях, и русские были просто потрясены, увидев совершенно экзотическое облачение почетного зарубежного гостя. Это было не самым лучшим началом торжественного ужина, и обстановка усугублялась подчеркнутой сдержанностью британской стороны в общении с представителями Советов. Полковник Иен Джейкоб, помощник по военным вопросам секретаря Военного кабинета, сделал следующую запись у себя в дневнике: «Дико было ви-

деть этого низкорослого крестьянина [Сталина], который куда уместнее смотрелся бы где-нибудь в деревне с киркой на плече, с достоинством усаживавшегося за банкетный стол в великолепной зале»<sup>12</sup>.

Генерал сэр Алан Брук сетовал в своем дневнике, что «подавалось 19 блюд, и мы только встали из-за стола в 0.15, просидев три с четвертью часа»<sup>13</sup>. Он воспринял Сталина не столь категорично и снисходительно, как Джейкоб, но все же считал, что в нем мало что напоминает истинного джентльмена. «К концу обеда, — писал Брук, — Сталин выглядел оживленным, обходя стол и чокаясь с гостями, выпивая бокал за их здоровье. Это — выдающийся человек, сомнений в этом быть не может, хоть и малопривлекательный. У него неприятное холодное, лукавое, неподвижное лицо, и всякий раз, когда я смотрю на него, я вполне могу вообразить себе, что этот человек устраняет людей и бровью не поведя. С другой стороны, нет сомнения в том, что у него быстрый ум, способный ухватить самую суть войны»<sup>14</sup>. Еще один член британской делегации, переводчик Артур Брайант<sup>15</sup>, заметил, что Брук вел себя довольно грубо на обеде. Британский генерал давал односложные ответы на вопросы его соседа по столу, маршала Ворошилова, и никогда не обращался к нему первым.

Черчилль ушел с банкета во втором часу ночи — довольно рано по меркам сталинского гостеприимства — и, возвратившись в загородную резиденцию, первым делом направился к своему врачу сэру Чарльзу Уилсону [впоследствии барону Морану]: «Сталин не захотел говорить со мной. Я прекращаю переговоры. С меня хватит. И еда была отвратительной. Мне вообще не следовало приезжать»<sup>16</sup>. Сэр Чарльз попытался что-то возразить, дескать, «вопрос не в том, бандит Сталин или нет, а в том, что если мы не согласимся сотрудничать с ним,

это будет означать для нас более длительную войну и большие жертвы». Впрочем, слова врача действия не возымели, поскольку даже на следующий день Черчилль был разъярен и так и сыпал высокопарными фразами: «Неужели он [Сталин] не понимает, с кем говорит? С представителем самой могущественной в мире империи!»<sup>17</sup> В общем, Черчилль заявил, что намерен уехать из Москвы и что не имеет никакого желания вновь встречаться со Сталиным.

В то утро сэру Арчибальду Кларку Керру пришлось призвать на помощь весь свой немалый дипломатический опыт, чтобы убедить Черчилля еще раз встретиться с советским лидером. Когда оба прогуливались в окружавшем дачу саду, он сказал Черчиллю, что это, «именно вы [Черчилль] изначально действовали неправильно...»<sup>18</sup> Что такого особенного, что он — аристократ, светский человек? Почему все должны его любить только за это? В особенности эти люди? Ведь они от сохи, они грубы и малоопытны. У них не тот подход к вещам, как у нас с вами». И Арчибальд Кларк, дав несколько одностороннюю и покровительственную оценку советским лидерам, как и врач, доктор Уилсон, все же сумел убедить премьер-министра Великобритании в том, что именно ему, Черчиллю, придется отвечать за все последствия отказа от сотрудничества со Сталиным. «Если Россия не получит помощи, его помощи, которую лишь он может предоставить... жизни скольких молодых британских и американских ребят должны будут принесены в жертву?» Кларк Керр вновь предупредил Черчилля, чтобы тот «не дал себя оскорбить этому крестьянину, не знавшему другой, лучшей жизни». В конечном итоге, уже после того, как Кларк Керр сумел мобилизовать все методы убеждения, Черчилль все же согласился на еще одну, последнюю встречу со Сталиным вечером того же дня.

Эта заключительная встреча, казалось, снова пройдет под литание советского лидера, требующего от англичан сдержать обещание и открыть второй фронт в течение 1942 года, и Черчиллю вновь пришлось объяснять все связанные с высадкой на побережье Франции сложности, напомнив, что, по сути, никакого обещания дано не было. Черчилль повторил, что британские силы понесут большие потери в ходе десантной операции через Ла-Манш, если начать ее в 1942 году, на что Сталин ответил, что «Красная Армия теряет 10 000 человек ежедневно» и что, «не взяв на себя риск, войну выиграть нельзя»<sup>19</sup>.

Согласно воспоминаниям советского переводчика Павлова, «атмосфера на встрече накалилась добела». Но после того как формальные обсуждения закончились, Сталин осведомился у Черчилля, не желает ли тот прибыть к нему в его кремлевскую квартиру на ужин. Черчилль воспринял это приглашение как несомненный признак, что лед растаял, в особенности когда Сталин представил ему свою дочь Светлану. Но вскоре советский лидер вернулся к горестной тираде относительно англичан. «Неужели у Королевского флота нет чувства собственного достоинства?» – задал он риторический вопрос в связи с приостановлением отправки конвоев в Советский Союз. Черчилль ответил, что «Великобритания была морской державой» и что «он понимает в войне на море».

– То есть вы имеете в виду, что я в ней ничего не смыслю? – спросил Сталин.

Но мало-помалу после нескольких бокалов и съеденного жареного поросенка настроение участников переговоров улучшилось. Черчилль даже набрался смелости и задал вопрос о том, столь же трудны нынешние проблемы, с которым приходится сталкиваться Советскому Союзу, как и проведенная в начале 30-х годов принудительная коллективизация крестьян.

— Нет, — ответил Сталин. — Тогда все было намного тяжелее.

— Как вы поступили с кулаками? — допытывался Черчилль.

— Устранили их, — ответил Сталин.

После столь откровенного признания разговор зашел о британском штабе и его недочетах, а потом Черчилль даже расхрабрился настолько, что стал подначивать лишенного и подобия всякой харизмы Молотова, человека с невыразительным лицом и, надо сказать, довольно много пьющего.

— А вы знали о том, — заметил Черчилль Сталину, — что ваш министр иностранных дел во время недавнего визита в Вашингтон заявил, что готов был вылететь в Нью-Йорк совершенно один, без сопровождения, и что задержка его возвращения произошла не из-за неисправности самолета, а оттого, что он был не прочь самовольничать?

— Речь шла не о Нью-Йорке, — пояснил Сталин. — Он поехал в Чикаго, где живут другие гангстеры<sup>20</sup>.

Черчилль вернулся в загородную резиденцию в три часа утра. Всего за сутки его настроение кардинально переменялось. Дожидавшийся его Кларк Керр записал тогда: «Было видно, что он [Черчилль] ликует»<sup>21</sup>. Черчилль, лежа на диване, «захихикал, а потом стал дрыгать ногами. Все было великолепно. Он заручился дружбой со Сталиным. Боже мой! Он был несказанно рад, что приехал. Сталин великолепен. Какое, должно быть, удовольствие работать со “столь великим человеком”. Одно удовольствие было видеть премьер-министра в таком настроении... Боже мой, что он только не говорил! Сталин то, Сталин это...» С советским лидером вполне можно иметь дело, это не какой-нибудь неотесанный дурень азиат. Премьер-министр был готов

отправиться в Лондон, весьма удовлетворенный тем, что завязал со Сталиным личные отношения, и это произошло именно во время прощального ужина ночью у него на кремлевской квартире.

Поведение Черчилля во время четырехдневного визита в Москву временами переходило рамки обычной эксцентричности, как отмечают и Кларк Керр, и сотрудники британского посольства в Москве, и в нем было даже что-то ребяческое. Любопытно было бы узнать, что все-таки произошло бы, не прислушайся Черчилль к Кларку Керру. Чем объясняется, что на обеде в свою честь премьер-министр был мрачнее тучи? И, вероятно, куда более любопытен тот факт, что мнение Черчилля о Сталине диаметрально изменилось после визита к нему в гости на кремлевскую квартиру?

Все происходившее тогда смахивает чуть ли не на любовный роман в начальной стадии, во всяком случае, куда больше, чем на беседу двух государственных деятелей. И действительно, сэр Александр Кадоген, постоянный секретарь министерства иностранных дел, сопровождавший Черчилля в Москву, совершенно конкретно назвал эти обмены любезностями «обхаживанием»<sup>22</sup>. Черчилль был не просто под воздействием алкоголя, куда сильнее его пьянила сама идея в перспективе заключить близкие дружеские отношения с человеком, которого — и он это отлично понимал — мир признает одной из выдающихся исторических фигур XX столетия. Но Черчилль был склонен выдавать желаемое за действительное. Дело в том, что для Сталина такое понятие, как «дружба», просто не существовало, и никаких друзей у него не было и в помине.

И не будь Черчилль столь очарован тем ужином на кремлевской квартире советского вождя, он, вероятно, осознал бы два важнейших итоговых момента этой мос-

ковской встречи. Первое: цели своей — переубедить Сталина — он не достиг. Тот по-прежнему брюзжал по поводу приостановки морских конвоев в северные порты СССР и «предательства» в отношении открытия второго фронта. Ничто, по словам самого же Черчилля, существенно не изменило преднамеренно негативного отношения Сталина ко вкладу Великобритании как союзника в повышение военной мощи Советов. И второй, куда более важный момент: Сталин даже не потрудился скрыть от Черчилля свою разнузданную жестокость. И на официальной встрече, когда он заявил о желании уничтожить и мирное население Германии, и на неформальном ужине у него на квартире, во время которого он весьма лаконично обрисовал печальную участь кулаков, Сталин оставался верен себе. Он проявил себя безжалостным диктатором, торжествующе признававшимся в зверском убийстве миллионов своих сограждан, и самочинно контролировавшим систему, не содержащую ни крупинки демократии, систему, в условиях которой людям было неизвестно, что такое свобода слова или верховенство закона. В своих мемуарах Черчилль признал, что, когда Сталин упомянул об уничтожении кулаков, это произвело на него «сильное впечатление» — миллионы людей были уничтожены или же навсегда изгнаны из родных мест<sup>23</sup>. Но, по его мнению, «в условиях мировой войны... всякое морализирование было бы неуместно».

Из всех крупных фигур периода Второй мировой войны — за исключением, пожалуй, Гитлера — Сталин был тем, с кем приходилось взаимодействовать без эмоций, всецело положившись на одну лишь объективную реальность. Именно это и осознал генерал сэра Алан Брук, впервые увидев Сталина во время встречи в Москве в августе 1942 года. «Сталин — реалист до мозга

костей, — писал он в своем дневнике, — и его интересуют только факты... [Черчилль] взывал к чувствам Сталина, которых у того нет»<sup>24</sup>. Как интуитивно смог уловить Брук, Сталин был не тем, с кем можно было попытаться установить некую эмоциональную связь. Черчилль был первым лидером союзных держав, кто допустил такую ошибку; Рузвельт станет вторым.

Однако наивность недопустима. В конечном итоге Черчилль осознал, что просто обязан иметь дело со Сталиным. Какой смысл в том, чтобы заикливаться на нелицеприятных деяниях Сталина и на Советском Союзе? Куда более серьезной проблемой была война с Германией, и Красная Армия — тут уж спорить не приходилось — несла на себе основную тяжесть борьбы с фашизмом. Но — что также бесспорный факт — сам Черчилль не проявил нужного хладнокровия во время этой встречи. По возвращении в правительственную резиденцию после знаменательного ужина на сталинской квартире в Кремле он взхлеб нахваливает советского лидера, и причем от души. Он сумел убедить себя не только в том, что Сталин — «великий человек», но и в том, что он способен вызвать даже его, Черчилля, симпатии.

### Братание

Не только Черчилль, конечно, пытался наладить личные отношения с Советами в 1942 году. Пока Черчилль и Сталин были заняты переговорами на высшем уровне, моряки судов конвоев, прибывавших на Крайний Север еще до приостановления их отправки летом 1942 года, также пытались понять жизнь в Советском Союзе. Пережитое ими, судьбы советских граждан, с которыми им довелось познакомиться, представляет собой уникальный процесс осознания в высшей степе-



ни необычного столкновения разных культур, ставшего возможным благодаря вступлению в союзнические отношения стран Запада и Советского Союза во время Второй мировой войны.

Когда PQ-16 30 мая 1942 встал на якорь, моряки конвоя были потрясены увиденным: «Мурманск представлял собой опустевший, заброшенный город, — утверждает Эдди Гренфелл. — Его ужасно бомбили — до этого нам никогда не приходилось видеть такие бомбардировки с воздуха, которые происходили там». Люфтваффе превратили этот город в пустыню — лишь Сталинград понес большой ущерб в Советском Союзе во время войны.

Эдди вместе с остальными выжившими членами команд потопленных судов высадились из шлюпок, после чего их всех собрали в здании пакгауза на пристани: «Нас было человек 350–400. И это была наша первая встреча с Россией. Мы находились под охраной русских солдат с винтовками с примкнутыми штыками — они стояли с обеих сторон здания. Мы все еще страдали от ран и холода. Я был весь в ссадинах и порезах, да и остальные тоже. Но среди нас были и тяжелораненые — люди стонали и так далее. И вот так мы пролежали там 36 часов». Находясь в пакгаузе, моряки слышали, как на город падают бомбы, — немцы начали очередной налет. «Мы никогда ни с чем подобным не сталкивались, — вспоминает Эдди. — И было на самом деле страшно».

Британским морякам дали воду, но еды они не получили. Потом за ранеными прислали грузовики. Нейла Халса, Эдди Гренфелла и другие раненых британских моряков везли по изрытым воронками дорогам в госпиталь, в котором раньше располагалась школа. Госпиталь этот мало напоминал больницу, во всяком случае, такого англичанам видеть не приходилось. «Воняло там

адски, — вспоминает Эдди Гренфелл, — и отовсюду доносились стоны и крики».

«Самым жутким местом оказался именно госпиталь, — подтверждает Нейл Халс. — Но мы были рады хотя бы улечься на сухую кровать, [но] бедные русские! Многие лежали вповалку на полу и вопили что есть мочи. Мы видели многих русских солдат с ампутированными конечностями, причем операции проводились зачастую без наркоза... Они лежали за три коридора от нас, но я слышал, как они кричали и как сопротивлялись те, кому собирались отрезать ноги или руки».

Нейл Халс страшно боялся, что и ему отрежут отмороженные пальцы ног в этом мурманском госпитале — это означало бы, что и ему придется вытерпеть операцию без анестезии. Но судовой врач одного из кораблей Королевского флота, прибывших в Мурманск, посоветовал ему массажировать пальцы ноги, чтобы избежать ножа хирурга. И Халс договорился с одним из своих товарищей, также получившим обморожения: «Я массирую пальцы одному парню, а он — мне. И так несколько дней с перерывами. Слава Богу, мне удалось сохранить пальцы, и ему тоже».

По ночам, пока другие пытались заснуть, Эдди Гренфелл, взглянув на стену, с ужасом убедился, что «она почернела от ползавших по ней тараканов и вшей».

После этого он решил бежать из госпиталя. Обратившись к адъютанту адмирала Бивэна, старшего военноморского офицера Великобритании в Советском Союзе, он в конце концов добился перевода в военноморской лагерь на Ваенге.

На борту буксира, прибывшего забрать его и нескольких его товарищей на берег Ваенги, Эдди Гренфелл впервые увидел русских моряков. «Они выглядели точно так же, как и наши... Откуда-то появилась водка,

завели граммофон, все были настроены к нам очень дружелюбно. И мы наконец начали понимать, что русские — самые обычные, простые люди».

Но для Эдди военно-морской лагерь в Ваенге был ничем не лучше мурманского госпиталя: «Конечно, если тебе приходилось не раз сталкиваться со смертельно опасными вещами, это может показаться несерьезным. Наверное, вы будете смеяться, но я пуще дьявола боялся крыс. Ночью они скакали по нам в поисках объедков... Носились по нам вовсю и пищали... Как это мерзко».

Эдди Гренфелл был также потрясен, увидев, как советские власти в лагере на берегу Ваенги расправлялись с нарушителями дисциплины из числа русских. Однажды среди ночи один флотский старшина, до этого вполне дружелюбно относившийся к британским морякам, стал барабанить в дверь барака. Было видно, что он сильно пьян — что весьма строго наказывалось советскими властями, особенно если пьяных военнослужащих заставляли в присутствии иностранцев. Когда моряки открыли дверь, чтобы впустить его, его тут же схватил и куда-то увел один из охранников, выставленных возле барака. «Полчаса спустя мы услышали залп из винтовок, — вспоминает Эдди. — Чуть позже в дверь нашего барака вновь постучали, явился [советский] комиссар — больших уродов я в жизни не встречал. До ужаса строгое лицо — этот наверняка не был на передовой, да и выстрела ни разу за свою убогую жизнь не слышал, но зато был комиссар, отвечавший за всякую ерунду. И он на хорошем английском языке выдал нам: “Мы сожалеем, что потревожили вас. Очень стыдно, что этот человек так повел себя. Так вот, вам будет приятно узнать, что он расстрелян”. Слово в слово! Так и есть — его расстреляли! Разумеется, мы были изумлены, если не сказать больше. К подобным вещам мы не привыкли».

Происшествия в духе расстрела на месте флотского старшины только за появление в нетрезвом состоянии заставили Эдди Гренфелла и его товарищей прийти к заключению, что «простые русские были чертовски хорошими ребятами, вот только оказались под каблуком очень нехороших людей... Мы убедились, что это за режим, но нам ничего не оставалось, как принять его, потому что они сражались на нашей стороне».

Но не только британским морякам пришлось пережить подобное прозрение, столкнувшись с фактами советской повседневности. Американских моряков также ввели, так сказать, в курс дела. Джим Риск<sup>25</sup> прибыл в Мурманск на борту американского торгового судна «Сити оф Омаха» (*Site of Omaha*; «Город Омаха»). Сам Джим был родом из Флориды, он в жизни и снега-то не видел до того, как оказался в Нью-Йорке, откуда отплывал его корабль. Но по пути на север Советского Союза ему пришлось видеть сплошные льды и снега, двигаясь вдоль побережья Норвегии. С огромным облегчением он воспринял прибытие в Мурманск, тем более что уже на подходе к Кольскому полуострову его судно едва не затонуло: «Это произошло ночью, около часа ночи, наблюдатель по правому борту вдруг завопил: “Эй, помощник!” Я тут же выбежал на палубу и увидел, что вплотную к нам по правому борту движется какое-то судно. Теперь корабли имеют запас прочности, опасны разве что бортовые столкновения – тогда оба точно пойдут ко дну... Так вот, я крикнул рулевому: “Левый руль!”, тот повернул. И, слава Богу, на другом судне наверняка тоже кто-то дал команду “Правый руль!” – и мы разошлись, поэтому и уцелели. Но этот случай был самым опасным за все годы на море».

«Сити оф Омаха» прибыла в порт Мурманск, и, по словам Джима Риска, в порту был «полнейший кавар-

дак — ни одной живой души не было видно». И если разрушенный в результате бомбежек немцев советский порт был первым шоком, то вторым стало то, что разгрузку судна поручили женщинам. Всем заправляла некая угрожающего вида особа по имени Ольга. Риск продолжает: «Вдруг капитан судна раскричался, дескать, нет никого из команды, и командир вооруженной охраны тоже не мог никого найти. И поскольку я был самым молодым офицером, моя работа состояла в том, чтобы отыскать их — и выполнить распоряжение капитана. Вот я и приступил к поискам судна».

В конце концов где-то глубоко-глубоко, в самом трюме, чуть выше двигателей, его глазам предстало удивительное зрелище: «Я нашел команду. В полном составе в обществе той самой Ольги. Она откуда-то приволокла матрац и брала с наших морячков за один заход две пачки сигарет... Ни с чем подобным мне, разумеется, сталкиваться не приходилось. Ни на американских кораблях, ни на английских... Пришлось вышвырнуть эту Ольгу с корабля». Но Джим Риск прекрасно понимал и морячков: «Ребятам пришлось пройти через такие ужасы, и им необходима была хоть какая-то разрядка».

Инцидент без последствий не остался — советские власти соответствующим образом отреагировали. «[Они] возвратились на борт судна и устроили нам потрясающий разнос — причем одни офицеры — за то, что мы, дескать, “списали ее на берег”». И даже когда американцы объяснили, что произошло, упомянув и о предосудительном поведении их портового грузчика женского пола, это едва ли охладило их пыл. Судя по всему, Ольга отделалась легким испугом, во всяком случае, Джим Риск своими глазами видел, как она работала на разгрузке прибывших позже судов.

По другую сторону Кольского полуострова, в порту Архангельска, Валентина Ивлева<sup>26</sup>, которой в то время не было и двадцати, воспринимала прибытие моряков союзных держав как своего рода «праздник». «Это было потрясающе, — рассказывала она. — Это было что-то необычное, новое. Морские офицеры, говорящие не по-нашему, веселые, дружелюбные. Это позволило нам забыть о войне». В Архангельске моряки часто посещали Международный клуб моряков, где они отдыхали вместе с приглашенными туда местными жителями — в основном жительницами. «Каждый день я бегала в Международный клуб моряков, — продолжает Валентина. — Я просто жить без этого не могла. Там показывали фильмы, такие как “Леди Гамильтон” или “Пиноккио”, или фильмы с участием Бинга Кросби — мне тогда очень нравились все его песни». Для Валентины клуб моряков был просто раем на земле: «Я никогда не видела такого комфорта, как в Международном клубе моряков. Он размещался в бывшем купеческом доме, там сразу у входа были постелены ковры, по ним было так мягко и приятно ходить; идешь, и даже шагов своих не слышишь. И еще там была хорошая библиотека, а я любила читать, часто играла музыка, люди пели. Там было где поиграть в шахматы, танцевальный зал и кинозал. Раз в неделю устраивали вечер танцев, и я танцевала с восьми часов вечера до четырех, а то и до пяти утра. Бывало, ни одного танца не пропустишь, всю ночь на ногах, даже не присядешь».

Ее частые посещения клуба привели к тому, что на девушку обратили внимание моряки: «Они были очень воспитанными. Был один офицер, звали его Кристофер. Он проводил меня до трамвайной остановки, поцеловал руку, козырнул и попрощался. Все, кто видел, страшно удивились. Я вошла в вагон, и мне было так приятно».

Галантное поведение британского офицера резко отличалось от манер ее соотечественников. «Если бы русский пошел меня провожать, он обязательно стал бы напрашиваться зайти ко мне, это было в порядке вещей. Один наш офицер взбесился, когда я не пригласила его к себе. Просто им не хотелось тратить время на ухаживания, если они встречали девушку, которая им нравилась, они только хотели получить от нее все сразу здесь и сейчас, а вот люди с Запада очень от них отличались».

И, по свидетельству очень многих жителей Архангельска и других советских портов, существовало различие в поведении и британских, и американских моряков. «Англичане были как-то сдержаннее, — считает Мария Ветшева, в 1942-м молодая девушка, служившая на корабле. — Англичане прибыли из страны, которая тоже вела войну, испытала бомбежки, и многие были в подавленном настроении. А в Америке никакой войны не ощущалось — там не знали, что такое бомбежки, и по пути сюда они выжили и уже поэтому были счастливы и веселились вовсю». Такого же мнения и Александр Кулаков<sup>27</sup>, он много раз видел американских и британских моряков на улицах Архангельска: «Мне американцы показались куда более раскованными, чем англичане, те были более замкнутыми».

Мария Ветшева однажды на собственном опыте испытала «раскованность» американцев во время разгрузки одного из кораблей союзников в порту Мурманска. Она управляла примитивным подъемником, и один американский моряк присел рядом и завел с ней разговор. И пяти минут не прошло, как он попытался облапить девушку, но та не позволила ему, потом обратилась к пограничнику — мол, что делать, пристаёт и пристаёт. Тот недолго думая вручил ей солидную деревянную палку и велел всегда держать ее при себе.

«Потом этот американец вообще обнаглел, — рассказывает Мария. — Лопочет без конца: Jiggy, jiggy? <sup>27a</sup>, а потом взял, да расстегнул ширинку и выставил все хозяйство напоказ. Я его за это палкой огрела как следует. Он как заорет, тут же примчались наши пограничники и спрашивают у меня, что случилось».

В общем, этого американца отогнали, что немало позабавило его товарищей по команде. «Ничего, ничего, он получил по заслугам, — говорит Мария. — Я его изо всех сил саданула палкой. И такое тоже случилось».

А вот у Валентины Иевлевой возникла из-за знакомства с британским моряком по имени Билл диаметрально противоположная проблема. В 1943 году девушка влюбилась в него. Билл вел себя очень скромно. «Мы с Биллом познакомились на вечере танцев, потом стали встречаться. Но однажды он сказал: “Завтра уходим в море”, и дал мне домашний адрес своей тети. Потом забежал ко мне попрощаться, принес банку какао и немного еды... Я тогда сказала ему: “Билл, я хочу иметь от тебя ребенка, потому что больше я никого не люблю так, как тебя”. Он ответил: “Вал, ты — хорошая девчонка, но я не хочу разрушать твою жизнь. Я верю в Бога, и не хочу быть виноватым в том, что о тебе будут потом судачить”».

«Мне было очень больно слышать такое, — признается Валентина, — потому что я именно с ним хотела стать женщиной. И меня очень расстроил его отказ. Будь на его месте русский, того долго упрашивать не пришлось бы...»

Но хотя были такие советские женщины, как, например, Валентина Иевлева, готовые вступить в близкие отношения с иностранными моряками, судя по отзывам многих британских моряков, большинство местных жительниц все же проявляли сдержанность в этом вопросе. Яркий пример тому — рассказ Эдди Гренфелла и



его товарищей. Каждый вторник их из лагеря, где они проживали, на грузовиках отвозили на так называемые «чаепития». «Там был большой-пребольшой танцзал, в одном конце играл неплохой оркестр, а на другом конце стоял патефон, таким образом, можно было сначала станцевать вальс, потом перейти к патефону и сплясать там, скажем, фокстрот... Там было много девушек в красноармейской форме, сплошь красавицы, но мы с ними танцевали, и всё».

Главной проблемой для этих британских моряков было то, что девушек на всех просто-напросто не хватало — одной девушке приходилось танцевать по очереди с 5–6 моряками. Поэтому мужчинам приходилось танцевать друг с другом. «Никогда не забуду, — говорит Эдди Гренфелл, — потому что в жизни ничего похожего не видел. Был у меня дружок, Джинджер Бэйли, он служил на военном корабле “Эдинбург”, так вот у него была рыжая борода. А русским, судя по всему, рыжебородые нравились, и — поверите — ему прохода не давали: едва завидев его, к нему тут же подходили эти симпатичные русские офицерики и приглашали станцевать с ними».

### Рейс в Нью-Йорк

Пока моряки союзных стран коротали время на далеком севере Советского Союза, дожидаясь возвращения конвоев для формирования, многочисленные советские суда отправлялись из Мурманска в Нью-Йорк. И поздней весной 1942 года Мария Ветшева была на борту одного из этих советских торговых судов, доставлявших в Америку лес. На другом берегу Атлантики все ожидали, что судно будет загружено военной техникой. Мария была одной из четырех женщин на корабле и работала уборщицей и подавальщицей: «Конечно, жен-

шине приходится нелегко на корабле — работы очень много, но, с другой стороны, необходимо уметь держать себя в рамках. Я была совсем девчонкой, и капитан корабля проинструктировал, как вести себя. Он предупредил, что моряки из машинного отделения и из палубной команды будут за вами ухаживать, но вы не должны давать слабины... Нужно уметь защитить себя. И если сумеете, они будут уважать вас».

«У мужчин и женщин разная психология, — продолжает Мария Ветшева, — и у женщины должна быть гордость. Она должна быть женщиной. И чем больше у нее гордости, тем она желаннее». Еще до отплытия она имела представление о том, что бывает с теми, у кого нет гордости. Одна девушка, новенькая, ее звали Нина, тоже подавальщица, жила с ней в одной каюте. Проснувшись однажды ранним утром, Мария увидела, что Нины нет. Она решила отправиться на поиски своей соседки по каюте. Выйдя на палубу, она заметила, как Нина выскочила из чужой каюты, пьяная и в чем мать родила, со скомканной одеждой в руках: «Капитан, разумеется, тут же списал ее на берег, буквально в тот же день... Как говорят, одна паршивая овца все стадо портит».

Мария Ветшева прибыла в Нью-Йорк поздней весной 1942 года. Это была ее первая поездка за границу — и ее первая встреча с капитализмом. «Мы там были как малые дети, — вспоминает она. — Это был просто рай». Они обошли Манхэттен, видели статую Свободы и Эмпайр Стейт Билдинг. На Бродвее и на Таймс-сквер они поразились светящейся рекламой — никто себе ничего подобного не представлял и прежде не видел. Они могли только смотреть — но не покупать. Марии Ветшевой выдали всего лишь 3 доллара 70 центов, и это на три месяца пребывания в Нью-Йорке. Когда она вместе с дру-

гими женщинами зашли в «Мэйси»<sup>276</sup> на Седьмой авеню, они напрямиком направились в обувной отдел и с тоской смотрели на дорогие и абсолютно недоступные товары на витринах. Однако персонал, сжалившись над советскими моряками женского пола, подарил каждой по паре летних сандалий — подарок из Нью-Йорка.

Но Мария видела и другую сторону жизни в Америке — иммигрантов, покинувших Россию еще до образования Советского Союза в декабре 1922 года: «Конечно, когда они уехали, они были молоды, и теперь состарились. И они плакали, просили привезти им горсть русской земли, рассказывали, что дети их — уже американцы... то есть они остались без Родины». Именно такое впечатление сложилось у Марии, хотя ей в Америке очень понравилось, но только приехать и вернуться домой, «жить там я бы не смогла», признается Мария. «Мы очень тосковали по Родине, — продолжала она. — Как слова из песни: “Хороша страна Болгария, но Россия лучше всех”. Это и есть русский дух. У нас есть этот дух, и это хорошо».

Но это еще не все. Позже Мария призналась, что и у нее, и у ее товарок были мысли остаться в США и получить политическое убежище. «Но нас все равно наверняка вернули бы домой. Будь мы поумнее и образованнее, тогда возможно. А таких, как мы, и в Америке, да и где угодно, хоть пруд пруди. Нас бы выдали, а потом все кончилось бы Сибирью. Так что речь шла не только о патриотических чувствах, но и о страхе». Мария с грустью смотрела на удалявшиеся небоскребы Нью-Йорка, когда их корабль отправился из Америки в августе 1942 года. Она испытывала зависть к тем, кто жил в условиях капитализма, но не сомневалась, что приняла верное решение вернуться домой, пусть даже

из страха или из чувства патриотизма — неважно, но решение было единственно правильным.

Их торговый корабль «Фридрих Энгельс» долго добирался до Мурманска без всякого сопровождения. После трагического инцидента с PQ-17 немногие советские и другие торговые суда ходили без сопровождения. Все вроде бы шло неплохо, пока они не достигли северного побережья Норвегии. Внезапно, из тумана, показался немецкий тяжелый крейсер «Адмирал Шеер» с повернутыми в сторону советского торгового судна орудиями: «Нас всех срочно собрали и приказали сжечь все документы». Шли минуты, но немецкий крейсер огня не открывал. «И тут мы внезапно вошли в очень густой туман и заглушили двигатели и стояли так минут, наверное, сорок, а затем капитан полностью изменил курс — часа два мы шли в обратном направлении». Как только туман рассеялся, немецкого военного корабля не было. Один корабельный офицер объяснил Марии, почему немцы не атаковали «Фридрих Энгельс». Команда «Адмирала Шеера», должно быть по ошибке, приняла его за флагманское судно конвоя. Вот поэтому немцы и не захотели поднимать шум, открыв огонь по «Фридриху Энгельсу».

Наверное, это был самый страшный момент в жизни Марии Ветшевой: «Они [немцы] стали наводить все орудия... а мы смотрели на ледяную воду за бортом, понимая, что в ней никому не выжить». После возвращения в Советский Союз дали знать постоянное напряжение и опасности, связанные с рейсом, в особенности эта едва не ставшая трагической встреча с «Адмиралом Шеером» — у Марии случился нервный срыв, и девушка долгое время болела. Самое страшное — это когда ты не в силах ничего изменить... Выпусти они по нам хотя бы одну торпеду, и все мы тут же пошли бы ко дну...

Очень страшно вот так сидеть и ждать собственной гибели... Ты смотришь смерти в лицо, а она — на тебя. Любый моряк поймет, о чем я говорю».

### Борьба с немцами на Волге

Пока Мария Ветшева боролась с обуревавшими ее чувствами в арктических водах, Иосиф Сталин с растущим гневом наблюдал за продвижением немцев в рамках операции «Блау». За какие-то два месяца 6-я армия Паулюса с боями прошла свыше 600 километров, выйдя к городу на Волге — Сталинграду. Это было в последнюю неделю августа 1942 года. Немецкие солдаты ликовали. Казалось, новая стратегия их Верховного командования — бросить все усилия на захват сырьевых ресурсов Советского Союза на юге вместо атаки Москвы — дает свои плоды. Волга, считали немцы, была границей их нового рейха. И теперь они уже не сомневались, что фактически выиграли войну. «Волга! Вот она — протяни руку, и она твоя! — вспоминал Иоахим Штемпель, офицер 6-й армии. — Это было впечатляющее зрелище... Нам казалось тогда, что в Германии не было реки такой длинной, как Волга. И эти бескрайние просторы Азии — леса, леса, равнины и горизонт, до которого не доберешься, сколько бы ни шел. Это было неопишуемое ощущение... Мы-то думали, что нам еще идти и идти, и вот теперь мы здесь».

Сталин отдал приказ любыми средствами защитить Сталинград, не отдать врагу город, носящий его имя. 30 сентября Гитлер, ничуть не менее упрямо, заявил, что Сталинград, бесспорно, окажется в руках у немцев. Той осенью город на Волге превратился в своего рода микрокосм огромной разрушительной мощи современной войны. Немцы приступили к бомбардировкам Ста-

линграда в масштабах, прежде невиданных на Восточном фронте, а их артиллерия вела непрерывный обстрел городских кварталов, превращая их в груды щебенки. К октябрю месяцу 1942 года от Сталинграда уже оставались практически одни руины. Однако силы Советов под командованием генерал-майора Василия Чуйкова (62-я армия) не сдавали руины Сталинграда на западном берегу Волги.

Избранная Чуйковым тактика прекрасно сочеталась с мощью советских сил. Он приказал войскам расположиться как можно ближе к линии фронта немцев.

Это в значительной степени затрудняло применение немцами артиллерии и бомбардировщиков люфтваффе. «Не располагаться слишком далеко от врага, — повторяет Анатолий Мережко, сотрудник штаба Чуйкова, слова своего командующего армией. — Таков был наш девиз — вплотную к врагу. Расстояние до противника обычно составляло от 50 до 100 метров».

Немцы были озадачены и встревожены, осознав, что пришли за тридевять земель и обнаружили на берегах Волги неприступную крепость, обороняемую с невиданной прежде отвагой. Гельмут Вальц<sup>28</sup>, солдат 305-й немецкой пехотной дивизии, вспоминает о боях в «щебеночной пустыне» и о том, как красноармеец в упор расстрелял немецкого офицера, у которого пулей снесло полчерепа, «и даже был виден мозг, причем оба полушария в водянистой жидкости. Но крови никакой». По свидетельству Вальца, всего за один день в Сталинграде в октябре 1942 года их рота потеряла убитыми свыше 70 человек: «Почти никого не осталось — либо убиты, либо ранены. Всю роту перебили». Немцы несли огромные потери, и, как выразился Иоахим Штемпель, «нетрудно было понять, что если так пойдет дальше, нас перебьют всех до единого. И мы знали, что русские ночью подтя-

гивали силы [подкрепление] через Волгу, а у нас никакого подкрепления не было, так что ничего не оставалось, как биться до конца. Мы оказались пригвождены к этому месту».

Даже сегодня, если обойти холмы вокруг Сталинграда весной, когда только что сошел снег, можно обнаружить множество человеческих костей. Людские потери в Сталинграде огромны. Никто в точности не знает, сколько людей полегло в Сталинграде, но надежнее всего судить по потерям русских — Красная Армия потеряла без малого 500 000 человек. Немецкие потери были более чем вдвое меньшими — примерно 200 000 солдат и офицеров. Если сравнить цифры этих потерь с таковыми западных союзников, только в этом сражении Советский Союз потерял убитыми больше, чем британцы или американцы за всю войну.

Именно в таком аспекте Сталин обрисовал ход войны в речи 7 ноября 1942 года<sup>29</sup>. «В начале этого года, и в зимний период, Красная Армия нанесла немецко-фашистским войскам серьезные удары. Отбив атаку немцев на Москву, она взяла в свои руки инициативу, перешла в наступление и погнала на запад немецкие войска, освободив от немецкого рабства целый ряд областей нашей страны. Красная Армия показала, таким образом, что при некоторых благоприятных условиях она может одолеть немецко-фашистские войска».

После столь оптимистической интерпретации первых шести месяцев 1942 года Сталин перешел к более успокаивающей риторике: «Летом, однако, положение на фронте изменилось к худшему. Воспользовавшись отсутствием второго фронта в Европе, немцы и их союзники собрали все свои резервы под метёлку, бросили их на наш украинский фронт и прорвали его. Ценой огромных потерь немецко-фашистским войскам удалось

продвинуться на юге и поставить под угрозу Сталинград, Черноморское побережье, Грозный, подступы к Закавказью... Правда, стойкость и мужество Красной Армии сорвали планы немцев по обходу Москвы с востока и удару с тыла на столицу нашей страны. Враг остановлен под Сталинградом. Но, остановленный под Сталинградом и уже положивший там десятки тысяч своих солдат и офицеров, враг бросает в бой новые дивизии, напрягая последние силы. Борьба на советско-германском фронте становится все более напряженной. От исхода этой борьбы зависит судьба Советского государства, свобода и независимость нашей Родины». Горечь Сталина по поводу отсутствия второго фронта была очевидна и подчеркнута во фразе Сталина: «Красная Армия выносит на себе всю тяжесть войны против гитлеровской Германии и ее сообщников». Но днем ранее, в речи перед съездом народных депутатов он выражался куда категоричнее: «Отсутствие второго фронта против фашистской Германии может закончиться трагически для всех свободлюбивых стран, включая союзные державы».

Всего два дня спустя, 8 ноября, западные союзники действительно открыли второй фронт — с началом операции «Торч» (*Torch*; «Факел»), вторжением в Северную Африку. Разумеется, это не было никаким вторым фронтом в понимании Сталина, под «вторым фронтом» он всегда имел в виду широкомасштабную десантную операцию с высадкой войск союзников, хотя, тоже на севере, но не Африки, а Франции. И хотя в целях обеспечения проведения операции «Торч» около 600 судов пересекли Атлантику для доставки сил численностью около 100 000 человек, Сталин полагал, что эти усилия союзников незначительны по сравнению с теми колоссальными сражениями, которые вела Красная Армия: «Почему они смогли пойти на это? — риторически спро-



сил Сталин. — Поскольку отсутствие второго фронта в Европе позволило им выполнить эту операцию без риска»<sup>30</sup>. Он подчеркнул, что, пока Красной Армия противостояла в общей сложности 240 вражеских дивизий на Востоке, западные союзники имели дело «всего с 15 немецкими и итальянскими дивизиями».

Это различие между Советами и союзниками в масштабах ведения боевых действий далее подчеркивалось и крайней заинтересованностью Сталина проведением операции «Уран» 19 ноября 1942 года. Свыше миллиона солдат Красной Армии приняло участие в этой попытке отрезать немецкие силы в районе Сталинграда. Непосредственно перед началом наступления к солдатам и офицерам Красной Армии по радио обратился Сталин. «Сегодня вы начинаете наступление, — сказал Верховный главнокомандующий своим войскам, — и ваши действия решат судьбу страны».

Для многих солдат и офицеров, слушавших это обращение, Сталин был едва ли не сверхъестественным существом. Они были воспитаны на пропагандистской кинохронике, школьными учителями, вдалбливавшими в их головы одну и ту же мысль, один и тот же рефрен: Сталин — не просто вождь, он — наша уверенность в завтрашнем дне, он — тот, кому мы безгранично доверяем. Именно его присутствие, как многие считали, и вдохновило защитников Москвы в минувшем году, вдохновит и сейчас при обороне Сталинграда.

И на этот раз уже Красная Армия обладала преимуществом внезапности. Именно Красная Армия сумела втайне от врага подготовиться к проведению наступательной операции, развернув беспрецедентную за год с лишним войны кампанию по дезинформации противника. Например, Ивану Голоколенко<sup>31</sup>, офицеру 5-й танковой армии, было приказано соорудить ложные

оборонительные позиции: «Были возведены ложные мосты, в эфире давались координаты несуществующих частей и подразделений». Что же касается самых настоящих мостов, которые предполагалось использовать в ходе выполнения операции «Уран», они остались не замеченными для воздушной разведки противника: «Часть мостов возводилась как подводные мосты, то есть на глубине 50–70 сантиметров. С воздуха такие сооружения было определить весьма трудно, практически невозможно».

Красной Армии удалось в условиях строжайшей секретности провести наращивание сил более чем на миллиона солдат и офицеров, и немцы ошарашенно взирали на то, как эти невесть откуда взявшиеся полки и дивизии в ходе флангового удара сметают на своем пути венгерские, итальянские и румынские войска, оборонявшие эти фланги. Раздражение и озлобленность немецких солдат 6-й армии была вызвана тем, что эти союзники, которым они доверяли, не сражались с подобающей храбростью. Даже сейчас, спустя шесть десятилетий, это раздражение не исчезло у тех из немцев, кто побывал под Сталинградом. В 6-й армии в ходу был анекдот:

« – Слышали о новом итальянском танке? – спрашивает один немецкий солдат другого.

– У него шесть передач. И пять из них – задние!»

Но независимо от не оправдавших доверия союзников гитлеровской Германии, советские силы были уже не те, что в 1941 году. Операция «Уран», или Сталинградская битва, послужила поворотным пунктом в ходе Второй мировой войны. В ходе ее подготовки Сталин больше прислушивался к рекомендациям своих военных экспертов, в особенности маршалов Жукова и Василевского, чем доверялся собственному чутью, как это име-

до место в печально известном сражении под Харьковом летом того же года. Конечно, если речь шла о стратегических вопросах, последнее слово было и оставалось за Сталиным, но теперь он по крайней мере не игнорировал советы профессионалов. 9 октября 1942 года он даже вернул генералам «единоначалие», освободив их от необходимости «двойного подчинения», требовавшей постоянных консультаций с политруками. Результатом перечисленных нововведений в организации войскового подвоза, выработке тактики и управления войсками стал впечатляющий успех. Всего четыре дня спустя после начала операции «Уран», в результате маневра, отличавшегося поразительной тактической красотой, железные клещи советских сил сомкнулись в районе Калача, и 6-я армия Паулюса оказалась в прочном кольце окружения — угодила в Сталинграде в хитроумно расставленную ловушку.

Участь 6-й армии лишь усугублялась полнейшей неспособностью Гитлера трезво разобраться в обстановке. В отличие от Сталина, который в ходе войны проявил тенденцию все меньше и меньше вмешиваться в чисто военные вопросы, как тактические, так и стратегические, Гитлер, напротив, возомнив себя великим полководцем, пытался решать все вопросы сам. И чтобы дать отпор наседавшим русским — немецким генералам и фельдмаршалам надлежало посоветоваться с фюрером. Но фюрер отчего-то срочно перебрался из своей ставки «Вольфшанце» в Восточной Пруссии в баварскую резиденцию Бергхоф, то есть за две с лишним тысячи километров от линии фронта. Даже когда ему сообщили о советском наступлении, он отреагировал не сразу — вероятно, подумал, какое там может быть наступление — ведь Красная Армия давным-давно разгромлена превосходящими германскими силами? И его собственная

версия была поддержана генералом Цейцлером, конечно же, из чувства преданности фюреру и веры в его непогрешимость. Дело в том, что незадолго до этого Цейцлер был назначен начальником Генерального штаба сухопутных войск, а штаб всего лишь за месяц до этого уверял фюрера, что, дескать, Красная Армия «не в состоянии организовывать и проводить широкомасштабные наступательные операции ни на одном из участков фронта»<sup>32</sup>.

В результате ответные меры, впопыхах принимаемые немецким командованием, на операцию «Уран» были, мягко говоря, неадекватными. И осознав наконец чудовищность проблемы, перед которой оказалась 6-я армия, предложенное им решение было просто до слабумия оптимистичным. Герман Геринг заверил Гитлера, что сможет организовать снабжение 6-й армии всем необходимым по воздуху, то есть самолетами люфтваффе вплоть до подтягивания дополнительных наземных войск, которые и прорвут кольцо окружения. Подобное решение уже было успешно применено для обеспечения жизне- и боеспособности немецких сил, угодивших в окружение в районе Демянска зимой 1942 года, но масштабы предпринятой тогда операции были просто несопоставимы с теми, которые диктовались организацией воздушного моста для 6-й армии. Пока воздушный мост Геринга с грехом пополам функционировал, пока немецкие войска отражали натиск русских в Сталинграде, фельдмаршалу фон Манштейну было приказано разработать и осуществить операцию по деблокированию армии Паулюса под кодовым названием «Операция «Буря». И попытка организовать воздушный мост, и операция по деблокированию завершились полным провалом. Бесперебойного снабжения такого количества войск так и не удалось добиться, и в канун

Рождества 1942 года рационы были урезаны настолько, что немцы стали поедать собственных лошадей, а пытавшиеся прийти на помощь Паулюсу войска Манштейна были разгромлены Красной Армией.

1 февраля 1943-го 6-я армия капитулировала в Сталинграде. К великой ярости Гитлера, командующий армией фельдмаршал Паулюс был захвачен живым солдатами Красной Армии. Звание фельдмаршала было присвоено ему лишь за два дня до описываемых событий. Согласно всем канонам Паулюсу надлежало покончить с собой — до сих пор ни один германский фельдмаршал в плен не попадал. Но Паулюс стал одним из свыше 90 000 военнопленных, захваченных в районе Сталинграда.

Победоносное завершение Сталинградской битвы стало решающим успехом и для Красной Армии, и для самого вождя. Но русским пришлось заплатить за нее непомерно большую цену, она была столь огромна, что омрачала радость победы. Многие советские люди считали, что Сталинград стал своего рода символом отказа западных союзников разделить с ними все тяготы этой страшной войны. «Теперь всем нам стало ясно, что бремя войны Советскому Союзу придется нести в одиночку, — утверждает Григорий Обозный<sup>33</sup>, сотрудник НКВД во время войны. — Если бы только союзники еще в 1942 году открыли второй фронт, все было бы по-другому, потому что 1942 год был очень трудным годом... Мы поняли, что сможем выиграть войну только ценой жизни наших солдат и офицеров. Тогда мы и поняли, что сможем сами выиграть войну. Всем стало ясно, что мы — ведущая сила».

В попытке пристыдить Запад за промедления с открытием второго фронта советской творческой интеллигенции осенью 1942 года было рекомендовано повлиять на общественное мнение за рубежом. «Худож-

никам, писателям и журналистам было дано указание, — вспоминает карикатурист Борис Ефимов<sup>34</sup>, — обратиться к нашим коллегам за границей. Советские писатели должны были обратиться с письмами к английским писателям, советские музыканты — к английским музыкантам [и так далее], и задать им вопрос: где второй фронт?»

Ефимов, как один из ведущих карикатуристов Советского Союза, написал своему известному коллеге в Великобритании, Дэвиду Лоу. Месяц спустя он получил ответ: «Если Англия и обладает солидной военной мощью, эта мощь лишь “потенциальная”». После этого, лично убедившись в уклончивости Запада в жизненно важном для Советского Союза вопросе, Ефимов решил в 1942 сражаться привычным ему оружием — карикатурами и создал целую серию уязвлявших гордость англичан сатирических рисунков. На первых шести мы видим упитанных британских генералов на совещании по военным вопросам. На каждом — надпись: «Генерал Авдрупобюют», «Генерал Астоитлирисковать», «Генерал Ненадоспешить», «Генерал Давайтеподождем», «Генерал Какбычегоневышло». Напротив через стол стоят еще два генерала с надписями на груди «Генерал Решимость» и «Генерал Смелость». «Суть была в том, что в Англии были как сторонники, так и противники открытия второго фронта, — считает Ефимов. — Эту карикатуру отправили Сталину, он ее одобрил, и она была опубликована в “Правде”. Такой щекотливый вопрос, как критика наших союзников, нуждался в личном одобрении Сталина».

Ефимов тогда уловил, что недовольство Советов отсутствием второго фронта вполне можно было персонифицировать в неприязни к одному лицу — Уинстону Черчиллю. «Поведение Черчилля всех разочаровало, —

продолжает Ефимов. — Мое мнение о Черчилле вряд ли отличалось от мнения других. Его считали человеком, которому было трудно доверять... У него была репутация хитрого, циничного политического деятеля». И таким образом, Борис Ефимов создает серию карикатур на Черчилля. Упитанные генералы остались от оригинальной версии, а вот двое храбрых генералов были заменены карикатурой на Черчилля в компании двух бутылок виски. Все знали, что Черчилль начинал день с внушительной порции виски... Ни для кого не было секретом, что у него была слабость к алкоголю. Он даже и не скрывал этого...»

Этот выпад против западных союзников, куда более резкий, чем прежде, определенно адресовался Черчиллю. Разумеется, и он требовал официального одобрения Сталина, и, что весьма знаменательно, такое одобрение было получено. Карикатура появилась в советской печати. Это еще один пример, какую важность советское руководство во главе со Сталиным отводило открытию второго фронта. «Все кругом говорили, что американцы задерживали открытие второго фронта, чтобы измотать как следует и немцев, и русских», — считает Василий Борисов, в настоящее время сотрудник российских спецслужб. Естественно, так считал и сам Сталин. Владимир Ерофеев<sup>35</sup>, советский дипломат, в свое время переводчик Сталина, вспоминает, как вождь СССР изложил свои взгляды на открытие второго фронта союзниками в одной из встреч с гостем из Франции, состоявшейся сразу после войны: «Сталин тогда сказал, что мы надеялись, что второй фронт будет открыт, но он был открыт, [только] когда наши союзники почувствовали угрозу для себя в нашем присутствии в Европе, вот тогда они забеспокоились, что мы заберемя слишком далеко в Европу».

Действительно, одержанная Советами в Сталинграде победа лишь усилила стремление Сталина добиться открытия второго фронта. И даже после разгрома 6-й армии немцев задачи, стоявшие перед Красной Армией, оставались гигантскими. Группа армий «А» успешно отступила из Кавказа и по-прежнему представляла огромную силу на южном участке фронта. Советам предстояло отвоевать у врага свыше 1600 километров своей территории, чтобы выйти к границам СССР 1941 года. И потом, угроза поражений Красной Армии была далеко не снята — да, зимой она сумела одолеть немцев, но сможет ли она победоносно оттеснить их весной и летом 1943 года? Еще были свежи в памяти разгромы армейских группировок РККА под Минском летом 1941 года и под Киевом весной 1942 года. Сумеет ли Красная Армия выстоять и победить в весенние и летние месяцы, когда минует весеннее бездорожье и немцы снова смогут в полной мере использовать далеко не исчерпанную военную мощь?

#### **Западные союзники, второй фронт и Катынь**

Такие мысли одолевали Сталина в канун нового 1943 года, и когда 14 декабря 1942 года Рузвельт и Черчилль собирались встретиться на конференции в Касабланке, он почти умолял западных союзников выполнить то, что он расценивал как их абсолютную приверженность идее открытия второго фронта. «Я с большим вниманием прочитал Ваше сообщение о том, что Вы вместе с американцами не ослабляете проведения приготовлений вдоль вашего юго-восточного и южного побережья для того, чтобы сковывать немцев в Па-де-Кале и так далее, и что Вы готовы воспользоваться любой благоприятной возможностью. Надеюсь, что это не оз-



начает отказа от Вашего обещания в Москве устроить второй фронт в Западной Европе весной 1943 года»<sup>36</sup>.

В середине февраля Черчилль ответил от имени американцев и британцев, что долгожданное вторжение через Ла-Манш состоится в августе – сентябре 1943 года, но точный выбор времени будет зависеть от «оборонспособности немцев»<sup>37</sup>. Это пока что укладывалось в сроки, обещанные британским премьер-министром в августе минувшего года на встрече со Сталиным в Москве, когда он упомянул о том, что «правительства Великобритании и США готовят широкомасштабную операцию в 1943 году». Однако Сталин так и не получил долгожданный второй фронт, к «весне 1943 года самое позднее», как он рассчитывал, и его недоверие росло. И казалось, в самый неподходящий момент сразу же после победы Советов под Сталинградом узлы союзнических отношений между США и Великобританией, с одной стороны, и Советским Союзом, – с другой, подверглись суровой проверке на прочность: стали всеобщим достоянием преступления, совершенные Советским Союзом за три года до этого, весной 1940 года.

9 апреля 1943 года Йозеф Геббельс записал у себя в дневнике, что «в районе Смоленска обнаружены массовые захоронения поляков. Большевики просто расстреляли их и затем сгребли в братские могилы около 10 000 польских заключенных». Радио Берлина объявило об этом в выпуске новостей два дня спустя. Восемь братских могил глубиной от 3, 5 до 2-х метров были найдены в Катынском лесу. Все жертвы были убиты выстрелами в затылок. Судя по военной форме, это были военнослужащие Войска польского, в основном офицеры.

Немцы сделали все возможное, чтобы предать гласности преступление Советов. Дмитрий Худых<sup>38</sup>, в то время подросток, из числа местных жителей, входил в

группу русских, взятую немцами в свидетели ужасной находки. «Мы наблюдали за эксгумацией тел, — вспоминает Худых, — и зловоние было непереносимое... это были трупы в шинелях, немцы обыскивали их, проверяя карманы, изымая фляги и часы для открытого поблизости музея. Лица [трупов] были почерневшие». Но он, будучи мальчишкой, воспринял это зрелище не столь трагично: «Мы были молоды, и все это было нам не так уж любопытно. Мы видели, сколько людей убили немцы, и знали, сколько наших военнопленных погибло в их лагерях».

Судя по находке немцев, они обнаружили доказательство ужасных военных преступлений. Агенты НКВД уничтожили офицеров ныне союзной, польской армии. И для польской прессы в Великобритании — и для польского правительства в изгнании — было очевидно, что Советы обязаны представить объяснения. Они прекрасно знали всю предысторию этих кровавых бесчинств: сразу же после вступления советских войск из Восточной Польши офицеры Войска польского и представители польской интеллигенции были заключены в тюрьмы и большинство из них бесследно исчезло весной 1940 года. С тех пор от них не было ни писем, ни вообще каких-либо вестей или сведений об их местонахождении. Польское правительство в изгнании также помнило уклончивые и, как они теперь убедились, лживые ответы советских властей, и Сталина в частности, на все вопросы о судьбе польских офицеров.

В ответ на развернувшуюся в западной прессе анти-советскую кампанию, в значительной степени подпитываемую вполне обоснованными подозрениями поляков, советские власти ответили небывалым по цинизму обвинением в адрес польского правительства в изгнании. В «Правде» от 19 апреля 1943 года под заголовком

«Польские сподручные Гитлера!» Советы выступили с прямыми обвинениями в адрес поляков. И неудивительно, что как немецкие, так и польские газеты наотрез отказывались принять советскую версию событий, что, по мнению «Правды», служило явным доказательством сговора между ними. Польский министр обороны, говорилось в передовице, должно быть, предложил «непосредственную помощь гитлеровским провокаторам». Кроме того, готовность польского правительства в изгнании принять участие в расследовании, последовав предложению немцев, и установить истинных виновников массовых убийств, по мнению все той же «Правды», представляло попытку нанести «предательский удар по Советскому Союзу».

Советы, таким образом, стремились скрыть свою вину за стеной грубой лжи и дискредитировать статус польского правительства в изгнании в Лондоне. Премьер-министр польского правительства в изгнании, генерал Сикорский, поднял вопрос о проведении независимого расследования Международным Красным Крестом, но он и в мыслях не держал никаких тайных сговоров с немцами; однако «Правда», намеренно умолчав об этом, раздувала версию о предложении немцев провести расследование с целью в очередной раз скомпрометировать поляков. Версия, опубликованная в «Правде» через целых шесть дней после заявления немцев об обнаружении ими захоронений в Катыни, имела целью затушевать преступление, и советские власти будут придерживаться ее – невзирая на очевидные доказательства – без малого пять десятилетий, пока Михаил Горбачев не представит миру истинную картину произошедшего в Катынском лесу весной 1940 года.

Британское правительство предприняло срочные меры для умиротворения поляков. Черчилль писал Стали-

ну 24 апреля: «Мы, конечно, будем энергично противиться какому-либо “расследованию” Международным Красным Крестом или каким-либо другим органом на любой территории, находящейся под властью немцев. Подобное расследование было бы обманом, а его выводы были бы получены путем запутывания. Г-н Иден сегодня встречается с Сикорским и будет с возможно большей настойчивостью просить его отказаться от всякой моральной поддержки какого-либо расследования под покровительством нацистов. Мы также никогда не одобрили бы каких-либо переговоров с немцами или какого-либо рода контакта с ними, и мы будем настаивать на этом перед нашими польскими союзниками»<sup>39</sup>. Телеграмма Черчилля Сталину демонстрирует, насколько эффективной оказалась советская стратегия контрудара по полякам. Польское правительство в изгнании было немало удивлено тем, что получило нагоняй именно за то, что заявило о совершенном преступлении, причем преступлении, совершенном одним из их нынешних союзников. Лишь одна маленькая ссылка в телеграмме Черчилля — на факт того, что Сикорский заявил, что «не раз поднимал вопрос о пропавших офицерах перед Советским правительством, а однажды и перед Вами лично» — говорила о том, что Черчилль не придерживался полностью линии Советского Союза. Нотки оправдания, явно ощутимые в телеграмме Черчилля, позволили Сталину сменить тональность на прохладную. «Получил Ваше послание насчет польских дел. Благодарю Вас за участие, которое Вы приняли в этом деле. Однако должен Вам сообщить, что дело перерыва отношений с Польским правительством является уже делом решенным, и сегодня В.М. Молотову пришлось вручить ноту о перерыве отношений с Польским правительством. Этого требовали все мои коллеги, так как польская официальная печать ни на минуту

не прекращает враждебную кампанию, а, наоборот, усиливает ее с каждым днем. Я был вынужден также считаться с общественным мнением Советского Союза, которое возмущено до глубины души неблагодарностью и вероломством Польского правительства.

Что касается вопроса о публикации советского документа о перерыве отношений с Польским правительством, то, к сожалению, никак невозможно обойтись без публикации.

25 апреля 1943 года»<sup>40</sup>.

Официальная нота Молотова польскому послу в Москве, датированная 25 апреля 1943 года<sup>41</sup> о разрыве дипломатических отношений, также излучала граничившую с бессовестностью смелость, принимая во внимание то, что именно Молотов был одним из тех, кто подписывал приказ о физическом уничтожении польских офицеров. Вниманию читателя предлагается полный текст ноты:

«Нота Народного комиссариата иностранных дел СССР посольству Польской Республики в Москве  
25 апреля 1943 года

Господин Посол,

По поручению Правительства Союза Советских Социалистических Республик я имею честь довести до сведения Польского правительства нижеследующее:

Поведение Польского правительства в отношении СССР в последнее время Советское правительство считает совершенно ненормальным, нарушающим все правила и нормы во взаимоотношениях двух союзных государств.

Враждебная Советскому Союзу, клеветническая кампания, начатая немецкими фашистами по поводу ими

же убитых польских офицеров в районе Смоленска, на оккупированной германскими войсками территории, была сразу же подхвачена Польским правительством и всячески разжигается польской официальной печатью. Польское правительство не только не дало отпора подлой фашистской клевете на СССР, но даже не сочло нужным обратиться к Советскому правительству с какими-либо вопросами или разъяснениями по этому вопросу.

Гитлеровские власти, совершив чудовищное преступление над польскими офицерами, разыгрывают следственную комедию, в инсценировке которой они использовали некоторые, подобранные ими же самими, польские профашистские элементы из оккупированной Польши, где всё находится под пятой Гитлера и где честный поляк не может открыто сказать своего слова.

Для «расследования» привлечен как Польским правительством, так и гитлеровским правительством Международный Красный Крест, который вынужден в обстановке террористического режима, с его виселицами и массовым истреблением мирного населения, принять участие в этой следственной комедии, режиссером которой является Гитлер. Понятно, что такое «расследование», осуществляемое к тому же за спиной Советского правительства, не может вызывать доверия у сколь-нибудь честных людей.

То обстоятельство, что враждебная кампания против Советского Союза начата одновременно в немецкой и польской печати и ведется в одном и том же плане, — это обстоятельство не оставляет сомнения в том, что между врагом союзников — Гитлером и Польским правительством имеется контакт и стовор в проведении этой враждебной кампании.

В то время как народы Советского Союза, обливаясь кровью в тяжелой борьбе с гитлеровской Германией, на-

правляют все свои силы для разгрома общего врага русского и польского народов и всех свободолюбивых демократических стран, Польское правительство в угоду тирании Гитлера наносит вероломный удар Советскому Союзу.

Советскому правительству известно, что эта враждебная кампания против Советского Союза предпринята Польским правительством для того, чтобы путем использования гитлеровской клеветнической фальшивки произвести нажим на Советское правительство с целью вырвать у него территориальные уступки за счет интересов Советской Украины, Советской Белоруссии и Советской Литвы.

Все эти обстоятельства вынуждают Советское правительство признать, что нынешнее правительство Польши, скатившееся на путь сговора с гитлеровским правительством, прекратило на деле союзные отношения с СССР и стало на позицию враждебных отношений к Советскому Союзу.

На основании всего этого Советское правительство решило прервать отношения с Польским правительством.

Прошу Вас, господин Посол, принять уверения в моем весьма высоком уважении.

В. Молотов».

Министр иностранных дел СССР обвинял польское правительство в том, что «не дало отпора подлой фашистской клевете на СССР». Кроме того, Молотов приписал полякам совершенно компрометирующие их мотивы — что, безусловно, свидетельствует о сильной озабоченности Советов:

«Советскому правительству известно, что эта враждебная кампания против Советского Союза предпри-

нята Польским правительством для того, чтобы путем использования гитлеровской клеветнической фальшивки произвести нажим на Советское правительство с целью вырвать у него территориальные уступки за счет интересов Советской Украины, Советской Белоруссии и Советской Литвы».

Таким образом, Молотов пытается связать две несуществующие проблемы, использовав Катынскую трагедию не только как благовидный предлог для обострения отношений с поляками, но в качестве нового обоснования советских территориальных претензий к Польше.

Так, спустя всего двенадцать дней после того, как немцы объявили об обнаружении массовых захоронений в Катыни, советскому руководству удалось из статуса обвиняемых перейти в статус обвинителей. И Сталин расставил все точки над «i», разъяснив свою позицию в отношении к польскому правительству в изгнании — которое он никогда не принимал всерьез. В 1942 году его более терпимая позиция объяснялась необходимостью заручиться после немецкого вторжения еще одним союзником в лице Польши и сформировать польскую армию. Когда стало ясно, что генерал Андерс и его окружение уступать Сталину не собираются, как не собираются и воевать в созданных им польских частях и соединениях, действовавших в рамках Красной Армии, им позволили выехать из Советского Союза и сражаться на стороне западных союзников. Однако «свободная» польская армия, сражавшаяся на Западе, была и оставалась головной болью для Советского Союза, как, впрочем, и «законное» правительство Польши в Лондоне. И теперь одним ударом Сталин разрубил этот узел противоречий, избавившись сразу от двух докучливых тем. Шрам от удара Сталина будет еще долго болеть, неприятно напоминая о себе западным союзникам.



Но во время кризиса в апреле 1943-го Черчилль ни на минуту не забывал о главных политических приоритетах. В очередном послании Сталину он отметил, что, дескать, если сместят генерала Сикорского (главу польского правительства в изгнании), вполне вероятно, что его сменит кто-нибудь и похуже. А его переписка с доверенными лицами из собственного правительства по поводу Катыни вообще — сплошная прагматика. Так, 28 апреля 1943 года, Черчилль написал Идену: «Нам ни к чему шнырять вокруг могил трехлетней давности под Смоленском»<sup>42</sup>.

Тем временем немцы упивались своим удачным пропагандистским ходом; расследование проходило с молниеносной быстротой. Назначенная ими международная комиссия состояла из многих, всемирно известных судмедэкспертов, но лишь доктор Франсуа Навилль из Швейцарии прибыл из незанятой нацистами страны. Эти 12 человек экспертов работали в Катыни с 28 по 30 апреля и получили доступ к данным судебно-медицинской экспертизы и свидетелям. Без сомнения, немцы, которые знали наверняка, что не совершали преступления, трудились вовсю над расследованием обстоятельств, пожалуй, единственного злодеяния на Восточном фронте, к которому не имели отношения.

Отчет<sup>43</sup>, единодушно поддержанный всеми членами комиссии, недвусмысленно указал на факт того, что поляки были убиты за три года до этого — что, в свою очередь, означало, что именно Советы виновны в массовых убийствах. Эксперты указали на многие доказательства, которые постепенно развеяли все сомнения. Во-первых, документы, найденные на телах поляков, — письма, фотографии, удостоверяющие личность документы и так далее — не содержали дат позднее апреля 1940 года. Во-вторых, красивые деревья, растущие поверх брат-

ских могил, были значительно моложе остальных деревьев в лесу, и эксперт по лесоводству подтвердил, что они посажены примерно весной 1940 года, в-третьих, показания очевидцев подтверждали активность НКВД в районе Катынского леса в апреле 1940 года, и заявили, что неоднократно наблюдали прибывавшие в лес грузовики с поляками, после чего звучала стрельба.

24 мая 1943-го сэр Оуэн О'Мэлли<sup>44</sup>, полномочный посол Великобритании при польском правительстве в изгнании в Лондоне, направил пространный доклад министру иностранных дел Энтони Идену о Катынском деле. В этом документе содержались данные, объяснявшие таинственное исчезновение нескольких тысяч польских офицеров. А его второй отчет — один из самых замечательных документов в военной истории англо-советских отношений.

Во время составления доклада о Катынских событиях О'Мэлли был 56-летним британским дипломатом ирландского происхождения. Хотя он получил традиционное для своего класса образование — Харроу и Оксфорд — он был человеком, независимым в суждениях. Впоследствии он писал, что был удивлен, когда его уже на закате карьеры назначили обычным послом в Португалии, поскольку «Лиссабон — хоть и весьма приятное место, но, по оценке МИДа, третьестепенной важности». Недоумевая, он еще тогда расспрашивал многих коллег, «с какой стати меня отправили туда, ибо за всю службу никаких особых огрехов за мной не числилось». Один из них объяснил ему: «Вы слишком часто и скоро оказывались правы»<sup>45</sup>. Разумеется, это распространялось и на его высказывания о Катынской трагедии.

В своем отчете<sup>46</sup> О'Мэлли проанализировал имевшиеся доказательства в попытке установить — хотя бы предварительно — виновника преступления. И его за-

ключение потрясло всех: «Хотя до вскрытия Катынских захоронений не имелось никаких подтверждающих доказательств тому, что именно впоследствии произошло с 10 000 офицеров, ныне стали доступны многие опровергающие доказательства, совокупный эффект которых — заронить сомнение в правдивости доводов русских, отвергающих свою причастность к кровавым преступлениям». О'Мэлли явно не принимал в расчет заявление Советов, что, дескать, поляки были переброшены в район Смоленска весной 1940-го для работы в трудовых лагерях и что все эти заключенные были впоследствии (летом 1941 года) убиты немцами. Это заявление О'Мэлли явно грешило отсутствием доказательств — в том числе и потому, что Советы так и не дали внятного ответа на запрос польского правительства в изгнании о судьбе офицеров. Если участь поляков была такова, как была, к чему все эти явно надуманные истории о «возможности бежать в Маньчжурию»? Тем более что, как О'Мэлли выразился, «печально известно то, что НКВД дотошно собирает все данные, касающиеся перемещения населения».

Трезвый анализ О'Мэлли, напроочь отметававший попытки Советов отрицать совершенные ими в Катыни преступления, резко контрастирует с последними пунктами его отчета — их стоит привести дословно. Заявив, что он был «склонен» поверить в то, что Советы совершили преступление (явная уловка профессионального дипломата, ибо приведенные им выше доказательства неоспоримы), О'Мэлли пишет: «Рассматривая вопрос о предании Катынских преступлений гласности, мы были вынуждены считаться с насущной необходимостью поддержания добрых отношений с советским правительством и, отсюда, с необходимостью оценивать все имеющиеся улики с большей толикой

недоверия и избегая всякого рода поспешности, чем если бы речь шла о рутинных преступных деяниях; мы были также обязаны преднамеренно исказить характер наших интеллектуальных и моральных оценочных суждений; мы были обязаны в зародыше подавлять всякую бестактность или импульсивность поляков, обуздывать их в стремлении выставить вышеупомянутые события на суд общественности, препятствовать всем попыткам общественности и прессы выдвинуть эту нелицеприятную историю на первый план. В целом мы были обязаны отвлекать внимание от всего того, что в любом другом, заурядном случае возопило бы к Небесам, призывая к разъяснениям, и полностью воздерживаться от каких бы то ни было проявлений естественной озабоченности положением, в каком оказались сейчас поляки, вполне допустимой и даже желательной при других обстоятельствах. Обстоятельства заставили нас фактически прикрываться доброй репутацией Англии по примеру убийцы, который тщится скрыть жертву под тонким слоем ливши; и ввиду колоссальной важности сохранить сейчас незапятнанным героический облик России, которая, не щадя себя, сражается с Германией, вряд ли кто-то сочтет наши мотивы и поступки неверными или лишенными мудрости».

Ничего не скажешь, в чем в чем, а в красноречии О'Мэлли никак не откажешь, и он на самом деле предельно откровенно и со знанием дела в общих чертах обрисовывал дилемму, перед которой оказались западные державы, пойдя на заключение союза с Советами. Одно дело знать о творимых Сталиным и подвластным ему советским режимом еще в предвоенные годы зверствах, хотя лидеры западных держав, в особенности Черчилль, прекрасно о них знали. Иное дело — покрывать эти деяния из стремления во что бы то ни стало остаться у него

в друзьях и братьях по оружию. Следует отметить, что О'Мэлли справился с этим просто идеально:

«И в этой связи несоответствие нашей официальной позиции и переполняющих нас эмоций должно осознаваться нами как некая неизбежность; однако в то же самое время мы не можем не задаться вопросом: а не подвергаем ли мы себя риску преступить грань дозволенного, затмевающую наш разум, сообщая нашим согражданам полуправду вместо правды и мотивируя наши действия необходимостью, которой, вполне возможно, и нет вовсе?»

Обрисовав столь четко проблему, О'Мэлли так и не сумел предложить внятное решение. Он заявил, что до сих пор безоговорочно принимал идею о том, «что в сфере международных отношений нравственно непростительное, оказывается в конечном итоге и политически неприемлемым», тем не менее О'Мэлли признал, что нам только и оставалось что придерживаться избранного нами курса, а не сказать людям всю правду. Но в заключительном параграфе своего отчета он вызывает о снисхождении: «Поскольку пока что нет средства изменить наше общественное отношение к Катынскому делу, нам, вероятно, следовало бы спросить себя, каким образом нам, четко осознавая необходимость поддержания союзнических отношений с советским правительством, все же не дать умолкнуть вопиющему в нас гласу совести. Может быть, для ответа на этот вопрос нам следовало бы прислушаться к голосу сердца? Уж где-где, а там мы сами себе хозяева, там мы не рискуем оказаться в оковах полуправды, полусправедливости и полусострадания. И если поступим так, то по крайней мере нам будет много легче избрать верное суждение по всем отчасти политическим, отчасти моральным вопросам (как, например, участь сосланных в

глубины России поляков), от которых нам все равно не уйти в ходе этой войны до самого ее завершения, когда с неизбежной остротой заявит о себе вопрос о дальнейших польско-российских отношениях».

Отчет О'Мэлли со всей очевидностью свидетельствует о неравнодушии автора, однако важно повторить, что, невзирая на наличие у О'Мэлли четких нравственных критериев, он признает, что иного выхода у британского правительства не было. И нетрудно вообразить реакцию тех, кому предстояло вынести политическое решение по Катынскому делу, в особенности коллег О'Мэлли из британского МИДа, склонных считать его доклад как избыточно снисходительный, как тщетную попытку обрести позицию морального превосходства, одновременно признавая, что следование этому курсу и далее равнозначно циничному прагматизму.

И хотя никто напрямую ни о чем подобном не заявлял, кулуарные шепотки в кругах высшего чиновничества министерства иностранных дел со всей очевидностью доказывают, что доклад О'Мэлли пришелся не ко двору. Вот один из примеров. Охарактеризовав отчет О'Мэлли и при этом не поскупившись на такие эпитеты, как «блестящий, неортодоксальный и будоражающий», сэр Уильям Денис Аллен из министерства иностранных дел предупредил, что: «В действительности г-н О'Мэлли пытается убедить нас в том, чтобы мы последовали примеру, который сами поляки, увы, навязывают нам, и в дипломатических вопросах позволить нашим сердцам возобладать над разумом»<sup>47</sup>. Тем временем сэр Фрэнк Робертс отметил, что отчет О'Мэлли указал на возможные трудности, связанные с отправлением правосудия победителями в отношении побежденных: «Это же очевидный факт, что вопрос крайне неудобный, если мы, сражаясь за торжество морали, имеем де-

ло с военными преступниками в статусе наших союзников, попытаемся и к ним подойти с той же меркой, что и к нашему противнику».

Однако ответом на отчет О'Мэлли, продемонстрировавший нам, возможно, наиболее правильное понимание «затейливого» хода мыслей некоторых высокопоставленных представителей союзников, были слова влиятельного постоянного секретаря и главы министерства иностранных дел, сэра Александра Кадогена: «Признаюсь, что я лично предпочел малодушно отвести взор от того, что произошло в Катыни, — из боязни того, что я там обнаружу... Думаю, сейчас уже поздно что-либо предпринимать... Сколько тысяч жизней своих граждан погубил Советский Союз?... Разумеется, сделать общественным достоянием этот документ [отчет О'Мэлли] означало бы поступить честно. Но поскольку все мы знаем (признаем), что знание этих доказательств ни в коей мере не затронет избранный нами политический курс, то есть ли смысл представлять на всеобщий суд нравственный конфликт, неизбежно проистекающий из прочтения этого документа?»

Комментарии Кадогена к отчету О'Мэлли — шедевр основанной на прагматизме «реальной политики». Но его стремление не предавать документ слишком уж широкой огласке не возобладало, и отчет лег на стол сначала премьер-министру и практически всем членам британского правительства. Черчилль даже настоял на отправке копии отчета королю и г-же Черчилль, назвав его «скорбным повествованием»<sup>48</sup>. Но вопрос о том, следует ли отчет О'Мэлли представить президенту Рузвельту, оставался открытым. Министр иностранных дел, Энтони Иден написал Черчиллю 16 июля, что «историю не направили президенту, но посольство в Вашингтоне получило копию в свое распоряжение и может послать

ее президенту для ознакомления, если Вы пожелаете. По зрелом размышлении я был бы против этого: документ носит явно взрывной характер и, в определенном смысле, предвзятый... Попади он не в те руки, это неизбежно отразится на наших отношениях с Россией, причем серьезно отразится». Иден также добавил написанное собственноручно примечание: «Документ вполне можно показать президенту при личной встрече». Черчилль был убежден, что Рузвельт также должен быть ознакомлен с отчетом О'Мэлли, и 13 августа отослал его президенту США<sup>49</sup>. В приложенном к отчету примечании премьер-министр назвал его содержание «мрачным, гладко изложенным повествованием, пожалуй, даже слишком гладко». И добавил: «Мне бы хотелось, чтобы вы после ознакомления вернули мне этот экземпляр, поскольку мы официально не дали ему хода».

Любопытно отметить, что и у Идена, и у Черчилля отчет О'Мэлли вызывал чувство неловкости. Как мы уже убедились, Иден назвал его «в определенном смысле, предвзятым», а Черчилль иронично подметил, что его содержание подано «пожалуй, даже слишком гладко». Но что именно имели в виду глава британского Форин Офис и премьер-министр? Вероятнее всего, они сочли отчет наивным в политическом аспекте. И хотя, по общему признанию, документ был безупречен, во всяком случае, ляпсусов не содержал, проблема состояла в том, что он действительно пришелся не ко двору. О'Мэлли доказал, что с изрядной долей вероятности можно утверждать, что Советы виновны в тягчайшем военном преступлении. А об этом большинство просто не желало ни знать, ни слышать.

Вполне допустимо, что и президент Рузвельт вскоре присоединился к растущей группе недовольных, желавших, чтобы этот О'Мэлли вообще не излагал на бумаге



собственное мнение. Такой вывод нетрудно сделать, присмотревшись к цепочке примечаний, последовавших после предоставления ему документа. Спустя несколько месяцев после того, как Черчилль послал ему отчет, его секретарь письменно напомнил Белому дому о необходимости возвратить отчет О'Мэлли. Далее следовали вежливые запросы. Но отчет все-таки не вернули. Рузвельт рассматривал его, как и большинство проходивших через его руки материалов, как «особой пользы не имеющим». Никаких его комментариев отчета О'Мэлли до сих пор не обнаружено — факт, говорящий сам за себя.

### Ухудшение отношений со Сталиным

Нетрудно понять, почему президент Соединенных Штатов так не желал углубляться в Катынскую проблему — западные союзники, ломая голову над этой, в общем-то, взрывоопасной проблемой, параллельно ощущали, что политический кризис в отношениях со Сталиным касательно животрепещущего вопроса военной политики — второго фронта или, скорее, отсутствия его — продолжает обостряться. В августе 1942 года Черчилль заявил Сталину, что западные союзники планируют «в 1943 году широкомасштабную операцию». Это весьма конкретное обещание было сделано исключительно ради смягчения тех негативных последствий, которые неизбежно последовали после того, как в 1942 году второй фронт так и не был открыт. И теперь, когда был на исходе уже пятый по счету месяц 1943 года, Сталин потребовал объяснений — точно указать дату открытия второго фронта.

Рузвельт, полностью отдавая себе отчет об ухудшении отношений со Сталиным, решил, что поскольку на

данный момент он мало что мог предложить вождю советского народа и, уж конечно, не немедленное открытие второго фронта в Западной Европе, оставалось уповать на личное обаяние для смягчения создавшейся ситуации. Но очаровать Сталина на расстоянии нескольких тысяч миль было делом трудноосуществимым, посему Рузвельт прилагал все силы, чтобы уговорить главу Советского Союза согласиться на встречу, в ходе которой они получили бы возможность лучше узнать друг друга. И для доставки Сталину приглашения на встречу американский президент избрал не кого-нибудь, а своего посла по особым поручениям.

Джозеф Дэвис был состоятельным адвокатом из Висконсина и личным другом президента. В конце 1930-х годов он занимал должность посла США в Советском Союзе и своими глазами наблюдал за сталинскими «чистками». Что самое любопытное, у Дэвиса сформировалось ошибочное представление о том, что большинство обвиняемых на самом деле были виновны в заговоре против советского государства – представление, весьма непопулярное среди остальных сотрудников американского посольства в Москве, учитывавших истинный характер режима<sup>50</sup>. Дэвис написал книгу о пребывании в Москве в статусе посла «Миссия в Москву», по мотивам которой в 1943 году в Голливуде был снят фильм. И в книге, и в фильме Сталин предстает в облике «отца народа» – исполинской фигурой вождя, ответственного за воплощение в жизнь грандиозных планов индустриализации. А «чистки» поданы как досадная необходимость обеспечить внутреннюю безопасность государства. В 50-е годы фильм был заклеен как односторонняя просоветская пропаганда, однако в военные годы считался чуть ли не истиной в последней инстанции.

Дэвис прибыл в Кремль 20 мая 1943 года для того, чтобы из рук в руки передать Сталину приглашение Рузвельта. Нынешнюю миссию Дэвиса окружала столь плотная завеса секретности, что даже американский посол Уильям Стэндли не был допущен сопровождать Дэвиса в Кремль. Стэндли был разъярен, когда Дэвис объявил ему, что тот с ним в Кремль не поедет: «Меня будто в солнечное сплетение ударили, — позже писал Уильям Стэндли. — Выражаясь без обиняков, он [Дэвис] недвусмысленно дал мне понять, что послание, содержание которого станет известным не только г-ну Сталину и г-ну Молотову, но даже их переводчику, г-ну Павлову, тем не менее, в соответствии с распоряжением президента Соединенных Штатов Америки, оно никоим образом не должно стать известно, не говоря уже о его обсуждении в присутствии американского посла, полномочного представителя США в Советском Союзе. Вот здорово!»<sup>51</sup> На следующий день Стэндли признался жене: «Я понятия не имею о том, что было в письме и о чем совещались в Кремле. Я полночи не спал, задаваясь вопросом, в чем я провинился; именно поэтому я в мерзейшем настроении»<sup>52</sup>.

Как только Дэвис оказался наедине с советским лидером в его кабинете, посол по особым поручениям сказал Сталину, что, хотя он лично не верит в коммунизм, тем не менее считает, что «жизненно важно для исхода войны и послевоенного мира, чтобы наши правительства, невзирая на идеологические разногласия, смогли бы сотрудничать»<sup>53</sup>. После этого краткого вступления Дэвис заявил, что поскольку «Великобритания после войны надолго окажется несостоятельной в финансовом отношении», реалии мировой политики таковы, что «послевоенный мир будет зависеть от единства наших двух стран». Дэвис выразил сочувствие в

связи с задержкой открытия второго фронта, отметив, что факт того, что Сталин до сих пор не смог встретиться лично с президентом США Рузвельтом, «достойн сожаления». Дэвис также подчеркнул, что, хотя такие деятели, как Черчилль и Иден, и вызывают у него «только восхищение и уважение», «оба находятся под влиянием имперской политики, внушенной им ходом британской истории». Именно поэтому президент считает чрезвычайно важным изыскать возможность встречи лидеров СССР и США, и он, Дэвис, прибыл в Москву с особой миссией вручить г-ну Сталину личное и специальное послание Рузвельта. После этого он вручил письмо Сталину, и переводчик Сталина Павлов зачитал его вслух на русском языке. «Пока Павлов зачитывал перевод, — писал впоследствии Дэвис, — Сталин и глазом не моргнул. Мрачно уставившись на лежавший перед ним лист бумаги, он рассеянно рисовал на нем какие-то фигуры».

Письмо касалось «исключительно одной темы»<sup>54</sup> — предложенной Рузвельтом встречи со Сталиным летом 1943 года. Президент обрисовал возможное место, где такая встреча могла бы состояться, заметив, что «Исландия вряд ли подойдет по причине сложностей, связанных с прибытием туда, а если уж совсем откровенно, для меня было бы сложно не пригласить и премьер-министра Черчилля в то же самое время». Таким образом, Рузвельт предположил, что лучше всего будет встретиться «либо на вашей территории, либо с нашей стороны Берингова пролива». Сталин, достаточно естественно, как могло показаться, тут же ухватился за преднамеренное исключение Черчилля, что, в известной степени, могло быть воспринято негативно. Почему бы не пригласить на встречу и британского премьер-министра? Дэвис ответил, что, хотя Рузвельт и Черчилль «связаны крепкими узами сотрудничества и питают глубокое уважение друг

к другу», есть вопросы, в которых им сложно достичь взаимопонимания. Дэвис повторил, что президент по-прежнему ярый сторонник второго фронта и убежден, что это «самый скорый и прямой путь разделаться с Гитлером».

Затем речь зашла о послевоенном мире. Как видится он Сталину? И здесь советский диктатор воспользовался клише, к которому он с поразительной последовательностью прибегал с самого начала войны. Он заявил, что Советский Союз «желал бы, чтобы у всех европейских народов была возможность самим избрать себе правительство без всякого принуждения третьих стран; что он [Советский Союз] никаких агрессивных намерений не имеет и соответственно никаких агрессивных действий, как внешних, так и внутренних, предпринимать не собирается, разве что в случае, если речь пойдет об обороне собственных границ. Однако Советский Союз заинтересован в добрососедских отношениях с сопредельными странами, причем в истинно добрососедских, а не профессионально добрососедских, как того требует дипломатическая этика, когда ты внешне дружелюбен, но держишь камень за пазухой, как это уже не раз имело место в прошлом». Именно эта формула — «истинно добрососедских, а не профессионально добрососедских» — и доставила массу неприятностей.

К концу встречи с Дэвисом Сталин объявил, что будет «очень рад» встретиться с Рузвельтом. Но хотя Дэвису удалось вырвать предварительную дату 15 июля, Сталин заверил его, что еще уточнит ее, ибо он ограничен «военной обстановкой в летний период». Именно эту тему он развил в своем официальном ответе Рузвельту, в котором он явно увязал установление конкретной даты встречи с угрозой Советскому Союзу в связи с широко-

масштабным летним наступлением немцев. Усматривалась и косвенная связь — Советский Союз по-прежнему в одиночку выносил все тяготы войны, а западные союзники, постоянно оттягивая открытие второго фронта, вольно или невольно вынуждали советских людей идти на все более и более значительные жертвы.

Пока Дэвис беседовал со Сталиным в Москве, Черчилль вылетел в Вашингтон, где провел серию встреч с Рузвельтом на третьей Вашингтонской конференции. Что важно, на этой конференции Рузвельт и словом не обмолвился Черчиллю о миссии Дэвиса, президент США и премьер-министр Великобритании сосредоточились на широком обсуждении военной политики союзников. Естественно, что центральным на повестке дня был вопрос об открытии второго фронта. Тут и проявились разногласия между западными союзниками. Американцы считали, что именно вторжение в северную Францию поможет скорее завершить войну, но Черчилль, опасаясь операции через пролив Ла-Манш, настаивал на южном направлении, в частности, нанести удар по Италии, то есть предполагалось уже в 1943 году осуществить вторжение в Италию. Черчилль опасался не столько неудач, связанных с высадкой британских сил на побережье северной Франции, сколько оттягивания сил немцев с Восточного на Западный фронт. Позже в октябре 1943 года Черчилль заявит, что если бы союзники высадились во Франции, немцы «нанесли бы нам поражение куда более сокрушительное, чем в 1939 году в Дюнкерке. А это в существенной мере способствовало бы сохранению жизнеспособности нацистского режима»<sup>55</sup>.

Черчилль и раньше сомневался в том, целесообразно ли было вторгаться непосредственно на территорию рейха для победы в войне. Он помнил, как Германия рухнула и без вторжения в конце Первой мировой вой-

ны из-за блокады, хотя немецкие солдаты продолжали сидеть в окопах во Франции; вероятно, существует возможность достичь подобный результат и в текущем конфликте путем разрушения Германии воздушными бомбардировками. «В дни, когда мы сражались в одиночку, — писал Черчилль 21 июля 1942 года, — мы отвечали на вопрос: “Как вы собираетесь выиграть войну?” так: “Мы разрушим Германию бомбардировками с воздуха”»<sup>56</sup>. И несколько дней спустя, 29 июля 1942 года, Черчилль заметил своему коллеге Клементу Эттли: «Воспоминания побуждают меня прийти к выводу, что, в целом, наилучшая для нас возможность достичь победы в войне — тяжелые бомбардировщики. А на то чтобы разгромить немцев на суше, британским и американским войскам потребуется не один год»<sup>57</sup>.

Впрочем, это отнюдь не говорит о том, что Черчилль был ярким противником второго фронта, просто он считал, что вторжение союзных сил во Францию должно начаться, когда Германия значительно ослабеет — то есть, вероятно, «несколько лет спустя». И хотя было бы весьма смелым заявлением утверждать, что Черчилль сознательно лгал Сталину во время их встречи в августе 1942 года, тем самым вынудив советского лидера думать, что второй фронт будет открыт в 1943 году, он, разумеется — заявив в 1942 году, что это произойдет в 1943-м, — обеспечил себе возможность впоследствии «против воли», но все же заявить, что, дескать, обстановка, увы не позволяет, она не столь благоприятна, как он в свое время рассчитывал. Именно так и произошло на Вашингтонской конференции. Черчилль с Рузвельтом сочли открытие второго фронта невозможным в 1943 году по нескольким причинам «практического порядка». Немцы в Северной Африке оказали куда более ожесточенное сопротивление, чем ожидалось, и за-

падные союзники так и не сумели овладеть Тунисом до начала зимней непогоды, в результате которой дороги стали непроезжими. Больше ресурсов, чем ожидалось вначале, потребовалось на Тихоокеанском театре войны. И наконец, именно на первые месяцы 1943 года пришлось ужасные потери в Атлантике: только в марте месяце западные союзники потеряли 27 торговых судов.

Комбинация этих факторов плюс навязчивые страхи Черчилля последствий высадки через Ла-Манш означали, что перед западными союзниками встала незавидная задача: как сказать обо всем этом Сталину? Джордж Элси был одним из первых, кто узнал об этой головоломной миссии, когда Черчилль, Рузвельт и «целая стая» других буквально ворвались в кабинет карт Белого дома ранним утром 25 мая 1943 года: «Они обедали наверху — все было тихо, мирно, насколько я мог судить по их физиономиям, — но им предстояло договориться о том, каков должен быть ответ на последний запрос [Сталина о втором фронте]. Даже не запрос, а чуть ли не требование: “Каким будет ваш следующий шаг?” И снова дебаты, дебаты... они так и не смогли ответить Сталину. Сэр Джон Дилл, глава британской миссии в Вашингтоне, сочинил уклончивый ответ и подал бумагу через стол. Генерал Маршалл и адмирал Лихи исправили пару слов, и затем Лихи вручил эту бумагу мне с тем, чтобы я перепечатал ее, после этого он вслух прочел ответ Сталину, и все подумали, что Сталин сочтет это просто отпиской, потому что это и на самом деле была отписка».

Телеграмму Сталину в конце концов с помощью генерала Маршалла все же составили, и 2 июня она была передана в Москву. От нее за милю несло малодушием, проблема второго фронта была сформулирована весьма расплывчато. Только в конце телеграммы была ссылка, сделанная на эту самую жизненную проблему: «...сосре-



доточение сил и техники для десантирования на Британских островах будет продолжено и позволит начать полномасштабное вторжение на континент на серии воздушных атак весной 1944 года».

Ответ Сталина Рузвельту 11 июня 1943 года был ледяным. Он указал, что «как видно из Вашего сообщения, эти решения находятся в противоречии с теми решениями, которые были приняты Вами и г. Черчиллем в начале этого года о сроках открытия второго фронта в Западной Европе»<sup>58</sup> и что «теперь, в мае 1943 года, Вами вместе с г. Черчиллем принимается решение, откладывающее англо-американское вторжение в Западную Европу на весну 1944 года. То есть открытие второго фронта в Западной Европе, уже отложенное с 1942 года на 1943 год, вновь откладывается, на этот раз на весну 1944 года». Сталин далее заявил, что: «...Ваше решение создает исключительные трудности для Советского Союза, уже два года ведущего войну с главными силами Германии и ее сателлитов с крайним напряжением всех своих сил, и предоставляет Советскую армию, сражающуюся не только за свою страну, но и за своих союзников, своим собственным силам, почти в единоборстве с еще очень сильным и опасным врагом.

Нужно ли говорить о том, какое тяжелое и отрицательное впечатление в Советском Союзе — в народе и в армии — произведет это новое откладывание второго фронта и оставление нашей армии, принесшей столько жертв, без ожидавшейся серьезной поддержки со стороны англо-американских армий.

Что касается Советского правительства, то оно не находит возможным присоединиться к такому решению, принятому к тому же без его участия и без попытки совместно обсудить этот важнейший вопрос и могущему иметь тяжелые последствия для дальнейшего хода войны».

И как следствие только теперь, после полной возмущения телеграммы Сталина, Рузвельт вынужден был сообщить Черчиллю о деталях визита Дэвиса в Москву.

Сообщить об этом британскому премьер-министру предстояло вкрадчивому и деликатному американскому аристократу Авереллу Гарриману. Во время встречи с Черчиллем на Даунинг-стрит утром 24 июня Гарриман подчеркнул, что крайне важно дать возможность президенту США и Сталину заложить основы «полного взаимопонимания», что «не представилось бы возможным», если бы на встрече присутствовало третье лицо. Гарриман тогда раскрыл карты, представив политическое обоснование встречи именно в таком формате — двух лидеров государств, исключая Черчилля, что, по словам Гарримана, возымело бы куда более сильный эффект на американскую общественность, поскольку будь это встреча на «британской почве», то волей-неволей Черчиллю была бы отведена роль «брокера» и главного устроителя. Гарриман не сомневался, что Черчилль, хоть и не будет в восторге от подобных маневров, «все же смирится»<sup>59</sup>.

Гарриман оказался неправ: Черчилль «смиряться», как выразился посол по особым поручениям, вовсе не собирался. На следующий день он направил весьма эмоциональное послание Рузвельту. «Прошу простить меня за откровенность, однако наши отношения и серьезность ситуации дают мне право на это, — писал он. — Предвижу, как этой встречей глав Советской России и Соединенных Штатов без участия Британского содружества, воспользуется вражеская пропаганда в данный момент. Это — досадное обстоятельство, способное удивить и встревожить многих»<sup>60</sup>.

Последовавший 28 июня ответ Рузвельта выглядел робкой попыткой оправдать встречу двоих лидеров, од-

нако чувствовалось, что мотивы ее неубедительны, причем не из-за чего-нибудь, а из-за ярости Сталина, узнавшего о том, что открытие второго фронта в очередной раз отсрочено. Однако ответ американского президента — замечательный документ, в особенности его первая фраза: «Я не предлагал UJ [Uncle Joe — «Дядюшке Джо», так между собой лидеры западных союзников прозвали Сталина], встречу один на один, но он передал через Дэвиса, что готов: (а) встретиться один на один и (б) что согласен не брать с собой на эту предварительную встречу наше окружение»<sup>61</sup>.

Нечасто случается, что личность таких масштабов, как Франклин Делано Рузвельт пойман на откровенной, беззастенчивой лжи, однако все именно так. Строго говоря, в этой фразе два не соответствующих истине утверждения. Идея встречи без Черчилля принадлежала Рузвельту, а не Сталину, и Рузвельт никогда не говорил советскому лидеру, что упомянутая встреча будет «предварительной». Тогда Рузвельт предоставил Черчиллю оправдываться перед Сталиным о затягивании принятия решения об открытии второго фронта в Европе в 1943 году. Переписка все сильнее и сильнее напоминала перебранку, и Черчилль почувствовал, что вынужден изменить позицию на любых переговорах, и попросил Рузвельта встретиться со Сталиным с глазу на глаз ради восстановления отношений — намерение, так и оставшееся намерением.

Приведенный здесь эпизод наглядно демонстрирует политические методы и приемы Рузвельта. Прибегая к услугам всякого рода посредников — эмиссаров — таких, как Дэвис, Хопкинс и Гарриман, он обеспечил себе возможность в любой момент отказаться от того или иного предложения, переданного через них. Ведь упомянутые эмиссары, как видно уже на примере весьма непростых

отношений между послом США в СССР Стэндли и Дэвисом, нередко действовали, минуя официальные дипломатические каналы, оставляя в неведении официальных лиц. Но куда больше поражает, разумеется, та легкость, с которой Рузвельт призвал на выручку имя Сталина, приписав ему несуществующие мотивы.

Поведение президента отчасти основывалось на его обыкновении решительно все от всех скрывать — в его администрации было в порядке вещей, если правая рука не ведала о том, что творит левая. Но существовала и еще одна причина, почему он был готов солгать Черчиллю о своих отношениях со Сталиным: тревога, достигшая кульминации в первые 6 месяцев 1943 года, связанная с тем, что Советы возьмут да заключат с нацистами соглашение о завершении боевых действий. Только на первый взгляд подобная идея кажется смехотворной — дескать, разве мыслимо такое после разгрома Красной Армией гитлеровцев под Сталинградом, события, ознаменовавшего начало непрерывного продвижения к Берлину. Но в тот период все выглядело несколько по-иному. У Сталина были все основания подозревать, что западные союзники вообще не откроют второй фронт — они ведь уже дважды уклонялись от этого, разве не так? И, принимая во внимание гигантские потери Советского Союза, чего ни коснись — людских ресурсов, материальных, почему бы им не прозондировать насчет возможной готовности немцев в 1943 году, при определенных условиях, договориться?

И англичане, и американцы осознавали опасность такого сценария. В январе 1943 года сэр Арчибальд Кларк Керр полагал, что «Сталин может заключить сепаратный мир, если мы откажемся помочь ему»<sup>62</sup>. И доказательства тому можно найти не только в мемуарах Петера Клейста, ближайшего соратника Риббентропа,

но и в донесениях британской и американской разведок<sup>63</sup>. В 1943 году в Стокгольме имели место неофициальные контакты между германскими и советскими представителями. Эти сведения просочились даже в прессу, о них писала шведская *Nya Dagligt Allehanda* («Новые ежедневные известия»), заявив 16 июня о встрече немецких и советских дипломатов в одном из пригородов шведской столицы.

Хотя как немцы, так и Советы безоговорочно отрицали наличие когда-либо подобных контактов, Молотов в ноябре 1943 года признался Гарриману, что нацисты попытались вступить в контакт с Советским Союзом, но получили решительный отказ<sup>64</sup>. Что же касается истинных целей предполагаемых контактов в Швеции, они остаются невыясненными — то ли Сталин действительно пытался заключить мир с Гитлером, то ли это была лишь провокация? Самое важное в контексте этой истории — то, что и британские, и американские лидеры не упускали из виду потенциальную опасность того, что Сталин мог вывести Советский Союз из войны. Вероятность подобного исхода была мизерной — разве мог Сталин вновь довериться Гитлеру после нарушения договора о ненападении? Да и Гитлер всегда был решительно против всяких компромиссов с Советами. Тем не менее Рузвельт и Черчилль отнюдь не исключали подобного варианта развития событий и все связанные с ним опасности.

### Реалии жизни в СССР

Напряженность была характерна в тот период не только для сферы отношений на высшем уровне между западными союзниками и СССР: напряженность пронизала всю советскую властную иерархию сверху дони-

зу. Пока Сталин, Рузвельт и Черчилль опасно обхаживали друг друга в 1943 году, Хью Лунги<sup>65</sup>, 23-летний британский офицер, получил назначение в британскую военную миссию в Москве. До своего прибытия в страну Советов он видел Советский Союз «сквозь розовые очки. Мы чрезвычайно восхищались достижениями Красной Армии в 1943 году». Хью безоговорочно верил и тому, «как в советских газетах, журналах и по радио освещался не только победоносный ход войны, но и успехи — как утверждалось тогда — первой в мире социалистической страны. Я не сомневался, что, приехав туда, мы увидим счастливых людей».

Неудивительно, что и Хью Лунги получил свою порцию устоявшихся представлений, когда в 1943 году, в особенности в первой половине его, западные СМИ безудержно восхваляли Сталина и Советский Союз. В Великобритании по этой части больше других усердствовала *Daily Express* («Ежедневный курьер») лорда Бивербрука. На страницах этой газеты пели осанну военным успехам Советов, а в США январский 1943 года выпуск журнала *Time* («Время») поместил на первую страницу обложки Сталина, удостоив его титула «Человека года» за 1942-й. «1942 год был годом кровопролитных усилий, — писал «Тайм». — Человек, фамилия которого в русском языке ассоциируется со сталью... стал человеком 1942 года... Он провел коллективизацию сельского хозяйства, он вывел Россию в четверку самых промышленно развитых стран мира. И его поразительные военные успехи в ходе Второй мировой войны — лучшее тому доказательство. Да, сталинские методы жестки, но они окупались». А мартовский номер журнала *Life* («Жизнь») за 1943 год договорился до того, что Советский Союз — некое подобие Америки, граждане СССР — это «изумительные

люди... [которые] потрясающе напоминают американцев, одеваются, как американцы, и думают, как американцы». Бериевский НКВД изображался в статье чуть ли не как «национальная полицейская служба, совсем как наше ФБР»<sup>66</sup>.

Но вместо того чтобы увидеть в Москве людей, «изумительных людей... [которые] потрясающе напоминают американцев, одеваются, как американцы, и думают, как американцы», Хью Лунги увидел нищету, голод и страх рядовых граждан пресловутого «рая для рабочих». А что касалось «официальных» отношений с советскими властями, Лунги оценил их как «ледяные». Строжайше контролируемые советские средства массовой информации были настроены «к нам враждебно и, разумеется, были склонны преуменьшать наши достижения в борьбе против немцев как в ходе Африканской кампании, так и в отношении воздушной войны с Германией и так далее».

В годы войны англичане подозревали, что в здании их военной миссии в Москве были установлены подслушивающие устройства и обсуждение более или менее важных и конфиденциальных вопросов приходилось проводить в ваннных комнатах, предварительно пустив воду, чтобы заглушить речь. Как выяснилось впоследствии, эти меры предосторожности оказались отнюдь не излишними, ибо сразу же после войны Лунги, тогда дослужившийся до помощника военного атташе, обнаружил под паркетным полом соответствующее оборудование. Позже он связался «с коллегами» из американской военной миссии, которые явились к англичанам с «чемоданчиком, полным различных хитроумных штучек», и обошли все здание. К великому изумлению Лунги, они обнаружили микрофоны во всех помещениях миссии: «Я и теперь могу повторить: все

до единого наши помещения, включая шифровальное, прослушивались. Микрофоны были встроены в потолочные вентиляторы и под плинтусы». Судя по обрывкам советских газет, в которые была завернута аппаратура прослушки, Советы еще с 30-х годов осуществляли прослушивание разговоров в стенах британской военной миссии.

Хью Лунги был потрясен и разочарован тем, насколько велик оказался разрыв между пропагандистским имиджем Советского Союза, усиленно распространяемым на Западе, и суровой реальностью. И не один он пережил подобное. Джим Риск, например, в то время молодой офицер американского торгового флота, был поражен жизнью в порту города Молотовск (ныне Северодвинск), расположенного восточнее Мурманска. За время своего пребывания в городе Риск был потрясен многочисленными свидетельствами тому, насколько жесток советский режим к своим согражданам. Ему все же удалось побеседовать с портовыми рабочими и докерами и узнать, что они — не кто иные, как политические заключенные. «Мы — антисталинисты, — заявили они американцу. — И они [советские власти] не намерены просто взять да прикончить нас — они решили загнать нас в могилу нечеловеческими условиями труда».

Каждое утро колонна из нескольких тысяч политических заключенных на глазах у десятков моряков союзного флота маршировала через весь город из расположенного на окраине лагеря заключенных. Однажды утром Риск видел, как кто-то из американских моряков бросил в канаву недокуренную сигарету. И тут один из заключенных выбежал из колонны и был застрелен охранником при попытке поднять тлевший окурок. «И когда я увидел, что его просто бросили, оставили лежать на мос-



товой, это меня просто добило. Труп, — вспоминает Риск, — он так и остался лежать на дороге!»

Вскоре Джим Риск убедился, что трупы на улицах Молотовска были обычным явлением: «Пару раз нам, если мы ранним утром направлялись в город, попадались трупы людей, лежавшие в придорожных канавах. Как правило, это были пожилые люди... Работать они уже не могли, вот и погибли от недоедания».

«Это был просто ужас, — рассказывает Риск. — Я и понятия не имел, что с людьми можно обходиться вот так, не опасаясь того, что они ответят тем же... Так мы и узнали, что Сталин был просто скот, ничуть не лучше Гитлера. Только говорили на разных языках. [Когда] я вернулся домой, у меня в Нью-Йорке одна радиостанция взяла интервью о поездке в СССР, и меня спросили: “Каково будущее России, по вашему мнению?” И я ответил: “Знаете, все те миллионы людей, которые там живут, их считают просто животными. Они — заключенные в своей собственной стране. У них есть комиссар, который день и ночь управляет ими, и они и пальцем не шевельнут без его разрешения. И когда-нибудь они скинут Сталина. Ладно, не скинули, но я думаю, что скинут”. Я сказал, что у меня в голове не укладывается, как с людьми можно так обращаться, не опасаясь, что они в один прекрасный день ответят тебе тем же».

Но хотя Риск считал «систему» в Советском Союзе отталкивающей, он тем не менее приводил примеры того, как «обычные» граждане могли быть и щедрыми, и дружелюбными. Риск помнит, что было «множество проявлений братства». И самый наглядный пример тому — «темнокожие младенцы», которых он замечал на улицах Молотовска во время второго прибытия в этот город. «У нас в команде были темнокожие, они обслу-

живали трюм, и, оказавшись на берегу, они нашли кого-то из местных девушек и... Но таких темнокожих детей было немного. Наверняка были и белые, но разве определишь, от кого белый младенец, — от американца или русского?»

После первого рейса в Советский Союз Риску и его товарищам по плаванию пришлось ждать почти девять месяцев конвоя, с которым они вернулись домой. В результате еда на американских судах стала заканчиваться, и в конце концов были съедены все запасы, включая НЗ. Нехватка еды и ее однообразие, вместе с гнетущей атмосферой, послужили причиной нескольких попыток членовредительства. «Двое из наших покончили жизнь самоубийством, — утверждает Риск. — Мы ведь понятия не имели, когда вернемся — если вообще вернемся. Никто бы не удивился, если бы нас вдруг объявили советскими гражданами!»

Риск своими глазами видел попытку самоубийства одного 17-летнего моряка: «У нас стояли охранники у трапа — это метров на 15 выше уровня воды. И обязанности охранника заключались в том, чтобы ходить взад-вперед и смотреть, как бы чего не вышло... Вот он и ходил взад-вперед, а моя каюта находилась как раз под трапом... и когда я выходил, слышал, как он шагает, и тут услышал какую-то возню и увидел, что охранник, постоял у края трапа [и] прыгнул в воду... Я, крикнув, чтобы боцман спустил на воду спасательную шлюпку, нырнул за ним. В ледяную воду! Мне все же удалось его схватить и дотащить по воде до шлюпки». Молодой моряк находился в такой глубокой депрессии, и его тут же отправили домой на американском торговом корабле. Но все равно добром это не кончилось: «Мальчишка умудрился прыгнуть в воду с борта того судна, которое должно было доставить его

домой, и погиб, — продолжает Риск. — Парень был из Джорджии — сын фермера... Он постоянно был в подавленном настроении... Это была такая бессмысленная смерть».

То, что американские моряки увидели в Советском Союзе, то, что они пережили, круто изменило их политические воззрения. «На борту моего судна, например, — вспоминает Риск, — когда мы направлялись в Россию, было шестеро, считавших себя “красными” [коммунистами]... А вот когда мы в конце года возвратились на военную верфь в Филадельфии, красных больше не было... Вмиг перекрасились, поняв, что заблуждались». Что же касалось Сталина, то Риск, узнав, чем был советский режим, пришел к заключению, что он был «самой большой мерзостью в мире».

Моряки союзных держав, попробовав жизни в северных портах Советского Союза, разумеется, вернулись домой. Но вот участь женщин, с которыми они были в близких отношениях, выглядела по-иному. Валентина Иевлева, например, та самая любительница походов в Международный клуб моряков, подверглась самой настоящей дискредитации: «Все, от детей до стариков, называли меня “английской подстилкой”. Не американской, а именно английской — думаю, так им казалось, что они сильнее оскорбят меня». Кроме того, «подруги больше не хотели общаться со мной» — они «не могли смириться с тем, что танцевала с любым парнем, который мне приглянулся, не могли мне простить, что я уводила от них этих ребят. Стоило мне только показаться в клубе в своем простеньком ситцевом платице, как отовсюду ко мне подходили ребята. Я пользовалась успехом». Эта «ревность», которую испытала на себе Валентина, однако, объяснялась не только ее внешностью и шармом.

Были и куда более прозаичные причины: «В Международном клубе моряков свободно продавался шоколад и жевательная резинка и хорошие сигареты. Но только это, и больше ничего. И если моряки приходили в гости, то не с пустыми руками – они приносили и супы, и тушенку, и колбасу, одним словом, все, что у них было. Я помню, как принесли печенье. Я его на всю жизнь запомнила. В нем была начинка из ореховой пасты. Просто восхитительный вкус. До сих пор его помню».

Она признает, что некоторые считали ее поведение чуть ли не проституцией, но Иевлева отрицает это. «Нет, материальный фактор я не исключаю, – говорит она, – но думаю, что главным была нежность, симпатия... Нет, мы собой не торговали. Но – повторяю – я не отрицаю материальный фактор... Надо принимать во внимание обстоятельство – мы не жили, мы тогда выживали». Позже, также принимая во внимание обстоятельства того времени, Валентина забеременела. Во время одного из ее частых посещений Международного клуба моряков девушка познакомилась с одним жителем Нью-Йорка, тоже моряком из Бруклина. «Да, мы с ним переспали, – напрямую заявляет она. – Он сказал: “Мы с тобой теперь как муж и жена”». Эта связь длилась четыре месяца, а потом американец возвратился домой. А ребенок родился в феврале 1945 года.

Валентина мечтала зажить новой и пленительной жизнью в Америке: «Все кругом говорили: “Вы такая красавица – если бы вы приехали в Голливуд, вас бы там заметили”. Я только хотела стать актрисой. Я понятия не имела о жизни в Америке. Я была очень молода и беспечна... все меня обожали. И я всех обожала. Мир казался чудесным».

Но ее «чудесная» жизнь и мечты об Америке рассыпались в прах, когда Иевлевой заинтересовался НКВД. Сталин всегда с подозрением относился к контактам между иностранцами и советскими гражданами, и любой, кто являлся с иностранцами, был на примете в соответствующих органах. И вот в таком положении оказалась Валентина Иевлева: занять ребенка от американца — это было чревато весьма серьезными неприятностями, если не сказать хуже. Когда сотрудники НКВД явились к ней домой с обыском, они обнаружили дневник Валентины. Это было просто собрание девичьих мечтаний и тоски, но НКВД расценили дневник как повод для обвинений. Девушка писала: «Хочу поехать в Америку. Все время вижу во сне, как еду туда. Чтобы стать актрисой в Америке, достаточно быть красивой. А здесь? Этого мало, нужно окончить десятилетку»<sup>67</sup>. И, взяв на вооружение откровения девчонки, НКВД предъявил Валентине обвинение в «шпионаже на две разведывательные службы — на американскую и британскую».

«Следователь говорил мне: “Расскажите о вашей шпионской деятельности”, а я в ответ только улыбалась. Что я такого сделала? И кто я такая? В чем меня можно было обвинить? В любви к кому-то? Да, я полюбила человека, но что здесь плохого? Кому я этим причинила вред? Никому, кроме себя». Но следователь, используя обычные приемы НКВД, без конца задавал Валентине один и тот же вопрос: «В чем состояла ваша шпионская деятельность?» И так много-много раз. Из-за «допросов по делу» — проводимых в основном по ночам — Валентина была лишена сна. Ее следователь мог почитать газеты или переговорить с женой по телефону, но следил за тем, чтобы Валентина ненароком не заснула. Допрос, как правило, за-

канчивался часам к пяти утра, и Валентину отводили в камеру. Но в семь часов была побудка, и ей, как и остальным подследственным, запрещалось спать до самого отбоя. Пребывание в следственном изоляторе НКВД на всю жизнь наградило ее хронической бессонницей.

Однажды во время допроса Валентина устала так, что, не вытерпев, сказала следователю: «А как вы помогаете своей советской Родине? Арестовывая и допрашивая людей! Этим вы ей помогаете?» За это Валентину поместили на несколько дней в карцер — крошечную каморку с бетонным полом. Молодой женщине помогло выжить пение — она пела песни по-английски, которые услышала при просмотре кинофильмов в Международном клубе моряков. Ей запрещали петь, но Валентина не обращала внимания на запреты. Тогда на нее напялили смирительную рубашку: «Я не выдержала и разрыдалась, а они мне: “Перестань реветь!” А я не могла перестать. Вскоре приехал врач, и смирительную рубашку с меня сняли. Вот так меня наказали за неповиновение распоряжениям».

Валентину приговорили к шести годам лагерей за «шпионаж и связь с представителем капиталистической страны». Но сталинские лагеря не убили ее врожденное жизнелюбие и человечность. Валентина отбывала срок в лагере на Севере Советского Союза. Молодая женщина нашла себе занятие — усовершенствовала умения исполнять танец живота, который увидела в одном из голливудских фильмов, демонстрировавшихся в Международном клубе моряков. «Увидев эту сцену, я пришла домой и перед зеркалом стала подражать танцовщице... Вот так и научилась... [тогда] в Гулаге это помогло мне выжить, потому что никто, кроме меня, не умел исполнять этот танец, и они [другие заключенные] постоянно

просили меня исполнить танец живота. Даже не верили и спрашивали: “У тебя что, живот искусственный?” Все страшно удивлялись».

По словам Валентины Иевлевой, она ничуть не жалела о своих поступках: «Я часто вспоминаю те годы [когда она ходила в Международный клуб моряков] как лучшие годы жизни. Я бы еще десяток лет провела в ГУЛАГе в обмен на эти три года любви и всеобщего восхищения. К этому привыкаешь, как к наркотику».

### Наступление под Курском

В начале лета 1943 года Сталин и советское руководство готовились к отражению широкомасштабного наступления немцев на центральном участке фронта в районе Курска примерно в 600 километрах южнее Москвы. Судя по всему, даже в середине 1943 года немцы не теряли надежды сокрушить Красную Армию. В течение февраля – марта немецкие войска под командованием фельдмаршала Эриха фон Манштейна сумели отбить у русских Харьков на Украине, и теперь сосредоточили крупные силы для удара под Курском. Их план был прост. В районе удерживаемого Советами города в линии фронта образовался выступ, где сосредоточилась почти пятая часть всей Красной Армии. Немцы планировали нанесение ударов одновременно на север из Харькова и на юг из Орла. Целью операции было создание огромного котла, совсем как в былые дни под Киевом и Вязьмой в 1941 году. Масштабы операции затмевали воображение. Немцы сосредоточили на курском участке в три раза больше танков, чем в сражении при Эль-Аламейне, до сих пор самом крупном танковом сражении, а самой битве предстояло развернуться на территории, равной такой стране, как Бельгия.

Однако стратегическое преимущество внезапности в результате переноса операции на июль месяц было утрачено. Задержка с началом наступления объяснялась недопоставкой новых видов вооружений, в частности, мощного танка «Пантера». Кроме того, советское Верховное командование из разведывательных источников уже знало о деталях наступательной операции. Огромную роль сыграл некий Джон Кернкросс, советский агент, работавший в британском подразделении в Блетчли-Парк. Именно он предоставил весьма ценную информацию, которой англичане не собирались делиться с русскими из опасений демаскировать источник, действовавший под псевдонимом «УЛЬТРА».

В результате Советы развернули неслыханные по размаху земляные работы по возведению оборонительных сооружений у себя в тылу. Было заложено свыше 500 000 мин, прорыты многие километры противотанковых рвов. Однако это не вселяло уверенности в красноармейцев – все ведь знали, что Красной Армии до сих пор не удавалось выдержать наступлений немцев. «У меня при мысли о том, что предстоит обороняться от немцев, мороз по коже продирает, – признается Михаил Борисов<sup>68</sup>, артиллерист Красной Армии. – Я просто не представлял, что будет с нами, когда на нас попрут немецкие танки».

У немцев, в отличие от русских, боевой дух был на высоте: «“Тигр” [танк] был очень хорошей машиной, – утверждает Альфред Руббель<sup>69</sup>, командир танка, принимавший участие в танковых боях на южном фланге Курской дуги. – У нас были опытные командиры... да и сражаться против “Тигров” было непросто – что иногда нас даже расхолаживало». Но как только сражение началось, Руббель понял, что Курск легких побед в духе



1941 года не сулит. «Русские вели такой интенсивный огонь, — продолжает Руббель, — какого прежде мы не знали. Едва форсировав реку, мы угодили на минное поле. Все четырнадцать машин так и остались на нем. Вторая рота никогда не пользовалась доброй репутацией, вот мы и потеряли 12 “Тигров”».

В разгар боев командир батареи, где сражался Михаил Борисов, был убит, и Борисову пришлось взять на себя командование. Он с двумя товарищами выпускал снаряд за снарядом: «Я вижу в прицеле танк и тут же стреляю. Танк горит. Быстро заряжаю орудие и стреляю еще раз... и снова попадаю... Потом еще подбиваю один... Распахивается люк, и из машины выскакивает водитель танка, высокий такой парень, молодой, худощавый, в черном комбинезоне, стоит на башне и кулаком нам грозит... И хотя он уже ничего мне не сделал бы, я выстрелил в него и уложил на месте».

«Русские вели непрерывный огонь, — вспоминает Вильгельм Рёс<sup>70</sup>, водитель танка из «Лейбштандарта СС Адольф Гитлер». — Мы тогда еще не понимали масштабов развернувшейся здесь танковой дуэли, но думали: “Боже мой! Сколько же подбито?” Вдруг один [советский] танк Т-34 взрывается, башня отлетает, из машины вырываются клубы дыма, [и] мы подумали: “Сколько же их еще будет? Повсюду клубы дыма взметались к небу!”» В ходе сражения под Курском Рёс принимал участие в одном из самых известных танковых сражений за всю войну. Под Прохоровкой, небольшим городком у главной железнодорожной линии, 600 советских танков вступили в бой с 250 немецкими<sup>71</sup>. «Типично русский пейзаж, еще совсем недавно живописный, теперь превратился в самый настоящий ад, — вспоминает Рёс. — Всюду горящие танки, дым, вонь пороховой гари, жуткий смрад горящих

трупов. Это был самый настоящий ад». Пережитый под Прохоровкой ужас многие годы не покидал его. «Даже после войны я, наверное, раз сто видел во сне, что я опять на этом огромном поле под Прохоровкой... Я был одним из немногих, кто смог вернуться домой из-под Прохоровки, пройдя 1500 километров по вражеской территории. Я постоянно думаю: “Как мне это удалось?” У меня перед глазами стояли только горящие танки... Иногда моя жена будит меня и говорит: “Тебе снова снилась Россия”»<sup>72</sup>.

В ходе сражения под Курском Красная Армия потеряла убитыми около 300 000 солдат и офицеров, вермахт — около 100 000. Эта гигантская по размаху битва ошеломила и немцев, и русских. Но Красная Армия имела все основания претендовать на лавры победителя. Впервые за всю войну она выдержала натиск немцев. Альфред Руббель пришел к заключению: «Только тогда мы на самом деле убедились в том, насколько сильны русские... Раньше мы в это не верили, не желали верить, [но] теперь всех охватило недоброе предчувствие, что война уже проиграна...»

За бесстрашие в бою Михаил Борисов удостоился звания Героя Советского Союза. Борисов утверждает, что именно «любовь к Родине» заставила его «сражаться до последнего вздоха, если потребуется, — именно так нас и воспитывали. И это чувство не покидало нас всю жизнь. Я и сейчас говорю: “Если Россия снова окажется в опасности, я и теперь готов сделать все ради ее защиты...” Сам я из семьи казаков, и все мои предки были казаками. Любовь к Родине, любовь к оружию мы впитали с молоком матери».

Теперь немцы начали постепенное отступление, продолжавшееся без малого два года, пока Красная Армия не вышла к Имперской канцелярии в Берлине,

лидерам союзных держав предстояло обсудить не только стратегию на завершающем этапе войны, но также и формы послевоенного мира и новые границы Европы. И пока одна война входила в последнюю фазу, начиналась новая — теперь это была война умов, аналитиков, политиков. Что объединяло всех троих союзных лидеров — стремление разгромить Гитлера. Но что могло сплотить их, как только гитлеровская угроза миновала?

## Глава 4 ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

### Первые судьбоносные встречи в Тегеране

Именно Ялтинская конференция в январе 1945 года стала символом разногласий по поводу будущего раздела Европы по завершении войны. «Достигнутое в Ялте соглашение следовало худшим традициям Мюнхена и договора Молотова – Риббентропа, – заявил президент США Джордж Буш в речи в Латвии в мае 2005 года, посвященной 60-й годовщине завершения войны в Европе. – Свобода малых стран в очередной раз была затронута в угоду сильным державам»<sup>1</sup>.

Являются ли слова президента Буша объективной оценкой Ялтинской конференции, или нет, решать самому читателю, после того как он ознакомится с материалами, изложенными в главе 5 данной книги. Но что бесспорно: сфокусировать внимание на Ялте, как на месте, где принимались ключевые для послевоенного развития Европы решения, означало бы совершить ошибку. Первая встреча между Рузвельтом, Сталиным и Черчиллем состоялась в столице Ирана Тегеране в ноябре 1943 года и сыграла куда более важную роль. Эта самая первая встреча глав союзных государств не только наладила личные контакты между Рузвельтом, Сталиным и

Черчиллем – членами так называемой «Большой тройки», но и дала ответ на многие из животрепещущих вопросов, касавшихся послевоенного миропорядка, а год спустя в Ялте оставалось лишь скрепить политические замыслы печатями.

Рузвельт давно стремился встретиться со Сталиным с глазу на глаз; целью визита Дэвиса в Москву была исключительно попытка организовать такую встречу. В 1942 году Рузвельт несколько раз предлагал встретиться со Сталиным, даже просил его прибыть на конференцию в Касабланку в начале 1943 года – на ту самую, где Рузвельт впервые официально заявил, что союзники должны принять от немцев лишь «безоговорочную капитуляцию».

Дело в том, что для Сталина принять или же отклонить приглашение на встречу на высшем уровне с Рузвельтом было всего лишь одним из самых легких способов продемонстрировать свое отношение к союзникам. Он очень быстро понял, что легче всего надавить на Рузвельта и Черчилля по вопросу об открытии второго фронта, отказываясь от официальных встреч с ними. Хотя в августе 1943 года Сталин в письменной форме изъявил согласие на встречу «тройки», подчеркнув, что такая встреча «желательна при первой возможности»<sup>2</sup>, тогда он ясно дал понять, что, если столь необходимая встреча на высшем уровне не будет созвана на его условиях, в таком случае он рекомендовал бы отложить ее до открытия долгожданного второго фронта.

Рузвельта такой подход не устраивал в принципе. Он в первую очередь желал установления личных отношений со Сталиным, а это стало бы возможным лишь усевшись за стол друг против друга в присутствии одного только переводчика. Рузвельт наивно полагал, что в таких условиях работает его стародавний принцип «об-

хождения» с людьми. Разумеется, были и жизненно важные, принципиальные вопросы, которые президент намеревался обсудить с советским вождем — вопросы, как он считал, которые лучше всего было решать лишь посредством личного обаяния. Причем, по мнению Рузвельта, два из многих вопросов имели первостепенное значение. Во-первых, он хотел знать, готов ли Советский Союз денонсировать пакт о ненападении с Японией и сражаться в Азии на стороне западных союзников, и, во-вторых, он желал узнать, до какой степени Сталин был готов участвовать в осуществлении американских планов послевоенного сотрудничества и укрепления мира (политика, которая, в конечном итоге, приведет к созданию Организации Объединенных Наций).

Рузвельт предложил избрать местом встречи со Сталиным Каир, но этот город, как, впрочем, и многие другие, предложенные американцами, включая Бейрут и Басру, — Советы отклонили. Сталин, уже не впервые, пустил в ход извечную отговорку: дескать, он не имеет возможности удалиться на большое расстояние из воюющей страны. В конце концов Сталин предложил Тегеран, но американцам его идея показалась несколько обременительной. Пока на очередной сессии заседал Конгресс США, президент согласно американской конституции был обязан в течение десяти дней подписать или наложить вето на тот или иной закон, принятый в ходе сессии, а это было неосуществимо при условии его пребывания в Тегеране. Поэтому Рузвельт 21 октября написал Сталину: «В Тегеран ехать не имею возможности»<sup>3</sup>.

Однако Сталин настоял: либо встречаемся в Тегеране, либо не встречаемся вообще. Тегеран привлекал советского лидера не только близостью к Советскому Союзу, но еще и безопасностью хорошо охраняемой терри-

тории посольства СССР в Иране. 8 ноября Рузвельт уступил и согласился встретиться со Сталиным в Тегеране, но только позже — в конце ноября месяца 1943 года. Так Сталин сумел добиться первой уступки союзников еще до начала Тегеранской конференции. Был разработан план действий для нештатной ситуации, чтобы позволить Рузвельту исполнять его конституционные обязанности; если возникнет необходимость подписать тот или иной новый закон, он вылетает ненадолго в Тунис — две с лишним тысячи миль к западу от Тегерана, — а затем возвращается.

Разумеется, встреча в Тегеране не была встречей только Сталина и Рузвельта: был приглашен и Черчилль. После раскрытия всех тайных планов конфиденциальной встречи американского президента со Сталиным в мае месяце, американцы понимали, что британского премьер-министра никак не исключить. Рузвельт и Сталин, таким образом, впервые встречались в присутствии Черчилля — но фигура британского премьера изначально отступала на задний план. Рузвельт прекрасно понимал, что одно лишь физическое присутствие Черчилля на встрече отнюдь не означало, что к нему следовало прислушиваться во всем. Ведь за каких-то полгода до описываемых событий Джозеф Дэвис, действуя по личному поручению Рузвельта, недвусмысленно заявил Сталину, что «Великобритания после войны надолго окажется несостоятельной в финансовом отношении», и реалии мировой политики таковы, что «послевоенный мир будет зависеть от единства наших двух стран» — Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. А уж в такой расклад сил Рузвельт верил безоговорочно. Потом на эту тему появился анекдот: «Говорите, “Большая тройка”? Нет, нет, это скорее “Большая двойка с половиной”».

Еще до начала Тегеранской конференции Рузвельт опасался создать впечатление, что Великобритания и Америка оказывают давление на Сталина. Когда англичане и американцы встретились в Каире перед отлетом в Тегеран, Черчилль был недоволен тем, что президент США уделил ему мало времени. Вместо того чтобы встретиться с британским премьер-министром, Рузвельт предпочел коротать время в обществе лидера китайских националистов Чан Кайши, обсуждая ход войны в Азии. Черчилль счел эти беседы «затянутыми, пугаными и малозначительными»<sup>4</sup>.

Подобные вещи выводили Черчилля из себя. Он собрался обсудить с Рузвельтом массу важных стратегических вопросов — к примеру, войну в Италии, ход которой не укладывался в первоначальные расчеты. Хотя итальянцы 3 сентября 1943 года капитулировали, командующий германскими силами в Италии фельдмаршал Кессельринг без промедления двинулся на юг для разоружения итальянской армии и подтягивания дополнительных сил в этот регион. Немцы удержали силы союзников в районе Салерно и были готовы к длительной оборонительной войне. Самым эффективным способом противостоять немцам, учитывая протяженное побережье Италии, было осуществление серии морских десантных операций с целью обхода немецкой линии обороны. Но для проведения подобных операций требовались десантные суда, а их отчаянно не хватало. Американский адмирал Кинг настаивал как раз на большом количестве таких судов для войны на Тихом океане — войны, ход которой определяла именно высадка морских десантов, как, впрочем, и предстоящая операция «Оверлорд» (*Overlord*; «Повелитель») — так окрестили открытие долгожданного второго фронта, — которая должна была состояться в День «Д».



На первой Квебекской конференции в августе 1943 года (на осень 1944 года была запланирована и вторая) западные союзники договорились начать операцию «Оверлорд» весной 1944 года. Но теперь, по причине явного замедления хода итальянской кампании, Черчилль пожелал пересмотреть весь график военных операций. 20 октября он обратился к Рузвельту с письмом, в котором просил его детально обсудить различные варианты на предстоящей встрече в Каире. Но этот вопрос ни Рузвельт, ни американское военное командование вновь обсуждать не собирались. Черчилль, помнится, не раз заявлял о своем принципиальном согласии с открытием второго фронта, но каждый раз помехой становилась очередная «приоритетная» операция; в конце концов американцы потеряли терпение.

Черчилль рассчитывал на три полных дня переговоров с Рузвельтом в Каире для обсуждения всех вышеперечисленных вопросов еще до прибытия китайцев, но американцы в последнюю минуту внезапно поломали весь график встреч с целью избежать пространных обсуждений с Черчиллем. Рузвельт настолько сильно опасался придать каирской встрече исключительно англосаксонский характер, что даже предложил пригласить в Каир русских с тем, чтобы их делегация прибыла в тот же день, что и британская, и китайская, — правда, Сталин запретил Молотову показываться в Каире, объяснив западным союзникам, что, принимая во внимание договор между СССР и Японией о ненападении, дескать, неуместно советской делегации сидеть за столом с Чан Кайши, войска которого сражались с японцами в Китае<sup>5</sup>.

На встрече 24 ноября в Каире Черчилль наконец воспользовался случаем, чтобы упросить Рузвельта и американское военное командование направить боль-

ше сил и военной техники в район Средиземноморья. Но — что было вполне предсказуемо — американцы не одобрили задержку операции «Оверлорд». К концу встречи Рузвельт напомнил Черчиллю о числе участвующих в боевых действиях американцев: мол, недолго день, когда американцев в Европе будет куда больше англичан.

26 ноября Рузвельт и Черчилль отбыли в Тегеран. В самолете Черчилль жаловался своему личному врачу доктору Чарльзу Уилсону (впоследствии лорду Морану), что кампания в Италии «под угрозой»<sup>6</sup> из-за стремления американцев вторгнуться во Францию согласно оговоренному в Квебеке графику. Моран также дает представление об образе мышления американского президента накануне Тегеранской конференции, ссылаясь на весьма содержательную в этом смысле беседу с Гарри Хопкинсом, ближайшим советником Рузвельта: «Гарри сказал мне, что президент убежден, что, даже если ему и не удастся обратить Сталина в демократа, он тем не менее сумеет достичь рабочего соглашения с ним. В конце концов, он посвятил жизнь руководству людьми. И Сталин, по сути, мало чем отличается от остальных. Во всяком случае, президент поехал в Тегеран с твердым намерением договориться со Сталиным, и никто и ничто не удержит его от этого»<sup>7</sup>.

Неожиданно для Рузвельта открылась на конференции возможность провести больше времени в обществе Сталина. 24 ноября американцы стали выяснять у Советов обстановку в городе — из опасений, что «агенты стран оси» действуют и в Иране. И поскольку американская дипломатическая миссия располагалась на другом конце города, то есть довольно далеко от советского посольства, где предстояли встречи, Советы предложили Рузвельту разместиться на территории советского

посольства, взяв на себя ответственность за безопасность президента США.

Такие меры безопасности Советов оказались далеко не излишними. Иран втихомолку поддерживал Германию на начальном этапе войны, хотя официально соблюдал нейтралитет, и англичане вместе с Советами в августе 1941 года ответили вторжением, операцией «Поощрение», ради защиты собственных интересов в Иране. В результате Иран стал поддерживать союзников, которым гарантировал надежный коридор для военных поставок в Советский Союз, так называемый «персидский коридор». Однако негласное сотрудничество с Германией как остаточное явление первых лет войны все еще напоминало о себе.

Рузвельт без раздумий принял предложение разместиться в советском посольстве, прекрасно понимая, что это обеспечит возможность куда чаще встречаться со Сталиным с глазу на глаз. Черчилль же предпочел остаться в британском посольстве по соседству. Решение Рузвельта воспользоваться услугами Советов означало, что его помещение прослушивалось, — и это впоследствии подтвердил Серго Берия, сын главы советского НКВД Лаврентия Берии.

«Я уверена, что лидеры обоих западных союзных держав понимали, что их разговоры прослушивались, — считает Зоя Зарубина<sup>8</sup>, в то время офицер советской разведки, ответственный за связь с представителями прессы в Тегеране. — Но сделать все равно было ничего нельзя... Вы ведь прослушивали наши гостиничные номера, когда мы приезжали в Великобританию, — только не пытайтесь меня убедить, что это не так».

В 15 часов 15 минут 28 ноября 1943 года состоялась первая встреча Рузвельта и Сталина. Советский лидер зашел взглянуть, как устроились американцы и их пре-

зидент в отведенных для них помещениях советской дипломатической миссии. На первый взгляд трудно было вообразить двух людей, настолько разнившихся друг от друга. Зоя Зарубина, видевшая их в Тегеране, описывает Сталина как человека с «усталым лицом... А если присмотреться, оно было изрыто оспинами. И еще поражали его глаза. Его глаза были... Не знаю... наверное, золотисто-желтоватыми, можно и так сказать. Но стоило ему взглянуть тебе прямо в глаза, как тебе становилось не по себе от этого взгляда, страшный был взгляд, казалось, тебя насквозь просвечивал». А вот у Рузвельта был взгляд другой, «улыбчивый... Не знаю уж, что у него было на уме, но в глазах его было приглашение к диалогу».

Рузвельт приветствовал Сталина словами: «Рад видеть Вас. Я долго ждал этой встречи»<sup>9</sup>. Сталин подчеркнул, что именно он виноват, что встречи пришлось ждать так долго, поскольку он был «очень занят военными вопросами». Первая встреча продолжалась около часа и запомнилась, среди прочего, и тем, что Рузвельт готов был раскритиковать отсутствующего Черчилля. Президент упомянул, что отношение Черчилля к Индии (премьер-министр был настроен против независимости Индии) было таково, что «в беседе с г-ном Черчиллем лучше не касаться вопроса об Индии, ибо у него нет никаких соображений по этому вопросу, он просто постановил отсрочить все решения до окончания войны». Сталин согласился с тем, что Индия была «головной болью Черчилля». И потом, в приливе откровенности, целью которой было завоевать расположение Сталина, Рузвельт предложил «слегка реформировать» Индию «на советский манер». Сталин заметил, что это будет означать «революцию».

Неудивительно, что Рузвельт решил прибегнуть к индийской теме и, косвенно, к теме Британской импе-

рии ради установления контакта со Сталиным. Американский президент всегда с известной долей неодобрительности относился к Британской империи. И действительно, нельзя было упускать из виду, полагает Джордж Элси, что хотя американцы и считали режим Сталина «достойным презрения», но даже «в Соединенных Штатах очень многие терпеть не могли Британскую империю. Существовало некое весьма заметное меньшинство, которое подвергало сомнению тезис о том, следует ли нам ценой таких усилий стремиться уберечь Британскую империю. Иными словами, имел место скептицизм и в отношении Великобритании, и в отношении Советского Союза». На Ялтинской конференции, всего лишь чуть больше года спустя, Рузвельт еще убедительнее продемонстрировал свою антиколониальную позицию, предложив Сталину, чтобы Великобритания отказалась от Гонконга в пользу Китая.

Черчилль, безгранично преданный идее Британской империи, не скрывал своих взглядов, зная, что они равноценны объявлению анафемы американскому правительству. В этой связи примечательна его фраза в разговоре с Чарльзом Тоссигом, одним из советников по внешнеполитическим вопросам Рузвельта: «Мы не позволим готтентотам путем всеобщего избирательного права сбросить белых людей в море»<sup>10</sup>. Подобные заявления, естественно, питали подозрение Рузвельта в том, что британцы вели войну — по крайней мере, отчасти — ради сохранения своей империи. Осенью 1944 года Рузвельт заявил Генри Моргентау, секретарю Федерального казначейства США, что «понимает, почему англичане захотели вступить в войну на Тихом океане. Все, что им надо, — вернуть себе Сингапур»<sup>11</sup>.

В Тегеране, сразу же после встречи тет-а-тет, Рузвельт и Сталин направились на первое пленарное засе-

дание конференции, открывшееся в 16 часов 30 минут. И вот на нем в полной мере проявилось абсолютное различие политических стилей западных союзников и Сталина. Рузвельт отметил, что «Советы, британцы и США впервые проводили переговоры, как члены одной и той же семьи»; Черчилль напыщенно добавил, что «эта встреча, вероятно, представляет сосредоточение лидеров самых могущественных держав в истории человечества. Победа уже почти в их руках: и, без всякого сомнения, в их руках счастье и благополучие человечества». Он также добавил, что «молится за то, чтобы собравшиеся здесь оказались достойны этой Богом дарованной возможности послужить ближним»<sup>12</sup>. Сталин, который, в отличие от Черчилля, в жизни не произносил подобного спича, довольствовался благодарностью в адрес президента США и премьер-министра Великобритании за их слова и, не прибегая к высокопарному стилю, выразил надежду на то, все трое «сумеют использовать представившуюся возможность».

На этой первой полноценной встрече Сталин немедленно пошел на уступку. Вместо того чтобы, как обычно, бранить западных союзников за проволочки со вторым фронтом или настаивать на границах СССР на 22 июня 1941 года — два пункта, как мы уже убедились, самых важных в его личной повестке дня, — советский вождь объявил, что «в первую очередь необходимо рассмотреть вопросы о Тихом океане». Он заявил, что, «к сожалению, Советский Союз в настоящее время не имеет возможности участвовать в борьбе против Японии, так как фактически все его силы брошены против Германии». Но, продолжил Сталин, «он присоединится к своим друзьям и на этом театре военных действий после окончательного краха Германии: тогда они будут в едином строю». Это была умная тактика. Сталин немед-

ленно поместил американцев в разряд должников. И каким способом? Тем, что в принципе дал согласие на нанесение удара по Японии после победоносного завершения войны в Европе. А что было самым важным, по мнению Сталина, для победоносного завершения войне в Европе? Разумеется, открытие союзниками второго фронта.

Из последующих слов Сталина стало ясно, что он по-прежнему уделяет огромное внимание открытию второго фронта. После октябрьской встречи министров иностранных дел в Москве у британцев и американцев содалось впечатление, что Советы придут в Тегеран и ради того, чтобы ускорить начало операции «Оверлорд», и для обсуждения увеличения численности союзных сил на средиземноморском театре. Но теперь Сталин ясно дал понять, чего хотел. На первый план выступила операция «Оверлорд» — то есть точка зрения, полностью совпадавшая с американскими планами.

Черчилль так просто сдаваться на собирался и энергично перешел в наступление, вновь обрисовывая в общих чертах выгоду увеличения численности союзных сил на Средиземноморье. Однако тщетно. Сталин не видел выгоды в распылении сил союзников. Он желал, чтобы американцы и англичане одним махом высадились на северном побережье Франции и, возможно, при определенных благоприятных условиях и на южном побережье Франции — в поддержку проводимой на севере операции «Оверлорд». После объявления перерыва не на шутку растревожившийся Черчилль признался лорду Морану: «Черт возьми, все идет совершенно не так, как надо»<sup>13</sup>. И неуступчивый Черчилль попытался настоять на еще одной, решающей встрече со Сталиным в тот же день — на сей раз ради обсуждения вопроса о Польше.

С первых дней советского вторжения в Восточную Польшу в британском МИДе поняли, что не так-то просто будет заполучить назад этот кусок территории, но Черчилль был до глубины души оскорблен, когда Сталин заявил Идену в декабре 1941 года, что будет претендовать на территорию Восточной Польши как части СССР. Однако теперь премьер-министр пришел к заключению, что нет иной политической альтернативы, кроме как уступить в этом вопросе Советам. Поздним вечером в Тегеране он обсуждал со Сталиным судьбу Польши, и этим переговорам суждено было стать одними из самых важных за всю войну, хотя на первый взгляд это был просто обмен мнениями. Вопрос о Польше поднял Черчилль, и Сталин воздерживался от каких-либо высказываний до тех пор, пока не услышал конкретные предложения премьер-министра — невзирая на все попытки Черчилля вынудить советского лидера раскрыть карты. Но Сталин их раскрывать не собирался, заявив, что «он не видит необходимости ломать сейчас голову над этим», ибо сам был не прочь дождаться, пока разговорится Черчилль<sup>14</sup>. Черчилль выдвинул идею о том, что после войны «Советский Союз будет силен, и именно России предстоит на протяжении сотен лет нести ответственность за все решения, принимаемые относительно Польши. Лично он считает, что Польша могла бы сместить границы на запад. А если при этом наступит немцам на ногу, то без этого никак не обойтись — Польша должна быть сильна. Этот инструмент необходим в европейском оркестре».

Не следует преуменьшать значимость слов Черчилля. Ибо он выступил с идеей осуществления одного из самых фундаментальных в XX веке переселений народов. Как следствие, миллионам людей ради сохранения прежней национальной принадлежности приходилось



либо сниматься с насиженных мест, либо ассимилироваться в других странах. Германия одним махом теряла больше территории, чем в результате Версальского договора. Что касалось поляков, союзников Великобритании, те утрачивали до 40% прежней территории за счет аннексии Советским Союзом восточных регионов, до войны входивших в состав Польши, причем именно оттуда происходило большинство польских солдат, сражавшихся на тот момент в составе британской союзной армии в Италии.

Энтони Иден, министр иностранных дел, заявил на этой встрече, что идея о смещении западных границ Польши до Одера «вдохновляет» его. Но Сталин, проявив осторожность в этом вопросе, задал Идену вопрос, «уж не думают ли англичане, что Советский Союз собрался проглотить Польшу».

Иден ответил на это, что, дескать, «не знает, насколько велики аппетиты русских и сколько способны переварить их желудки».

«Русским не надо ничего из того, что по праву принадлежит другим, — сказал Сталин. — Хотя кусочек от Германии можно было бы и отрезать». В официальном протоколе встречи этот обмен фразами вылился в следующее: «Премьер-министр с помощью трех спичек [как отметок новой границы] проиллюстрировал свой замысел переноса границы Польши на запад, что было с одобрением воспринято маршалом Сталиным».

Есть смысл прислушаться к тому, что обсуждалось именно на этой вечерней встрече 28 ноября 1943 года в Тегеране, а не на следующей конференции в Ялте, когда окрыленные скорой победой союзники определяли судьбу послевоенной Европы. С помощью сравнений, метафор и, наконец, даже обычных спичек Черчилль и Иден изменяли и передвигали границы Польши и Гер-

мании, причем ни о каком присутствии представителей этих стран, которым предстояло пережить небывалый в истории демографический и географический сдвиг, и речи не шло. Черчилль откровенно заявил Сталину, что его идея состояла в том, чтобы убедиться, «что все трое глав правительств смогут выработать единую политику оказания давления на поляков».

Черчилль прекрасно понимал, что предложенное им Сталину сейчас было диаметрально противоположно соображениям, которые он пытался протолкнуть за два года до Тегерана. Объяснение столь фундаментальных изменений во взглядах следует искать в письме Черчилля Энтони Идену, направленном главе британского МИДа уже после конференции в январе 1944 года. В принципе Черчилль понимал, что советские территориальные требования, по сути, были свершившимся фактом. «Теперь следует попытаться урегулировать вопросы с восточной границей Польши<sup>15</sup>, — писал он, — и мы не можем не сознавать того, что и вопросы о странах Балтии, и о Буковине и Бессарабии в значительной степени решались уже в ходе побед, одержанных русскими». Однако перемена взглядов премьер-министра диктовалась не только принятием неизбежного. Он признался, что «несомненно, мои собственные взгляды изменились» за два минувших года. «Впечатляющие победы русской армии, глубокие изменения, произошедшие в характере Российского государства и правительства, новое чувство доверия к Сталину, родившееся в наших сердцах, — все это не могло не сыграть роли».

Черчилль был явно под впечатлением того, что 1943 год стал судьбоносным годом для Советского Союза. В начале года Красная Армия сражалась с немцами в Сталинграде; теперь немцы отступали. И смена ролей на поле битвы — по крайней мере, так считала часть ве-

душих фигур в британском министерстве иностранных дел — сопровождалась проявлением отдельных признаков того, что советский режим меняется в лучшую сторону.

Взять хотя бы Коминтерн — организацию, занимавшуюся распространением идей коммунизма в других странах — он был упразднен в мае 1943 года. (В силу полной несовместимости целей этой организации с заключением СССР стратегического союза с западными державами.) Кроме того, в Советском Союзе замечались также признаки религиозной терпимости, и одним из доказательств тому было разрешение Сталина Русской православной церкви назначить в сентябре 1943 года нового патриарха.

Рузвельт также надеялся на лучшее. «Революционный порыв 1917 года не характерен для этой войны, — заявил американский президент в апреле 1943 года, говоря о будущих советских намерениях, — характерно продвижение [в будущем] эволюционно-конституционным путем»<sup>16</sup>.

В добавление к вышесказанному, если подходить чисто практически, Черчилль, вероятно, полагал, что поляки никогда не смогут зажить в мире со своим могущественным соседом, если оставить за ним восточную часть страны — территории, на которые с таким упорством претендовал Сталин. Предыдущие обсуждения с советским лидером ясно дали понять, что его навязчивая идея — обеспечение безопасности на границах СССР после войны. И возможно, Черчилль считал, что если уступить Советам Восточную Польшу, то они обрели бы чувство безопасности и, исходя из этого, проявили бы готовность к сотрудничеству с новой независимой Польшей. Что касается поляков, как Черчилль потом повторил, они, насколько он по-

нимает, в первую очередь, заинтересованы получить промышленно развитые западные регионы – прежде всего порт Данциг, куда более выгодный, нежели пахотные земли, от которых пришлось бы отказаться на Востоке страны.

И потом, к 1943 году в мире господствовали уже несколько иные, просоветские настроения, в немалой степени объясняемые победами Красной Армии и принесенными ею жертвами. За Советским Союзом стали признавать право дать некое напутствие этому миру; таким образом, после войны, вероятно, могла обрести право на существование и «социалистическая» форма государственного устройства, которая заимствовала бы «все хорошее» из советского опыта (чувство солидарности, бесплатное образование, здравоохранение и гарантию полной занятости), отказавшись от присущего ей «всего плохого» (отсутствие гражданских свобод, верховенства закона и т. д.). Дошло до того, что сам Черчилль заметил Сталину в Тегеране, что англичане, дескать, «мало-помалу розовеют». На что Сталин ответил: «Это – признак хорошего здоровья»<sup>17</sup>.

Вопрос состоял в том, происходили ли на самом деле пресловутые «глубокие изменения в характере Российского государства и правительства»? Можно, конечно, считать и так, если только закрывать глаза на доказательства противоположного. Например, Черчилль знал, что в начале 1943 года сэр Оуэн О’Мэлли сообщил, что именно сталинский режим с большой долей вероятности ответственен за катынские злодеяния – от чего столь упорно открещивались Советы.

Еще более важно: а докажет ли Сталин на деле свою готовность признать «демократию» в ее западном толковании в каком-либо из государств, которые, вероятно, уже очень скоро перейдут под его опеку? События

новой истории продемонстрировали, что Советы располагали весьма недурным опытом фальсификации выборов, как это было сразу после ввода частей Красной Армии в Восточную Польшу всего за четыре года до тегеранской встречи. Но Черчилль сознавал, что выбора у него практически не оставалось, кроме как принять как неизбежность аннексию Советами Восточной Польши. Ни он, ни Рузвельт не были готовы к тому, чтобы «вышвырнуть их» военными средствами — уже хотя бы потому, что война пока не завершилась, а когда завершится, нечего и думать, что общественное мнение Великобритании и США поддержит идею уже Третьей мировой войны из-за советско-польских границ и советской оккупации стран Балтии.

Разумеется, Черчилль мог выступить, к примеру, с таким заявлением: «Да, мы признаем, что территориальные претензии Советов к Польше и к другим государствам, в том числе к странам Балтии, неправомерны, с нашей точки зрения — они несправедливы. Но мы не располагаем практическими средствами для исправления положения». Однако британский премьер хорошо понимал, что в разгар войны заявлять подобные вещи недопустимо — читатель помнит, что эта война была заявлена как «сражение за торжество морали», и первоочередной задачей союзников было продемонстрировать миру нерушимое единение, сплоченность перед лицом врага и не позволить ему торжествовать по поводу раскола в стане союзников. Вот Черчилль и убедил себя в том, что Сталин и Советы уже не те, что прежде. Черчилль (и Рузвельт) хватались за любой аргумент в пользу того, что Сталин именно тот, кто сдерживает надежды данные обещания, кто искренне готов к сотрудничеству с Западом в деле переустройства к лучшему послевоенного мира.

«У нас были связаны руки, — писал О'Мэлли в своем отчете по Катыни, — мы были вынуждены считаться с насущной необходимостью поддержания добрых отношений с Советским правительством, и отсюда с необходимостью оценивать все имеющиеся улики с большой толикой недоверия и избегая всякого рода поспешности, чем если бы речь шла о рутинных преступных деяниях; мы были также обязаны преднамеренно исказить характер наших интеллектуальных и моральных оценочных суждений». И на фоне всей говорильни и писанины<sup>18</sup>, посвященных якобы отысканию истинных причин непоколебимой уверенности британцев в том, что Сталин заслуживает доверия или что советский режим «изменился к лучшему», именно эта фраза из отчета О'Мэлли наилучшим образом объясняла мотивы, которыми руководствовались и сам Черчилль, и многие из советников британского МИДа.

Знаменательно и то, что Черчилль обсуждал проблемы Польши со Сталиным в отсутствие Рузвельта — тот отправился спать. Это был момент, когда британский премьер-министр все еще мог продемонстрировать свою значимость и могущество в мире, способность замахнуться на обсуждение глобальных проблем. Момент едва ли не уникальный в ходе всей конференции. Потому что уже на следующий день события повернутся так, что заставят Черчилля потесниться.

### Рузвельт и Сталин

Второй рабочий день конференции открылся встречей военных экспертов. Занимательное вышло мероприятие. И англичане, во главе с генералом Бруком и главным маршалом авиации Портэлом, и американцы, с делегацией, возглавляемой генералом Маршаллом, прихватили с собой в Тегеран выдающиеся военные

умы. А Сталин — лишь пожилого и с трудом вписывавшегося в формат встречи маршала Ворошилова. Кавалерийский офицер в годы Гражданской войны в России, Ворошилов дважды за последние годы доказал свою некомпетентность: сначала командуя Красной Армией в недоброй памяти «зимней войне» с Финляндией, и второй раз, не сумев предотвратить прорыв немцев, наступавших на Ленинградском фронте. «Был и Ворошилов, — вспоминает Хью Лунги, присутствовавший на встрече в качестве переводчика, — оказавшийся перед целой фалангой западных союзников, и, как мне показалось, он изо всех сил старался изобразить из себя нечто, но это выходило у него из рук вон плохо, ибо он ни черта не смыслил в стратегии».

Официальные лица<sup>19</sup> рассказывают о встрече массу едва ли не сюрреалистических историй. Ворошилов или не желал принимать всерьез, или просто был не в состоянии осознать всех связанных с высадкой через Ла-Манш проблем. «Маршал Ворошилов согласился, что такая операция [второй фронт] куда сложнее, чем просто форсирование реки, — записал один из присутствовавших на встрече, — хотя определенное сходство, несомненно, усматривается. В ходе недавних операций русские форсировали крупные реки, и все подступы к ним надежно оборонялись противником, всегда удерживавшим более высокий и крутой западный берег. В результате применения артиллерии, пулеметов и минометов немецкая линия обороны успешно сокрушалась. И Ворошилов считал, что с помощью вышеперечисленных огневых средств вполне осуществимо и форсировать пролив Ла-Манш».

«Все это было малопродуктивным», — вспоминает Лунги, сознательно затушевывая откровенные промахи. Попытку Ворошилова сравнить переброску сил через Ла-

Манш с форсированием крупной реки и англичане, и американцы силились счесть за шутку. Генерал Брук даже признал, что операции, включающие высадку сил на побережье, «должны располагать минометной поддержкой, о которой упоминал маршал Ворошилов». Но в конце концов и генерал Маршалл не выдержал. «Различие между форсированием рек и высадкой морского десанта, — заявил он, — состоит в том, что при неудачной попытке форсировать реку есть куда повернуть, а неудача при высадке морского десанта означает катастрофу, то есть уничтожение и десантных судов, и живой силы». В ответ на сказанное генералом Маршаллом Ворошилов «вполне откровенно» заявил, что, мол, «не согласен с этим».

По свидетельству Лунги, отношение Сталина к Ворошилову граничило с презрением, которого советский вождь, собственно, и не скрывал: «Сталин вообще относился к нему... скорее как к старому псу». Почему Сталину понадобилось тащить Ворошилова в Тегеран как единственного военного специалиста — загадка. Советский лидер отметил во время конференции, что не ожидал, что военные специалисты будут проводить отдельные встречи, что очень похоже на правду, — Сталин утверждал, что обязанность политических лидеров принимать решения, а военных — обеспечивать их выполнение. Нельзя исключать, что он стремился убедить всех, что лучшие военные умы Советского Союза занимаются своими делами, а не разъезжают по конференциям, где принимаются политические решения.

Если встреча военных специалистов утром 29 ноября представляла собой что-то вроде диалога глухих, то беседы Рузвельта и Сталина в послеобеденные часы того же дня были куда продуктивнее<sup>20</sup>. Знаменательно и то, что, как и в предыдущий день, Черчилля сознательно исключили (и на самом деле, Рузвельт минимизировал



возможность встреч и бесед с британским премьер-министром в ходе конференции). Во время его встречи со Сталиным с глазу на глаз американский президент изложил идею создания новой организации — Организации Объединенных Наций, замысел и концепция которой принадлежат ему. Он говорил о том, чем должна стать Генеральная Ассамблея ООН и Совет Безопасности. Примечательно то, что хотя впоследствии оба органа претерпели изменения, президент США Франклин Делано Рузвельт уже тогда, в ноябре 1943 года, имел ясное представление об ООН.

Сталин в принципе не возражал. Его голова в тот период была занята куда более тривиальными вещами — в первую очередь тем, как победить в войне, а уж потом можно позаботиться и о месте под солнцем для Советского Союза в послевоенном мире. Воистину, на этой встрече двух крупнейших политических фигур XX столетия, ставших его символами, как в капле воды отразилась их непохожесть. Сталин был человеком практического склада, подозрительным и всегда готовым воспользоваться преимуществом момента; Рузвельт представлял собой занятное смешение лукавого, ничем не примечательного политического деятеля и идеалиста-мечтателя. Ибо пока идеалист-мечтатель Рузвельт в общих чертах обрисовывал Сталину свои планы касательно будущего планеты, изменений существующего миропорядка, ничем не примечательный политический деятель в нем полностью осознавал то, что Черчиллю на этой встрече не место. И это не только исключало всякий намек на то, что западные союзники «собрались загнать в угол» Советы, но и позволило Рузвельту попытаться закогтить своим обаянием Сталина — что, впрочем, пока что не удавалось.

После встречи Сталин и Рузвельт присутствовали на церемониале передачи Черчиллем именного меча со-

ветскому лидеру в зале посольства. Меч этот был подарком короля Георга VI защитникам Сталинграда в знак признания их стойкости и бесстрашия во время осады города. На почти метровой длины клинке были вычерчены слова: *To the steel-hearted citizens of Stalingrad, the gift of King George VI, in token of homage of the British people* («Отважным жителям Сталинграда в дар от короля Георга VI как символ признательности англичан»).

«Был выставлен почетный караул от британского полка “Баффс”, — вспоминает Хью Лунги, присутствовавший на церемонии. — НКВД выставили также свой караул с пистолетами-пулеметами Томпсона. Наш почетный караул просто стоял с примкнутыми штыками». Когда Черчилль торжественно вручил меч Сталину, «было видно, что тот искренне тронут, поцеловал рукоятку и, приняв меч, показал его Рузвельту, сидевшему в глубине зала, а затем вернулся и передал меч самому старшему по званию из военных — Ворошилову. Тот взял меч из рук Сталина, и оружие случайно выпало из ножен. Ворошилов попытался инстинктивно прижать меч к груди, но клинок выпал и ударил ему прямо по пальцам ног. Маршал залился краской, было видно, что он крайне смущен, но потом все-таки впихнул меч в ножны, бросил виноватый взгляд на Сталина, очевидно, опасаясь получить взбучку от него».

Покидая церемониальный зал, Лунги «услышал странный шум за спиной, потом кто-то потянул меня за рукав. Я как раз шел за Черчиллем, а человеком, который тащил меня за рукав, был, разумеется, Ворошилов. Я обернулся, и он сказал: “Вы можете помочь мне?” И я ответил: “Конечно, могу, сэр. Что я могу для вас сделать?” Ворошилов ответил: “Я хотел бы поговорить с вашим премьер-министром”. И мы догнали Черчилля, и я обратился к нему: “Извините, сэр”, и Черчилль с

удивленным видом обернулся, посмотрел на Ворошилова и улыбнулся, и Ворошилов тоже стал бормотать слова извинения, а Черчилль лишь развел руками... а потом маршал [Ворошилов] поздравил его с днем рождения».

Но Ворошилов ошибся на день. День рождения премьер-министра был на следующий день. «Черчилль направился к дипломатической миссии, где разместился, — продолжает Лунги, — и я пошел за ним — нужно было только перейти улицу, считанные метры. И он сказал мне: “Он [Ворошилов], наверное, напрашивается на приглашение [банкет по случаю дня рождения Черчилля на следующий день]. Он перепутал дату, да и с мечом опростоволосился”. Таков был приговор Черчилля Ворошилову».

Зоя Зарубина также присутствовала во время торжественного вручения меча и вспоминает, как тронут был советский лидер подарком короля Англии: «Сталин, должна сказать, никогда не выставлял напоказ чувств, но вот это вручение Черчиллем меча... Его голос дрогнул... и он произнес только одно слово — “Спасибо”». Для Зои, советского офицера разведки, занимавшейся вопросами общения с представителями прессы, эта церемония имела особое значение. Она знала, что группа делегатов союзников — военных и дипломатов — вылетела на конференцию из Москвы и по пути сделала остановку в Сталинграде; и она вспоминает, с каким «чувством вины» делегаты смотрели на разрушенный до основания город. Зарубина чувствовала, что чувство это было вполне обоснованным, — затягивая открытие второго фронта, западные союзники вынудили Советов нести на своих плечах основную тяжесть войны. И для этой женщины церемония передачи меча защитникам Сталинграда была откровенным и искренним призна-

нием западными союзниками своей вины. Но никаких негативных эмоций она не испытывала: «Я скажу вам, русские люди — люди особые, они никогда не требуют от других слишком многого».

В четыре часа пополудни все трое глав государств собрались вместе со своими советниками — политическими и военными — на второе пленарное заседание конференции. Никаких сюрпризов на этой встрече не было и не ожидалось; по сути, Сталин просто вновь повторил, что ждет открытия второго фронта, причем в мае месяце 1944 года. Но узнав, что до сих пор не назначены даже ответственные за проведение операции «Оверлорд», Сталин презрительно бросил: «Ничего из этой операции не выйдет»<sup>21</sup>. Хотя уже было согласовано, что командовать высадкой будет американец, у Рузвельта были сомнения относительно назначения очевидного кандидата — генерала Маршалла. Таким образом, американский президент так и не смог назвать на конференции даже фамилию того, кому поручено командование операцией — к великому неудовольствию Сталина.

Недовольство советского лидера усилилось, когда Черчилль стал проталкивать свою идею наступления на Рим и высадку на остров Родос. В конце концов Сталин, не выдержав, напрямую спросил: «Англичане действительно верят в операцию “Оверлорд” или только на словах, чтобы успокоить русских?» Черчилль ответил, что англичане действительно верят в операцию «Оверлорд», но при соблюдении определенных условий — естественно, такой ответ Сталина не удовлетворил.

Эта перепалка послужила поводом к самому серьезному инциденту из всех, которые происходили на всех встречах Сталина, Рузвельта и Черчилля, и случился он в тот же вечер на ужине, где присутствовали все трое

глав государств. Официальные лица, также присутствовавшие на ужине, подчеркивают неприязнь маршала Сталина к британскому премьер-министру<sup>22</sup>. Сталин заключил, что англичане пытаются обвести Советский Союз вокруг пальца. «Только потому что русские – люди простые, – высказал мнение Сталин, – большая ошибка считать их слепцами, которые не видят того, что творится у них на глазах». Сталин также подразумевал, что у Черчилля была «тайная симпатия» к Германии. Все эти сталинские высказывания объяснялись, разумеется, «его недовольством, вызванным отношением британцев к операции «Оверлорд». Но советский лидер решил позволить себе и, так сказать, «поддразнить» своих западных партнеров из чисто тактических соображений. Ему была интересна не столько реакция Черчилля на его замечания, сколько то, готов ли вступить за него Рузвельт.

В тот вечер Сталин сумел довольно глубоко проникнуть в суть характера обоих западных лидеров, заметив, что, мол, для нейтрализации Германии после войны необходимо «ликвидировать, по крайней мере, 50 000, а возможно, и 100 000 представителей армейского военного командования всех степеней». Черчилль в послевоенных письмах утверждал, что ни одна фраза Сталина не вызывала у него негодования, за исключением той, где он призывал к уничтожению германских офицеров и генералов. «Ни Парламент, ни общественность Великобритании, – заявил премьер-министр, – не потерпят массовых убийств»<sup>23</sup>. И когда Сталин продолжал настаивать на том, что 5000 «надо расстрелять», Черчилль вышел из себя. «Скорее я готов, – заявил тогда он, – выйти вот в этот сад и пустить себе пулю в лоб, лишь бы не запятнать себя и мою страну таким страшным позором».

Тут решил вмешаться Рузвельт — но явно решив обратиться все в шутку. Не выражая напрямую поддержки Черчиллю, он взял да назвал цифру — компромиссную — «49 тысяч человек». Американский президент на самом деле решил спустить спор на тормозах. Но, будучи осведомленным о сталинских методах массовых расправ с негодными, надо сказать, шутка вышла несколько неуклюжая. Остальные же присутствующие приняли слова советского лидера за чистую монету. Эллиот Рузвельт, 34-летний сын президента, также присутствовавший на ужине, выразился следующим образом: «Ладно, посмотрим, вот когда наши армии хлынут с Запада, а ваши — с Востока, вот тогда и будем заниматься этими вопросами, верно? Русские, американские и британские солдаты как-нибудь сами уладят проблему этих пятидесяти тысяч в боях, и, я надеюсь, достанется по первое число не только этим пятидесяти тысячам военных преступников, но и сотням тысяч других нацистов»<sup>24</sup>.

Это переполнило чашу терпения Черчилля. Мало хорошего было в том, чтобы терпеть подковырки Сталина, но сидеть и выслушивать безответственные реплики младшего по званию офицера американских ВВС — этого его душа вынести уже не могла. Британский премьер-министр поднялся из-за стола и прошагал в соседнее помещение. Чуть погодя за ним последовали улыбающиеся Сталин с Молотовым, и советский лидер заявил, что он просто решил «подшутить».

Это был переломный момент; не столько в контексте отношений между Сталиным и Черчиллем — советский лидер вербально атаковал британского премьер-министра и прежде, — сколько в контексте отношений между Черчиллем и Рузвельтом. Сталин решил пострашать Черчилля перед всеми собравшимися на званом ужине, и Рузвельт не пришел к нему на помощь.

Черчилль понуро вернулся в британскую дипломатическую миссию, и около полуночи разоткровенничался со своим личным врачом доктором лордом Мораном: «Эта война не простая. Не хочу я в ней участвовать. Хочу заснуть. Заснуть на пару миллиардов лет». И позже: «Все друг друга поубивают, и тогда конец нашей цивилизации. Европа опустеет, и меня тоже обвинят в этом... На наших глазах происходят колоссальные проблемы, а мы — пыль на ветру, жалкие песчинки, прилипшие к карте мира»<sup>25</sup>.

Моран писал, что «долго лежал с открытыми глазами, обеспокоенный его [Черчилля] мрачным прогнозом». Нетрудно понять, что именно послужило премьер-министру отправной точкой для подобного рода предсказаний будущего. Это был мир, в котором демократическим государствам не устоять перед диктаторами. «Теперь он понял, что больше нельзя рассчитывать на президентскую поддержку, — писал далее Моран. — Более того, он сознает, что и русские тоже это видят». И в последней дневниковой записи от 29 ноября Моран откровенно признается: «Премьер-министр потрясен собственным бессилием».

В тот же день начальник Имперского Генерального штаба генерал сэра Алан Брук дал волю чувствам на страницах своего дневника. «Выслушав аргументы двух минувших дней, — писал он, — я чувствую себя скорее в сумасшедшем доме, чем на своей работе. Я просто взбешен теми методами, с которыми политики подходят к ведению войны!! С какой стати они возомнили себя экспертами в той области, о которой понятия не имеют?! Послушаешь их и понимаешь, какое это убожество!»<sup>26</sup>

Следующий день, 30 ноября, начался со встречи британских и американских начальников штабов. Генерал Брук и другие члены британской военной делега-

ции сумели убедить американских военных руководителей, что небольшая задержка с началом операции «Оверлорд» пойдет на пользу им всем — и наконец была установлена новая дата — 1 июня 1944 года.

После согласования даты высадки начальники штабов направили ее для одобрения президенту США и премьер-министру Великобритании. Рузвельт внес одно изменение в их заключение — небольшое, но существенное. Он рекомендовал сообщить Сталину, что операция «Оверлорд» состоится в мае месяце 1944 года, а не 1 июня. В конце концов, она может начаться и 31 мая, а не все ли равно, если она назначена на 1 июня? Разумеется, это мелочь в сравнении с глобальными решениями, принятыми в Тегеране, но зато она демонстрирует всю изворотливость натуры Рузвельта. Прибегнув к этой уловке, президент угодил сразу всем — Сталину, желавшему начала операции «Оверлорд» 1 мая, и генералам, настаивавшим на дате начала не ранее 1 июня.

Хью Лунги, не спускавшему с Рузвельта глаз все дни конференции, показалось, что за внешним дружелюбием таился коварный ум: «Первое впечатление о нем — само дружелюбие, простота в общении. Вечно улыбается, веселится, готов даже похлопать тебя по плечу. Но все это наигранное... Не знаю почему, но иногда вдруг казалось, что этот человек холоден как лед и неискренен. А все эти смешки и дружелюбие явно фальшивые...»

В тот же день состоялось заключительное пленарное заседание конференции, все принятые решения практически не дорабатывались. Операция «Оверлорд» должна была начаться в мае 1944 года, и в течение ближайших дней предполагалось назначить ответственного за ее проведение.

Вечером состоялся торжественный ужин в честь 69-летия Черчилля. Подавалось множество блюд, стол



сверкал изысканным серебром, создавалось впечатление, что все это лишь ради того, чтобы повергнуть в изумление советского лидера. «Все вроде бы проходило без каких-либо осложнений и недоразумений, — вспоминает Лунги. — Я увидел, как главный переводчик Черчилля, Артур Бирс указывает Сталину на что-то, тыкая пальцем в столовые приборы. Позже Артур Бирс пояснил, что Сталин был явно озадачен, увидев такое обилие вилок, вилочек, ножей и так далее, и спросил Артура Бирса: “Что со всем этим делать?” И тот успокоил советского вождя: “Да что хотите — это на ваше усмотрение. И потом, неважно, какой вилкой и что вы берете, самое главное, чтобы вам еда понравилась”».

Это был один из тех моментов, когда фигура Сталина действовала на утонченных представителей Запада едва ли не успокаивающе. Он был достоин восхищения, глава государства, давший решительный отпор нацистам, но все же у них была возможность хоть в чем-то его опекать. Как выразился один британский корреспондент: Сталин «похож на добродушного садовника-итальянца, который приходит к вам раз в неделю»<sup>27</sup>. И все эти мелкие нарушения этикета, происходившие от презрения к утонченности — как и его агрессивный выпад против Черчилля минувшим вечером — вполне можно было списать на отсутствие соответствующего воспитания, чем испокон веку грешили представители класса, выходцем из которого был Сталин.

Вечер продолжался в атмосфере спокойствия и дружелюбия, если не считать одного замечания Сталина, предложившего выпить за здоровье генерала сэра Алана Брука. Подозрения Сталина, что именно британцы постоянно саботировали открытие второго фронта, лишь укрепились в ходе тегеранской конференции. Вот

он и сделал очередной хитрый ход, заметив, что, дескать, Брук больше не станет «с таким недоверием относиться к русским»<sup>28</sup>, добавив, что если бы генерал узнал их получше, то убедился бы, что это хорошие люди, с которыми вполне можно иметь дело. Брук, человек прямой, поднялся и сказал Сталину, что, дескать, его подвело внешнее впечатление. Мол, советский лидер сам говорил о важности создания фальшивых аэродромов, макетов танков для введения немцев в заблуждение, но, как ни парадоксально, и сам мог заблуждаться насчет истинного стремления Брука к более тесному сотрудничеству с Советами, явно недооценивая его. Спич генерала, казалось, подействовал на Сталина умиротворяюще. И все же Сталин был прав, критикуя англичан: именно британцы – и далеко не в последнюю очередь сам Черчилль – были настроены весьма скептически относительно открытия второго фронта в Европе.

Анекдотический случай произошел уже под финал ужина, когда официант-иранец в традиционных белых перчатках стал подавать десерт. Как утверждает Хью Лунги, «было видно, что парень волнуется, неся непонятное замысловатое сооружение, которое, как я позже догадался, было мороженое, и, хоть и трудно было в это поверить, его украшало обрамление из маленьких лампочек, вроде ночников. Официант намеревался сначала подать десерт Сталину». Но поскольку советский лидер был занят разговором, официант решил выждать, пока тот закончит, и встал за спиной Сталина с подносом у его правого плеча. Сталин говорил и говорил, мороженое мало-помалу таяло и уже стало соскальзывать с подноса, грозя упасть прямо на плечо главе Советов. Но в последний момент официант спохватился, шагнул в сторону, и подтаявший десерт шлепнулся на новенький дипломатический китель Павлова, личного переводчи-

ка Сталина. Но Павлов как ни в чем не бывало продолжал переводить. И тут я услышал, как сэр Чарльз Портэл [командующий Королевскими ВВС Великобритании] громко прошептал: “Промахнулся!” Этой случай вызвал бурное ликование присутствовавших».

На следующий день, 1 декабря, американские и британские военные делегации отбыли, оставив политических деятелей для дальнейшего обсуждения уже чисто политических вопросов, в частности, потенциально спорный вопрос о границах Германии и Польши. Первоначально намечалось, что упомянутые обсуждения продлятся несколько дней, но неудовлетворительные метеопрогнозы, могущие осложнить перелет, вынудили лидеров решить всё за один день с тем, чтобы уже на следующий разъехаться.

Впоследствии Рузвельт признался, что к этому, четвертому, дню конференции он был «довольно-таки обескуражен». Американский президент чувствовал, что «личного контакта со Сталиным», которого он жаждал, как не было, так и нет. Он видел, что Сталин «корректен, непоколебим, торжественно-официален, неулыбчив», иными словами, не за что зацепиться.

И утром, 1 декабря, американский президент решил сменить тактику: решил втереться в доверие к Сталину, нападая на Черчилля. «По пути в конференц-зал утром я догнал Уинстона и сумел за несколько секунд сказать ему: “Уинстон, я надеюсь, вы не обидитесь на меня за то, что я сейчас сделаю”. Уинстон лишь переложил сигару в другой угол рта и что-то пробурчал. Надо сказать, впоследствии он держался вполне пристойно. И едва мы переступили порог зала, как я сразу же обратился к Сталину и говорил только с ним. Ничего нового я ему не сказал, но на этот раз все происходило как-то сердечнее, с большим доверием, и к нам стали прислуши-

ваться другие русские. На его лице не было и следа улыбки. Потом я, приложив руку ко рту, прошептал ему (разумеется, через переводчика): “Уинстон сегодня не в настроении, наверное, не с той ноги встал”. В глазах Сталина промелькнуло подобие улыбки, и тут я понял, что на верном пути»<sup>29</sup>. Рузвельт продолжал насмехаться над Черчиллем – «о его “британскости”», о Джоне Булле<sup>29а</sup>, о его сигарах, о привычках. Было видно, что Черчиллю это явно не по душе. В конце концов Сталин расхохотался. Это, по мнению Рузвельта, означало, что настал момент, когда он и советский лидер впервые заговорили «по-мужски, по-братски». И этот разговор произвел на президента США такое впечатление, что впоследствии он признался своему сыну, Эллиоту Рузвельту, что он тогда полюбил Сталина и нашел его «в целом впечатляющим»<sup>30</sup>.

Теперь, когда Рузвельт почувствовал, что установил личный контакт со Сталиным, он не горел желанием продлить официальные переговоры. Сталин уже согласился вступить в войну с Японией сразу же после сокрушения Германии и, кроме того, сотрудничать – хотя касательно лишь общих черт – в разработке рузвельтовской концепции Организации Объединенных Наций. И в сравнении с такой крупной победой все эти споры о профилях государственных границ в Европе представлялись американскому президенту просто утомительными и к тому же вызывавшими массу никому не нужных разногласий.

На этой первой официальной встрече 1 декабря обсуждались – хоть и в предварительной форме – вопросы о том, как попытаться вынудить Турцию вступить в войну, и размеры репараций, которые намечалось истребовать от Финляндии сразу же после войны. Сталин, верный форме, заявил, что, если речь идет о финнах, он бу-

дет удовлетворен «границами 1940 года» — то есть соглашением, которым Советы вынудили финнов пойти на территориальные уступки после «Зимней войны», возможно, с незначительными изменениями границ.

Потом был короткий перерыв, во время которого Рузвельт с глазу на глаз встретился со Сталиным и Молотовым<sup>31</sup>. Сознывая, что предстоит поднять весьма спорный вопрос о Польше, американский президент признался Сталину, что, поскольку он, «вероятно, выдвинет свою кандидатуру на новый срок», у него есть одна проблема — несколько миллионов американцев польского происхождения. Как «человек дела», он должен разделять их чувства — они возьмут да проголосуют против него, если какое-либо из соглашений, по их мнению, затронет интересы их родины. Но Рузвельт по секрету сказал Сталину, что не будет против сдвига границ Польши на запад и стремления Советов сохранять за собой новые территории, возникшие в результате вторжения в сентябре 1939 года. Это был серьезный обмен мнениями. Отныне Сталин мог быть спокоен — он наконец получил территории, которых добивался с тех пор, как вынужден был пойти на этот союз с Западом. Если еще в 1942 году американцы и слышать не желали ни о каком сохранении за Советами захваченных регионов Восточной Польши, то теперь Рузвельт безропотно уступил их ему. Президент США, должно быть, чувствовал, что был обязан уравновесить вопрос будущих границ Польши с другими ключевыми вопросами, по которым он уже достиг соглашения со Сталиным. Кроме того, как признался Черчилль, что западные союзники могли предпринять для возвращения упомянутых территорий полякам?

Эти не предаваемые огласке переговоры со Сталиным явили собой новый пример расчетливости и даже

изворотливости Рузвельта. Сталин избрал себе партийный псевдоним «Сталь», но этот эпитет иногда вполне подходил и для Рузвельта — президент США, несмотря на внешнюю открытость, чувство юмора и шарм, был и оставался трезвым реалистом и холодно-расчетливым политиком.

Двое из самых верных и близких коллег Рузвельта — Аверелл Гарриман и Чарльз («Чип») Болен — прознали про обещанные им Сталину секретные гарантии по вопросу о Польше. И оба впоследствии писали, что считали такой шаг ошибочным. Гарриман понимал, что Рузвельт выдал советскому вождю карт-бланш на установление Советами в Польше любой политической системы по их усмотрению, Болен также признавался, что был «озабочен» подобным развитием событий.

Впоследствии Гарриману пришлось отвечать на ряд вопросов перед Конгрессом, когда спустя несколько лет после войны там обсуждался вопрос о катынских расстрелах. Когда его спросили, как стало возможным принять решение, позволявшее Сталину законным образом обрести эти территории? Ведь они, по сути, противоречат принципам Атлантической хартии? Гарриман ответил: «Русские оспаривали — и я не оправдываю их утверждения, я просто констатирую факт — вопрос о границах, в течение длительного времени утверждая, что восточные границы Польши были установлены незаконно и что в этнологическом отношении на упомянутых территориях проживал больший процент белорусов, русских и украинцев и что соглашение в конце Первой мировой войны в принципе ущемляло интересы Советов. Мне кажется, именно поэтому на встрече и был затронут этот вопрос, и я не вижу в нем никаких нарушений Атлантической хартии»<sup>32</sup>. Учитывая тот факт, что правительство США в 1942 году считало при-

тязания Советов на территории Восточной Польши явным нарушением Атлантической хартии, аргументы Гарримана, по меньшей мере, неубедительны. (Как Черчилль писал Идену в январе 1942 года: «Мы никогда не признавали границы 1941 года России, кроме как де-факто».)

Самнер Уэллс, пробывший в должности заместителя государственного секретаря почти до начала Тегеранской конференции, также считал, что президент в Тегеране совершил ошибку в вопросе о будущем Польши. Когда он выступал на сенатских слушаниях по вопросу о расстрелах в Катыни, его спросили: «Разве вы не думаете, что, если бы мы заняли более жесткую позицию в отношении Советской России, и в особенности в вопросе об их притязаниях на территорию Восточной Польши и в других подобных ситуациях, мы, возможно, избежали бы сегодня очень многих проблем в мире?» На что Уэллс недвусмысленно заявил: «Как выяснилось вскоре, моим ответом на ваш вопрос будет “да” безо всяких оговорок»<sup>33</sup>.

Но вот только что означало это понятие — «более жесткая позиция в отношении Советской России» на практике в 1943 году? Пойти на прямую конфронтацию со Сталиным по проблеме границ Восточной Польши означало бы нанести непоправимый урон военному союзу с ним. К 1943 году представлялось крайне маловероятным, что Сталин мог пойти на заключение сепаратного мира с Гитлером, однако не следует недооценивать и способность Советского Союза вызвать или усугубить всякого рода проблемы, в частности отказаться вступить в войну с Японией на стороне США сразу же после победы над Германией. Вероятно, существовало и некое соломоново решение — Рузвельт вполне мог отказаться от раздачи обещаний до последнего

дня войны, потом созванная бы мирная конференция с участием всех заинтересованных сторон, включая, естественно, и поляков, приняла бы соответствующее решение. Такова была позиция США и Великобритании в начале войны, но они изменили ее, поскольку видели, что обстановка другая. Да, поляки могли возражать против переноса границ их страны, но в этом случае обсуждение проходило бы открыто, а не кулуарно.

Как поступил бы Сталин, если бы западные союзники, придерживаясь первоначальной линии, воздержались бы брать на себя какие бы то ни было обязательства относительно границ до полного завершения войны? Ведь существовало и нечто другое, что Сталин страстно желал заполучить от США и Великобритании на данном этапе войны, кроме соглашения по границам, — речь идет, разумеется, о втором фронте в Европе. Неужели он свернул бы сотрудничество с Черчиллем и Рузвельтом из-за каких-то там «восточных территорий», протестов поляков и сдвигов границ сопредельного государства пусть даже не в его пользу? Вне всяких сомнений, такой вариант маловероятен.

Можно было, конечно, обсуждать эту проблему, но досаждал Сталину, когда его войска стремительно приближались к восточным территориям Польши и в считанные месяцы должны были отбить их у немцев? Какой был в этом смысл? Так или иначе, Сталин распорядился бы ими по своему усмотрению. Нет, Запад изначально мог поставить крест на спорных восточных территориях Польши, ибо возможности вернуть их полякам не было, даже прибегнув к военным средствам — иными словами, пойдя на вооруженный конфликт с силами Красной Армии.

Однако есть четкое различие между признанием того, что одна страна оккупировала другую в чрезвычайных



обстоятельствах, и узакониванием этой оккупации. Вероятно, наивно ожидать, чтобы политические деятели соблюдали бы букву и дух подписанной ими же Атлантической хартии — однако откровенный цинизм не так бросался бы в глаза, не подпиши они этот документ.

В Тегеране, после частной беседы Рузвельта со Сталиным, во время которой он заверил советского вождя, что у того никаких сложностей, проистекающих от сохранения за СССР Восточной Польши, не предвидится — беседы, о которой британцы узнали по завершении конференции, да и то далеко не сразу, — американский президент, как только представители всех трех держав сели за стол переговоров, «официально» выразил надежду, что Сталин все же сумеет достичь договоренности с польским правительством в изгнании в Лондоне.

Сталин с ходу отменил подобные надежды — более того, он высказал предположение, что поляки в Лондоне «поддерживают контакты» с немцами и «убивают приверженцев»<sup>34</sup>. Он продолжал утверждать, что «позавчера (когда у Черчилля с ним состоялся тот самый “взрывной” разговор о смещении границ Польши) никто и словом не обмолвился о восстановлении отношений с польским правительством в Лондоне. Вопрос стоял об указаниях полякам». Что поражает, ни Черчилль, ни Рузвельт и рта не раскрыли в защиту польского правительства в изгнании. И не было абсолютно никаких доказательств в пользу смехотворного обвинения Сталина в том, что «польское правительство и их друзья в Польше поддерживают контакты с немцами». Тем не менее британский премьер-министр и американский президент промолчали.

Черчилль действительно пытался терпеливо объяснить Сталину, насколько важна судьба Польши для

британцев. «Мы придаем этому очень большое значение, — заявил он, — потому что именно нападение немцев на Польшу и спровоцировало войну». Трое глав государств собрались у карты Польши для обсуждения границ в соответствии с требованиями Советов — вдоль линии, которую Иден назвал «линией Риббентропа — Молотова», на что Молотов тут же возразил, что правильнее было бы считать ее «линией Керзона». «Да называйте, как хотите», — подытожил Сталин.

После «продолжительного» изучения карты Черчилль объявил, что ему «идея нравится» и что он «передаст полякам, что если те не согласятся, то это будет большая глупость с их стороны, и что он напомним им о том, что им ни к чему тягаться с Красной Армией». Черчилль тогда искренне верил, что новое Польское государство будет проводить «дружественный курс» в отношении России. Сталин согласился с тем, что Советскому Союзу нужна «дружественная» Польша. Эта очевидно ничем не подкрепленная линия британского премьер-министра, если судить по ущербу интересам польского правительства в изгнании, ничем не уступала одностороннему решению «Большой тройки» сместить границу страны на Запад. Проблема состояла и в том, что невозможно было точно определить понятие «дружественный» — не угоди поляки Советскому Союзу, неважно в чем, и на тебе! — те расценят это как «недружественный акт». Единственный способ для Польши оставаться «дружественным» Советскому Союзу государством — это превратиться в его марионетку. Собственно, в скором будущем именно так и произошло.

Тегеранская встреча подходила к заключительному пункту обсуждений — к вопросу о будущей Германии. Все три лидера единодушно желали расчленения послевоенной Германии — вопрос стоял лишь о том, на сколь-

ко частей. Черчилль предложил отделить от остальной части Германии Пруссию, которую он рассматривал как самую опасную область. Рузвельт выступил с планом расчленения Германии на пять регионов, плюс еще два: Кильский канал и Рур, которым будет управлять международное сообщество. Этот план, надо сказать, весьма удивил Черчилля, который слыхом не слыхал ни о чем подобном.

Естественно, Сталину предложение Рузвельта пришлось куда больше по нраву, чем замысел Черчилля. Он стремился к раздробленной Германии, которая уже никогда больше в обозримом будущем не сможет представлять военной угрозы. Черчилль, с другой стороны, остерегался грозившей Центральной Европе опасности ввиду отсутствия сильных государств. Кто, думал он, преградит путь Красной Армии к Ла-Маншу, когда эта война будет выиграна и американцы уберутся восвояси?

Политика «Большой тройки» в отношении будущего Германии — в отличие от будущего Польши — так и не была решена в Тегеране, хотя предварительные позиции каждой из главных фигур были в принципе ясны. После этой заключительной встречи Рузвельт, Черчилль и Сталин собрались на прощальном ужине, простились друг с другом и отбыли на следующее утро домой.

Серия встреч в Тегеране продлилась с 28 ноября до 1 декабря 1943 года, но за эти четыре дня были приняты исторические решения. Следующие конференции, Ялтинская и Потсдамская, по сути, были продолжением Тегерана. Было бы просто невозможно — даже пожелай этого Рузвельт и Черчилль — отступить от фундаментальных принципов, сформулированных в столице Ирана; и уж конечно, ни о какой прозападной ориентации послевоенной Польши и речи идти не могло.

Но историческая роль Тегеранской конференции состоит не только в обсуждении глобальных политических вопросов и принятии соответствующих решений, но и в том, как Черчилль и Рузвельт – в особенности Рузвельт – стремились угодить Сталину. Отчасти и мы убедились в этом, оттого что оба лидера осознавали важность дальнейшего плодотворного сотрудничества с вождем СССР. Солдаты Красной Армии до сих сражались на фронтах, отвлекая на себя подавляющее большинство немецких сил, и, судя по всему, так продолжится до самого конца войны в Европе. И в течение одного только 1943 года под Курском, да и на остальных участках Восточного фронта, погибло куда больше советских солдат, чем британских за всю войну. Западные союзники, таким образом, были заинтересованы в том, чтобы Советы и дальше продолжали сражаться и, разумеется, погибать.

Но был и другой аспект: и Рузвельт, и Черчилль не питали иллюзий насчет того, что придет время и им придется ответить перед своими правительствами за ту полуправду, которую они преподносили им о Сталине. В течение 1943 года пропаганда в союзных державах продолжила в розовом свете представлять и Советский Союз, и Сталина. В этом смысле американский фильм «Миссия в Москву» – нагляднейший из примеров. Впоследствии Роберт Бакнер, продюсер картины, описал ее как «оправданную политическими целями ложь»<sup>35</sup>. Беда была в том, что широкая публика сформировала собственный, весьма некритичный взгляд на Сталина и Советский Союз, основывавшийся как раз на «оправданной политическими целями лжи». И, как следствие, Рузвельт – с выборами на носу – чувствовал, что никак не сможет, без ущерба для своего имиджа, даже попытаться изменить столь позитивный облик Советов и их лидера.

Во всяком случае, у Рузвельта хватило политической дальновидности придерживаться прежней пропагандистской линии по возвращении из Тегерана. На вопрос одного из журналистов, что за «человек маршал Сталин», он ответил: «Я бы назвал его в чем-то похожим на меня... реалистом»<sup>36</sup>. А в радиообращении в канун Рождества 1943 года к американскому народу Рузвельт заметил: «Должен сказать, что мы прекрасно понимали друг друга с маршалом Сталиным. Он — человек, сочетающий в себе огромную решимость со здоровым чувством юмора. Я считаю его истинным представителем сердца и души России и полагаю, что у нас будут самые теплые отношения и с ним, и с русским народом»<sup>37</sup>.

Сталин на самом деле был, и Рузвельт никогда не забывал об этом, «реалистом», который в недавнем прошлом доказал, что отрицает ценности, которыми американский президент дорожил более всего — свободу слова, свободу вероисповедания и свободу от страха, назовем здесь лишь всего три. Все три года до описываемых событий Рузвельт открыто осуждал режим Сталина, и пока что вилами на воде было писано, что советская система станет в будущем менее драконовской в будущем, уж американский президент прекрасно понимал, что Сталин не из тех людей, как и он сам, кто раздает пустые обещания.

Однако есть признаки, свидетельствующие о том, что сентиментальные словоизлияния Рузвельта в адрес Сталина не были продиктованы исключительно политикой. Как он однажды признался своему сыну Эллиоту в Тегеране, ему на самом деле что-то «импонировало» в Сталине, вероятно, присущая тому некая «могущественность». Вероятно, потому, что советский лидер обладал способностью слушать — что как раз подходи-

ло словоохотливому президенту США — и, как мы убедились, ни по внешности, ни по манерам Сталин никак не подходил под образ кровожадного тирана. Темную сторону Сталина можно было разглядеть, лишь внимательно прислушавшись к нему. В Тегеране же оба лидера западных держав либо не пожелали разглядеть этого, либо просто не сумели.

### **И вновь Катынь**

Пока Сталин обедал с Рузвельтом и Черчиллем в Тегеране, его органы государственной безопасности были всецело поглощены тем, чтобы скрыть факт массовых убийств, совершенных за три года до описываемых событий в Катыни. В конце сентября 1943 года Красная Армия освободила Смоленск и Смоленскую область вскоре после разгрома немцев под Курском. Уже несколько дней спустя Советы отгородили участок захоронений в Катынском лесу, и сотрудники НКВД приступили к эксгумации тел, повторно захороненных немцами после завершения предпринятого ими собственного расследования в начале 1943 года.

Советские власти понимали, что, обвинив в содеянном немцев, они сталкивались с двумя проблемами. Во-первых, немцы сняли показания свидетелей, доказывавшие вину Советов в расстрелах поляков; во-вторых, ни на одном из трупов поляков не было обнаружено никаких документов, датированных позднее апреля 1940 года — а именно это и сводило на нет версию Советов о том, что немцы расстреляли поляков летом 1941 года.

Но для сталинских спецслужб невыполнимых задач, как известно, не существовало. Сначала к подлинным, обнаруженным немцами, документам были добавлены

подложные. Так, среди прочего, возникла квитанция на 25 рублей из Старобельского лагеря на имя Владимира Арашкевича, датированная 25 марта 1941 года, а также икона, на оборотной стороне которой стояла неразборчивая подпись и еще одна дата: «4/9/41». Как раз подобные «доказательства» для НКВД собрать труда не представляло. Один из главных свидетелей при проведении немцами расследования, местный лесник, П. Г. Киселев<sup>38</sup>, рассказавший о «криках» и «выстрелах» в Катынском лесу весной 1940 года, вместе со своим сыном был арестован и обвинен в пособничестве врагу. Это было весьма серьезное обвинение, за которое полагалась либо смертная казнь, либо длительный лагерный срок.

Многие свидетели подтвердили сотрудникам НКВД, что Киселев давал показания немцам «добровольно», что ему никто не угрожал расправой. Но вот угрозы сотрудников НКВД подействовали, и Киселев вместе с сыном изменили показания и публично заявили о том, что, дескать, их прежние показания немцам не соответствуют действительности. Теперь они в один голос утверждали, что поляки были убиты немцами летом 1941 года, а не сотрудниками НКВД весной 1940-го, как они первоначально заявляли. В результате обвинения в пособничестве врагу, предъявленные ранее Киселеву и его сыну, были сняты. Подобная же метаморфоза коснулась и других свидетелей из числа местных жителей — Ефимова, Зубкова, Базилевского, которые тоже клятвенно заверяли, что, мол, расстрелянные поляки — дело рук немцев.

Пять месяцев сотрудники НКВД лихорадочно переписывали историю Катынской трагедии. Лишь в январе 1944 года были обнародованы результаты, и мир через пропагандистский рупор Кремля узнал о «расследовании», проведенном комиссией во главе с Николаем

Бурденко, президентом Академии медицинских наук СССР. Собственно, даже название возглавляемой Бурденко комиссии — «Специальная комиссия по расследованию расстрела польских военнопленных немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу» — само говорило за себя, иными словами, ее заключение было predeterminedено еще до начала расследования. Документально доказано<sup>39</sup>, что Бурденко и в лес не вошел, пока НКВД не завершил фальсификацию доказательств: доступ к массовым захоронениям был разрешен лишь в январе 1944 года, и отчет Бурденко, основывавшийся в значительной степени на «предварительной» работе, проведенной НКВД, был завершен в считанные дни.

Следующая стадия предпринятой Советами фальсификации включала тиражирование препарированной информации по всему миру. Тут без помощи иностранных корреспондентов советским властям было уже не обойтись. Чуть больше десятка их — главным образом, американцев и англичан — прибыли в Катынь в период с 21 по 23 января 1944 года. Их сопровождал Джон Мелби, 3-й секретарь посольства США в Москве, и Кэтлин Гарриман, 25-летняя дочь вновь назначенного посла США в Советском Союзе, Аверелла Гарримана. Доставили их из Москвы соответствующим образом «Никогда еще представителей зарубежной прессы не встречали с такой помпой, как во время поездки в Катынь, — говорилось в отчете британского посольства в Форин Офис. — Корреспондентов доставили на поезде, в комфортабельных спальнях вагонах, в их распоряжении был даже вагон-ресторан с деликатесами, водкой, вином и табачными изделиями»<sup>40</sup>. Отчет завершался довольно ядовито: «Без сомнения, часть перечисленных благ предназначалась мисс Гарриман...» Предыду-



шая телеграмма британского посольства в МИД от 23 января 1944 года предостерегала: «Трудно рассчитывать, что русская пропагандистская машина воздержится от того, чтобы не связать присутствие двух «официальных» американцев с расследованием»<sup>41</sup>. (Присутствие двух «официальных» американцев свидетельствовало о том, что администрация США принимала представленную Советами версию Катынской трагедии.) Под текстом телеграммы чьей-то рукой было небрежно написано: «Это не мое дело, но эта затея выглядит не очень мудро».

Корреспонденты, вместе с Джоном Мелби и Кэтлин Гарриман, прибыли в Катынь между 7 и 9 часами утра 22 января и уехали следующим утром — таким образом, в их распоряжении было менее суток для оценки «доказательств», представленных Советами. Сразу же после поездки Мелби составил пространный отчет о попытках Советов обвинить немцев в преступлениях, указав на очевидные огрехи этой версии. В частности, представленные Советами «свидетели», деликатно выражаясь, не внушали доверия. Нет никаких сомнений, писал Мелби, что «свидетели просто пересказывают то, что уже говорили Комиссии под руководством Бурденко. Все представление было организовано под слепящим светом юпитеров... Попытки корреспондентов расспросить свидетелей не поощрялись... Все твердили показания так, будто выучили их наизусть». У Мелби сложилось впечатление, что «доказательства русской стороны неполные... они просто состряпаны кое-как, а устроенное для корреспондентов представление не предусматривало возможности проведения независимого расследования или перепроверки фактов»<sup>42</sup>. И каким-то непостижимым образом Мелби, невзирая на явную сфабрикованность проведенного Советами рас-

следования, отчего-то делает следующее заключение: «В итоге, однако, несмотря на явные прорехи, русская версия убедительна».

После войны Мелби предстал перед комиссией на слушаниях Конгресса по вопросу о Катынских злодеяниях. Ему был задан вопрос: «Почему вы пришли к такому заключению, если в соответствии с вашими же собственными доказательствами вы никак не могли прийти к подобному заключению?»

«Поскольку, — ответил Мелби, — у меня не было никаких отправных точек, кроме русской версии событий». Часть членов комитета Конгресса не поверили доводу Мелби, и его неоднократно спрашивали, не сделал ли он просто вывод, исходя из желаний вышестоящих лиц, — это обвинение Мелби отверг.

Кэтлин Гарриман также представила отчет после посещения Катыни — и в нем снова было отражено принятие советской версии. Как и Мелби, ей на слушаниях Конгресса задали вопрос, как могла она прийти к заключению, что советская версия более убедительна, если ее собственные «рассуждения сводят на нет» ее же «заключение», потому что, «если судить по ее отчету, куда больше оснований считать, что это дело рук русских, но не немцев, хотя вы утверждаете прямо противоположное»<sup>43</sup>. По мнению Кэтлин Гарриман, хотя Советы и устроили пресловутое «шоу» для корреспондентов, злодеяния совершили немцы — не в последнюю очередь из-за «методичности, с которой совершались убийства».

Несмотря на все опровержения Джона Мелби и Кэтлин Гарриман, никак нельзя было отделаться от мысли, что они сообщали Государственному департаменту именно то, что желала слышать администрация Белого дома, поскольку вряд ли вероятно, что кто-нибудь из них верил в собственные выводы, изложенные в их собственных от-

четах. Что касается корреспондентов, посетивших место захоронения вместе с ними, в отчете, направленном в британское посольство, говорилось: «Я [британский служащий посольства, г-н Бэлфур] обсудил визит с несколькими корреспондентами, побывавшими в Катыни. Хотя они ни в коей мере не отказываются принять советскую версию, они все же не удовлетворены тем, что видели и слышали. Часть американских корреспондентов заявили отделу печати Народного Комиссариата иностранных дел, что не совсем удовлетворены увиденным»<sup>44</sup>.

Изучив советский отчет, Черчилль написал министру иностранных дел: «Думаю, сэра Оуэна О'Мэлли нужно конфиденциально расспросить и выяснить, что на самом деле он думает по поводу расследования обстоятельств Катынской трагедии»<sup>45</sup>. Что самое любопытное, Черчилль завершил послание Идену фразой: «Все это просто ради установления фактов, потому что никто из нас не имеет права и заикнуться об этом».

О'Мэлли представил многостраничный отчет 11 февраля 1944 года. В еще одном, блестящем анализе обвинения и контробвинения, возникших в связи с Катынскими злодеяниями, он упомянул, а затем пока что оставил в стороне и свидетельские показания, и данные судебной экспертизы, ибо эти элементы нетрудно было сфальсифицировать, причем как Советам, так и немцам. Вместо этого О'Мэлли сосредоточился на очевидных фактах. Во-первых, он указал, что советская версия событий допускает «по крайней мере одно существенное предположение, которое не заслуживает доверия»<sup>46</sup>. Упомянутое выше предположение состояло в том, что из многих тысяч польских военнопленных, в хаосе лета 1941 года, ни единый солдат или офицер так и не перекочевал из советского плена в немецкий, ни о едином из них не было доложено ни польскому консу-

лу в России, ни представителям польского Сопротивления». Во-вторых, О'Мэлли повторил, что до сих «не объяснен целый ряд фактов», которые «доминируют над этим противоречием, а именно, что начиная с апреля 1940 года никто из многих тысяч поляков не получал ни писем, ни других сообщений. Сочетание этих двух факторов и навело О'Мэлли на мысль, что его первоначальное «предварительное заключение» о том, что поляки пали от рук Советов, оказалось верным.

Ни один человек, ознакомившийся с отчетом О'Мэлли, не сомневался ни в объективности подхода автора, ни в правоте заслуживавшего всеобщего осуждения приговора, проистекавшего из документа, — да, Советы совершили тяжкое преступление и теперь тщились покрыть его, призвав на помощь пресловутую «Специальную комиссию». О'Мэлли завершил направленный Энтони Идену отчет едкой фразой: «Давайте никогда не будем забывать о подобных вещах, но никогда не говорить о них вслух. Именно такой совет я и дал польскому правительству, но в нем не было нужды. Они молчаотреагировали на отчет русских. Тяжкие испытания, выпавшие на их долю, и пребывание в чужой стране, по-видимому, научили их тому, что в политической жизни зачастую куда лучше промолчать о том, что тебя сильнее всего донимает».

Без каких-либо комментариев встретили советский отчет британское и американское правительства. Невзирая на то, что советский отчет основывался на «невероятном» предположении, лидеры западных держав продолжали придерживаться высказанного Черчиллем тезиса: дескать, «мы никогда не должны обсуждать данную тему». И когда Аверелла Гарримана в лоб спросили на слушаниях по вопросу о Катынских расстрелах: «Когда-нибудь, будучи в Тегеране, в Ялте и Потсдаме, приходилось

ли вам участвовать в каком-либо обсуждении с кем-либо из официальных лиц, американских или зарубежных, темы бесследно исчезнувших польских офицеров или других, связанных с этим проблем?» он ответил: «Нет, я не припоминаю, чтобы эта тема затрагивалась»<sup>47</sup>.

Истинное понимание отношения Рузвельта к Катынской трагедии — и на самом деле одно из весьма немногих, задокументированных свидетельств того, когда президент США был вынужден коснуться данной темы — это записи бесед в мае 1944 года с Джорджем Говардом Эрлом III, бывшим губернатором Пенсильвании и личным другом президента еще с 30-х годов. Эрл был колоритным персонажем, жизнелюбом. «Двадцать четыре часа в сутки он был занят по горло, — вспоминает Лоуренс Эрл<sup>48</sup>, один из его сыновей. — Ему был не чужд авантюризм. Кем он только не был — и пилотом самолета, и охотником, и рыболовом. После Первой мировой войны отец стал непревзойденным игроком в поло и играл в составе лучших в мире команд, даже был капитаном команды филладельфийцев. Его имя внесено в книгу лучших игроков поло в мире».

Эрл служил советником американского посольства в Болгарии, позже был послом по особым поручениям президента на Балканах с постоянным местопребыванием в Турции. Тогда, в 1944 году, он возвратился в Вашингтон поделиться с Рузвельтом своими впечатлениями о Катынском преступлении. Эрл был весьма детально проинформирован о трагедии агентами разведслужб, действовавших в Восточной Европе, и был непоколебимо убежден, что именно Советы несли полную ответственность за преступление. Перед встречей с президентом Эрла предупредил его «старый друг» Джо Леви из «Нью-Йорк таймс». «Джордж, — сказал Леви, — вы просто не в курсе того, что происходит там [в Белом доме].

Гарри Хопкинс полностью прибрал к рукам президента, и вообще эта лавочка здорово “порозовела”»<sup>49</sup>.

Однажды в присутствии Рузвельта Эрл в общих чертах привел достаточно убедительные, по его мнению, доказательства массовых убийств, творимых Советами в Катынском лесу, — доказательства, включавшие донесения болгарских и «белогвардейских» русских агентов, а также множество фотоснимков мест захоронения. «Касательно этих зверств в Катыни, г-н президент, — заявил тогда Эрл. — Я просто не могу поверить, что президент США, да и многие другие все еще думают, что это — некая нераскрытая тайна, или же сомневаются насчет того, кто главный виновник. Вот взгляните на эти фотографии. А вот свидетельские показания под присягой, а вот приглашение немецкого правительства нейтральному Красному Кресту прибыть туда для проведения соответствующей экспертизы. Какие еще доказательства вам требуются?»

«Джордж, — обратился к Эрлу президент Рузвельт, — вполне возможно, они все это подстроили. Я имею в виду немцев». Рузвельт был непреклонен в том, что «это — от А до Я происки немецкой пропаганды и заговор немцев»<sup>50</sup>.

«Г-н президент, — не уступал Эрл, — я считаю, что эти доказательства неопровержимы».

Во время встречи Эрл также однозначно дал понять, что «весьма озабочен» по поводу этой ситуации с Россией. «Я почувствовал, что они — большая угроза для нас и что они сделали все возможное для введения американского народа в заблуждение о том, что произошло в Катыни, и в первую очередь роль сыграла и мерзкая книжонка Джо Дэвиса “Миссия в Москву”, где Сталин представлен эдаким Санта-Клаусом. Мы так и не пришли в себя от этого. Вот как это подействовало на американский народ».

«Джордж, — повторил Рузвельт, — вы озабочены по поводу России начиная с 1942 года. Теперь позвольте мне вам кое-что сказать. Я старше вас, и опыта у меня побольше. Эти русские, их 180 миллионов человек, они говорят на 120 различных языках и диалектах. Стоит этой войне закончиться, как их страна разлетится на куски, как колесо, запущенное на слишком большой скорости под влиянием центробежной силы». Этот ответ, по словам Эрла, «Рузвельт приберег про запас: “Нам нечего бояться русских, потому что они разлетятся на куски”». Эрла охватило чувство «безнадежности», и, уезжая, он сказал на прощание президенту Рузвельту: «Г-н Президент, прошу вас, просмотрите все снова».

У истории Эрла есть разоблачительный постскриптум. В марте 1945 года он решил высказать миру свое представление о Советах, но, будучи близким другом президента, он сначала испросил разрешения последнего обнародовать свои взгляды и сделанные выводы. Почти тотчас же он получил ответ Рузвельта: «Ваш план предать гласности Ваше весьма нелестное мнение об одном из наших союзников, — писал президент 24 марта 1945 года, — вызывает у меня тревогу, потому что сейчас не время для подобных публикаций, тем более если они исходят от моего бывшего эmissара; такой шаг мог бы причинить непоправимый вред нашим военным усилиям... Предать огласке сведения, полученные без надлежащих на то полномочий, было бы равносильно акту предательства... Я категорически запрещаю Вам публиковать любые сведения... о любом из наших союзников, ставшие Вам доступными в ходе исполнения Вами служебных обязанностей. Или во время службы в ВМС США...»<sup>51</sup>

«Мне кажется, он все же почувствовал, что мой отец подвел его, покинув команду, — считает Лоуренс Эрл. — А Рузвельт был человеком, которому без усилий целой

команды не обойтись. И подбирал себе таких... кто готов был встать ради него на задние лапы».

Всего несколько дней спустя Эрл на своей шкуре убедился в том, каково мнение президента о нем. Он с лодки удил рыбу на одном из отдаленных озер в Мэриленде, когда вдруг заметил, как к нему приближается другая лодка. На борту ее находились двое агентов ФБР. Подплыв к лодке Эрла, они сообщили: «Г-н Эрл, у нас письмо для вас». В письме было сказано, что Эрл назначен заместителем командующего силами обороны на Самоа с предписанием приступить к исполнению новых обязанностей немедленно. То есть он незамедлительно должен был отбыть на Тихий океан. Дело в том, что президент отдал распоряжение Военно-морскому министерству использовать Эрла «везде, где они сочтут необходимым». Сын Эрла, Лоуренс, впоследствии офицер американских сил на Тихом океане, навестил отца в этой отдаленной военно-морской базе. Он нашел его «расстроенным; он был страшно огорчен тем, как президент обошелся с ним».

Рузвельт стремился всеми способами избавиться от Джорджа Эрла. И сын Эрла никак не мог уразуметь, что его к этому побудило. «Мне представляется, что это было весьма странное и деспотичное решение, — считает Лоуренс Эрл. — Потому что в условиях демократии такие вещи не должны происходить, но президент, видимо, полагал, что в военное время он может поступать как заборгассудитса, вот он так и поступил. И, разумеется, к нему не придерешься».

### **Депортации как орудие возмездия**

В мае 1944 года — в тот же месяц, когда Джордж Эрл пытался достучаться до Рузвельта в Белом доме, — Сталин рассматривал предложение о высылке целой этни-



ческой группы в отдаленные районы Советского Союза. Документ, датированный 10 мая 1944 года<sup>52</sup>, поступил от наркома внутренних дел Лаврентия Берии и касался судьбы крымских татар. Около 200 тысяч из них проживали в Крыму на северном побережье Черного моря вместе с русскими. У татар был собственный язык, обычаи и обряды, национальная одежда; кроме того, они исповедовали ислам. В 30-е годы они испытали на себе все тяготы сталинского режима<sup>53</sup>, и во время немецкой оккупации целые селения крымских татар ощутили на себе гнев партизанских отрядов, состоявших преимущественно из русских.

Очевиден факт, что многие из крымских татар сотрудничали с оккупантами в период с ноября 1941-го по весну 1944 года. Почти 20 тысяч из них немцы отобрали из числа военнопленных и взяли на службу в организованные ими подразделения самообороны. Не менее очевиден и факт, что немецкое военное командование рассматривало татар как вероятный резерв для сотрудничества с гитлеровским режимом, полагаясь на них куда больше, нежели на этнически русских крымчан. Но никак нельзя сбрасывать со счетов и то, что десятки тысяч крымских татар верой и правдой служили в Красной Армии.

Теперь, после освобождения Крыма от немцев, Сталину предстояло решить, как рассматривать татар. Можно ли было ожидать в предполагаемых ответных действиях Сталина те самые «глубокие изменения, произошедшие в характере русского государства и правительств», о которых столь страстно распространялся на весь мир Черчилль?

Нет, ничуть — Сталин оставался верен себе и уполномочил Берию депортировать всех населявших Крым татар на бесплодные земли советского Узбекистана. И по-

скольку подобное «решение проблемы крымских татар» являло собой вопиющую несправедливость, более того, преступление, советские власти должны были действовать быстро и решительно.

План заключался в том, чтобы в течение 24 часов подвергнуть аресту представителей целой национальности. «Это была крупномасштабная операция, — вспоминает бывший лейтенант НКВД Никонор Перевалов<sup>54</sup>, принимавший участие в акции. — Крым — обширная область, и для выселения татар потребовалось большое количество людей». Приблизительно 23 тысячи солдат и офицеров войск НКВД приняли участие в этой беспрецедентной по масштабам акции, и, как это уже имело место в Восточной Польше в 1940 году, НКВД предварительно (за несколько недель до начала депортации) провел скрытую разведку в регионе. На вопросы местных жителей, мол, почему в Крым стянуто столько войск, хотя это уже глубокий тыл, сотрудникам НКВД было приказано отвечать, что, дескать, речь идет об «отпускниках с фронта».

На рассвете 18 мая 1944 года подразделения НКВД заняли все татарские селения. «Прибыв на место, я постучал в дверь [первого дома], — рассказывает Никонор Перевалов. — Хозяева зажгли свет и спросили: “Кто там?”» Перевалов ответил, что он — представитель советской власти, и потребовал немедленно отпереть дверь. Войдя в дом, он зачитал приказ об их высылке: «Они, конечно, тут же раскричались, расплакались, люди были сильно напуганы. Но сопротивления не оказали, попыток к бегству не предпринимали, а повиновались нам». Перевалов признается, что ему «было не по себе» видеть перед собой совершенно деморализованных людей:

«В личном плане я им сочувствовал, потому что, например, одну пожилую женщину вообще пришлось нести

к грузовику на носилках... Она была настолько слаба, что даже говорить не могла. Только лежала не шевелясь. Дряхлая старушка». Все прекрасно понимали, что эта больная старая женщина уж никак не могла сотрудничать с немцами. «Та старушка была ни в чем не виновата, — подтверждает Перевалов. — Большинство людей вообще были невиновными — я открыто заявляю об этом».

Кебир Аметова<sup>55</sup> была совсем молодой девушкой, когда сотрудники НКВД депортировали ее и всех остальных членов ее семьи. Отец Кебир по иронии судьбы был на фронте, сражаясь в рядах Красной Армии. Но это было пустым звуком и для Сталина, и для сотрудников НКВД. Как было пустым звуком и то, что Кебир в годы оккупации подвергала себя смертельному риску, вместе с матерью помогая местным партизанам: «Мы всегда кормили партизан, если они проходили через селение, — я всегда давала им пироги. Однажды они зашли, и мать пригласила их за стол. И тут через окно они увидели, как к дому направляются немцы. Партизаны быстро выскочили через окно в сад и спрятались в колодце, где оставались до ухода немцев. Если бы немцы нашли партизан, нас бы всех расстреляли».

Но 18 мая ничто подобное НКВД не интересовало — главным было то, что семья Аметовых — мать Кебир, три ее сестры и брат — были в списке подлежащих высылке крымских татар. «Пришли двое солдат, мужчины средних лет, — вспоминает Кебир. — Они велели нам собраться, дав на сборы 15 минут, и покинуть жилище». Ее мать «плача, заметалась по дому», пытаясь взять хоть что-то из нажитого: «Крики, плач... У нас стояло кипяченое молоко в котле на подставке. Мать спросила солдат, можно ли дать детям молока. Тогда он [один из солдат] ударом ноги опрокинул котел, и молоко пролилось на пол. Так что молока нашим детям не полагалось».

Солдаты НКВД тогда искали в доме золото – татары считались людьми зажиточными, а раз так – у них наверняка где-то должно было быть припрятано золото или ювелирные изделия из него. Семья Аметовых держала золото под печкой в кухне, но сотрудники НКВД так ничего и не нашли. Зато «конфисковали» швейную машину.

Семью согнали к расположенному неподалеку мусульманскому кладбищу, где стояли грузовики. Там располагался сборный пункт – пригнали людей и из близлежащих селений. Всем было велено ждать. Снова крики, плач. «Я не понимала тогда, за что с нами так обращаются, – говорит она. – Мы были детьми – как мы могли понимать? Мы и сегодня не понимаем, за что нас решили наказать... Я ни в чем не была виновата. А в чем были виноваты старики и дети? Что мы сделали такого, что нас выгнали из дома, дав на сборы 15 минут? Разве можно за эти 15 минут подготовиться к отъезду?»

Почти весь день людей продержали на кладбище. Многим, в особенности детям, захотелось справить естественные потребности. Сотрудники НКВД наотрез отказались выпустить людей, включая и детей, за пределы кладбища, дескать, справляйте нужду на месте. Но люди мусульманской веры не могли осквернить место захоронения своих предков, считавшееся для мусульман священным местом. «Мы, дети, вынуждены были оправляться на кладбище...»

Только ближе к вечеру солдаты войск НКВД стали рассаживать людей по грузовикам, после чего довели их до ближайшей железнодорожной станции, где погрузили в вагоны для перевозки скота. Все происходило очень быстро – солдаты действовали жестоко. На то, что члены одной и той же семьи оказались в разных вагонах, внимания не обращали: «Они (сотрудники НКВД) бро-

сали вещи в один вагон, а самих людей вталкивали в другой. Все перепуталось, ничего нельзя было понять. Дети оказывались в одном вагоне, родители в другом... Ну, а наша мама не дала им нас от себя оторвать — и мы остались все вместе. А нас, детей, когда рассаживали по вагонам, просто хватали за шиворот и швыряли... Вообще, обращались с нами как со скотом, им было наплевать, что мы дети».

В этих вагонах незадолго до описываемых событий перевозили скот, пол был в соломе, повсюду блохи, вши. «Вонь стояла невыносимая, — вспоминает Кебир. — Ужас, как воняло — кошмар...»

Когда поезд стал набирать ход, люди слышали, как в селениях воет брошенная скотина. Еще совсем недавно татары отпраздновали окончание оккупации Крыма и ждали, что скоро все войдет в колею. А теперь их везли в товарных вагонах, как скот, неизвестно куда.

Но Кебир, которую вместе с сестрами, братом и матерью, заставили пройти через адовы муки, переполняет лишь одно чувство — чувство мести: «Если бы я встретила того солдата [кто выгнал ее и ее семью из дому], я бы его на куски разорвала... Не знаю, что сделала бы с ним... И награды бы посрывала с груди... Его место на фронте, с врагом сражаться, а не с женщинами, стариками и детьми».

Одиннадцатилетняя тогда Мусфира Муслимова<sup>56</sup> — еще одна крымская татарка, которую ребенком вместе с семьей депортировали в ходе акции 18 мая 1944 года: «Многие тогда говорили: “Конечно, товарищ Сталин не знает об этом. Если бы Сталин узнал [об этом], ничего подобного не случилось бы”... Сталин освободил нас от немцев, и поэтому люди верили в него».

Если массовая высылка задумывалась как акт мести пособникам оккупантов из числа татар, цели она не до-

стигла. Многие из татар, служивших врагу, просто отступили вместе с немцами, а остались обычные, ни в чем не повинные люди. И среди высланных НКВД были около 9 тысяч татар, служивших в Красной Армии, к ним следует прибавить и свыше 700 членов ВКП (б)<sup>57</sup>.

Неудивительно, что сама по себе, напрочь лишенная логики природа депортаций заставила некоторых политологов подозревать некие скрытые мотивы<sup>58</sup>. Согласно одной из версий — отношение Советов к Турции. Сталин не делал секретов из своего стремления оказывать как можно большее влияние на Дарданеллы, пролив, связывавший Черное море со Средиземным. Испокон веку этим узким морским проливом управляла Турция — страна, которая, к великому неудовольствию союзников, сохраняла нейтралитет во время войны. Советы замыслили разместить в Дарданеллах военные базы, а заодно прибрать к рукам часть территории Турции. Преследование крымских татар, имевших традиционные исторические связи с турками, замыслилось как часть антитурецкой кампании в СССР. Соответственно и представители других национальностей (чеченцы, ингуши) также были высланы, предположительно, по сходным антитурецким мотивам.

Данная версия не лишена интереса, однако почти наверняка ошибочна. В соответствии с ней: депортация крымских татар — часть обширной программы дискриминации этнических меньшинств Советского Союза и вряд ли имеет отношение к бесспорному стремлению Советов оказать давление на Турцию. Например, 28 декабря 1943 года, за более чем четыре месяца до высылки крымских татар, НКВД депортировал около 100 тысяч калмыков. Потомки кочевых монголов, сотнями лет ранее заселявшие степи, калмыки проживали южнее Сталинграда на продуваемой всеми ветрами равнине, про-

стирающейся до самого Каспийского моря. Как и крымских татар, их обвинили в пособничестве гитлеровцам, затем подвергли массовой высылке, причем под высылку попадали даже заведомо неспособные ни к какому «пособничеству» лица. Алексей Бадмаев<sup>59</sup>, например, сражался в рядах Красной Армии на Сталинградском фронте и за мужество был удостоен боевых наград. В январе 1944 года он находился в госпитале на излечении после ранения. Ему было приказано немедленно явиться на железнодорожную станцию, откуда он был отправлен на Север в трудовой лагерь на Урале. Там он своими глазами видел, как другие калмыки, тоже бывшие солдаты Красной Армии, десятками гибли от голода и болезней. Все это казалось чистым безумием. «Мне как никому известно, — вспоминает он, — что на фронте ощущалась острая нехватка солдат, и снять этих людей с фронта и отправить в ссылку было просто глупо. И, во-вторых, высылка всей нации, вне сомнения, была преступлением. Наказать даже одного невинного человека — преступление, но выслать всю нацию и обречь ее на верную гибель, я даже не знаю, с чем это сравнить».

Поэтому высылка крымских татар была частью политики возмездия, в результате проведения которой целые этнические группы были удалены из мест, где веками проживали, и сосланы в трудовые лагеря и колхозы в самых отдаленных районах Советского Союза. Точное число высланных в ходе проведения упомянутых акций так и не установлено до сих пор, известно лишь то, что сосланных было намного больше миллиона человек, и, вполне возможно, достигало даже двух миллионов.

Каким бы бесчеловечным поводом ни руководствовались те, кто принимал решение о вышеперечисленных депортациях, истинная причина их была проста — подавить всякое инакомыслие и отомстить. В ходе ак-

ций Сталину и Берии было совершенно безразлично, сколько невинных людей пострадали при этом. «Если бы Сталин стал искать виновных и невинных, — считает Владимир Семичастный<sup>60</sup>, возглавлявший КГБ в послевоенные годы, — ...ему бы и двадцати лет не хватило бы. Шла война, и если бы Сталин начал заниматься расследованиями, то он, наверное, и до сих пор не закончил бы их. Сталин решал проблемы по-своему... И сослать миллион человек было для него раз плюнуть».

Разумеется, утаить подобные массовые депортации от Запада было невозможно. Но, как и в случае с Катынскими злодеяниями, ни британцы, ни американцы не считали целесообразным поднимать шум по этому поводу. И все же была группа людей, которые стали жертвами депортационной сталинской политики, но вот об их участии молчать Западу было уже просто нельзя, не в последнюю очередь потому, что одновременно с высылкой крымских татар в Узбекистан эти люди помогли союзникам одержать победу в одной из жесточайших битв Второй мировой войны.

### **Поляки и Монте-Кассино**

Как мы убедились, Черчилля тревожил ход операции союзников в Италии во время Тегеранской конференции. Ибо подобный удар в «мягкое подбрюшье» европейских стран «оси» не планировался вовсе. И самую серьезную проблему, с которой столкнулись союзники, представляло географическое положение. Суровая реальность первых, после высадки в сентябре 1943 года в Салерно, месяцев состояла в том, что рельеф местности и ландшафт никак не были приспособлены для проведения наступательной операции, целью которой была столица Италии Рим. Сочетание обрывистых гор и рек с



быстрым течением в значительной степени затрудняло продвижение войск. «Овладение одним горным массивом за другим тактического преимущества не дает, — писал генерал-майор Фредерик Уокер, командующий американской 36-й дивизией, в своем дневнике 22 декабря 1943 года. — Потому что непременно отыщется еще один горный массив, удерживаемый немцами»<sup>61</sup>. Союзники на своем опыте убедились в верности суждения Наполеона: «Италия — сапог. И надевать его полагается сверху»<sup>62</sup>.

Немецкая пропагандистская листовка того времени суммирует проблемы, с которыми столкнулись союзники. Над заголовком «Горы и долины “солнечной Италии” желают видеть вас» изображена горная цепь, собравшаяся проглотить союзные войска — а самая высокая из них носит название «КАССИНО»<sup>63</sup>.

Монастырь Монте-Кассино, основанный в VI столетии Св. Бенедиктом, возвышался на самом пике горы над городком Кассино. Гора играла ключевую роль в немецкой линии обороны южнее Рима — «линии Густава» — и перед тем, как повернуть на север к столице, союзники намеревались выбить с нее неприятеля и подавить линию обороны. Замысел этот обернулся одним из самых кровопролитных сражений, выпавших на долю союзных войск в ходе Второй мировой войны.

Сложности географического положения юга Италии — столь облегчавшие оборонительные задачи, стоявшие перед немцами, — лишь подстегивали нетерпение Черчилля. Он поставил на кон едва ли не весь свой политический капитал с целью добиться поддержки вторжения в Италию, а теперь понимал, что шансы на победу стремительно уменьшаются. Британский премьер был страшно разочарован неудачей высадки войск союзников в Анцио к северу от «линии Густава» 22 янва-

ря 1944 года. Упомянутая операция, для которой Черчилль выбил дополнительные десантные суда, все же уговорив коллег в Тегеране, должна была ознаменовать удар по Риму из тыла немецких линий обороны. Но план провалился вследствие умелой и оперативной перегруппировки немецких сил. Известно изречение Черчилля по поводу неудавшейся операции под Анцио: «Мы рассчитывали вышвырнуть дикую кошку на берег, но все, что получили, был выбросившийся на берег кит»<sup>64</sup>.

Все это предполагало наличие колоссального давления на силы союзников, наступавшие на Рим. Но упомянутое давление было ничем в сравнении с предстоявшим штурмом Монте-Кассино. И далеко не последним из негативных факторов был психологический. Следует упомянуть, что монастырь был объявлен немцами святыней, и нацисты утверждали, что никому этот оплот не взять — он неприступен в принципе. Были опасения, что немцы разместят в стенах монастыря корректировщиков артогня — а разведка союзников докладывала, что они уже разместили их там (хотя последующие события доказали, что немцы придерживались данного ими обещания и не стали размещать войска в монастырских стенах).

И 15 февраля 1944 года была предпринята одна из самых спорных военных акций — союзники подвергли бомбардировке с воздуха монастырь Монте-Кассино. «Мы не ожидали, что они будут бомбить его, — утверждает Йозеф Кляйн<sup>65</sup>, в те годы 23-летний немецкий парашютист, — потому что, в конце концов, это был самый древний в Европе монастырь... и мы были поражены, увидев подлетающие самолеты... И едва бомбы отделились, мы поняли, что они падают на монастырь. Мы отказывались верить своим глазам. Мы были изумлены. Мы никогда не думали, что подобное возможно.

Поскольку [даже при том, что] у немцев была репутация людей отнюдь не набожных — они никогда бы не поверили, что христиане способны на такое. Никогда!»

Бомбардировка с воздуха в сочетании с артобстрелом превратила монастырь в грудку щебня. «Нью-Йорк таймс» описала операцию как «страшнейшую атаку с воздуха и артиллерийский обстрел, которым когда-либо в ходе войны подвергалось одно-единственное здание»<sup>66</sup>. Между тем превращенный в руины монастырь предоставил немцам весьма благоприятные условия для обороны. «Неразрушенное здание... обычно оборонять не так просто, — поясняет Кляйн. — Мы не стали бы укрываться в здании, будь оно не разрушено — в нем вас тут же засекут, [но] как только здание превращается в грудку камня, бойцы, укрываясь среди них, как бы становятся частью местности. Пока этот монастырь оставался цел и невредим, с него было мало проку... [Но] как только его разрушили, мы немедленно заняли руины... Мне несколько раз пришлось держать там оборону, и, надо сказать, позиции были лучше некуда».

В общей сложности союзники были вынуждены проводить операцию по захвату Монте-Кассино в четыре отдельных этапа. Первый этап начался за месяц до бомбежки монастыря. 17 января части британского X корпуса форсировали реку Гарильяно на левом фланге и при поддержке американской 36-й дивизии преодолели еще одну водную преграду — реку Рапидо. Обе попытки потерпели неудачу. Неблагоприятные погодные условия, отсутствие поддержки танковых частей, гористый ландшафт и ожесточенные контратаки немцев сдержали союзников. Последующие бои на склонах холмов под Монте-Кассино результатов не дали, и наступление решили прекратить. Тогда союзники понесли куда более серьезные потери, чем оборонявшие монастырь

немцы – например, одна американская дивизия потеряла убитыми свыше 2 тысяч солдат и офицеров, что составило приблизительно 80% личного состава ее боевых частей<sup>67</sup>.

Вторая попытка захвата Монте-Кассино была предпринята сразу же после бомбежки, но результаты ее были ничуть не лучше первой. Подразделения Королевского Сассекского, Раджпутанского стрелкового полков и гуркхов попытались оттеснить немцев, но без видимого успеха. И третье по счету сражение, начавшееся 15 марта с участием новозеландских войск, также завершилось поражением британских частей. Обороняющиеся – в особенности 1-я парашютная дивизия, которую британский генерал Александер назвал «лучшей дивизией немецкой армии»<sup>68</sup> – оказала упорное сопротивление. Йозеф Кляйн входил в состав «элитной» группы, «сформированной из солдат, побывавших на Крите, и позже – в России». И он считает, что одним из самых важных преимуществ немцев были их исключительно выгодные оборонительные позиции: «Я тогда думал: Что за ерунда! Как можно гнать людей на эту гору [в атаку] – она же крутая – уклон 45 градусов! И мы часто спрашивали себя, почему они выбрали именно этот способ... Они всегда атаковали... на самой жуткой местности».

Последняя, и заключительная, попытка захвата Монте-Кассино была предпринята в мае 1944 года. Без малого двухмесячная пауза между третьим и четвертым штурмом дала союзникам возможность дожидаться более благоприятной погоды и развернуть силы для нанесения мощного удара по оборонительным позициям немцев. На этот раз задача по захвату Монте-Кассино была поставлена II польскому корпусу под командованием генерал-лейтенанта Владислава Андерса. Им приказали

«изолировать» монастырь, атакуя сильно укрепленные горные позиции вокруг монастыря. Андерс сразу же понял, что для поляков захват «высоты Монте-Кассино» станет не только чисто военной операцией: «Я понял, что потери будут ужасными, но также понял и важность захвата Монте-Кассино для союзников, а еще больше — для поляков, поскольку успех наступления раз и навсегда положит конец лживым домыслам Советов о том, что, мол, поляки не желают сражаться против немцев. Эта победа придала бы мужества движению Сопротивления в Польше, а польские солдаты покрыли бы себя неуязвимой славой. После недолгих размышлений я ответил, что готов выполнить поставленную задачу»<sup>69</sup>.

11 мая польские части предприняли первую атаку Монте-Кассино, действуя в ходе общего наступления союзных войск на «линию Густава». Для бойцов армии Андерса эта атака стала «боевым крещением», как вспоминает Веслав Вольвович<sup>70</sup>. Вольвович, тогда 22-летний младший офицер 16-го Львовского стрелкового батальона, попал в Италию окольными путями. Осенью 1939 года он был захвачен советскими властями под Львовом во время попытки бежать на запад страны, чтобы присоединиться к частям Войска польского. После допроса в НКВД в печально известной львовской тюрьме Бригидки его весной 1940 года на поезде отправили в Советский Союз, где, приговорив к пяти годам лагерей, отправили на Урал. После нескольких месяцев работ на лесоповале, уже после немецкого вторжения в Советский Союз, он был освобожден и вступил в армию Андерса. Впоследствии Веслав отбыл из Советского Союза в составе II польского корпуса и прошел обучение сначала в Ираке, а затем в Палестине. Он рассказывает, как «тысячи орудий стали обстре-

ливать Монте-Кассино», и первая волна атаковавших польских солдат стала взбираться по горам. «Монте-Кассино вошло в историю как очень тяжелое сражение, — вспоминает Вольвович. — Это так и есть. Представляете себе скалы? И когда немцы открыли по нам огонь, не было ни травинки, ни кустика, чтобы скрыться, одни только скалы и камень... Это было очень трудно... Когда немцы из пушек били по скалам, камень разлетался на куски». И хотя поляки продвигались в темноте, отсутствие естественных укрытий и смертоносный огонь немцев сверху привели к большим потерям среди атаковавших. И все же, невзирая ни на что, польским бойцам удалось достичь гребня горы, смежной с Монте-Кассино, где они вступили в рукопашную схватку с немцами.

Томаш Пьесаковски<sup>71</sup> узнал о бойне в горах вокруг Кассино на минометной позиции, он командовал минометным взводом, располагавшимся в ближнем тылу польских войск сразу за линией обороны. Как и Вольвович, он прибыл из Восточной Польши, на которую теперь заявил притязания Сталин, а раньше также был заключен в тюрьму в Советском Союзе. Он описывает сражение у Монте-Кассино, как «ад на земле», когда поляки попытались отбить высоту у немцев. «Когда [после боя] я пошел на кладбище — на временное кладбище, — чтобы разузнать, где могилы моих боевых товарищей, я глазам не поверил! Там было столько могил!»

Поляки не сумели удержать захваченный участок, и Андерс был вынужден отдать приказ отступить. Как и прежде, защитники Монте-Кассино — теперь уже их стало примерно на тысячу меньше — доказали, что еще достаточно сильны. Андерс понял, атака захлебнулась: «Вдруг вражеские солдаты устремились из пещер, в которых укрывались, и провели серию мощных контратак при

поддержке прицельного артогня... вскоре стало ясно, что было куда легче захватить цели, чем удержать их»<sup>72</sup>.

И хотя первая атака потерпела неудачу, поляки заслужили уважение противника. «Они были бесстрашные солдаты, — утверждает немецкий парашютист Йозеф Кляйн. — Они были самыми храбрыми из всех фактически. В них словно был двигатель, заставлявший их фанатично сражаться... Они смотрели смерти в лицо, и все же шли вперед, другие в бою вели себя иначе... Это ведь грозная вещь — когда боец, следуя чувству долга, невзирая ни на что, идет в атаку... Так и действовали поляки. Ими руководило одно: “Мы обязаны пробиться. Мы обязаны доказать союзникам, что достойны сражаться вместе с ними. Мы обязаны прорваться”... Мы даже не верили, что люди способны на такое».

16 мая поляки предприняли новую попытку атаковать, и теперь Веслав Вольвович вместе со своим отделением тоже участвовал в бою: «Многие были убиты, еще больше ранены. Как командир отделения, я пытался им помочь, как мог... Когда у тебя под командованием люди, ты уже о себе не думаешь. Думаешь, конечно, но как-то не всерьез, ты думаешь, что ты неуязвимый, что ничего с тобой не случится. Но на деле, конечно же, так отнюдь не всегда бывает».

Поле боя представляло собой ад. Вольвович «чувствовал смрад разлагавшихся тел... погибших товарищей, солнце пекло нещадно. Раздувшиеся трупы напоминали бочки. Повсюду был этот ужасающий смрад. Даже потом, когда все кончилось, нам казалось, что мы все равно чувствуем его. Это как непрекращающийся кошмар... повсюду был этот трупный смрад».

На этот раз поляки удержали позиции, невзирая на яростное сопротивление немцев, ряды которых заметно поредели. На другом участке фронта союзным вой-

скам удалось продвинуться через долину Лири, что дало им возможность окружить Монте-Кассино, и к 17 мая гора была в кольце союзников, и командующий немецкими силами фельдмаршал Кессельринг приказал 1-й парашютной дивизии отступить.

Оставшиеся на Монте-Кассино немецкие солдаты — тяжелораненые и не подлежавшие эвакуации — сдались полякам утром 18 мая. Без нескольких минут десять солдаты Андерса подняли над руинами монастыря импровизированный бело-красный польский флаг: это была заслуженная победа. Но победа эта обошлась полякам дорогой ценой. Несколько тысяч их погибло или было ранено в ходе сражения за Монте-Кассино. И большинство этих поляков — как и большинство солдат в армии Андерса — прибыли из областей Восточной Польши, которые Сталин теперь считал своими.

Сражаясь и погибая на скалистых горах и в ущельях Монте-Кассино, эти поляки надеялись, что жертвуют собой ради свободы и независимости Польши. Однако, как выяснилось, эти люди трагически ошибались.

### **Долгожданное открытие второго фронта**

В половине восьмого утра 6 июня 1944 года танки британского 13-го (18-го) гусарского полка продвигались вперед по песчаному побережью Уистреэма в Нормандии. Они были частью сил вторжения союзников численностью свыше 160 000 человек, высадившихся на пяти прибрежных участках, носивших кодовые названия «Юта», «Омаха», «Джуно», «Голд» и «Сворд». Наступил День «Д» — день высадки первого морского десанта на побережье Франции за последние века. Он также ознаменовал открытие второго фронта, то самое, к которому призывал Сталин еще с лета 1941 года — полагая,



что Рузвельт, в соответствии с данным им обещанием, откроет его еще в 1942 году.

«Высадка шла непрерывно, и внезапно мы услышали, как от стальной обшивки наших десантных кораблей со свистом рикошетят пули, — вспоминает Сид Саломон<sup>73</sup>, принимавший участие в десантной операции на участке побережья “Омаха”, где союзники столкнулись с наиболее ожесточенным сопротивлением. — И один парень сказал: “Немцы палят по нам”. Мы различали их в отдалении выше прибрежных утесов. Что-то шлепнулось в воду, раздался взрыв, меня отшвырнуло, и до меня донесся чей-то крик: “Продолжать движение! Продолжать движение!..” Протянув руку, я ухватил кого-то из наших за куртку... и вытащил его из воды. Вот тогда мина и упала позади меня — взрывом меня снова сбilo с ног, и я подумал: “Все! Меня убили!” Я увидел, что на побережье лежат несколько человек наших... Немцы забрасывали нас минами, поливали пулеметным и автоматным огнем... Это был ад крошечный...»

Однако на других участках побережья высадка проходила спокойнее. «Я никогда не забуду, как мы разговорились с одним командиром роты и пришли к выводу, что наши шансы уцелеть ничтожны, — говорит Питер Мартин<sup>74</sup>, в тот период майор Чеширского полка. — Но все, оказывается, было куда спокойнее, и мы не были под огнем противника... и это был один из тех редких на войне моментов, когда все на самом деле идет в соответствии с намеченным планом».

В то время как солдаты частей западных союзников сражались за плацдарм на побережье в Нормандии, Красная Армия готовилась к нанесению сокрушительного удара на центральном участке фронта с целью освобождения Белоруссии и изгнания врага с территории

Советского Союза. Эта операция, согласованная еще в Тегеране, по своим масштабам затмила день «Д». На Западном фронте в День «Д» союзникам противостояли 30 немецких дивизий, а против Красной Армии на Восточном немцы сосредоточили до 165 дивизий. Свыше 2 миллионов солдат и офицеров Красной Армии приняли участие в июньском наступлении под кодовым названием «Операция Багратион». Название было предложено Сталиным, решившим увековечить память героя Отечественной войны 1812 года князя Багратиона, грузина по происхождению, сражавшегося против Наполеона.

«Подготовка к операции “Багратион” велась очень тщательно, – вспоминает Вениамин Федоров<sup>75</sup>, тогда 25-летний солдат 77-го гвардейского стрелкового полка. – На направлении главного удара Советский Союз сосредоточил почти все имеющиеся ресурсы: огромное количество артиллерийских орудий, танков и многочисленные пехотные соединения». 22 июня 1944 года (в день третьей годовщины немецкого вторжения) Федоров с некоторой долей страха наблюдал артиллерийскую подготовку: «Впереди сплошные взрывы, черные фонтаны и взлетающие вверх комья земли... И постоянные вспышки, словно кто-то вдалеке спички зажигает. Вспышки, вспышки... Одна вспышка, другая. После артподготовки в бой вступила авиация, самолеты на малых высотах неслись вперед. Мы даже приободрились, почувствовали, что у нас военной техники намного больше».

Что же касалось немцев, то операция «Багратион» стала очередным поражением вермахта, причем поражением, сокрушительным даже в сравнении со Сталинградской битвой. Семнадцать немецких дивизий были полностью уничтожены, еще 50 дивизий понесли ужа-

сающие потери – до 50% личного состава. Именно на Гитлере лежит ответственность за это поражение. Теперь он уже не доверял своим генералам, как в первые месяцы вторжения в Советский Союз в 1941 году. Теперь он сам, взяв на себя роль главнокомандующего, отдавал напрямую приказы командующим 9-й армии, на которую и пришелся основной удар в ходе выполнения операции «Багратион», и эти приказы все сильнее и сильнее шли вразрез с требованиями современной войны. Одним из примеров подобных гитлеровских приказов был о создании так называемых *Festeplätze* или крепостей, задачей которых было превратиться в неприступные бастионы обороны в немецком тылу по мере продвижения частей Красной Армии.

Незадолго до начала «операции Багратион» генерал Йордан, командующий 9-й армией, писал: «...Армия считает, что даже в сложившихся обстоятельствах возможно остановить вражеское наступление, но никак не в соответствии с существующими директивами, требующими упорного сопротивления... Армия рассматривает приказы о создании *Festeplätze* наиболее опасными. Армия с горечью предвидит исход грядущей битвы, сознавая необходимость повиноваться приказам... которые она просто не может считать правильными и которые в наших более ранних, победоносных кампаниях становились причиной поражений противника»<sup>76</sup>.

Понимание того, что немцы своими руками ковали свое поражение, достигло даже низшего командного уровня. «Иногда... бывало, что получишь настолько бессмысленный приказ, – говорит Гейнц Фильдер<sup>77</sup>, тогда 22-летний рядовой одной из частей 9-й армии, – а он – из штаба дивизии или даже корпуса. Я помню, как поступил один приказ о том, чтобы отбить населенный пункт у врага, и молодой лейтенант отказался ата-

ковать, потому что больше половины его ребят были перебиты... В конце концов атаковать все же пришлось, потом опять и опять... До тех пор, пока вообще никого в живых не осталось. Но иди докажи этим тупицам из Генштаба... Им-то что – втыкай да втыкай себе флажки в карту, и наплевать, какими потерями это обернется».

Фильдер был одним из тех, кому было приказано защищать печально известные *Festeplätze* в районе Бобруйска уже после того, как по району волной прокатилось советское наступление: «Повсюду трупы... Убитые, раненые, люди заходятся криками о помощи, повсюду снуют санитары... А скольких людей заживо погребло под развалинами землянок и в траншеях. Ты уже ничего не чувствовал – ни голода, ни холода, ни жажды, ни света, ни тьмы, ничего. Даже нужду справиться и то не хотелось. Я не могу объяснить это. Наверное, из-за того страшнейшего напряжения, в котором мы все пребывали... Все вокруг было просто сплошное дерьмо... Сплошное дерьмо».

Только после того, как их *Festerplatz* был полностью окружен и подвергнут непрерывному артобстрелу, им, наконец, позволили отступить, попросту говоря, разбежаться: «И в конце концов поступил последний приказ: уничтожить транспортные средства, пристрелить лошадей, взять с собой как можно больше боеприпасов и оружия. И – каждый за себя. То есть спасайся, кто может».

Фильдер вместе с группой немецких солдат попытался выйти из окружения частями Красной Армии и пробиться к отступавшим немецким частям. Они направились «на запад – вслед за заходящим солнцем». Он видел картины, которые преследуют его и поныне: «Там был один солдатик, молодой, совсем мальчишка, уселся на толстенной березе – знаете, в России полным-полно берез. Так вот, сидит, а из распоротого живота кишки бол-

таются. Кричит: “Пристрелите меня! Пристрелите!” — а все, как услышат, так бегом от него. Я остановился — но так и не смог в него выстрелить. Потом прибыл еще один молодой лейтенант с саперами. Тот, сняв фуражку, выстрелил ему в висок из своего вальтера. И вот тогда я разревелся. Я подумал, узнай его мать о том, что с ним произошло, а ведь не узнает никогда, просто придет письмо из части: “Ваш сын пал на поле боя за Великую Германию...”»

В июле 1944 года немецкие войска потеряли на Восточном фронте около 200 тысяч человек убитыми и ранеными; в августе их число достигло уже 300 тысяч. Всего немецкие потери в результате проведения операции «Багратион» составили около 1,5 миллиона человек. Никогда еще в ходе войны Гитлер и его генералы не терпели подобного разгрома.

Красная Армия в ходе стремительного броска 3 июля 1944 года освободила Минск, столицу Белоруссии. «Боевой дух немецких войск неуклонно падал, вера в победу улетучивалась, — вспоминает Федор Бубенчиков<sup>78</sup>, в тот период 28-летний офицер Красной Армии. — Немцы уже больше не кричали: “Хайль Гитлер!”, напротив, сдаваясь в плен, они вопили “Гитлер капут!”»

Бубенчиков говорит, что чувствовал, как будто он «летел»: «От осознания победы у тебя словно крылья вырастают! Все это чувствуют, от солдата до генерала».

Операция «Багратион» — которая не настолько известна на Западе, как должна была бы, — ознаменовала успешный финал реорганизации Красной Армии. Возможно, не в области тактики и стратегии, но уж точно в области вооружений. Советы сумели увеличить производство военной техники — нередко в сложнейших обстоятельствах — и теперь по всем показателям превос-

ходили немецкую армию. Теперь положение вещей изменилось, например, в 1942 году в СССР было произведено 25 000 самолетов — на 10 000 больше, чем в Германии за тот же год. А в 1943-м и 1944 годах в Советском Союзе было произведено танков и САУ намного больше, чем у противника.

Когда Сталин начинал в конце 1920-х годов индустриализацию — с принятием первого пятилетнего плана, — он уже тогда поставил цель скорейшего резкого увеличения производства. Теперь же Советский Союз получал также помощь от западных союзников — по большей части от Соединенных Штатов. И хотя эта помощь занимала лишь небольшую долю от общего объема производимой в СССР продукции, она была чрезвычайно важна с точки зрения получения продуктов западной технологии — например, на базу грузовиков «Студебекер» устанавливались ракетные установки «Катюша».

Но где-то еще в Советском Союзе, в то время как Красная Армия победоносно завершала операцию «Багратион», в жизни очень многих наступал новый и куда более тяжкий период.

### **Татары в изгнании**

Большинство татар, депортированных войсками НКВД из Крыма, отправили в Узбекистан. И об их участи мы не имеем права умолчать, поскольку она представляет собой худший из примеров безжалостных этнических чисток в истории, но еще и потому, что наглядно показывает позицию советского руководства на тот момент, когда Запад намеревался обсудить со Сталиным судьбу тех восточноевропейских стран, которым уже очень скоро предстояло оказаться под пятой Советов.

Отправка в Узбекистан длилась несколько недель, людей перевозили в товарных вагонах, специально реквизированных для этих целей органами НКВД. Условия были чудовищными — большое количество депортируемых — в особенности пожилых, а также детей и подростков — умерли в пути<sup>79</sup>. По различным оценкам, около 7 тысяч крымских татар так и не доехали до Узбекистана. «В нашем вагоне... умер один грудной ребенок, — вспоминает Мусфира Муслимова, которой на момент высылки исполнилось 11 лет. — И взрослые нам запрещали смотреть на него. Тело ребенка пришлось оставить на одной из промежуточных железнодорожных станций».

Но и добравшись до «спецпоселений» в Узбекистане, они столкнулись с враждебным отношением представителей местного населения. «Узбекам было сказано: “Люди, которых доставили сюда, — людоеды, — рассказывает Мусфира. — Они поедают людей, особенно детей. Не подпускайте их и близко к своим детям [узбекским детям]! Они высасывают у детей кровь”. И люди верили этому. И узбеки, да и мы, татары, были в своем большинстве людьми малограмотными».

«Узбеки нас не любили, — подтверждает Назлахан Асанова<sup>80</sup>, тогда 14-летняя девочка. — [Они имели обыкновение говорить]: “Убирайтесь отсюда, предатели!” А мы разве были предателями? Мы были честными людьми... Это был самый настоящий ужас. Нет сил даже описать его. Бумаги не хватит, чтобы описать все, что мы пережили».

Но даже если позабыть о ненависти местного населения, жизнь крымских татар в Узбекистане все равно была беспросветным мраком. Из одного из самых благоприятных в климатическом отношении регионов — с умеренно-субтропическим климатом, с плодородными

землями, на которых произрастали виноград и фрукты, они попали в засушливую, дикую местность с почвой, на которой мало что могло вырасти. Летом температура в Узбекистане часто держалась выше отметки в 40 градусов Цельсия, а зимой нередко падала до минус 20.

«Спецпоселения» для татар были определены НКВД. Они мало чем отличались от трудовых лагерей – впрочем, в колючей проволоке особой нужды не было. Сама местность, ее климатические условия плюс постоянное присутствие охранников НКВД стало для крымских татар тюрьмой. Они были обречены на тяжелый принудительный труд: на уборке хлопка, чернорабочими на заводах и фабриках, и, невзирая на все их попытки выжить, условия были таковы, что очень многие умирали.

Ощущалась острая нехватка лекарств и продуктов питания. «Они заставляли нас работать по 10 часов в день – и всегда на самых тяжелых сельхозработах, – вспоминает Рифат Муслимов, которому в 1944 году было 12 лет. – Понятно, что начались болезни. Самой опасной была дизентерия, как следствие грязной воды. Люди [также] стали умирать от малярии. Лекарств не было, врачей тоже, не говоря уже о больницах. И люди просто умирали. Неделю спустя умер мой дедушка. Сестра моей матери, моя любимая тетя, выдержала недели три, не больше. И однажды умерла, не выдержав этого климата – страшнейшей жары, вы понимаете... А когда мой брат [ему было пятнадцать лет] уже больше не мог работать, его избили, и мы пожаловались коменданту. Мы ему тогда сказали: “Смотрите, как ужасно избили его!” А тот: “Надо было не только избить его, а убить! Всех вас надо убивать!”»

Страдавших от постоянного недоедания татар нещадно эксплуатировали. «Моя двоюродная сестра, – рассказывает Рифат, – подошла к одному узбеку попро-



силь у него хлеба. А тот был женат. Он заманил ее к себе домой, там изнасиловал и дал ей пирожок. А она сочла это совершенно нормальным, потому что едва на ногах держалась от голода. Она была готова на все».

Большинство из высланных в Узбекистан татар были женщины и дети. И больше всего пострадали именно они – неудивительно – какие из детей чернорабочие?! Их матери часто просто не имели возможности работать, потому что нужно было заботиться о маленьких или грудных детях. И вскоре Кебир Аметовой, ее матери, трем сестрам и брату пришлось голодать: «Когда вы неделю куска хлеба не видели, ваша голова еще кое-как работает, но языком вы едва шевелите от слабости».

Мать Кебир продала все, что имела, чтобы купить еду для семьи – серьги и другие драгоценности, однако несколько месяцев спустя продавать было уже нечего. И младшая сестра Кебир, Зивер – которой на момент высылки было всего два с половиной года, – опухла от голода: «Моя сестра так опухла, что невозможно было даже понять, где лицо... Мы только по волосам определяли, где затылок, а где лицо». Зивер умерла от голода в возрасте трех лет. Ее мать обмыла тело дочери, завернула ее в кусок ткани, а затем всей семьей они в жесткой, неподатливой земле вырыли могилу и похоронили девочку.

Мать Кебир попыталась заработать на еду для семьи, выкапывая репу на колхозных полях, но зима выдалась холодной, и женщина отморозила ногу, нога воспалилась, покрылась незаживающими ранами. В отчаянии она сказала Кебир и ее брату, чтобы они оставили ее и пошли по деревням, может, кто-нибудь сжалится и приютит их. Кебир было всего 10 лет, когда она была вынуждена расстаться с матерью и пошла побираться. Им с братом, поскольку они были дети, удалось каким-то образом проскользнуть через контрольно-пропускной

пункт НКВД на границе колхоза и дойти до близлежащего леса. Здесь они встретили узбека, и тот сжалился над детьми. Он отвел их домой, накормил и сказал, что единственная возможность выжить — пойти с протянутой рукой. «Он нам объяснил, как и что мы должны говорить людям [попрошайничая], — вспоминает Кебир. — “Ради Христа, пожалуйста, дайте нам поесть — у нас нет отца, а мама больна”. И он сказал нам, куда пойти. Он сказал нам, что мы должны выжить, и всегда стараться выжить, чего бы это ни стоило. Он разъяснил нам, что нищенствовать — не воровать, и разве грех — попросить у людей еды... Вот мы и пошли побираться, умоляя людей накормить нас ради Христа. Бывало, что даже лгали и говорили, что мы сироты, что у нас нет ни отца, ни матери, и нам давали еду... и [тогда] мы приносили матери немного картошки или другой еды, которую нам давали».

Кебир вместе с братом спали где попало, зачастую даже в пустых бочках, но иногда узбеки — сельские жители — пускали детей к себе на ночь: «Когда они [сельские жители] раздевали нас и клали нашу одежду на печку для просушки, в ней было столько вшей, что и не описать словами!»

Хотя Кебир сумела выжить нищенствуя, права посещать школу она так и не получила и выросла неграмотной — что ей и по сей день крайне неприятно сознавать. Меня просто лишили детства, — считает Кебир. — Мы и жизни-то настоящей не видели... Только и ходили с протянутой рукой, не имея крыши над головой... Конечно, все это очень тяжело сознавать».

Представленные НКВД данные свидетельствуют о том, что 18 месяцев спустя после прибытия в Узбекистан свыше 17% крымских татар по разным причинам умерли<sup>81</sup>. Полный список жертв за весь период изгнания — официально продлившийся до 1989 года — содержит бо-

лее точные цифры. Некоторые исследователи считают, что почти половина крымских татар погибли в результате насильственных депортаций. Одно бесспорно — это деяние преступное, как и высылки других этнических групп, таких как чеченцы и калмыки, пострадавшие ничуть не меньше крымских татар, — и стоящее в одном ряду с худшими злодеяниями периода войны.

Даже сейчас, спустя много лет после изгнания, часть татар все еще верят, что Сталин «совершил ошибку», выслав их из Крыма. «Мы думали, что когда-нибудь нас вновь посадят на поезд, и мы сможем возвратиться к себе на родину... что кто-то убедил его [Сталина] так поступить с нами, что он не понимал, что делал, — говорит Рефат Муслимов. — Говорю вам, что люди даже собирали вещи, чтобы в любой момент быть готовыми к отъезду, они говорили: «Всё, мы уезжаем. Приказ уже отдан. Сталин уже отдал приказ, и мы ждем поезда».

Но ныне, уже точно зная, кто был ответственен за это преступление, татары обращают гнев на того, кто отдавал приказ на депортации и кто никогда и пальцем не пошевелил, чтобы спасти их, вернув в родные места, откуда они были изгнаны, — на Иосифа Сталина. «Это был мясник, — считает Муслимов. — Он погубил миллионы и миллионы людей. Мясник. Его нужно было судить. Люди забыли его, но из-за того, что он наделал, он должен быть судим. Я требую суда над ним! Пусть он умер, но его все равно надо судить. Он должен быть наказан!»

### **Возвращение Красной Армии**

Вслед за наступлением на фронте группы армий «Центр» в ходе выполнения операции «Багратион» Красная Армия продвигалась в Восточную Польшу и нанесла удар на Львовско-Сандомирском направле-

нии. В этой широкомасштабной наступательной операции было задействовано свыше миллиона советских солдат и офицеров 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева.

В июле 1944 года советские войска приблизились ко Львову, городу, захваченному ими в сентябре 1939 года в соответствии с пактом Молотова – Риббентропа. «В 1944 году, когда Красная Армия вернулась, все обстояло куда хуже, – считает Анна Левитская, в ту пору молодая девушка, жительница Львова. – Так как мы уже знали, каковы будут последствия прихода Красной Армии, мы ведь помнили массовые аресты в 1939–1940 годах... И с ужасом ждали ее возвращения».

Анна вспоминает одного старика, который пришел к ним в 1944 году и сказал: «Советы придут уже во второй раз. В тот раз все было еще ничего».

«Почему?» – спросили его.

«Потому что в первый раз они пришли и ушли. А сейчас придут и уже никогда не уйдут отсюда».

Вячеслав Яблонский<sup>82</sup> участвовал в крупномасштабном советском наступлении на Львов тем летом. Но он не был обычным солдатом: он состоял в элитном подразделении НКВД, и у него была четко определенная роль. Вместе с двумя десятками других сотрудников НКВД и группой красноармейцев он пробрался во Львов незадолго до того, как немцы оставили город. По глухим улочкам Львова на «Студебекере» они добрались до главного отделения львовского гестапо, благо искать не пришлось – немецкая тайная государственная полиция просто-напросто заняла здание, где прежде размещалось управление НКВД по Львовской области, а еще раньше – австро-венгерская спецслужба (сегодня в стенах этого же здания функционирует управление полиции независимой Украины).

Задача, поставленная Яблонскому и его товарищам, была предельно ясной и жизненно важной. Им предстояло захватить штаб гестапо еще до отхода немцев и завладеть сведениями о тех, кто сотрудничал с гитлеровцами.

Группа, в составе которой действовал Яблонский, прибыла как раз в тот момент, когда немцы спешно грузили папки с делами в кузова грузовиков. Бойцы группы перемахнули через стену, окружающую здание гестапо, в упор расстреляли немецких охранников и захватили грузовики. После этого они вбежали внутрь здания, спустились прямо в подвалы, где, как им было известно, хранились все документы разведки. Пока немцы в панике разбежались, сотрудники НКВД, без промедления овладев зданием, приступили к изучению обнаруженной документации. Они были заняты поисками тех, кто проходил у немцев как информатор. Яблонский также рассчитывал на помощь советских подпольщиков, располагавших сведениями о предателях и просто «антисоветски настроенных элементах»: «От них мы и узнали об опасных людях [немецких информаторах]. Также нам сообщили имена тех, кто ненавидел советскую власть и представлял для нас угрозу...» По словам Яблонского, «вполне обычный приговор» тогда этим людям составлял «лет пятнадцать принудительных работ в лагерях».

«Теперь мне кажется, что эти приговоры были излишне суровы, — признается Яблонский. — Но тогда я был молодой, мне было 22–23 года, и я так не считал... Теперь, став старше, я понимаю, что это было слишком суровым наказанием. Но в те времена о демократии никто и не помышлял. Это сейчас можно говорить все, что угодно, а тогда и подумать было страшно, не то что говорить. Тогда существовала цензура, попробуй скажи

что-нибудь плохое о Советском Союзе. И все мы считали тогда, что так и должно быть».

Однако, несмотря на осознание теперь того, что проводимая Советами в то время политика была «очень сухова», Яблонский без малейших угрызений совести, напротив, даже с гордостью, вспоминает львовский период службы в НКВД. «Я горжусь этим. Я знаю, что поступал правильно. Я чувствовал, что живу. Это было начало моей деятельности. Я многое тогда изучил и понял. Я любил свою страну и чувствовал, что наше дело правое. Мы победили в этой тяжелейшей из войн. Я горжусь Советским Союзом и тем, что был частью его и что у меня хватило мужества пройти войну и не подвести мою страну».

Нет сомнения, что солдаты Красной Армии, такие как Вячеслав Яблонский, свято верили, что Львов — часть Советского Союза, которую они никому уступать не собирались. И убедиться в правоте этой удручающей истины одними из первых предстояло членам подпольной Армии Крайовой. Это были добровольцы, остававшиеся в городе в период гитлеровской оккупации, ожидая выгодного момента для нанесения ответного удара, и эти люди сыграли значительную роль в сражении за Львов. Около 3 тысяч солдат под командованием полковника Владислава Филипковского поддержали Красную Армию в ходе ожесточенного сражения 23–27 июля 1944 года<sup>83</sup>. Но как только сражение было победоносно завершено, советские власти арестовали всех польских офицеров, после этого вынудили рядовой состав вступить в ряды Красной Армии.

Параллельно с устранением подпольной польской Армии Крайовой советские власти немедленно приступили к восстановлению органов власти, созданных до начала войны. «В 1944 году они снова установили здесь

свои порядки, — рассказывает Анна Левитская. — Организовывали школы в соответствии со своей системой. Всех учеников обязали вступить в комсомол. И конечно, никаких религиозных школ или классов. Только лекции по атеизму. И изучение истории коммунистической партии. Основные принципы марксизма-ленинизма — вот были главные предметы. Мы почувствовали, что нас предали, потому что надеялись, что Запад будет реагировать на это по-другому... Мы даже надеялись, что Англия и Франция [помогут нам], но этого не произошло».

26 июля 1944 года, когда сражение за Львов еще не успело отгреметь, в городке Перуджа в Италии генерал Андерс был представлен королю Георгу VI. Британский монарх вылетел в Италию под именем «генерал Коллингвуд», чтобы поздравить союзные войска с одержанными ими победами. Во время обеда он слушал выступление полкового оркестра II польского корпуса, и одна из песен особенно понравилась монарху. Король спросил, как она называется. И получил ответ: «И если мне доведется родиться заново, пусть это будет во Львове»<sup>84</sup>.

## Глава 5

### РАЗДЕЛ ЕВРОПЫ

#### Варшавское восстание

В результате летнего наступления 1944 года под властью Сталина оказалась не только Восточная Польша, но и оставшаяся часть страны — территория, на которую он даже не собирался притязать. Сталин не стремился включить Западную Польшу в состав СССР, но тем не менее желал, чтобы она находилась под его контролем. Это послужило причиной острейшего внутреннего конфликта.

Советы клялись, что хотели иметь дружественную Польшу, и при этом — прежде всего из-за возникшей из-за Катыни конфронтации — категорически отказывались признавать польское правительство в изгнании в Лондоне. Они решили сформировать собственное, подконтрольное Москве правительство для Западной Польши. 28 июля 1944 года в польский город Хелм прибыла группа малоизвестных польских политиков, готовых пойти на сотрудничество с Советами. Эта группа, носившая официальное название «Польский комитет национального освобождения», а позже известная как «Люблинские поляки» (в начале августа 1945 года комитет перебрался в Люблин), в манифесте, выпущенном



2 июля в Москве, выступила за проведение леворадикальной политики (та же национализация), а также установление границы с Советским Союзом по «линии Керзона». Они, так же как и их кураторы в Москве, были свято убеждены, что теперь именно они — настоящее правительство освобожденной Польши. Одного из главных членов ГКО Николая Булганина прислали из Москвы в качестве представителя Сталина при «люблинских поляках», и марионеточное правительство мгновенно отчиталось перед ним. Сопровождал Булганина заместитель наркома внутренних дел Иван Серов, организатор массовых депортаций из Восточной Польши в 1939—1941 годах. Его задачей было «помочь» полякам управлять только что освобожденной территорией.

Разумеется, ни западные союзники, ни официальное польское правительство не могли допустить навязывания Польше сталинского режима. Ситуацию усугубило и нахождение на польской земле 400 тысяч членов польского подполья — Армии Крайовой (АК) — верных лондонскому правительству. Сталин ясно дал понять, как он относился к этому «нелегальному» сопротивлению, выставив их за дверь в Тегеране. Позиция же Красной Армии уже проявилась во Львове, где солдаты Армии Крайовой, помогавшие Советам избавить город от захватчиков, впоследствии были разоружены и нейтрализованы. Очевидно, эти гонения были частью чего-то куда более грандиозного. Вот, например, в июле отряды Армии Крайовой после оказания помощи при захвате Вильно были расформированы, командиры арестованы, а личный состав отправлен в помощь польским солдатам Красной Армии<sup>1</sup>.

На фоне описанных событий внимание всевозможных конкурирующих партий сфокусировалось на судьбе столицы Польши — Варшавы. События здесь, когда

население Варшавы восстало против немецких захватчиков летом и в начале осени 1944-го, откроет миру напряженность в отношениях Запада со Сталиным и Советским Союзом, которую Черчилль и Рузвельт так усердно скрывали.

При этом Варшавское восстание обросло мифами, наиболее распространенный из которых утверждал, будто Советы спровоцировали поляков на мятеж непосредственно уговорами и обещаниями помощи.

Однако, несмотря на то, что радиопередачи под покровительством Советов убеждали варшавян, что, дескать, свобода уже не за горами, это была отнюдь не попытка советских войск пойти на совместный штурм польской столицы вместе с Армией Крайовой. Призывы были гораздо зауряднее. Скажем, 29 июля Московское радио объявило, что варшавянам «пришла пора действовать», и «те, кто никогда не покорялся фашистам, снова, как и в 1939-м, вольются в битву против гитлеровцев, на этот раз для решительных действий». А трансляция уполномоченного Советами радио ПКНО на следующий день вещала, что советские войска, пришедшие «даровать вам свободу», уже на подступах<sup>2</sup>. Однако это очень разнилось с прямыми приказами Армии Крайовой восстать в Варшаве в согласованном порядке и затем объединиться с Красной Армией. Таким образом, все это было просто подстрекательскими разглашательствами.

Армии Крайовой, как и изгнанному правительству, пришлось выбирать из двух зол. Если они будут бездействовать и позволят Красной Армии освободить Варшаву до начала восстания, то Советы окажутся в более выгодном положении, когда дело дойдет до послевоенных переговоров. В конце концов, не проявит ли себя Армия Крайова столь бесполезной, коей Сталин всегда обри-

совывал ее? С другой стороны, если она взбунтуется задолго до прибытия красноармейцев, то будет уничтожена фашистами. Выбор момента здесь решал все.

Несомненно, было чрезвычайно важно постараться согласовать свои действия с неизбежным приходом Красной Армии. Однако польскому правительству это представлялось невозможным, учитывая полное отсутствие доверия сторон друг к другу. 26 июля лидер лондонских поляков, премьер-министр Станислав Миколайчик дал Армии Крайовой право самой выбрать время восстания. Это распоряжение в корне противоречило рекомендациям польского главнокомандующего. Он предупредил, что «мятеж без согласования с советскими войсками и честного содействия красноармейцам будет политически неоправдан и, с военной точки зрения, является лишь демонстрацией безысходности»<sup>3</sup>.

Тем не менее командующий Армией Крайовой, не предупредив Советы заблаговременно, назначил начало восстания на 5 пополудни 1 августа. Он располагал информацией не только о том, что РККА подступала к Варшаве, но и что 27 июля немцы вынудили 100 тысяч варшавян сдаться и помочь укрепить защиту столицы. Армия Крайова с недоверием отнеслась к этому приказу и убедила жителей не лезть на рожон. Таким образом, это был самый что ни на есть подходящий момент для начала восстания. Это был риск, и он бы не окупился.

Збигнев Волак<sup>4</sup> ринулся в бой одним из первых. В свои 19 лет он был командиром подразделения Армии Крайовой. Его отец, майор регулярной польской армии, погиб в 1939 году, а мать убили в концлагере. Последние два года он работал носильщиком на вокзале, а в свободное время обучался в Армии Крайовой. Теперь до него и его сослуживцев дошли сведения о

том, как Советы притесняли других членов Армии Крайовой где-то в Польше, и эта новость, по его мнению, как никакая другая, призывала к восстанию. 1 августа в 7 часов вечера Збигнев и его отряд вышли на улицы на окраине Варшавы с повязками в цветах польского флага. «Представьте себе, после 4 лет оккупации мы выходим в этот прекрасный августовский день на улицу, полную народу, женщин, детей, людей, торопящихся домой с работы, и вдруг, откуда ни возьмись, появляется 64 вооруженных до зубов повстанца. Они идут на верную смерть».

Отряд Збигнева был частью крупной группы, получившей приказ атаковать немецкие казармы. За неимением тяжелого вооружения они вынуждены были действовать легким оружием — пистолетами, винтовками да ручными гранатами. Во время подготовки к сражению с немцами один из его ближайших друзей Зазек, изучавший электротехнику, стоял плечом к плечу с ним. Збигнев вспоминает, каким образом он втянул друга в битву: «Вербовка в Армию Крайову основывалась исключительно на доверии — ты мог внедрить кого-то в армию только при условии, что ты мог за него поручиться. Зазек был близок мне, но не разделял моего интереса в подпольной борьбе. Он учился в университете, был влюблен в девушку и собирался стать ученым. В 1943-м, прохаживаясь вместе с ним, я сказал ему то, о чем жалею по сей день. В то время я учил английский по книгам и как раз позаимствовал книжку о Первой мировой войне. В ней был изображен штаб-сержант, сидящий в гостинной у камина с ребенком на коленях. Последний спрашивал: “Пап, а чем ты занимался во время войны?” И тогда я сказал Зазеку: “Вот закончится война, и твоя дочка или сынишка спросит, чем ты занимался, а ты ответишь: Ничем — я только учился”. И ты будешь жалеть

об этом до конца своих дней. Конечно, это был недостойный прием. Тогда-то он и согласился вступить в Армию Крайову».

Однако 1 августа из-за нехватки оружия Зазка не отобрали для участия в битве. Когда отряд отправлялся в бой, Збигнев увидел своего друга, провожавшего его взглядом. «Черт возьми! — воскликнул он, — ты снова хочешь уклониться!» Задетый за живое, Зазек отправился к местному командующему АК и выпросил у того две ручные гранаты, чтобы поучаствовать в битве. Спустя пару минут, после начала атаки, Зазек уже был рядом со Збигневом. «Едва он шагнул ко мне, — вспоминает Збигнев, — как его грудь прошила пулеметная очередь, и он рухнул навзничь, не выпустив из рук тех самых гранат... Это ужасающее чувство, когда ты видишь кого-то живым — слышишь его, говоришь с ним — а миг спустя он падает замертво! И что хуже всего — именно ты вовлек его в это!»

Таково было ошеломляющее знакомство Збигнева с суровой реальностью войны. Семья Зазка так и не смогла оправиться от потеря сына. Когда Збигнев посетил их после войны, он увидел «большую фотографию» друга, драпированную черным и украшенную венком. Его мать заглянула ему в глаза и спросила: «Ну почему умер он? Почему не ты?» «Это, — поясняет Збигнев, — самое тяжелое».

За первые пару дней восстания, несмотря на нехватку оружия, Армии Крайовой все же удалось захватить ключевые районы Варшавы, в основном узкие улочки старого города. Однако на восточном берегу реки Вислы дела обстояли не так хорошо, ведь именно там было наибольшее сосредоточение немецких войск. АК понимала, что немцам потребуется всего пара дней для подготовки мощной контратаки. К тому же поляки удер-

живали только изолированные районы города, и поддерживать связь между ними было затруднительно. Все, что сейчас могло спасти их, — это помощь извне.

Глава польского правительства прекрасно понимал, что без помощи союзников восстание обернется крахом. Однако Миколайчик посчитал лучшим выходом сначала официально поддержать начало восстание, а уж потом попытаться просить о помощи.

Миколайчик, активный участник Польской крестьянской партии с 1920-х годов, отправился в Москву на встречу со Сталиным после того, как были утверждены планы начала восстания, но прибыл 30 июля непосредственно перед его началом. Для него время играло существенную роль. Ему необходимо было срочно добиться согласия Сталина и заручиться поддержкой Красной Армии. К несчастью для АК в целом и Миколайчика в частности, Сталин видел все иначе. Советы отказывались признавать правительство в изгнании и старались сломить мощь АК в уже освобожденных Красной Армией районах. И хотя Сталин осознавал, что англичане и американцы сочтут отказ от встречи с лондонскими поляками выпадом в свой адрес, он понимал, что не обязан идти у них на поводу.

С поляками обращались очень грубо — на аэродроме их сначала обругали, а затем им заявили, будто Сталин «слишком занят», чтобы встретиться с ними. 31 июля, когда Молотов встретился с ними, он просто отмахнулся: «Чего притопали?» и взамен предложил побеседовать с люблинскими поляками. Им не удавалось добиться аудиенции у Сталина до вечера 3 августа, когда восстание уже началось, и отчаянно нуждавшиеся в помощи поляки гибли на улицах Варшавы.

За день до приема у Сталина Черчилль в своей речи в палате общин дал положительную оценку ситуации. Он

заявил, что «мы сделали все, что в наших силах», чтобы убедить Сталина принять польского премьер-министра, отмечая, что «русские войска... даруют Польше свободу», в то время как «несколько отважных польских дивизий сражаются на нашей стороне. Самое время их объединить»<sup>5</sup>. Однако обязательным условием для этого союза была «дружественность Польши по отношению к России». Учитывая все разногласия между изгнанным польским правительством, считавшим, что люблинские поляки – марионетки Москвы, и Сталиным, утверждавшим, что якобы лондонские поляки сотрудничали с нацистами, предложение Черчилля оказалось важным и своевременным решением.

Подробный протокол<sup>6</sup> встречи Миколайчика и других представителей польского правительства в изгнании с Молотовым оказался довольно неприятным чтивом. С учетом закрепившихся позиций присутствующих партий и явную несоразмерность в активных силах сторон собрание было обречено на провал. Удивительно, насколько Миколайчик недооценивал ситуацию. Он знал, что судьба миллионов варшавян зависела от итогов переговоров со Сталиным. Тем не менее в своем продолжительном и весьма громоздком заявлении он упомянул «программу» из четырех пунктов, которую собирался обсудить с советским лидером – и Варшава шла последним пунктом после вопросов вроде «расширения масштабов польско-советского соглашения 1941 года» для распространения на администрацию освобожденных польских земель. Варшавское восстание было упомянуто лишь в контексте требования о проведении выборов в Польше, основанных на «всеобщем избирательном праве». В заключение Миколайчик обратился лично к Сталину: «Я вынужден попросить Вас отдать приказ об оказании помощи нашим войскам в Варша-

ве», однако вся предыдущая говорильня снизила серьезность этого воззвания.

Сталин пообещал: «Я приму нужные меры». (Те, кто хорошо знал его, подметили бы слово «нужные» — как никак в рамках сложившихся обстоятельств его можно было понять по-разному.) Далее он заметил, что Миколайчик ни слова не сказал о комитете национального освобождения — люблинских поляках, — с которыми Советы уже заключили соглашение. «Вы, может, не понимаете, насколько это важно?» — спросил Сталин.

Миколайчик долго и эмоционально распинался: «Четырем главным политическим партиям Польши, представленным в правительстве [лондонские поляки] и вот уже пять лет ведущим борьбу с Германией, должно быть предоставлено слово». Сталин пропустил эти слова мимо ушей и, когда тот закончил, сухо поинтересовался: «Это все?»

По наущению Черчилля, Сталин согласился встретиться с поляками, чтобы обсудить «союз» с люблинскими поляками. В ответ Миколайчик выступил с необычной просьбой — чтобы его «пустили в Варшаву», и Сталину пришлось напомнить, что там немцы.

Тогда все стало на свои места: Сталин хотел союза лондонских поляков с люблинскими, а Миколайчик продолжал повторять, что, несмотря на его желание сотрудничать, те «представляют ничтожную часть польского общественного мнения».

Стороны разговаривали, но не слышали друг друга. Сталин чувствовал, что мог говорить без обиняков, и открыто высмеивал польскую Армию Крайову: «Где вы видели армию без артиллерии, танков и самолетов? У них даже винтовок не хватает. В нынешних войнах от такой армии мало толку. Они — небольшое партизанское движение, но им далеко до регулярной армии.



Я слышал, что польское правительство отправило их вытеснить немцев из Варшавы. Ума не приложу, как им удастся это сделать — их сил будет недостаточно. На самом деле они не сражаются с фашистами, а просто прячутся по лесам не в состоянии сделать что-либо еще».

Час спустя Сталин проявил неуважение к полякам, ответив на телефонный звонок кого-то из своих коллег. После этого он повторил свою точку зрения, что проблемой являлись междоусобицы в рядах поляков, грозно добавив: «Мы бы ни за что такого не допустили!»

Конечно же, Сталин умышленно искажал факты — о чем поляки прекрасно знали. Миколайчик же говорил чистую правду. Невозможно сравнивать авторитет польского правительства в изгнании и группы, утвержденной Советами в Люблине. Сталин не сравнивал подобное с подобным. Однако ему было не впервой фабриковать доводы и затем отчаянно за них цепляться. Эта безжалостная политика, основывавшаяся на колоссальной военной мощи, была невероятно эффективна. Сталин был столь непреклонен, когда речь зашла о необходимости переговоров между люблинскими и лондонскими поляками, что протоколист был вынужден записать: «Обсуждение достигло мертвой точки».

Далее Миколайчик попытался договориться со Сталиным насчет послевоенной границы с Польшей. Но Сталин, проявивший недюжинную стойкость перед Рузвельтом и Черчиллем, определенно не собирался сдавать позиций по поводу измененной линии Керзона. Убежденный в своей правоте, он напыщенно заявил: «Я слишком стар, чтобы поступать столь неразумно».

Затем Сталин снова прервал собрание из-за телефонного звонка. Немного погодя он с явным намерением распустить собрание поскорее спросил, остались

ли у поляков нерешенные вопросы. Миколайчик ответил: «Нет, всего лишь два важнейших вопроса о советско-польских отношениях и границах». На том собрание и закончилось.

Это была примечательная встреча. Сталин унизил относительно неопытного Миколайчика, но тот и сам был в этом виноват. Вместо того чтобы сосредоточить внимание собравшихся на единственной, дельной на тот момент мере — поддержке Варшавского восстания, — он силился представить себя на равных со Сталиным, а также воспользоваться этой встречей для решения вопросов, которые, по словам британского посла, Советы терпеть не могли.

В отличие от Сталина, не торопившегося оказать помощь полякам, Черчилль незамедлительно отозвался на положение варшавян. 4 августа, на следующий день после встречи Сталина с польской делегацией, Черчилль послал советскому лидеру телеграмму: «По безотлагательной просьбе польской подпольной армии мы с учетом погоды сбрасываем 60 тонн снаряжения и боеприпасов в юго-западную часть города, где польское восстание против немцев сейчас в самом разгаре. Они также надеются на помощь русских. Их атакует полторы фашистских дивизии. Может, это вам поможет»<sup>7</sup>.

Тадеуш Роман<sup>8</sup> был одним из пилотов британских Королевских ВВС, пытавшихся помочь восставшим. Ему было 22 года, он отсидел срок в советской тюрьме после того, как его поймали при попытке к бегству из Западной Польши. После перемирия 1941-го он направился на запад и, будучи летчиком, записался в авиаподразделение бомбардировщиков. Прийти на помощь для него было вопросом чести и любви к семье: «[В Варшаве] тогда находились мои друзья, а брат сражался [в Польше] в рядах подпольной армии — он

мог быть в Варшаве [но его там не было]. Никто из наших не уклонялся от борьбы, ни один человек».

Это была затяжная и тяжелая битва, развернувшаяся от юга Италии и до Варшавы, одна из самых кровопролитных битв за всю войну, длившаяся почти 11 часов. Начиная с 4 августа из Бриндизи и Бари стали отправляться самолеты, пилотируемые летчиками из 1568-й польской эскадрильи, которой изначально была поручена операция. С того времени и до конца сентября было совершено свыше двухсот боевых вылетов, сброшено в целом свыше сотни тонн припасов<sup>9</sup>. Почти 80 польских пилотов погибли в ходе операции вместе с сотней летчиков из дружественных стран, большинство из которых были из Южной Африки.

Угрозу бомбардировщикам представляла не столько ПВО Варшавы, сколько длинный и извилистый путь к польской столице над захваченными немцами территориями. «Нелегкий предстоял полет, — вспоминает Тадеуш Роман, — и немцы знали о нашем прибытии». Удача подвела его рано утром 29 августа. Стоило ему с товарищами сбросить груз над Варшавой — невысоко, метров с семисот — и после этого развернуться, как снаряд зенитной артиллерии пробил один из его двигателей. Они продолжали полет, но были снова подбиты над Краковом. И все же Тадеушу вместе с командой удалось выровнять самолет и совершить аварийную посадку на границе аэродрома практически без топлива. «Я упал на колени, — вспоминает Тадеуш, — и поцеловал землю-матушку. Наш Папа [Иоанн Павел II] всегда целовал ее [землю], посещая различные места. Я бы сказал, что он перенял этот обычай от меня!» За проявленные храбрость и боевое мастерство Тадеуш был награжден медалью «За летные боевые заслуги». Три самолета, сопровождавшие его в ту ночь, так и не вернулись с задания.

Тем временем премьер-министр Миколайчик покинул Москву и вернулся в Лондон. Последняя встреча со Сталиным в Кремле вечером 9 августа<sup>10</sup> оказалась довольно необычной. Тогда он снова просил Сталина о «незамедлительной помощи» Варшаве, на что тот ответил: «Все эти битвы в Варшаве представляются невозможными. Ход восстания мог бы резко перемениться, будь там наши войска, но это, к сожалению, невозможно». Он объяснял, что мощная контратака фашистов не позволила Красной Армии подступиться к польской столице. «Мне жаль ваших людей, поспешивших вступить в бой в Варшаве с какими-то винтовками против танков, артиллерии и самолетов... Чем поможет транспортировка? Мы можем снабдить их ружьями и пулеметами, но мы не сможем сбросить пушки... Да и потом, вы уверены, что вся сброшенная амуниция дойдет до поляков? Тем не менее, — добавил он, — попытка не пытка. Сколько и чего вам надо и куда сбрасывать груз?» Далее разговор зашел о практических аспектах транспортировки — Сталин даже предлагал заслать в Варшаву советского офицера с шифровальной книгой, чтобы обеспечить зашифрованную связь Армии Крайовой с советскими войсками снаружи.

Но как же согласовать внезапное обещание Сталина помочь АК в Варшаве с тем, что происходило на самом деле? 4 дня спустя ТАСС объявило, что в виду того, что лондонские поляки не предупредили Советы о восстании заранее, вся ответственность за происходящее лежала на них. А ночью 15 августа американский посол Аверелл Гарриман после встречи с представителями советского МИДа в Кремле послал в США телеграмму: «Отказ Советов [в поддержке восстания] обусловлен не рабочими сложностями, а безжалостными политическими расчетами»<sup>11</sup>. Наконец, 22-го Сталин раз и навсег-

да максимально резко прояснил свою позицию, не скупясь на оскорбления. Он описал Армию Крайову как «шайку бандитов» и заявил, что Советы отказываются помогать западным союзникам с доставкой всего необходимого по воздуху.

Была ли эта резкая смена позиции явной иллюстрацией двуличия Сталина? Под конец последней встречи на просьбу премьер-министра: «Не могли бы вы сказать пару теплых слов, чтобы утешить поляков в это нелегкое время?» (что Черчилль всегда тотчас же с воодушевлением делал) тот ответил: «А не слишком ли большое значение вы придаете словам? Им не следует верить. Поступки гораздо важнее слов».

И так как с «поступками» все было ясно, Сталин подвел поляков к Варшаве. Однако не исключено, что на встрече с Миколайчиком 9 августа он все еще не определился полностью. Пока что он не показал западным союзникам своего отношения к восстанию. Существует версия, что после встречи с Миколайчиком 9-го и до заявления ТАСС от 13 августа Сталин передумал. 9 августа он собирался помочь; 13-го же заявил об обратном.

Поначалу эта версия кажется неправдоподобной. Разве Сталин еще не дал понять, что хочет уничтожить Армию Крайову? В августе 1944-го он знал, что ему предстояла борьба с западными союзниками за установление нового польского правительства. Не было никаких оснований полагать, что британцы и американцы пойдут у него на поводу и признают измененный вариант «ручного» правительства. Возможно, он считал, что если лондонские поляки войдут в состав люблинских, то ему придется взамен поддержать восстание.

Нельзя утверждать наверняка. Возможно, Сталин давно собирался поступить, как поступил, и отказать

полякам в помощи. Это было в его репертуаре, ведь он раз за разом демонстрировал свое недоверие к полякам и желание добиться расформирования Армии Крайовой. Но если это так, то зачем Сталину было идти навстречу полякам на собрании 9 августа? Так же как употребил слово «нужные» на предыдущем собрании, он вполне мог уклониться от ответа и на этот раз.

Так или иначе, Сталин сделал свой выбор, и в августе, в решающий период восстания, Советы отказались от поддержки варшавян. И хотя точно не известно, могла ли Красная Армия добраться до Варшавы, войска получили приказ об отступлении 2 августа, когда немцы начали контратаку в восточной части города. Они могли заметно повысить эффективность воздушного моста, но они этого не сделали. Заявление чиновника МИДа во время визита американского посла 18 августа тут же прояснило их политику: «Конечно же, Советы не против американских или английских самолетов, сбрасывающих груз на территорию Варшавы, поскольку это дело Великобритании и Америки. Однако они решительно против того, чтобы их самолеты потом приземлялись на советской земле, ведь наше правительство никоим образом не хочет оказаться впутанным в ваши дела»<sup>12</sup>. Учитывая сталинскую позицию, Черчилль попытался заручиться поддержкой Рузвельта для воинственного ответа, и 26 августа получил отказ: «Не думаю, что мне будет выгодно поддержать ваше предложение»<sup>13</sup>.

Член английской миссии в Москве Хью Лунги вместе с начальником штаба отправился к советскому министру обороны, чтобы попытаться уговорить Сталина помочь транспортировкой: «Первые недели я ходил к нему каждый день, но потом это потеряло всякий смысл. До нас дошло, что они не позволят ни нашим, ни американским самолетам приземляться на советской земле. Мы

сочли это предательством, причем не только поляков, но и западных союзников. Ну что ж, Сталин в очередной раз роет другому яму, ведь немцам будет гораздо проще подавить восстание, и как только они подавят его, у них высвободятся силы для оказания отпора Красной Армии. Поэтому нам это казалось безумием. Мы были вне себя от злости».

Но Сталин не зря «рыл другому яму». Если он будет бездействовать, то фашисты разнесут ненавистную ему Армию Крайову в пух и прах. А ведь именно это сейчас и происходило в Варшаве. В августе эсэсовцы, заручившись поддержкой приспешников – включая русских из бригады СС Каминского, – начали поголовное истребление поляков.

Эсэсовское формирование отъявленных головорезов вел в бой Оскар Дирлевангер. Этот не знавший пощады командир (кто, хоть и слыл зверем, на самом деле таковым не являлся – в 1920-х годах он даже стал кандидатом политологии) руководил бандой грубых и потерявших человеческий облик солдат. Большинство из них были сбежавшими из тюрем уголовными преступниками; ходило множество слухов об их жестокости в отношении мирного населения Советского Союза.

Матиасу Шенку<sup>14</sup>, бельгийцу, призванному на службу в немецкую армию, было всего 18 лет, когда он служил инженером в Варшаве и столкнулся со штурмовой бригадой СС «Дирлевангер», и картины виденного тогда преследуют его по сей день: «Однажды мы направились к зданию [школе] с 350 детьми внутри. Мы поднялись на второй этаж и увидели спускавшихся вниз детишек – лет 9–13. Они, подняв руки вверх, кричали: “Nicht Partisan!” [Не партизаны!] и встали на лестницу. Эсэсовцы открыли огонь. Командир приказал: “Нет патронов – добивайте прикладами!” Кровь ручьями стекала вниз по лестнице».

Это было не первое и далеко не последнее злодеяние, совершенное нацистскими солдатами. Многие из увиденных Матиасом Шенком зверств не поддаются пониманию: «Передо мной стояла маленькая девочка лет 10–12, которая, должно быть, потерялась и застыла от испуга. Она взглянула на меня, подняла руку и произнесла “Nicht Partizan!” Я подозвал ее, и тут ее маленькая головка разлетелась на куски. А [офицер, стоявший рядом с ним], восхитился: “В яблочко!”»

Каждый день Шенк наблюдал, как эсэсовцы демонстрируют свое извращенное понятие «веселья». В начале восстания они «усыновили» польского мальчика-инвалида лет тринадцати. У него не было ноги, и он хромал на костылях, прислуживая солдатам: «Как-то раз [солдаты] приказали ему подойти и положили что-то в карман его штанов. Затем крикнули всем разбежаться. Мальчик тоже побежал, и его тут же разорвало на части. Они подложили ему гранату. И такое происходило в Варшаве едва ли не каждый день... На женщин и детей просто велась охота».

Когда бригада «Дирлевангер» атаковала госпиталь Армии Крайовой, он стал свидетелем сексуальных надругательств эсэсовцев над польскими медсестрами: «Они срывали с них одежду, вскакивали на них... и насиловали». Той ночью шесть медсестер стали объектом жесточайших издевательств, когда их прогнали по «Адольф-Гитлер-плац» в центре Варшавы: «Солдаты СС вели их через толпу [немцев], аплодировавших и старавшихся всячески задеть обреченных к повешению несчастных».

Жуткие злодеяния, свидетелем которых стал Матиас Шенк, были не просто проявлением жестокости, а упорядоченным планом по подавлению восстания. По распоряжению обергруппенфюрера СС Эриха фон дем



Бах-Зелевского, прежде отвечавшего за расстрелы евреев и партизан на оккупированных территориях СССР, немцы вели огонь и по мирному населению, и по бойцам Армии Крайовой. К 8 августа в одном только районе города немцы убили как минимум 40 тысяч мирных жителей.

Общая директива действий немцев в отношении взбунтовавшихся поляков была озвучена рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Позже он утверждал, будто во время восстания заявил Гитлеру следующее: «С точки зрения истории действия поляков — просто манна небесная! Варшава будет ликвидирована, и этот город, интеллектуальная столица почти семнадцатимиллионной нации, в течение семи сотен лет преграждавшей нам путь на восток... прекратит свое существование. Кроме того... сами поляки перестанут быть проблемой для нас, наших детей и последователей»<sup>15</sup>...

Сам язык этой фразы примечателен — «Сами поляки перестанут быть проблемой для нас, наших детей и последователей» — напоминание об «оправдании» вышестоящих нацистов за истребление еврейских детишек. Их приходилось убивать вместе с родителями, потому что в противном случае они лишь создали бы проблемы для будущих поколений нацистов. (В польской Познани в октябре 1943 года Гиммлер заметил в своей речи: «И вот возникает вопрос: как быть с [еврейскими] женщинами и детьми? Я нашел ответ. Я не считаю правильным истреблять мужчин — то есть убивать или приказывать убивать — и позволить маленьким мстителям вырасти по души наших сыновей и внуков»<sup>16</sup>).

Дануте Галковой<sup>17</sup> было 20, когда вспыхнуло восстание, и ей пришлось сражаться в самом центре Варшавы. 2 сентября она на себе испытала всю жестокость и бесчеловечность немецких захватчиков и их пособни-

ков, когда она дотащила своего раненого товарища до «лазарета под фонарем», импровизированного медпункта прямо за стенами старого города. Внутри, в темных подвальных помещениях, где оказывали помощь раненым, она услышала, как снаружи приближаются фашисты. Ее товарищ скомандовал: «Ложись на носилки — я прикрою тебя одеялом», и она юркнула туда, едва солдаты ворвались в лазарет. Первая группа обыскала раненых в надежде найти что-то ценное, например, золотые крестики и часы, но те, что шли за ними, в большинстве своем пьяные в хлам, начали насиловать женщин: «Для них это было, простите, развлечением. Им нравилось, когда люди кричат. Я была в отчаянии, я думала — лишь бы меня только не изнасиловали: я бы не пережила этого».

Дануте удалось остаться незамеченной, но она «слышала все эти голоса. “Сестра, помоги!” Эти скорбные призывы. “Не оставляйте меня, ребята!” Я ничего не могла сделать». В этом подвале солдатня пришла в садистский экстаз. Находившиеся там раненые солдаты АК были бессильны: «Обычно любой парень вступится за девушку, но что сделаешь с раной в животе или с переломанными ногами, или если у тебя только одна рука работает? Да ничего!»

Этот ужас продолжался «с восьми утра до заката... они ушли, когда стемнело». Уходя, немцы подожгли лазарет. Данута пыталась выбраться, таща за собой того самого спасшего ее офицера АК: «Я тянула его до входа, а перед нами 14-летний мальчонка карабкался по ступенькам на улицу. Кто-то из отставших немцев выстрелил ему в голову, мальчик успел только прошептать: “Мамочка!” и упал прямо нам под ноги». Затем солдат направил ствол на Дануту, но затвор заклинило, и ей в дыму и неразберихе удалось бежать и найти другой вы-

ход: «Распахнув дверь, я увидела кошмарное зрелище: раздетые донага девушки... Все они были сначала изнасилованы, а потом зверски убиты». Под покровом ночи она сбежала вместе со своим раненым товарищем. После всех злоключений спасший Дануту боец АК стал ее мужем.

### Встреча Черчилля с Андерсом

В разгар Варшавского восстания Уинстон Черчилль встретился с генералом Андерсом в польской штабквартире на севере Италии. В свете разногласий по Польше эта встреча 26 августа была одной из самых важных за всю войну. Понимая, что разговор предстоит, мягко говоря, не из приятных, Черчилль начал с поздравления Андерса с успешными боевыми действиями II польского корпуса в ходе кампании в Италии<sup>18</sup> и поинтересовался «состоянием» солдат, «учитывая, через что им пришлось пройти».

Андерс ответил, что солдаты «прекрасно себя чувствуют», но «их заботит только будущее Польши и текущая обстановка в Варшаве».

«Я понимаю, — кивнул Черчилль, — мы с президентом Рузвельтом обратились к Сталину с просьбой оказать помощь варшавянам: в первый раз мы вообще не удостоились его внимания, а во второй напоролись на грубый отказ... Мы не готовы к действиям в Варшаве, но мы уже делаем все, что в наших силах, помогая бойцам с воздуха».

Далее Черчилль сослался на свою «речь прошлой зимой» в палате общин, когда сразу же после Тегеранской конференции он заявил, что поляки должны быть готовы к тому, чтобы уступить часть своих восточных земель в обмен на соглашение с Советским Союзом.

«Мы до сих пор разочарованы вами, премьер-министр», — заметил Андерс.

«Закljučая договор с Польшей, — продолжал Черчилль, — Великобритания не гарантировала неприкосновенности польских границ, мы обещали лишь, что Польша будет существовать как свободное, независимое государство, полностью суверенное, мощное, великое, и его граждане смогут свободно жить и творить безо всякого вмешательства извне». (Конечно же, это было уловкой, ведь сам Черчилль в 1942 году писал Идену, что советская оккупация Восточной Польши противоречит «принципам свободы и демократии, изложенным в Атлантической хартии»)<sup>19</sup>. Затем премьер-министр высказал мнение, уже озвученное в Тегеране: полякам достанутся «гораздо лучшие земли на западе» в обмен на территории Припятских болот.

Андерс отметил, что «вопрос о границах можно решить на мирной конференции после войны». Черчилль согласился и заверил Андерса, что тот обязательно будет приглашен на эту конференцию, добавив: «Вы должны нам верить. Раз уж Великобритания ввязалась в эту войну ради вашей независимости, то уверяю вас, мы никогда вас не оставим в беде».

Все это почти повторяло уже сказанное Черчиллем Андерсу на их прошлой встрече в Каире после Тегеранской конференции. И снова Андерс высказал предостережение насчет Советского Союза — предостережение человека, в камере Лубянки на личном опыте убедившегося в несправедливости Советов. «России мы доверять не можем, — пояснил Андерс, — так как мы хорошо ее знаем, как знаем и то, что все сталинские заявления, будто бы он хочет свободной и сильной Польши, лживы и в корне неверны... Вторгнувшись в Польшу, Советы арестуют и депортируют наших женщин и детей в Россию,

как в 1939 году, разоружат солдат АК, расстреляют наших офицеров и городскую администрацию, они убьют всех, кто до сих пор сражается с немцами с 1939 года. Да, у нас жены и дети в Варшаве, но мы скорее позволим им погибнуть, чем жить под гнетом большевиков. Все мы предпочитаем смерть в бою — жизни на коленях».

В протоколе записано, что Черчилля «тронули» его слова, и он снова подчеркнул, что Британия ни в коем случае не оставит Польшу, добавив: «Я вижу, что фашисты и русские уничтожают все ваши истоки, особенно в интеллектуальной сфере. Мне очень жаль. Но вы должны понять — мы не покинем вас, и Польша заживет по-новому».

Очевидно, что Андерс не поверил этому. Он напомнил британскому премьер-министру о том, что Советы будут невероятно сильны после войны, но Черчилль поведал ему о «неограниченных возможностях Великобритании и Соединенных Штатов» и об «огромном количестве оружия, танков и самолетов в их распоряжении». Он промолчал о том, что сразу же после войны западные союзники ринутся воевать с Советами в случае отказа Сталина от предоставления Польше свободы и независимости, однако такой ответ подразумевал возможность военных действий, которую Черчилль исключил в начале года.

## Поражение восстания

Вероятно, в августе 1944 года Сталин окончательно дал понять, что Советы не собираются поддерживать АК в Варшаве, но его отношение к восстанию до сих пор оставалось неясным. 18 сентября Советы внезапно дали одному из американских бомбардировщиков разрешение на заправку на советской территории по пути к Вар-

шаве. Более того, в течение двух недель, с 14 по 28 сентября, они сами сбрасывали грузы в Варшаве. Правда, большая часть 50-тонного груза была повреждена при приземлении, так как сбрасывался он без парашютов.

Похоже, что Сталин, как и на встрече 9 августа с польским премьер-министром, в очередной раз был взволнован мировым общественным мнением о неучастии Советов в оказании помощи Варшаве. Вот так он и решил эту проблему — оказывая видимую, но не реальную поддержку.

Но дальше было самое интересное. В ночь на 14 сентября передовые части 1-й польской армии (входившей в состав Красной Армии) под командованием генерала Зигмунда Берлинга высадились на западном берегу Вислы на окраине Варшавы, где соединились с солдатами АК. Еще несколько высадок было совершено в последующие ночи, пока около 3 тысяч солдат 1-й польской армии не присоединились к сражающимся в Варшаве полякам. Назад вернулось меньше трети людей Берлинга.

Збигнев Волак был одним из солдат АК, наблюдавших за их попытками создать плацдарм на берегу реки. Збигнев был в смятении. Хоть он был бы рад помощи любой стороны, но его поразило такое количество русских офицеров в рядах «польской» армии. Волака не покидало чувство «униженности». «Сколь жалкое подобие! Вы наряжаете русского в нашу форму, который и польского-то не знает... Невыдержанные. Недисциплинированные. Это был просто сброд. Видите ли, пару месяцев назад он был лесником, а [теперь] выдает себя за капитана, майора, полковника! И обращаются друг к другу “товарищ”, будто бы подчеркивая политический характер армии. Вот представьте кого-то в британской униформе, и он ярый противник Англии. А он еще командует польскими офицерами. Просто представьте себе такое!»

Люди Берлинга не смогли удержать позиции, и к последней неделе сентября те, кто еще мог, отступили за реку. Это была единственная наземная попытка оказания помощи восставшим варшавянам, да и та провалилась. Очевидно, только серьезная скоординированная атака красноармейцев смогла бы заставить немцев дрогнуть — чему не суждено было произойти. Той же осенью маршал Рокоссовский, командующий войсками Красной Армии, дислоцированными на подходах к Варшаве, и не подумал ответить на отчаянные призывы о помощи восставших поляков.

Войска 1-й польской армии, сражавшиеся в рядах Красной Армии, сами были потрясены участью Варшавы. «Мы напряженно ждали, — рассказывает Ян Карневич<sup>20</sup>, в то время молодой солдат в армии Берлинга. В свое время он, как и многие другие поляки, прекратил сражаться против Советов не по желанию, а под влиянием обстоятельств. В феврале 1940 года его вместе с семьей депортировали из Восточной Польши. Затем, после вторжения немцев и последующего перемирия, он захотел вступить в ряды армии Андерса, но был еще слишком молод, и лишь год спустя вступил в части Берлинга. Он поступил так не из любви и преданности Советам — он описывает себя, в то время как «простого солдата, рядового стрелка» — а потому, что только так он обрел возможность сражаться за освобождение своей родины. Он видел, как «немцы всю осень поджигали здания... вечером над Варшавой багровело зловещее зарево... Я чувствовал так, что будто и меня заживо сжигают вместе с нашей столицей. Если мы не освободим ее, то она будет испепелена... Варшава гибла. Национальная культура — польская культура — умирала. Ты осознаешь, что теряешь все это и никогда уже не обретишь вновь».

2 октября командующий Армией Крайовой генерал Тадеуш Бур-Комаровский после переговоров с обергруппенфюрером Бах-Зелевским подписал акт о капитуляции, и Варшавское восстание завершилось. По условиям капитуляции немцы обязались считать любых, захваченных ими бойцов АК военнопленными, а не «бандитами», а также гуманно обращаться с мирным населением — что, конечно же, не выполнялось. А потом немцы продолжили разгром Варшавы, не оставив от польской столицы камня на камне, пока в 1945 году Ян Карневич не вошел в город, который описал так: «Варшава была просто грудой развалин. Остались лишь часть стен и обгоревшие скелеты зданий, видно, немцы просто не успели взорвать их. Это было ужасно... Без жертв не обойтись — без жертв и потерь войн не бывает. Варшава принесла себя в жертву. Я чувствовал себя так, будто вижу посреди открытого моря тонущую лодчонку, помочь которой я не в силах. С Варшавой то же самое. Ее уничтожали, и мы ничего не могли с этим поделать. Приказа не было».

Без поддержки Красной Армии Варшава была обречена. Несмотря на обещание, данное 9 августа, и непонятную позицию Советов в сентябре, было ясно, что Сталин решил остаться в стороне и позволить немцам разгромить Армию Крайову. Черчилль описал поведение Советов как «странное и ничего хорошего не сулящее»<sup>21</sup>, однако ничего подобного. Все логично. Советы уже показали свое отношение к мощному и независимому партизанскому движению арестом офицеров АК, а теперь Сталин просто воспользовался случаем понаблюдать со стороны, как один из его врагов, немцы, уничтожит другого, польскую Армию Крайову. Это циничное решение проявилось в ходе дальнейших боевых действий, когда ближе к концу августа части Красной Армии под командованием маршала Толбухина двину-



лись на Румынию вместо Варшавы. Если мыслить чисто военными категориями, Советы просто приберегли польскую столицу на потом — когда сопротивление как поляков, так и немцев сойдет на нет.

Что же касается решения начать восстание без предварительного согласования с Советским Союзом, то это, чего и опасался главнокомандующий польскими войсками в Лондоне, оказалось ошибкой — впрочем, ошибкой предсказуемой. Не свершись восстание, АК все равно впоследствии была бы уничтожена НКВД. Однако цена овладения польской столицей была огромна. Свыше 220 тысяч поляков погибли (200 тысяч из них — мирные жители) в результате восстания, и все, что они получили взамен, — испепеленную Варшаву и разгромленную Армию Крайову, пытавшуюся освободить свою столицу.

Трудно не согласиться с утверждением генерала Андерса в письме осенью 1944 года: «У него [Варшавского восстания] не было ни малейшего шанса на успех, оно подвергло всю страну, все еще оккупированную немцами, новым и ужасающим репрессиям. Любой глупец поймет, что это непременно произойдет: то есть, что Советы не только откажутся помочь нашей героической столице, но и с превеликим удовольствием будут взирать, как наша нация истекает кровью»<sup>22</sup>.

О реальном отношении советских властей к последствиям восстания можно судить по их обращению с 24-летней Галиной Шопиньской<sup>23</sup>. Молодая женщина сражалась в рядах Армии Крайовой в Варшаве и, когда дело дошло до капитуляции, почувствовала себя преданной Советами. Мало того что красноармейцы так и не пришли им на помощь, так еще и советская поддержка с воздуха оказалась надувательством: «Они без парашюта сбрасывали со своих крохотных самолетиков черствый

хлеб, и при ударе о землю он превращался в пыль... Точно так же они сбрасывали оружие и боеприпасы. Восстановить их было невозможно. Они просто прикидывались, что помогли нам. Никакой реальной помощи с их стороны не было».

Как только восстание окончилось, Галина, служившая в АК и бойцом, и медсестрой, выдала себя за гражданскую и покинула город, смешавшись с мирным населением. Ей удалось бежать и добраться до дома своей свекрови. Но пару недель спустя один из ее командиров приказал ей вернуться в Варшаву. Именно там у замерзшей Вислы ее и схватили красноармейцы. Шопиньска была доставлена в ближайшее здание, где молодой, лет двадцати, офицер НКВД допросил ее.

К концу августа НКВД приказали задерживать и допрашивать всех поляков, принимавших участие в Варшавском восстании, и кому удалось «сбежать» в советскую зону оккупированной Польши.

«Итак, чем же ты занималась во время восстания? — задавал вопрос за вопросом офицер НКВД, — и только попробуй солгать, ведь я все знаю!»

Ничего «особенного» Галина ему не сказала. И тогда: «Он избивал меня... называл “шлюхой”. “Грязной шлюхой” по-русски. “Ты сдохнешь”, — вот что он сказал мне... Он ударил меня ногой, и я грохнулась на пол со стула, и он [снова] бил и пинал меня. Он бил меня по затылку, и часто пускал в ход ноги. Он буквально кипел от ненависти — ненависти к полякам. Так его воспитали».

На следующий день ее затащили в помещение, где ее дожидались трое советских офицеров, включая женщину. То, что произошло далее, было самым оскорбительным эпизодом за весь период ее пребывания в плену. Они заставили ее раздеться, после чего в присутствии офицеров женщина провела «гинекологический осмотр». За-

кончив, она вытерла руки о газету, закурила и приказала Галине сходить в туалет — но дверь за собой не закрывать, если арестованная надумает «покончить с собой». Эта процедура, по ее словам, «наверное, самое худшее и унижительное [испытание] для любой женщины».

Несколько дней спустя тот самый молодой офицер, зверски избивавший ее, поставил перед Галиной тарелки с едой — колбасой, вином, чаем, булочками и сахаром. «Он думает, что я поведусь на это», — ухмыльнулась Галина. Наклонившись, женщина отпила чаю, затем произнесла: «Я не заговорю». Он врезал ей что было сил, и она снова зарыдала. И тут она заметила на полу мышь, которая с наслаждением грызла кусочек сахара, и эта картина непонятно почему рассмешила ее. «Он решил, что я чокнулась, — объясняет она, — но хоть одно доброе среди этого кошмара!»

В ходе допроса Галине стало ясно, какого мнения советские власти были об АК и западных союзниках: «Для них [НКВД] мы были шпионами. Они заявляли, что мы [в своей Армии Крайовой] сотрудничали с Англией и фашистской Германией — что вместе с англичанами и немцами мы сражались против русских». Галину приговорили к 10 годам заключения. «[Они обвинили] меня в шпионаже в пользу немцев и англичан. Достаточно было быть членом АК. И о тебе попросту забывали».

В люблинской тюрьме она узнала, как «особая команда» расстреливала других поляков — бывших членов АК. Она слышала, как офицер, старший команды, кричал: «Расстрелять этих предателей родины». А потом, «когда мы выходили на прогулку [в тюремный двор] после казни, мы замечали разбрызганный по стенам мозг».

В самом начале срока Галина получила возможность поглубже разобраться в ментальности тех, кто держал их в плену. Прибывшая советская делегация поинтересова-

лась, есть ли у кого-нибудь жалобы на условия содержания. «Я даже встрепенулась: да, в подвале — на дворе стоял декабрь — всего лишь 3 крана и 3 унитаза, и двадцати с чем-то заключенным дают всего 10 минут, чтобы помыться и сходить в туалет. По-вашему, за это время можно успеть? Нет». После этого случая к ней зашел один из надзирателей и сказал: «Ладненько, теперь у тебя будет предостаточно времени». Он отвел Галину и других женщин, поддержавших ее, в ледяной подвал с кранами и унитазами, заставил их раздеться догола и простоять там всю ночь. На следующее утро к ним зашел старший офицер и ухмыльнулся: «Ну что, помылись?» Женщины промолчали. Потом их провели перед остальными камерами, чтобы все заключенные видели, «что будет, если кто-нибудь еще раз пожалуется начальству».

В тюремной сырости Галина подхватила туберкулез и чудом выжила. Ее поддерживали регулярные посещения тещи, которая ни разу за все 10 лет заключения не оставила Галину. А вот муж так и не появился. Десять лет спустя, Галина наконец узнала от тещи почему: «Детка, тебе нельзя возвращаться [к ним домой]. Теперь там другая женщина с ребенком, и они ждут второго».

Галина изо всех сил старалась начать новую жизнь — потеряв мужа, потеряв здоровье. Эта женщина была лишь одной из бесчисленных жертв советской оккупации Польши.

### Встреча в Квебеке

В сентябре 1944 года Черчилль и Рузвельт прибыли на встречу в Квебеке. Сегодня эта встреча в Канаде представляется не такой уж и важной — иными словами, ее трудно сравнить с Тегеранской, Ялтинской или Ньюфаундлендской конференциями, итогом которых стала Атлантичес-

кая хартия и множество других соглашений и договоренностей. И все же это один из самых значимых моментов во взаимоотношениях двух лидеров — именно он породил слухи о некоей загадочной дружбе между ними, которая во многом определила их дальнейшие взаимоотношения.

Хотя Варшавское восстание все еще продолжалось и повстанцы, как никогда, нуждались в помощи, судьба Польши и планы Сталина на будущее страны мало обсуждались на переговорах. Рузвельт в упор игнорировал неудобную политическую ситуацию. Сражения АК в Варшаве, как и расстрел поляков в Катыни, были досадным — хоть и прискорбным — пятном на общей картине. А Рузвельт всегда рассматривал ситуацию в целом.

И в Квебеке как раз обсуждалась «ситуация в целом» — в основном судьба послевоенной Германии. Этот вопрос первостепенной важности вызвал множество разногласий в Тегеране, о чем свидетельствует тот печально известный ужин, на котором Сталин потребовал расстрелять, по меньшей мере, 50 тысяч немцев сразу после окончания войны. Здесь, в Квебеке, этот же вопрос представлялся ничуть не менее спорным. На ужине 13 сентября Рузвельт попросил секретаря Федерального казначейства Генри Моргентау ознакомить его с мнением американцев по этому поводу. Довольно странная просьба, ведь вопросом будущего Германии должен заниматься Госдепартамент, но уж никак не Федеральное казначейство.

Моргентау высказал одну из самых радикальных и преступных идей XX века. В перспективе намечалось не только разделить Германию на две части, но и ликвидировать почти всю промышленность. Много позже один американский генерал грозился разбомбить Вьетнам «до уровня каменного века»<sup>24</sup> — и с точки зрения экономики план Моргентау был равносильен этому.

Черчилль, всегда доверявший своим чувствам, негодовал. «Я уже собирался продолжить, — пишет Моргенту, — но по тихому бормотанию и гневному взгляду было ясно, что премьер-министр был не в восторге от моей речи... Я никогда прежде не видел его столь резким и несдержанным, как в тот вечер... Едва я замолчал, как на меня хлынул поток сарказма и оскорблений. Какую ненависть вызвал у него план Федерального казначейства!»<sup>25</sup>

Затем Черчилль заявил Моргенту, что высказанная им идея «чудовишна, антигуманна и совершенно избыточна»<sup>26</sup>. И по словам его врача лорда Морана, присутствовавшего при этом, британский премьер-министр ясно выразился: «Я обеими руками “за” обезвреживание Германии, но мы ни в коем случае не должны мешать ей пристойно существовать. Рабочий класс всех стран связан между собой, и англичане не смиряются с вашим предложением»<sup>27</sup>.

Вряд ли между Америкой и Британией когда-либо возникали такие разногласия по поводу дальнейшей политики, как в тот вечер. Но затем произошло нечто из ряда вон выходящее. Пару дней спустя Черчилль взял свои слова обратно и одобрил план Моргенту.

15 сентября Черчилль продлил соглашение о ленд-лизе с Америкой, в результате чего 6,5 млрд. долларов переключались в карман Англии. Этот вопрос также обсуждался на переговорах. Он был жизненно важен для британской экономики, ведь все знали, в каком она состоянии после войны. Согласно дневниковым записям Моргенту, «Черчилль очень переживал из-за встречи, и в какой-то момент в его глазах даже блеснули слезы»<sup>28</sup>. После подписания соглашения Черчилль взглянул Рузвельту в глаза и выразил свою признательность — просто «рассыпался в благодарностях».

Наконец Черчилль закончил зачитывать свою собственную версию плана Моргентау, основанную на записках последнего и сохранившую деструктивный характер оригинала. Примечательно, что Черчилль добавил одно ключевое слово в строку: «Эта программа устранения военных отраслей в Рурской и Саарской областях предусматривает превращение Германии в сугубо аграрную страну». Версия Черчилля же звучала так: «Эта программа устранения военных отраслей в Рурской и Саарской областях предусматривает превращение Германии в аграрную и пастушескую страну». Слово «пастушеский» скорей всего подразумевало «идеализированное представление о сельскохозяйственной жизни» и таким образом «создавало радужную картину радикальных изменений»<sup>29</sup>.

Министра иностранных дел Энтони Идена поразило напряженное лицо Черчилля, и он все еще был категорически против плана Моргентау. «Это все равно, — пишет он, — что взять и превратить Черную страну<sup>29a</sup> в Девоншир. Мне совсем не понравился план, и я не думаю, что это пошло бы на пользу нации. Так я и сказал...»<sup>30</sup> Черчилль пытался убедить Идена в выгодности осуществления плана и ликвидации Германии как производственного конкурента ради увеличения объема британского экспорта, но в конце концов заявил: «На кон поставлено будущее моего народа, и если мне придется выбрать между нашими и немцами, то я, безусловно, выберу наших»<sup>31</sup>.

Таким образом, Черчилль изменил свое отношение к плану американцев по ликвидации промышленности Германии. Если раньше он казался ему «чудовищным, антигуманным и совершенно излишним», то теперь он полностью поддерживал его. Вряд ли он изменил свое решение только потому, что осознал все преимущества

плана Моргентау для британской промышленности — как-никак эта выгода была очевидна даже при первом приближении. Вероятнее всего, Черчилль просто-напросто шел на поводу у американцев после подписания ими соглашения о ленд-лизе.

Так считал один из создателей американского плана, помощник Моргентау Гарри Декстер Уайт. Он недвусмысленно намекнул на связь между сложностями, с которыми пришлось столкнуться Черчиллю на переговорах по вопросу ленд-лиза (однажды Черчилль даже унизился: «Ну что мне сделать для вас, стать на задние лапы и просить, как Фала?»<sup>32</sup> — собака Рузвельта. — *Прим. авт.*) и его благодарностью Рузвельту после подписания договора и стремлением одобрить план Моргентау в ответ.

Что же касается Рузвельта, не приходится сомневаться, что он хотел так сурово обойтись с Германией из личных побуждений. Годами он опасался ее военной мощи. Действия нацистов после враждебности Германии в Первой мировой войне и в XIX веке были, по его мнению, частью общей картины. Перед самой войной в речи 1939-го Гитлер открыто насмеялся над просьбой Рузвельта не нападать на ряд стран. Рузвельт также знал о презрении Гитлера к Америке как к расово «грязной» стране и неуважении ее президента как личности — его инвалидность символизировала его неполноценность, о чем и говорилось в нацистской идеологии.

На Касабланкской конференции Рузвельт утверждал, что союзники согласны только на «безоговорочную» капитуляцию немцев; теперь же, перед встречей в Квебеке 19 августа, Рузвельт сказал Моргентау: «С немцами надо пожестче, и я имею в виду не только нацистов. Необходимо либо стерилизовать их, либо обращаться с ними так, чтобы у них и в мыслях не было рожать будущих последователей своих идей»<sup>33</sup>. И хотя



Моргентау поспешил ответить, что «никто не собирается этого делать», было видно, как сильно президент желал столь «крутого» обращения с немцами.

Но нельзя забывать еще об одном аспекте поддержки Рузвельтом плана Моргентау. Ведь американский президент прекрасно знал, что еще один могущественный мировой лидер стремился полностью обескровить Германию после войны — Сталин. Лидер Советов делал на этом акцент не только в Тегеране, но и сравнительно недавно, на предыдущей встрече с польским премьер-министром 9 августа, завершив встречу фразой: «Я за любые возможные и невозможные меры против Германии»<sup>34</sup>. Хотел он этого или нет, слова Сталина не лезли у него из головы на первой встрече с Черчиллем по поводу плана Моргентау в Квебеке. Американский президент отметил, что деиндустриализация Германии была необходима, ведь «завод по производству металлической мебели может вмиг приступить к военному производству»<sup>35</sup>. Именно это сказал в Тегеране Сталин: «Вы позволяете немцам производить металлическую мебель? — поинтересовался он, — а ведь они могут запросто наладить производство вооружения»<sup>36</sup>.

Получается, что план Моргентау был как раз той мерой, которая устраивала Сталина. Важно отметить, что один из создателей плана — Гарри Декстер Уайт — был советским шпионом, и вероятность того, что Сталин приложил руку к разработке плана Моргентау. Уайта разоблачила бежавшая на Запад советская шпионка Элизабет Бенгли в ноябре 1945 года, но его вина так и не была доказана вплоть до опубликования «Веноной» рассекреченных данных Советов.

Эта причинная связь понятна. Уайт был одним из ведущих создателей и сторонников плана Моргентау, и в силу понятных причин был неплохо осведомлен о пла-

нах советского правительства — и Сталина — относительно послевоенной Германии. И хотя ни один из представленных «Веноной» документов не указывает на конкретную связь Уайта (под различными кодовыми именами: «Юрист», «Ричард» и «Адвокат») с Советами по данному вопросу, вряд ли он мог не обсуждаться им и его советским куратором.

Безусловно, Сталин, благодаря своим шпионам, был в курсе предложений Моргентгау. 18 октября дешифровальщики «Веноны» перехватили агентурное сообщение Натана Грегори Силвермастера, экономиста Управления военного производства, советскому руководству, в котором описывался план («Рурская область будет исключена из состава Германии, и управление ею будет передано международному совету. Химическая, металлургическая и электротехническая промышленность также будут удалены из Германии») <sup>37</sup>. Силвермастер был одним из самых ценных советских агентов в США и координировал многочисленную агентуру в американском правительстве. Его подозревали в шпионаже с 1942 года, но когда ему было предъявлено официальное обвинение, он сослался на своих боссов, в том числе, и на Гарри Декстера Уайта, который поручился за него. В результате вместо увольнения его повышали.

В ходе квебекской конференции на Америку обрушилась буря негодований по поводу «плана Моргентгау». Госсекретарь Америки Корделл Халл был возмущен не только тем, что Моргентгау позволили так вульгарно посягать на область политики, которая ему не принадлежала, но и тем, что предложенный план лишь озлобит немцев. Халл ушел в отставку в ноябре 1944 года из-за проблем со здоровьем.

Пресса была не менее враждебна. «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост» назвали план игрой фашистам на

руку. В Германии же предложения Моргентау были просто подарком для нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса. «За последние дни мы достаточно узнали о вражеских планах, — заявил Геббельс в радиопередаче той осенью, — план, предложенный этим евреем Моргентау, лишит 80 миллионов немцев промышленности и превратит Германию в огромное картофельное поле»<sup>38</sup>.

Рузвельт был застигнут врасплох таким масштабом критики плана Моргентау. Он — что было ему несвойственно — недооценил настроения простых американцев и позволил нацистской пропаганде восторжествовать. К концу сентября он взял свои слова назад. 29 сентября он заявил Корделлу Хеллу, что «никто не собирается ввергать Германию в полностью аграрное состояние... И никто не хочет «уничтожить отрасли промышленности в Рурской и Саарской областях»<sup>39</sup>. В тот же день Рузвельт подготовил заявление для печати, в котором говорилось, что до сих не было принято определенного решения насчет послевоенной Германии. Затем, в начале октября, президент писал военному министру Генри Стимсону, что «не имеет ни малейшего понятия, как Моргентау вообще сумел протолкнуть свою идейку»<sup>40</sup>.

В директиве за номером 1067 Объединенного комитета начальников штаба говорилось, что оккупационные войска «не должны принимать каких-либо мер по восстановлению Германии или поддержанию и укреплению немецкой экономики»<sup>41</sup>.

### **Встреча Черчилля и Сталина в Москве в октябре 1944 года**

Лето и ранняя осень 1944 года были временем конфликта между союзниками — не только из-за «вечного» вопроса Польши, но и из-за послевоенных очертаний

Европы, особенно претензий Советов на восточноевропейские страны, которыми им вскоре предстояло овладеть. Перед лицом возникших трудностей Черчилль прибегнул к тактике, которую он впервые использовал в августе 1942 года – сел в самолет и отправился в Москву.

Как ни странно, Черчилль вел себя максимально сдержанно. У него были все причины для негодования – Советы до сих пор игнорировали польское правительство в изгнании, и, как он и писал Андерсу парой недель ранее, «русские уничтожали начала» Польши, «особенно в интеллектуальной сфере». Но на протяжении бесед со Сталиным он упорно делал вид, что ничего подобного не происходило.

9 октября в 10 вечера в Кремле, в уже знакомом кабинете Сталина Черчилль снова встретился с ним. Премьер-министр предложил начать с «самого наиболее болезненного вопроса – Польши»<sup>42</sup>. Он отметил, что «сейчас каждый [из нас] держит в руке боевого петушка» (имея в виду связь между британским и польским правительством в изгнании и между Советами и люблинскими поляками). Сталин ответил, смеясь: «Как же без них – должен же кто-то кукарекать по утрам».

Потом Черчилль сказал, что вопрос послевоенных границ Польши уже «решен». Это было довольно странно, ведь польское правительство в изгнании, признанное британцами «законным» правительством Польши, все еще отказывалось уступить восточные территории Советам. Сталин просто ответил, что «если граница пройдет по линии Керзона, то это только будет способствовать нашим переговорам».

Черчилль добавил, что если впредь на какой-либо мирной конференции «какой-нибудь генерал Соснковский» будет возражать, то «это будет неважно», потому что американцы и англичане считают новую границу

«правильной и справедливой». (Главнокомандующий польскими войсками Соснковский был известен своей критикой советской политики в отношении Польши. На встрече на Даунинг-стрит в мае 1944 года Черчилль даже посоветовал польскому премьер-министру выставить Соснковского из кабинета — ссылаясь на «невменяемость» генерала)<sup>43</sup>.

Черчилль спросил Сталина, «стоит ли» заставлять лондонских поляков лететь в Москву, добавив, что «их самолет уже готов». Если бы они прибыли в Москву, им «пришлось бы принять решение» насчет «русско-британского соглашения».

На это Сталин ответил, что не возражает, однако напомнил, что Миколайчику «придется пообщаться с комитетом [люблинскими поляками]». Ведь теперь у люблинских поляков в распоряжении есть своя армия, и с ними следует считаться».

Вот только Сталин не сказал ни слова о том, что представляет собой эта самая армия, находящаяся «в распоряжении» поляков. Пока Черчилль заседал на встрече с советским лидером в Кремле, командиры Красной Армии, как, например, Георгий Драгунов, получали странные приказы — непосредственно от Сталина<sup>44</sup>. Драгунов был летчиком передового отряда 6-й советской воздушной армии в Восточной Европе. В его отряде были только русские. Но однажды в октябре 1944 года «нам сказали, что с завтрашнего дня мы будем сражаться под польским флагом. Некоторые мои сослуживцы возмутились: “Да ни за что! Я лучше застрелюсь, чем присоединюсь к польской армии”». Но выбора не было. Отряду Драгунова предстояло немедленно стать «польским». Их самолеты были тут же перекрашены в польские цвета, и эскадрилья стала частью польских ВВС. Но имелась одна проблема. Никто

из них ни слова не знал по-польски. Поэтому они без промедления записались на ускоренные курсы изучения языка. Советы осознавали риск, на который идут, одевая пилотов в польскую форму, — если их собьют немцы, враг сразу же «обо всем догадается». Так что было принято еще одно решение. Хоть самолеты и выглядели польскими, польскую форму пилотам разрешалось надевать только при условии достаточного овладения языком, чтобы сойти за поляков. Через несколько месяцев «большинство пилотов расхаживали в польской форме, и все наши документы были выписаны на польском языке». Драгунов не видел в этом ничего зазорного, он верил, что помогает рождению новых ВВС Польши. Они да солдаты Берлинга в Красной Армии (уже обряженные в польскую форму советские офицеры) и составляли новые «войска в распоряжении» правительства «освобожденной Польши».

И вот в Москве Сталин ссылается на «польскую» армию, управляемую Советами, что, по его мнению, добавляет люблинским полякам веса, придает им законность. Черчилль незамедлительно парировал, что у «второй стороны», дескать, тоже есть армия. Часть ее «держалась до конца в Варшаве», но в ее составе был также бесстрашный корпус, действовавший в Италии, где полегло около 8 тысяч человек. Это были славные и смелые ребята. Вот только им не повезло — их политические лидеры были очень неблагоприятны. Где два поляка — там быть ссоре. Сталин съязвил, что «будь там один поляк, он бы поссорился сам с собой просто от скуки».

Затем лидеры перешли к обсуждению будущих границ оставшейся части Европы. Во время этого Черчилль составил документ, который назвал «сомнительным». Этот момент обрел дурную славу в истории вой-

ны. Доставая бумагу, он посетовал: «Американцы были бы в ужасе от подобного подхода. [Но] маршал Сталин был реалистом»<sup>45</sup>. Потом в шутку добавил, что сам отнюдь не был сентиментальным человеком, «а вот господин Иден [присутствующий при этом] — нехороший человек».

Рукописный документ содержал ряд процентных соотношений, показывающих, какое влияние «Россия» и другие страны будут оказывать на отдельные европейские регионы:

«Румыния: Россия 90%, остальные 10%.

Греция: Великобритания (вместе с США) 90%, Россия 10%.

Югославия: 50/50%.

Венгрия: 50/50%.

Болгария: Россия 75%, остальные 25%».

Сталин внес одно изменение. Он вычеркнул проценты у Болгарии и подписал: Россия 90%, остальные 10%».

На первый взгляд это было чересчур. Один из ведущих политиков демократического мира препирается по вопросу о процентах «влияния» на страны Восточной Европы с общепризнанным тираном. Все страшно напоминает первую встречу Сталина и Риббентропа в августе 1939 года, когда Советы торговались с нацистами по поводу будущего стран, не могущих дать отпор.

Безжалостная торговля людскими судьбами продолжилась между Молотовым и Иденом на следующий день<sup>46</sup>. Оба министра обменивались своими долями, обсуждая цены, будто торговцы подержанными машинами. Молотов уточнил, могут ли они сойтись на варианте «Болгария, Венгрия и Югославия по 75/25%». Иден ответил, что «это еще хуже, чем было вчера», так что Молотов предложил «90/10 Болгарии, 50/50 Юго-

славии, а Венгрию — в соответствии с изменениями». Молотов сказал, что если «Венгрия 75/25, то Болгария 75/25, а Югославия 60/40». Это было его последнее предложение.

Пока Черчилль беседовал со Сталиным в Кремле, советские войска готовились освободить и затем поставить под свой контроль Румынию, Венгрию и Болгарию. Поэтому Черчилль считал, что пытается спасти хоть что-нибудь от наступающей на Европу Красной Армии. Обретение влияния над восточными землями означало успех в данной ситуации.

Далее следовал вопрос об американцах. После войны американские войска, по-видимому, собирались обосноваться и в Восточной Европе, однако ни Рузвельт, ни Черчилль не ожидали такого развития событий. Как раз наоборот. В Тегеране Рузвельт подчеркнул, что американцы только отправят в Европу «самолеты и корабли» на случай «будущей угрозы миру»<sup>47</sup>. Учитывая это вялое обещание американцев, большая часть ответственности в случае успеха ляжет на британцев.

Черчилль пытался понять личность Сталина. Тот на протяжении всех встреч оставался немногословным и погруженным в себя. Можно было предположить, что любая язвительность означала бы — и это было глубоким заблуждением, — что над Сталиным стояли те, кто принуждал его вести себя подобным образом. В телеграмме военному кабинету премьер-министр писал из Москвы: «Безусловно, беседу в узком кругу отличала... легкость и доброжелательность, никогда прежде не имевшая места... Сталин проявлял уважительность и такт, как мне показалось, от чистого сердца. И все же я твердо убежден, что над ним никого нет»<sup>48</sup>. Черчилль считал, что когда Сталин вел себя более-менее вежливо, это и был «истинный» Сталин. Когда же он



становился грубым и бестактным, в этом случае он наверняка находился под влиянием неких «темных сил», стоявших за ним. Столь ошибочная теория Черчилля свидетельствовала не только о его неосведомленности о том, как функционировал советский аппарат власти, но и о его желании видеть только то, что он желал видеть.

Как показали переговоры между Молотовым и Иденом после представления «сомнительного» документа Черчилля, это была серьезная попытка — хоть и недоработанная — решить политические вопросы Восточной Европы, порожденные послевоенным миром. Но так как рассуждения Молотова продемонстрировали готовность Советов поторговаться, а также указали на размытость термина «процент влияния» — дать точное определение которому так и не решился никто из присутствующих, — любая попытка продолжить обсуждение вопроса мгновенно прекращалась. Однако Черчилль считал, что «сомнительный» документ наполнял последующие шаги Сталина смыслом. Например, той же осенью Советы не препятствовали действиям британцев в Греции (которая согласно документу на 90% была под опекой Великобритании). Но есть свидетельство тому, что Сталин решил не вмешиваться в судьбу Греции до тех пор, пока Черчилль сам не поднимает этот вопрос<sup>49</sup>.

Во время первой встречи — той самой, на которой Черчилль огласил свой «сомнительный» документ, — обсуждение перешло на будущее Германии. Черчилль был за «жесткие условия», а Сталин добавил, что хочет уничтожить немецкую «тяжелую промышленность». Молотов поинтересовался, что Черчилль думал о «плане Morgентау». Черчилль ответил, что и Рузвельт, и сам Morgентау «были не в восторге от него». А когда Ста-

лин ударился в рассуждения о «необходимости длительной оккупации Германии», Черчилль заметил: «Вряд ли американцы останутся там надолго».

Нужно было что-то решать — и срочно. Поэтому Черчилль настаивал, чтобы Сталин позволил польскому министру в изгнании Станиславу Миколайчику прибыть в Москву. И в 5 часов вечера 13 октября тот вошел в Кремль для переговоров со Сталиным и британским премьер-министром.

Можно себе только вообразить чувства, охватившие Миколайчика, когда он вновь встретился со Сталиным. Но что бы он ни испытывал, предстояло лишь худшее. Во-первых, Сталин повторно озвучил свои требования, высказанные в августе<sup>50</sup>. «Как вы можете закрывать глаза на очевидные вещи! Польский комитет (люблинские поляки) проделал большую работу в Польше и — снова завел он заезженную пластинку — обладает неплохой армией. Так что нельзя списывать его со счетов, он должен принять участие в рассмотрении всех вопросов о будущем Польши. К тому же лондонские поляки обязаны признать линию Керзона и уступить Восточную Польшу — без выполнения этих условий можете ни на что не рассчитывать».

Миколайчик возмутился: «Польские солдаты, сражавшиеся с немцами, считали, что сражаются за возвращение на эти земли!» [Имеется в виду территория на востоке Польши, которую они потеряют, признав линию Керзона.] Сталин не растерялся: «Вообще-то украинцы и белорусы тоже сражались за эту землю, но возможно, господин Миколайчик просто не знал об этом. Они пострадали куда больше всех поляков вместе взятых».

Черчилль, выступивший в роли посредника в этой конфликтной встрече, заметил, что «все знают, какие

потери пришлось понести Польше». Дальше он долго и эмоционально растолковывал, что все — включая маршала Сталина — желают видеть Польшу «свободным и независимым государством, живущим собственной жизнью», «дружественной» к Советскому Союзу. Но в ключевом решающем вопросе о восточной границе Польши британское правительство приняло сторону Советов, «потому что это их долг. Не потому, что Россия сильнее, а потому, что здесь она права». На что Миколайчик ответил: «Вот уж не знал, что придется делить Польшу, не решив остальных проблем».

Стоило Черчиллю заикнуться о «любезности» и попытаться упросить Миколайчика уступить Восточную Польшу, как вмешался Молотов. Ему порядком надоели слезливые разглагольствования Черчилля, и он воззвал вернуться с небес на землю. Он напомнил всем, «о чем говорилось в Тегеране по поводу польского вопроса». Президент Рузвельт «признал линию Керзона», но «пока не хотел придавать это огласке», и «они могли убедиться, что мнения Советского Союза, Великобритании и Америки совпадают».

Хотя Миколайчик знал, что Черчилль желал признания поляками «линии Керзона», он понятия не имел, что это уже обсуждалось — судя по всему, успешно — на Тегеранской конференции в отсутствие самих поляков. Он также не подозревал, что и Рузвельт согласился с остальными членами «Большой тройки».

Черчилль сказал: «Надеюсь, вы не обижены на меня за столь неприятные, но все же честные слова», на что Миколайчик ответил: «За эту войну я слышал столько грубостей, что подобными вещами меня из себя уже не выведешь».

На следующий день на даче в Подмосковье, где разместились британцы, Черчилль в очередной раз потре-

бывал от поляков соглашения на изменение границ. И тут Черчилль дал слабину. У него просто в голове не укладывалось, почему поляки так упрямы. «Вы обязаны это сделать! — повторял он. — Иначе все будет потеряно»<sup>51</sup>.

«Вы что, хотите, чтоб я себе смертный приговор написал?» — возмущался Миколайчик.

«Сдаюсь, — поник Черчилль, — думаю, пора прекратить это. Мы не собираемся ставить под угрозу мир в Европе из-за перепалок между поляками. Вы, должно быть, не понимаете, что поставлено на кон. Это не просто попорченная дружба. Весь мир узнает о вашем безрассудстве. Вы развяжете еще одну войну, обрекая на смерть 25 миллионов человек. Но вам же плевать на это».

«Я вижу, наша судьба уже была предрешена в Тегеране», — холодно заметил Миколайчик.

«Она была спасена в Тегеране», — парировал Черчилль.

«Я слишком патриотичен, чтобы отдать половину своей страны».

«Что значит “слишком патриотичен”? Помнится, четверть века назад мы восстановили Польшу, невзирая на то, что в последней войне большинство поляков сражалось против нас, а не за нас. Теперь мы снова пытаемся уберечь вас от исчезновения, но вы упрямитесь, как баран. Да вы с ума сошли!»

«Но это решение [линия Керзона] ничего не изменит».

«Если вы не признаете новых границ, мы спишем вас со счетов. Русские сотрут вашу страну с лица земли и истребят ваш народ. Вы на грани исчезновения!»

Однако Миколайчик все равно отказывался признать потерю Восточной Польши. Черчилль заявил, что «ваше упрямство у всех уже в печенках сидит». Собра-

ние окончилось удалением поляков с целью принятия решения. Но решение и так было очевидно. А разве могло быть иначе? Разве могли они сотрудничать, как хотел Черчилль? Миколайчика просили подписать отказ от Восточной Польши в пользу Советов, в то время как польские солдаты в армии союзников — для многих из которых именно эти земли были родиной — сражались и погибали за них.

Вспышка гнева Черчилля отчасти примечательна еще и благодаря его замечанию, что если поляки не подпишут соглашение, то «русские сотрут вашу страну с лица земли и истребят ваш народ». Звучит странно — мягко выражаясь, — если вспомнить его мнение в Тегеране по поводу того, что Сталину полагается некая территориальная выгода, потому что «характер» Советского правительства «изменился».

Поляки вернулись на британскую дачу и вынесли свой вердикт в три часа дня. Само собой, Миколайчик наотрез отказался признавать линию Керзона. Черчилль вышел из себя и, не стесняясь в выражениях, назвал поляков «бессердечными людишками, жаждущими расколоть Европу»<sup>52</sup>. Он заявил, что, если поляки «собираются бодаться с Россией, мы с удовольствием поглядим на это. Это же просто дурдом! Не думаю, что британское правительство впредь будет признавать вас».

Наконец он завершил собрание едким — и не совсем справедливым — высказыванием: «Чем вы помогли союзникам? Какую лепту вы внесли в общие усилия? Можете отзывать свои войска, делайте что хотите. Вы просто не видите очевидного. Откуда только такие люди берутся?»

Миколайчик был потрясен визитом в Москву — не только яростными нападками Черчилля, но и тем, что

западные союзники уже давно решили вопрос о границах в Тегеране за его спиной. Его расстроило предательство Рузвельта. В июне 1944 года во время визита в Вашингтон американцы заверили Миколайчика, что «линию Керзона признали только маршал Сталин и премьер-министр Черчилль». На собрании Рузвельт изворачивался, как мог. «Этим утром я изучил 16 карт Польши<sup>53</sup>, — отчитывался он. — За последние три века часть белорусских земель принадлежала Польше, да и немецких тоже, и чехословацких... С другой стороны, порой и часть Польши входила в состав этих стран». Поэтому, объяснял Рузвельт, «карту Польши сложно распутать». И все же, несмотря на эти «сложности», Рузвельт и не заикнулся о договоренности насчет польских границ — официальной или не совсем таковой — со Сталиным в Тегеране.

А теперь, пишет Миколайчик американскому послу в Лондоне, «я с превеликим удивлением узнаю от господина Молотова на встрече 13 октября, что на Тегеранской конференции представители всех трех великих держав уже давно пришли к соглашению, что граница между Польшей и Советским Союзом должна проходить по т. н. линии Керзона»<sup>54</sup>.

И снова Рузвельта подловили. Понятно, почему в июне он скрыл от Миколайчика правду. В Тегеране Рузвельт выразил озабоченность тем, что нескольким миллионам американских избирателей явно пришлось бы не по нраву, если Советам достанется Восточная Польша, — и они с радостью выразят свое недовольство на президентских выборах в ноябре 1944 года. Но как только Рузвельта тихо переизбрали 7 ноября, Миколайчик уже ничем не мог ему навредить. 22-го числа он вежливо ответил на обвинения Миколайчика, сказав, что если бы в вопросе о границах было достигнуто «взаимное

соглашение», то «правительство не имело бы ничего против». (В том же месяце Рузвельт куда более откровенно выразил свое мнение в личном письме Авереллу Гарриману: «...он [Рузвельт] считал положение настолько безвыходным, что решил просто держаться как можно дальше, не считая вопросов, связанных с Германией»<sup>55</sup>.) Миколайчик подал в отставку 24 ноября. Он был сыт по горло.

Хоть Черчиллю и не удалось добиться взаимного соглашения, он не унывал. На последнем ужине в Кремле 18 октября Сталин с Черчиллем болтали прямо как закадычные друзья. Но на самом деле стоило им заговорить о Рудольфе Гессе, нацисте, прилетевшем в Британию накануне немецкого вторжения в Советский Союз, выяснилось, что у Сталина все еще были подозрения насчет Британии. Он поздравил британскую разведывательную службу с тем, что им удалось убедить Гесса прилететь в Британию. Черчилль, назвав Гесса сумасшедшим, заверил Сталина в непричастности Британии к этому происшествию. Но тот ответил, что члены советской разведслужбы тоже часто признаются в своих операциях уже постфактум»<sup>56</sup>.

В ноябре, спустя пару дней после отставки Миколайчика, Черчилль заявил кабинету министров: «Война нам пока что не грозит, и мы должны быть осторожны во взятии на себя обязательств в формировании западного блока, чтобы не нажить себе проблем в будущем»<sup>57</sup>.

Хоть его взгляды на устойчивость послевоенного мира могли измениться, Черчиллю казалось, что Советы могли бы стать полноправными членами международного сообщества, и из Москвы он вернулся в приподнятом настроении. «Мы провели замечательные пе-

реговоры со Сталиным, — писал он своей жене Клементине. — Он нравится мне все больше и больше! Теперь он нас уважает и, конечно же, захочет с нами сотрудничать»<sup>58</sup>.

Однако спустя несколько месяцев его надежды рухнут.

### Будапештская операция

Пока лидеры «Большой тройки» готовились к самой шумевшей за всю войну конференции в крымской Ялте в феврале 1945 года, в Венгрии началось одно из самых значительных сражений. Пусть Будапештская операция и не так известна в общей истории, как Сталинградская или же битва за Берлин, она тем не менее имела огромное значение, продемонстрировав, на что способны советские войска, продвигавшиеся в глубь Европы.

Венгрия была далеко не самым надежным союзником нацистской Германии. Венгерское правительство во главе с адмиралом Хорти с самого начала было вынуждено сотрудничать с гитлеровской Германией. Здесь сыграла свою роль не только заурядная боязнь Венгрии немецкой военной мощи, но и возможность агрессии противника с востока. Но как только Германия захватила Францию летом 1940 года, венгры пересмотрели свои военные и политические приоритеты. В точности так же, как это событие изменило отношение Сталина к нацистам, оно заставило и венгров изменить взгляды на войну. Теперь, считали они, и у них наконец-то появилась возможность встать на сторону победителей и в итоге отхватить себе лакомый кусочек Румынии. Что они и сделали. В октябре 1940 года венгры присоединились к странам «оси» и в результате получили Северную Трансильванию.



Но к 1944 году стало ясно, что венгры ошиблись с выбором стороны. И после того как на Восточном фронте венгерские войска, сражавшиеся вместе с немцами, были наголову разбиты, Хорти попытался увильнуть от войны. Однако в марте, узнав о замыслах Хорти, Гитлер отдал приказ оккупировать Венгрию, и нацисты приступили к отправке оттуда в Освенцим сотен тысяч венгерских евреев — чему способствовала и готовая услужить немцам венгерская жандармерия. В октябре 1944 года Хорти — оставленный нацистами на посту главы государства после оккупации — снова попытался наладить отношения с Западом, и снова немцы его опередили. На сей раз Хорти заменили на главу венгерской фашистской партии «Скрещенные стрелы» Ференца Салаша, тем самым усилив влияние нацистов в стране.

Тогда же Сталин отдал приказ о немедленном наступлении на Будапешт. В телефонной перепалке с командиром 2-го украинского фронта Родионом Малиновским он настаивал на взятии венгерской столицы «за пару дней». На возражения Малиновского, что ему, дескать, потребуется как минимум 5 дней для выполнения задачи, Сталин ответил: «Хватит упрячиться! Вы не осознаете все политическое значение незамедлительного взятия Будапешта»<sup>59</sup>. Под «политическим значением» он, вероятно, имел в виду предстоящее собрание лидеров «Большой тройки», на котором предстояло обсудить послевоенное будущее Европы. Но Советы так и не взяли Будапешт «за пару дней», да и чего ожидал Сталин? Лишь к Рождеству Советам удалось провести решающую атаку на город.

«На окраине Будапешта сопротивление было весьма ожесточенным, — вспоминает Борис Лихачев<sup>60</sup>, командующий советскими танковыми войсками, принимавший участие в битве, — и мы подвергались интенсивным

атакам и контратакам противника». Как командир разведывательного подразделения танкового корпуса, Лихачев оказался в гуще битвы. И он до сих пор отчетливо помнит Будапештскую операцию: «Грохот артиллерии! При разрыве снаряда ты чувствуешь запах гари, а дым разъедает глаза. Трудно дышать... Хуже может быть только взрыв бомбы – взрывной волной легкие разрывает. Ты задыхаешься. Дым забивает легкие, ты не в состоянии глотнуть живительного воздуха. Со мной несколько раз такое было. Сидел в танке с задраенными люками – и никакая вентиляционная система не помогла. Она никуда не годная. Человек не может долго находиться в танке, когда повсюду взрывы. С одной стороны, в танке, особенно тяжелобронированном, чувствуешь себя в безопасности, но с другой стороны – задыхаешься».

Дунай делит Будапешт на две части. На одном берегу – Пешт, и красноармейцы без труда миновали его по ровным дорогам и широким улицам. Но по другую сторону располагается Буда. По восхождению этой части города продвигаться было куда сложнее, но к 25 декабря Советам все же удалось захватить господствующую высоту, и на следующий день город был окружен. Как и в Сталинграде, Гитлер приказал «не отступать и не сдаваться». Будапешт был объявлен *Festung* – крепостью, которую он сдавать не собирался. 70 тысяч солдат – немцев и венгров почти поровну – приготовились к обороне столицы.

При подходе Красной Армии жителей Будапешта охватил страх. Барна Андрашовски<sup>61</sup>, студент мединститута, призванный на службу в венгерскую армию, вспоминает, что «было множество дурных признаков, ибо до нас доходили слухи, что творят русские, врываясь в города». Беженцы из уже занятых советскими войсками северных районов Венгрии «рассказывали жуткие вещи. Со всех снимали часы, а женщин – неважно, моло-

дых или пожилых — они [советские солдаты] забирали и насиловали. Вот такие слухи ходили».

17 января 1945 года немецкие и венгерские войска отступили из Пешта в Буду, и немцы взорвали пять мостов через Дунай, связывавших обе части города. В Буде, а именно в обороняемой эсэсовцами центральной цитадели, завязались ожесточенные бои. В конце концов, не выдержав натиска красноармейцев, немцы попытались организовать прорыв — и все, за исключением пары тысяч, погибли или были взяты в плен. 13 февраля 1945 года советские войска захватили город.

Красноармейцам, которым Сталин приказал взять венгерскую столицу «за пару дней», потребовалось больше ста дней на выполнение приказа вождя. И после победы кое-кому из них захотелось отыграться.

Иван Польш одним из первых увидел происходящее. 11 февраля, за два дня до капитуляции, ему исполнилось 13 лет, и он был единственным ребенком в почтенной венгерской семье. Во время осады он с родителями спрятался в погребе в доме родственников на окраине. Все они слышали о «неуважении советских солдат к женщинам», но «мало кто верил», что красноармейцы опустятся до изнасилований.

За два дня до дня рождения Ивана в подвал доносился грохот артобстрела. «А затем, — рассказывает он, — внезапно в подвал ворвались русские солдаты в белых маскхалатах с автоматами в руках». Они кричали, что ищут немцев. Не найдя их, выбежали обратно на улицу. До смерти перепуганный мальчик видел, как примерно полчаса спустя немецкие солдаты ворвались в погреб, но, тоже не обнаружив противника, быстро убрались.

В ночь на его день рождения «много-много вооруженных русских солдат ворвалось в подвал. Это было даже смешно, если бы не было так жутко, — все они бы-

ли в одежде с чужого плеча. У мужчин на ногах — женские туфли... Они спросили, есть ли у нас драгоценности, но им достались только часы, да кое-что из одежды». Другие группы красноармейцев пришли для прокладки кабеля связи, а потом даже дали нам поесть: «Так что мы ничего против них не имели. И мы решили, что слухи об их агрессивности к женщинам распускали нацисты с целью запугать нас».

Однако через пару дней все изменилось. Около 10 часов вечера два красноармейца вошли в погреб, где скрывалось 25 человек — пожилых и молодых супружеских пар и детишек. Иван «не помнит» лиц тех солдат, но на них была написана злоба.

Один из молодых мужчин выступил в роли переводчика и спросил, что им нужно. Когда они ответили ему, он «затрясся от страха». Оказалось, «им нужна была женщина». «Конечно, переводчик задрожал, ведь среди женщин, лежавших на досках, была и его жена... и он ответил, что, дескать, здесь [только] матери семейств и старушки, и попросил оставить их в покое. Но они уходить явно не собирались. Все женщины прикрывлись одеялами, и тогда красноармейцы начали срывать с них одеяла. У меня душа в пятки ушла, ведь моя мама тоже была там, и для своего возраста — 48 лет — она была еще вполне привлекательной женщиной. Рядом с ней сидела ее младшая сестра, а также советник из посольства со своей женой и шестнадцатилетней дочерью».

В дальнем углу подвала они отыскивали светловолосую девушку, на вид лет 17, горничную владельцев дома. И выбрали ее. Солдаты схватили ее, она раскричалась: «Помогите! Прошу вас, помогите!»

«Все оцепенели от ужаса, — продолжает Иван, — это был просто кошмар. Мне никогда не забыть этого. Все понимали, что женщины были в опасности... И тогда

произошло нечто, на первый взгляд, странное». Владелец дома, отставной офицер, заговорил с горничной. «Он сказал ей: “Прошу, пожертвуй собой ради страны. Ты можешь спасти других женщин, и, поверь, они никогда не забудут этого”».

«В тот момент, — рассуждает Иван, — его слова показались мне очень жестокими. “Принести себя в жертву ради страны”. Но ведь она, уступив этим солдатам, действительно уберегла мою мать и других юных девушек. Она рыдала, когда русские тащили ее наверх... Четверть часа спустя девушка, пошатываясь, спустилась. Она едва слышно стала рассказывать, каким ужасным вещам подвергалась, а эти скоты избивали ее просто так, ни за что. И все женщины тоже расплакались... увидев эту бедняжку, но никто не осмелился даже смотреть в ее сторону... Это был на самом деле кошмар. Я до сих пор с содроганием вспоминаю тот день, хоть мне уже и 75 стукнуло».

После победы Красной Армии изнасилования в Будапеште стали повседневным явлением. «Изнасилования — женщин любых возрастов, от 10 до 70 — стали настолько распространенными, что мало кому удалось избежать их... Что еще хуже, у многих русских солдат были венерические заболевания, а в Венгрии тогда вообще не было лекарств»<sup>62</sup>.

Пятнадцатилетняя Агнесса Карлик<sup>63</sup> была одной из венгерских девушек, пострадавших от лап русских солдат. Как и Иван с семьей, во время осады Агнесса пряталась вместе со своей семьей в подвале. И в точности так же, как и Иван, не сочла солдат, которых увидела вначале, «грубыми. Они просто искали немцев в здании. Надолго не задерживались. Они на самом деле вели себя вполне дружелюбно».

Но обстановка вскоре снова изменилась: «Неожиданно в здание ворвалась целая свора солдатни, вот эти

уж точно вели себя, как звери. Мы попытались их усмирить, но в тот момент все были охвачены страхом. Детишки ревели. Солдаты стали уводить куда-то женщин — дескать, чтобы помогли почистить картошку. Меня и мою сестренку тоже утащили». Бабушка Агнессы тоже хотела пойти с нами: «Она хотела узнать, чего им от нас надо. Но те просто отпихнули ее, а мы упирались как могли. Но они все же выволокли нас наружу. Повсюду лежал снег, было холодно».

Солдаты отвели их в палатку неподалеку. «Они горланили так, что я окаменела от страха. Нас затащили в эту палатку и изнасиловали. А мы были детьми и даже не понимали, что происходит, потому что воспитание в то время было несколько другим. Никто и ничего нам не объяснял... Мне было уже почти 16 лет. В ноябре должно было исполниться. А сестренке всего 14. Бабушка пыталась нас защитить, но они избили ее... И все-таки она нас не оставила. Когда нас отпустили, она увела нас назад. Меня и по сей день мучают кошмары».

Той ночью Агнесса, зарывшись в груды одежды в углу подвала, попыталась уснуть: «Но меня разбудили двое мерзавцев, забредших в подвал. Понятия не имею, как они нашли меня. Наверно, просто мародерствовали. А тут я. И эти тоже меня изнасиловали. Я уже и не сопротивлялась».

Произошедшее с Агнессой не прошло даром для девушки: «Долгое время я ненавидела и презирала мужчин даже без особых на то причин... Это было просто разочарование в людях вообще». Сразу же после повторного изнасилования Агнесса обратилась в больницу, где ее осмотрел врач-гинеколог, чтобы убедиться в отсутствии травм. Это было в порядке вещей, ведь многие женщины получали тяжелейшие травмы в результате нападений.

Студент медфакультета Барна Андрашовски<sup>64</sup> своими глазами наблюдал подобный случай весной 1945 года в одной из деревень неподалеку от Будапешта. Старушка позвала его в дом и сказала, что одной девушке плохо. Войдя в гостиную, он увидел страшный беспорядок и разглядел женщину лет 25 на кровати под одеялом: «Я подошел и приподнял одеяло, оно было все в крови. Она рыдала и повторяла, что умирает и не хочет больше жить». Ему сказали, что группа солдат, «человек 10–15, изнасиловали ее». Вследствие повреждения внутренних органов у нее открылось обильное кровотечение. Барна не смог сам остановить кровь, и девушку отвезли в больницу. «В голове не укладывалось, как такое может происходить в XX веке, — удивляется он, — трудно было не согласиться с нацистской пропагандой».

Безусловно, случаи грубого обращения с мирным населением типичны и для любой другой армии. И многие ветераны Красной Армии не считают свое поведение чем-то из ряда вон выходящим, хотя и стыдятся его. Например, Борис Лихачев, участник Будапештской операции: «Может, такие случаи и имели место, но я, по крайней мере, о них не слышал. Однако такое вполне могло произойти. Потому что в истории победители всегда жаждут получить трофеи за все пережитое. Вот недавно я читал про армию Александра Великого. Когда Александр захватывал северные страны, первыми от лап его воинов страдали женщины. Они готовили для них еду и удовлетворяли любые их требования. Это история. А в армии Наполеона? То же самое».

Но этим никак нельзя оправдать происшедшее во время Второй мировой войны. Разгул солдат Красной Армии несравним с поведением солдат войск западных союзников — массовых изнасилований там не терпел никто. И хотя пока точное число жертв советских солдат

в Венгрии неизвестно, злодеяния поистине носили массовый характер — около 50 тысяч случаев в одном только Будапеште. Вот доклад венгерских коммунистов из Кебанье, представленный Советам в 1945 году. В январе, согласно докладу, красноармейцы совершили ряд половых преступлений в «безумном беспощадном кураже. Пьяные солдаты насильвовали матерей на глазах собственных детей и мужей. Девочек лет 12 забирали у отцов и насильвовали по 10–15 человек подряд, часто заражая венерическими заболеваниями... Да, среди солдат Красной Армии были и порядочные люди, но стоило обратиться к ним за помощью, как они впадали в ярость и грозились пристрелить нас, приговаривая: “А что вы творили в Советском Союзе? Мало того, что насильвовали наших жен на наших глазах, так еще потом убивали их вместе с детьми, сжигали и разрушали наши села и города”»<sup>65</sup>.

Официально о преступлениях почти ничего не говорилось и, уж конечно, в газете «Правде» ни о чем подобном и словом не обмолвились. И хотя иногда проскальзывали попытки заявить о бесчинствах красноармейцев, очевидно, советские власти смотрели на это сквозь пальцы.

«Никто попросту не обращал на это внимания, — поясняет Федор Хропатый<sup>66</sup>, один из немногих красноармейцев, признающих факт совершения изнасилований в Восточной Европе. — Более того, солдаты болтали об этом, гордились этим, чувствовали себя героями, ведь они спали с такой-то женщиной, а то и с двумя, и тремя. Вот чем хвастались солдаты... это было в порядке вещей. Никто не сообщил бы и об убийстве, так что уж говорить про солдат, спавших с девчонками... Обидно, что наша армия заслужила такую репутацию, и я очень зол на людей, делавших это. Мне это не по душе, совсем не



по душе... В каком-то смысле я могу их понять. Четыре года войны в нечеловеческих условиях... И тяга к насилию представляется вполне естественной. Могу понять их желание обладать женщиной даже против ее воли, но никак не факт изнасилования...» Что же касается количества таких солдат, Федор сомневается: «Не могу сказать точно. Вероятно, процентов 30 солдат Красной Армии совершали это».

Мнение Сталина на этот счет стало ясно зимой 1944 года в Кремле во время визита видного югославского коммуниста Милована Джиласа. Тот прежде уже критиковал поведение красноармейцев в Югославии. Как и коммунистов из Кебанье, Джиласа тревожили сообщения о фактах изнасилований, и он пожаловался командованию Красной Армии. Позже на банкете, по случаю прибытия югославской делегации, в Кремле Сталин учел его протест. Он рассуждал о тяготах и лишениях, которые пришлось вынести красноармейцам, когда гнали врага из Советского Союза, а потом высказался предельно прозрачно: «И кто же осмеливается оскорбить такую армию? Джилас! Джилас, от которого я меньше всего этого ожидал, к которому я так хорошо отношусь! Армию, которая не пожалела живота своего ради вас!» В конце Сталин сказал: «Ну как он [Джилас] понять не может, что солдату, прошедшему огонь, воду и медные трубы хочется поразвлечься с женщиной или прихватить пару трофеев на память?»<sup>67</sup> Кульминацией вечера, по словам Джиласа, был момент, когда «Сталин, поцеловав мою жену, воскликнул, что теперь и его можно сажать за изнасилование». А когда в другой раз Сталину сказали, что его солдаты насиловали немецких беженков, он парировал: «Мы и так слишком много им указываем, надо же иногда и волю давать»<sup>68</sup>.

Мы видим, что Сталин фактически потворствовал

изнасилованиям. А вот глава НКВД Берия сам был насильником. В 1953 году после смерти Сталина один из телохранителей Берии сознался, что они с напарником патрулировали московские улицы в поисках потенциальных жертв для своего шефа и отвозили их к нему домой. И хотя люди потом заявляли об этом, но им не верили, утверждая, что это, мол, клеветнические измышления, имевшие целью обесчестить Берию. Показания советской актрисы Татьяны Окуневской<sup>69</sup>, одной из жертв Берии, подтвердили совершение главой НКВД актов сексуального насилия: «Страшно вспомнить. Он разделся и развалился на своей роскошной кровати, пожирая меня глазами. Он походил... не то чтобы на медузу, скорее на мерзкую бесформенную жабу. «Давай поужинаем, — предложил он, — мы очень далеко, так что никто не услышит, если ты будешь орать. Ори сколько хочешь. Ты теперь моя. Так что советую подумать над своим поведением. Что, не хочешь со мной кушать и разговаривать?» Я молчала, не знала, куда деваться. Сейчас мне 80, и я все равно не представляю, как надо было поступить тогда. Шли годы, и я осознала одну вещь. Меня могут напугать, ограбить, сжечь мой дом, но в лагере я точно решила — если меня хоть еще раз изнасилуют, я покончу с собой».

Позже Хрущев признался, что Маленков, какое-то время бывший заместителем Берии, отвел однажды его в сторонку и сказал: «Послушай, мой охранник хочет кое-что рассказать тебе». К ним подошел человек и стал говорить: «До меня только что дошли слухи об аресте Берии. Я хочу довести до вашего сведения, что он изнасиловал мою падчерицу-семиклассницу. Где-то год назад ее бабушка умерла, и моей жене пришлось ходить в больницу, оставляя девчущку одну дома. И как-то вечером та вышла купить хлеба рядом с до-

мом Берии. Она наткнулась на старика, который пристально за ней наблюдал. Она сильно испугалась. Кто-то отвел ее в дом Берии. Тот заставил ее сесть и поужинать с ним. Она что-то выпила, отключилась, и он ее изнасиловал».

«Я [Хрущев] ответил ему: “Вы должны рассказать прокурору все, что рассказали мне”. Потом мы получили список из более чем сотни девушек и женщин, изнасилованных Берией. Для всех у него была одна и та же схема. Он угощал их и подсыпал снотворное в вино»<sup>71</sup>.

Выходит, все жалобы об изнасилованиях красноармейцами женщин в Восточной Европе ложились на стол самому главному насильнику.

### Ялтинская конференция

Готовясь ко встрече «Большой тройки» в Ялте, Сталин пытался заручиться как можно большей поддержкой для своего марионеточного правительства в Польше. Именно это и послужило причиной визита генерала де Голля в Москву в декабре 1944 года.

Президент временного правительства только что освобожденной Франции де Голль ясно высказал свое мнение о Сталине. Лидер Советов был «увязшим в собственном лицемерии деспотом, с дружелюбным видом склонявшим людей к своей точке зрения, чтобы быть вне всяких подозрений. Но его устремления были столь необузданны, что зачастую всплывали на поверхность, хоть и не без нездоровой притягательности»<sup>72</sup>. А главной целью Сталина во время встречи с де Голлем было его стремление подмять Польшу под себя.

Сталин ощутимо надавил на де Голля, пытаясь вытянуть из него признание люблинских поляков законными правителями Польши. И хоть де Голль никаких

практических шагов не мог предпринять в этом направлении, Сталину, безусловно, было бы чрезвычайно выгодно заручиться поддержкой Франции до Ялтинской конференции. Де Голль же, несмотря на ненадежность занимаемого им поста главы нового французского государства (выборов как таковых во Франции пока что не проводилось), отказался помочь Сталину. «Отказываясь передавать Францию в руки полякам, — высокопарно пишет де Голль, — я вовсе не думал, что это как-то повлияет на ход событий. У нас и в мыслях не было мешать планам Советов. Я полагаю, Америка и Великобритания поддержат их. Может, эта позиция для Франции сейчас и не очень выгодна, но в дальнейшем окажется полезным, что она заняла ее именно сейчас. Все еще впереди»<sup>73</sup>.

Хоть у Черчилля и Рузвельта за последние несколько недель сложилось неплохое мнение о Сталине, тот не пытался скрыть свою кровожадность от де Голля. На одном из банкетов в Кремле в тот декабрь Сталин в присутствии де Голля и американского посла Гарримана выпил за здоровье главного маршала авиации Новикова, командующего ВВС РРКА, причем тост прозвучал довольно неуклюже. «Он создал замечательные воздушные силы, — заметил Сталин, — а иначе мы бы просто его расстреляли»<sup>74</sup>. Потом Сталин заприметил еще одного военного — генерала Хрулева. «А вот и он! — выпалил Сталин. — Наш начальник тыла. Его дело — снабжать войска, доставлять им все необходимое на поле боя. И уж лучше ему постараться, а не то — прямо на виселицу! Такие вот в нашей стране порядки!»

Де Голль лучше узнал Сталина сразу же после банкета при подписании договора о дружбе с Советами — хоть и не признал люблинских поляков. «Так держать, — сказал ему Сталин, — приятно иметь дело с человеком, зна-

ющим, чего он хочет, даже если он и не разделяет мою точку зрения! — И добавил: — Впрочем, в конце концов, смерть возьмет верх»<sup>75</sup>. В завершение он обратился к Борису Подзерову, своему переводчику в тот вечер: «Ты слишком много знаешь. Придется отправить тебя в Сибирь».

В феврале 1945 года, все еще под впечатлением от пронизанной черным юмором встречи с де Голлем и в радостном осознании того, что война приближается к концу, Сталин сел в поезд, следовавший из Москвы в Крым, в Ялту. Только что ему стало известно, что в конце января Белорусский фронт под командованием маршала Жукова перешел границы рейха и закрепился на восточном берегу Одера всего в 80 км от Берлина. А на Западе союзники тем временем успешно отразили атаку Гитлера в Арденнах, известную как «сражение за выступ». И на Дальнем Востоке генерал Дуглас МакАртур был готов освободить Манилу на Филиппинах от японцев, англичане сумели удержать их у реки Иравади в Бирме, а американские бомбардировщики всюду угрожали островам Японии. Вопрос о победе сомнений уже не вызывал — хотя в основном это касалось военных действий против Японии, все же трудно было утверждать с определенностью, как скоро последует эта победа.

Конференция в Ялте по мере приближения конца войны в умах многих подсознательно ассоциировалась со всякого рода закулисными делишками, не очень чистоплотными соглашениями, компрометировавшими саму суть борьбы с мировым злом — нацистами. Но это не совсем так. Во-первых, разумеется, именно на Тегеранской конференции в ноябре 1943 года обсуждались и в принципе были решены все основные вопросы дальнейшего хода войны и послевоенного мироустройства. В Ялте же, в сущности, не было ничего нового.

Однако именно Ялта важна еще и тем, что ознаменовала для Черчилля и Рузвельта звездный час в сотрудничестве со Сталиным.

3 февраля Черчилль и Рузвельт, вылетев с острова Мальта, приземлились вблизи городка Саки, расположенного в крымских степях севернее горной цепи Крыма, защищавшей приморский курорт Ялту. И внушительная по численности группа советников и помощников — всего их было около 700 человек — проделали изнурительный путь через горные перевалы к побережью Черного моря. Черчилля, втайне надеявшегося, что именно Соединенное Королевство будет избрано местом конференции — речь шла об одном городке в Шотландии, — не испытывал восторга по поводу визита в Крым. Позже он опишет Крым как «Ривьеру в Преисподней», добавив, что «даже если мы потратили бы 10 лет на выбор места, худшего бы не отыскиали», но и на этот раз возобладала воля Сталина — местом встречи была избрана Ялта.

Нет свидетельств тому, что западные союзники все же усмотрели горькую иронию в выборе места проведения предпоследней конференции — ведь именно в Крыму проживал народ, который восемью месяцами раньше Сталин, в рамках присущего только ему способа подавлять всякое инакомыслие в зародыше, депортировал, разбросав его по отдаленным уголкам своей империи.

О самочувствии Рузвельта во время конференции написано достаточно много. Те, кто работал с ним, как, например, Джордж Элси, не могли не заметить резкого ухудшения состояния здоровья президента США за предыдущие месяцы, и еще на сентябрьской конференции в Квебеке Черчиллю бросилось в глаза, как сдал в последнее время Рузвельт. В Ялте лорд Моран, личный

врач Черчилля, записал в свой дневник: «Судя по всему, все уже смирились с тем, что президент таял на глазах... Сомневаюсь, что участие в конференции было ему по силам»<sup>77</sup>.

Хью Лунги, прибывший в Ялту в составе группы сотрудников британской военной миссии в Москве, вспоминает, как двое глав союзных держав прибыли в Крым на самолетах и что он с удивлением отметил, как изменился Рузвельт: «Черчилль, спустившись по трапу, подошел к Рузвельту. И Рузвельта вынесли из самолета... как инвалида. Черчилль тогда с некоторым даже беспокойством смотрел на него. Оба встретились в Мальте, поэтому Черчилля ничуть не удивило то, что он увидел в Ялте сразу же после приземления, в отличие от меня, кто довольно давно видел Рузвельта, — исхудавшая фигура в черной накидке, фетровая шляпа, сдвинутая на затылок. Его заострившееся лицо было восковым, часто во время работы конференции президент сидел, приоткрыв рот и устремив невидящий взор в пространство. Очень неприятно было видеть такое».

Рузвельт прибыл в Ялту, стоя одной ногой в могиле, это было ясно всем. Но вот на вопрос о том, повлияло ли его состояние на способность принимать решения, ответить не так-то просто и до сего дня. Одно бесспорно — все решения, принятые Рузвельтом в Ялте, вполне вписывались в избранный им политический курс, заявленный еще на предыдущей встрече в Тегеране, и позже — на других. Его основные цели оставались теми же: вступление Советского Союза в войну с Японией на стороне США сразу же по завершении боевых действий в Европе и согласие СССР на учреждение Организации Объединенных Наций. Все сложности пограничных вопросов в Восточной Европе отступали на задний

план — было ли это вследствие обострения его болезни или же вне связи с ней, сказать трудно.

На фоне угасания жизненных сил Рузвельта выделялся пышущий неуемной энергией Сталин. Если прислушаться к сказанному Хью Лунги: «Сталин постоянно пребывал в приподнятом настроении... Он улыбался, был приветлив со всеми, то есть в буквальном смысле со всеми, даже с младшими чинами вроде меня. И чаще, чем прежде, шутил на банкетах». Начиная с побед Красной Армии в 1943 году Сталин стал носить военную форму, в которой в Ялте выглядел весьма импозантно. «Должен признать, что, как мне кажется, дядюшка Джо — самый видный из всей троицы, — писал один из руководителей Форин Оффис сэр Александр Кадоген в своем дневнике. — Он немногословен и сдержан... Судя по всему, этот человек переполняем чувством юмора и довольно вспыльчив!»<sup>78</sup> Более того, лидеры союзных держав почувствовали, что Сталин в Ялте был тем, с кем можно было общаться и в частной обстановке. За год до Ялты Черчилль отметил, что «если бы мне пришлось обедать со Сталиным хотя бы раз в неделю, между нами никогда не возникло бы недопонимания... Мы бы с ним вмиг договорились»<sup>79</sup>.

Черчилль и Рузвельт продолжали верить Сталину-человеку. Они цеплялись за надежду, что заявления Сталина о дружбе, в частности, в его речи 6 ноября 1944 года, в которой он говорил об отношениях с западными союзниками, как основывавшихся на «жизненно важных и долгосрочных интересах»<sup>80</sup>, означали, что он рассчитывал в будущем на сотрудничество с Западом. И к началу Ялтинской конференции Черчилль, например, мог сослаться на то, что Советы недавно позволили британцам действовать на свое усмотрение в Греции — то есть в полном соответствии с достигну-



той в октябре 1944 года договоренностью. Как бы то ни было, будущий мир на планете все еще зависел от наличия конструктивных отношений со Сталиным. И в соответствии с этим оба западных лидера продолжали верить: Сталин был тем, кого можно было «обработать».

На первой встрече трех лидеров, в Ливадийском дворце (некогда крымской резиденции русского императора), Рузвельт отметил, что, мол, «мы понимаем теперь друг друга куда лучше, чем прежде, и что месяц за месяцем это понимание растет»<sup>81</sup>. Американский президент с нетерпением ждал от конференции «откровенного и свободного» общения.

Именно Польша имела все шансы стать пробным камнем отношений со Сталиным, но эту тему в Ялте не затрагивали. Невзирая на протесты польского правительства в изгнании, и Рузвельт, и Черчилль согласились уступить Сталину восток Польши. Главным для Рузвельта и Черчилля было то, чтобы Польша — в новых ее границах — была бы «независимой и свободной». «У Великобритании, — заявил Черчилль, — нет никаких интересов в Польше... это, скорее, вопрос чести, продиктованный осознанием того, что именно ради защиты этой страны мы выхватили меч, чтобы обрушить его на Гитлера. И я никогда не согласился бы на решение, которое ставило бы под вопрос свободу и независимость Польши». Еще один великолепный образчик умения западных лидеров изъясняться, где нужно, исключительно удобоваримыми историческими категориями. Они ведь не забыли, что всего лишь спустя несколько дней после «зверского нападения Гитлера» на Польшу с запада, Советский Союз совершил ничуть не менее «зверское нападение» на нее с востока. А теперь Черчилль и Рузвельт безоговорочно приняли факт ве-

роломного нападения Советского Союза на беспомощное государство и аннексии части его территории.

Сталин заметил: «Премьер-министр сказал, что для Великобритании вопрос о Польше – вопрос чести. Для России это не только вопрос чести, но также и безопасности», потому что немцы дважды «проходили» через Польшу на протяжении последних тридцати лет, чтобы напасть на Россию. И Сталин продолжал утверждать, что «необходимо, чтобы Польша была свободной, независимой и сильной». Далее он заявил о том, что заинтересован в том, чтобы Люблинские поляки, ныне составившие в Варшаве «правительство Польши», располагали «столь же мощной демократической основой в Польше, как де Голль во Франции». Сталин вновь повторил, как и в беседе с Черчиллем в октябре 1944 года, о необходимости «поддерживать порядок в тылу», заявив об «агентах лондонского правительства, связанных с так называемым подпольем. Их называют силами Сопротивления. Мы от него ничего хорошего не ждем...»

Иными словами, Сталин придерживался прежней точки зрения, считая Армию Крайову «бандитами» и что бывшие люблинские поляки были законным – пусть даже временным – правительством Польши. В отличие от Тегерана, где Черчилль молча проглотил обвинения Сталина в потворстве силам польского Сопротивления, он теперь вяло протестовал: «Должен заметить, что британское и советское правительства используют разные источники информации о Польше, поэтому и получают разнородные сведения. Возможно, мы ошибаемся, но я не считаю, что Люблинское правительство представляет хотя бы треть населения Польши. Это на самом деле мое мнение, хотя, повторяю, возможно, я и заблуждаюсь. И все же я чувствую, что у подполья неизбежно возникнут трения с Люблинским

правительством. Я опасался кровопролития, арестов, высылки, опасался, что они повлияют на обстановку в Польше в целом. Любой, кто поднимет руку на Красную Армию, должен понести наказание, это несомненно, но у меня нет уверенности в том, что Люблинское правительство наделено правом представлять всю Польшу».

Черчилль и Рузвельт понимали, что вся проблема в том, чтобы предпринять со своей стороны все возможное для обеспечения максимальной представительности в органах управления недавно провозглашенного государства. И в этой связи Рузвельт после обсуждения в тот день направил Сталину письмо, в котором выразил озабоченность тем, что «население наших стран критически взирает на наши разногласия на этом жизненно важном этапе войны»<sup>82</sup>. Он также категорически заявил о том, что «мы не можем признать Люблинское правительство в нынешнем его составе». Рузвельт предложил, чтобы в Ялту были без промедления приглашены как представители Люблинских, так и лондонских поляков. В этом случае «Большая тройка» смогла бы помочь им совместно сформировать временное правительство Польши. «Само собой разумеется, — продолжал Рузвельт уже в конце послания Сталину, — что любое временное правительство, сформированное в ходе нашей встречи с поляками здесь, гарантирует свободные выборы в Польше в самом скором времени. Я понимаю, что это полностью совпадает с Вашим стремлением стать свидетелем возрождения из пепла войны новой, свободной и демократической Польши».

Это поставило Сталина в довольно неловкое положение. Разумеется, ему никак не улыбалось утрясать состав нового временного правительства Польши совместно с лидерами западных союзных держав. Такой

расклад обеспечил бы ему лишь один голос из трех во всех обсуждениях, лишив заглавной роли. И способ, к какому прибегнул Сталин для выхода из этой потенциально неудобной ситуации, многое открывает нам и о его характере, и о его понимании работы механизма власти.

Сначала он воспользовался классической уловкой политика — затягиванием. На следующий день после получения письма Рузвельта, 7 февраля 1945 года, он заявил, что, мол, получил послание всего «полтора часа назад». После этого стал ссылаться на якобы невозможность связаться с Люблинскими поляками, поскольку те выехали куда-то, то ли в Краков, то ли еще куда-то. Но все же сообщил: Молотов прорабатывает кое-какие идеи в связи с поступившим предложением Рузвельта — однако «эти предложения пока что не отпечатаны».

После этого Сталин предпринял самый умный ход. Он предложил, чтобы вместо обсуждения вопросов о Польше — ведь, в конце концов, не мог же он сию же минуту дать «Большой тройке» детальный, исчерпывающий и продуманный ответ на предложение Рузвельта, — пока что, мол, было бы неплохо посвятить время выработке и согласованию процедуры голосования создаваемой Организации Объединенных Наций. Эта тема была бальзамом на душу для Рузвельта, однако вызывала на предыдущих встречах массу разногласий. Советы настаивали, чтобы у каждой из их республик было по одному голосу в Генеральной Ассамблее ООН, таким образом, всего 16 голосов, США имели бы лишь один голос. Советы ссылались на пример эффективно контролируемого Великобританией Британского Содружества наций, что давало англичанам возможность иметь больше голосов. Почему бы в таком случае и СССР не последовать их примеру? Но

теперь, в Ялте, решено было пойти на демонстративную уступку — Молотов заявил, что «они будут удовлетворены, если три или минимум две из советских республик получают статус полноправного члена ООН». Это мгновенно изменило атмосферу встречи. Рузвельт поспешил заверить Сталина, что, дескать, «весьма рад» слышать эти предложения и «считает их значительным шагом вперед, который найдет одобрение всех народов мира». Черчилль выразил искреннее согласие с американским президентом, сказав, что также «хотел бы выразить сердечную благодарность маршалу Сталину и г-ну Молотову за этот шаг вперед на пути к созданию ООН».

И только после благополучно разрешившейся дискуссии о процедуре голосования на новом всемирном форуме народов Молотов представил ответ Советов на письмо Рузвельта относительно Польши. В ответе говорилось, что «желательно будет ввести в состав временного правительства Польши нескольких демократических лидеров из представителей польской эмиграции, добавив, однако, что пока им так и не удалось связаться с Люблинскими поляками по телефону. В результате «идея президента США пригласить в Крым поляков сорвалась из-за нехватки времени».

Это был до сих пор самый важный момент конференции. Черчилль и Рузвельт — о чем можно было даже не говорить, но все равно стоит сказать — были людьми искушенными в политике; более того, оба были самыми искушенными из всех политических деятелей XX столетия. И все же они приняли аргументацию Сталина и Молотова, которая была, попросту говоря, примитивным обманом. Неужели на конференции нашелся бы хоть один человек, кто всерьез поверил бы, что Сталину не удалось дозвониться до Люблинских поляков?

В особенности если вспомнить, что Советам отнюдь не хотелось скрещивать шпаги в Ялте с представителями польского правительства в изгнании, да еще в присутствии лидеров союзных держав. Это было явно не в интересах Советского Союза. И все же ни Черчилль, ни Рузвельт не стали заострять внимание на якобы неспособности Советов управлять своим же марионеточным правительством. Черчилль ответил на предложение Молотова лишь комментарием о точных границах новой Польши. Молотов наконец сообщил в деталях о новых рубежах Польши в видении Советов: с западной границей по Одеру – Нейсе до Штеттина на севере. Что означало колоссальный территориальный прирост Польши за счет прежних земель Германии, и Черчилль со свойственной ему тягой к образной речи, что, дескать, «как бы немцы не перекормили польского гуся».

Что касается англичан, те были озабочены тем, что Германия утрачивала такие огромные куски прежней территории – в послевоенные годы это будет способствовать ненависти немцев к полякам и вынудит последних тяготеть к СССР. На встрече Черчилль выразил беспокойство «значительного пласта британского общественного мнения» в связи с планом Советов «переместить большое количество немецкого населения». Сталин на это ответил, что большинство немцев «уже покинуло эти регионы из боязни Красной Армии». В конце концов Черчилль согласился, что беспокоиться особенно не о чем, ибо в ходе войны немцы потеряли «от 6 до 7 миллионов человек, и эта цифра не окончательная, она наверняка вырастет на миллион как минимум», что, вне сомнения, «упростит проблему».

Таким образом, предложение Рузвельта пригласить в Ялту представителей люблинских и лондонских поляков ради достижения соглашения по формированию

временного правительства Польши под покровительством «Большой тройки» было мастерски заблокировано Сталиным, избавившим себя, таким образом, от докучливых ламентаций лидеров западных держав.

На следующий день «Большая тройка» начала встречу с единодушного одобрения просьбы Сталина о том, чтобы Советский Союз получил кусок японской территории на Востоке в качестве компенсации за участие Красной Армии в войне на Тихом океане. Сталин аргументировал, что у Советов на этот счет имеются исторические обоснования — правда, японцы никак не желают принимать их всерьез и по сей день.

Затем лидеры вновь возвратились к вопросу о Польше. Черчилль вспоминает этот момент как «критический в ходе конференции». В пространной речи он изложил неподъемность проблемы, с которой пришлось столкнуться западным союзникам. «Мы располагаем армией в 150 тысяч мужественно сражавшихся поляков. Эта армия настроена против Люблина. И наше признание Люблина эти поляки расценят как акт предательства». Черчилль признал, что, если бы выборы были проведены «при соблюдении принципа тайного голосования и свободного выдвижения кандидатур», это рассеяло бы все сомнения Великобритании. Но пока этого не произошло, британцы не считают себя вправе делегировать правительству в Люблине полномочия лондонского правительства.

Сталин, в обычной для него ироничной манере, парировал: «Поляки многие годы не любили Россию, потому что Россия принимала участие в трех разделах Польши. Но наступление советских войск и освобождение Польши от Гитлера все изменили. Прежняя неприязнь исчезла... и у меня сложилось впечатление, что поляки считают это крупным историческим достиже-

нием». Однако то, что и бывшие бойцы Армии Крайовой также считают это «крупным историческим достижением», могло быть воспринято лишь как образчик черного юмора. Черчилль, который, как мы видели, признался Андерсу за несколько месяцев до описанных событий, что нынешние действия Советов в Польше мало напоминают «исторические достижения», в Ялте и не попытался одернуть Сталина.

Сталин, правда, все же заявил, что согласен с тем, что «польское правительство должно быть избрано демократическим путем. Куда лучше иметь правительство, избранное в результате свободных выборов». Но в финале «компромисс», достигнутый «Большой тройской», так сместил весы в пользу Советов, что поставил под большое сомнение возможность проведения в Польше свободных выборов. Все, о чем лидеры союзников смогли договориться, было то, что «послы трех держав в Варшаве» будут... нести ответственность за проведение в стране свободных выборов».

Что же касалось непосредственно состава Люблинского правительства, то Советы и тут сумели выиграть день. Лидеры западных держав теперь всего лишь пожелали, чтобы правительство была «реорганизовано», с тем чтобы включить и «демократических» польских лидеров из-за рубежа и из самой Польши. А Советы обязались организовать встречи с министрами иностранных дел упомянутых трех держав в Москве для обсуждения широкого круга вопросов сотрудничества в этой сфере.

Лишь безнадежный оптимист мог уверовать, что такая расплывчатая формулировка сможет привести к желаемому результату — свободной и демократической Польше. «Те из нас, кто жил и работал в Москве, — вспоминал Хью Лунги, — были изумлены тем, что так и не была принята более жесткая формулировка, ибо по-



нимали, что Сталин ни при каких условиях не допустит проведения свободных выборов в странах Восточной Европы, если он не допускал их в Советском Союзе». Столь пессимистичное мнение Лунги разделял тогда и лорд Моран, считавший, что американцы в Ялте «просто очень мало знали» о «польской проблеме»<sup>83</sup>, и не мог понять, почему Рузвельт считал, что «с ними [Советами] можно жить в мире». Моран полагал, что «в Москве в октябре минувшего года слепому было видно, что Сталин стремится превратить Польшу в казацкую заставу России, и я уверен, что он не изменил своих намерений здесь»<sup>84</sup>.

Однако Моран ошибался. Американский президент все знал о Польше и о проблемах в этой стране — просто его эти проблемы, как и сама Польша, волновали куда меньше других ключевых вопросов. Рузвельт, конечно, лицемерил, поддерживая идею о том, что выборы в Польше должны были быть свободными и открытыми. «Я хочу, чтобы эти выборы в Польше были первым, вне всякого сомнения, — заявил он Сталину в Ялте. — С ними должно обстоять как с женой Цезаря, которая вне подозрений»<sup>85</sup>. Сталин, с присущим ему язвительным остроумием, ответил: «Да, именно так о ней говорили, но ведь и она была не без греха».

Однако Рузвельт в частных беседах признавал, что соглашение, достигнутое по Польше, было далеко от совершенства. Когда Адмирал Лихи сказал ему, что «оно настолько эластично, что русские смогут растянуть его от Ялты до Вашингтона без риска порвать», Рузвельт ответил: «Знаю, Билл, но это лучшее, что я смог сделать для Польши сейчас»<sup>86</sup>. Если вдуматься, формально президент США был прав. Но только в одном — он «смог сделать лучшее для Польши» лишь в рамках отведенного польской проблеме приоритета.

Самым важным для Рузвельта было достижение со Сталиным реалистичного соглашения по вопросам послевоенного переустройства мира. И хотя проголосовавший за Рузвельта на выборах офицер торгового флота Джим Риск, который провел без малого 9 месяцев на Севере Советского Союза, всерьез полагал, что Сталин ничуть не лучше Гитлера, сам президент США подобную точку зрения не разделял. Действительно, только за дни, предшествовавшие Ялтинской конференции, он даже заметил в разговоре с Ричардом Лоу, британским дипломатом: «Было много разновидностей коммунизма, и не все они были непременно вредны»<sup>87</sup>. Как выразился лорд Моран: «Не думаю, что он [Рузвельт] когда-либо осознавал, что Россия — полицейское государство...»<sup>88</sup>

Для практичного, трезво мыслящего человека, каким был адмирал Лихи, однако, последствия Ялты стали ясны в день завершения конференции — 11 февраля 1945 года. Решения, принятые там, «обеспечили России доминирующее положение в Европе, которая сама по себе несла опасность будущих несовпадений во взглядах различных государств и соответственно новой войны»<sup>89</sup>. Но по мере того как конференция подходила к концу, лидеры западных союзных держав и многие из самых главных советников не скрывали своего доверия к Сталину. «Я никогда не встречал русских, столь легких в общении и столь быстро приспособившихся к новой обстановке, — писал Кадоген 11 февраля, — в частности, Джо был весьма доброжелателен. Он — великий человек и весьма выгодно выделяется на фоне двух других стареющих государственных деятелей»<sup>90</sup>.

В целом лидеры западных держав были удовлетворены итогами Ялтинской конференции и соглашением о новых границах Польши (хоть и без согласия поляков и польского правительства в изгнании), обещанием Ста-

лина провести в Польше в обозримом будущем «демократические» выборы, разграничением оккупационных зон в побежденной Германии. Кроме того, Сталин вновь подтвердил обязательство перед Организацией Объединенных Наций и согласился вступить в войну с Японией, как только будет покончено с Германией. И западные лидеры поверили Сталину после Ялты. В значительной степени, как мы уже убедились, их вера основывалась на личных впечатлениях о советском вожде в ходе проводимых с ним встреч в Ялте. Черчилль отметил, что на него произвело впечатление, что Сталин выслушивал все контрдоводы и был готов изменить точку зрения. Были и другие доказательства более практического характера, свидетельствовавшие о стремлении Сталина достичь соглашения с Западом, — его очевидное намерение не вмешиваться в действия Великобритании в Греции, например. Но прежде всего роль сыграло особое воздействие его личности, его негибкий оптимизм, именно он и определял ход встреч в Ялте, как и настроения после Ялты.

Могли ли западные державы торговаться в Ялте с большей выгодой для себя? Ответ на этот вопрос — да, разумеется, могли<sup>91</sup>. Известно, например, что американцы никогда не использовали свою значительную экономическую мощь для оказания нажима на Советы с тем, чтобы они были уступчивее и сговорчивее при обсуждении отдельных вопросов. Советы желали получить кредит в размере 6 миллиардов долларов для приобретения после войны американского оборудования, а также достичь соглашения относительно размеров компенсации, которую они могли затребовать с Германии в качестве возмещения урона, нанесенного СССР в ходе войны. Ни одна из этих проблем в Ялте не обсуждалась не в последнюю очередь потому, что боль-

шинство заинтересованных лиц полагало, что в конце войны будет проведена еще одна официальная мирная конференция, вот там и будут раз и навсегда решены все ключевые вопросы. Но такая конференция так и не была созвана. А немногим более двух месяцев спустя после Ялты президент США Франклин Делано Рузвельт умер.

## Глава 6

### ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС

#### Крах Ялты

Явно не оправдавшее надежд союзников Ялтинское соглашение подавалось, тем не менее почти как достижение. В феврале, сразу же после конференции, и британцы, и американцы наперебой хвастали тем, что им удалось достичь в Крыму.

Черчилль докладывал Военному кабинету, что Сталин, «желал блага и миру, и Польше» и что «премьер-министр Сталин был искренен»<sup>1</sup>. А 23 февраля он заявил министрам, что «Бедный Невилл Чемберлен полагал, что мог довериться Гитлеру. И заблуждался. Но я не думаю, что заблуждаюсь относительно Сталина»<sup>2</sup>. Присутствовавший на встрече Хью Далтон также записал в своем дневнике следующее: «Премьер-министр очень тепло высказывался о Сталине. Он был уверен — и сэръ Чарльз Портэл повторил ту же мысль в разговоре со мной на обеде в *Da La Rue* — что, пока Сталин у власти, англо-российская дружба будет укрепляться. Но вот кто его сменит, на этот вопрос не мог ответить никто. (Портэл предположил: Возможно, Молотов. Он довольно негибок, да и заикается, а заикание всегда режет ухо.)» В палате общин 27 февраля Черчилль, продолжая

восхвалять конференцию, сказал, что не сомневается, что «маршал Сталин и советское руководство стремятся жить в условиях добрососедства и равенства с западными демократическими государствами. Я также уверен, что они сдержат данное ими слово»<sup>3</sup>.

Администрация Рузвельта зашла дальше – и намного. В Вашингтоне президента опередил Джеймс Бирнс, глава Военного комитета по мобилизации, объявивший не только о том, что в Ялте было достигнуто соглашение о создании Организации Объединенных Наций, но о том, что в результате конференции «сферы влияния», как таковые, в Европе устранены, и «три великих державы готовы поддержать порядок [в Польше] до создания временного правительства и проведения выборов»<sup>4</sup>.

Рузвельт, который от души поблагодарил Бирнса за эту явно вводившую в заблуждение пресс-конференцию, недвусмысленно стремился к тому, чтобы американская общественность сосредоточила внимание на том, что он считал самым большим достижением Ялтинской конференции – соглашению по учреждению и организации Организации Объединенных Наций. Президент, прекрасно понимая, что он серьезно болен, желал, чтобы ООН была и оставалась его самым значительным наследием. Он стремился продемонстрировать миру, что верен интернационалистским идеалам Вудро Вильсона в том виде, в каком они были выражены в просуществовавшей с 1919 по 1939 годы Лиге Наций.

Весть о том, что «Большая тройка» достигла в Ялте полного взаимопонимания по вопросам послевоенного мирового порядка, озвученная сначала Бирнсом, принадлежавшим к ближайшему окружению Рузвельта, нашла свое подтверждение и в выступлении самого президента США перед объединенной сессией Конгресса в Вашингтоне 1 марта. Решения, достигнутые в Ялте ка-

сательно Организации Объединенных Наций, заявил Рузвельт, «должны положить конец системе односторонних действий, чрезвычайных альянсов, сфер влияния, равновесию сил и иным средствам для достижения цели, практиковавшимся в течение многих столетий — и неизменно терпевшим неудачу»<sup>5</sup>.

Американская пресса с энтузиазмом подхватила эту причесанную версию итогов Ялтинской конференции. Вряд ли в их комментариях содержалось нечто неожиданное, поскольку Рузвельт предпочел не упоминать о тех частях Ялтинского соглашения, которые не соответствовали тому преисполненному романтичности идеалу, который он стремился всучить общественности (как, например, его согласие на то, чтобы у Советского Союза было бы больше одного голоса в Генеральной Ассамблее ООН, и на то, чтобы Советы беспрепятственно провели обещанные «выборы» в Польше под тщательным наблюдением западных держав). Это было финальной попыткой Рузвельта совместить несовместимое — проблематичные отношения со Сталиным и принципы Атлантической хартии. Да, американцы могут сколько угодно возмущаться решением вопросов о восточной границе Польши, но, убеждал он, остальная Европа была и останется свободной.

Конечно, Рузвельт мог сослаться на пункт соглашения в поддержку этого заключения. Не Сталин ли, например, скрепил своей подписью согласие на проведение «свободных» выборов в Польше? Но Рузвельт наверняка понимал по поведению Сталина и Молотова в Ялте — от мнимой невозможности связаться с люблинскими поляками по телефону до отказа дать согласие на присутствие наблюдателей, следивших за ходом будущих выборов, — что вопрос о «свободной» Польше так и остается открытым. И поскольку Рузвельт безогово-

рочно согласился с тезисом о том, что послевоенное правительство Польши будет «дружественно настроено» по отношению к Советам, его согласие в любом случае ущемляло в правах польское правительство в изгнании. Все же, невзирая на вышеперечисленные факты, Рузвельт из кожи лез вон, чтобы в наилучшем свете выставить соглашение, которое, как он сам признал в одной из частных бесед, представляло собой лишь «лучшее, чего он смог добиться».

Явное приукрашивание Рузвельтом результатов Ялтинского соглашения было средством противодействия Сталину. Советский лидер меньше всего подходил на роль «вильсоновской фигуры». Он не верил в красивые слова; он верил в суровую, практическую реальность. Главным для него было то, где будут пролегать границы СССР и степень готовности к этому сопредельных стран. Изучение советских комментариев к достигнутому в Ялте соглашению подтверждает эту точку зрения. Непосредственно после конференции на первой полосе журнала «Война и рабочий класс» была опубликована статья, утверждавшая, что «строгий и конкретный язык Крымского решения столь далек от напыщенного и размытого языка четырнадцати пунктов Вильсона... как небо от земли»<sup>6</sup>. А ответ на заявление Бирнса относительно Ялтинской конференции содержался в опубликованной 17 февраля в «Правде» статье, в которой подчеркивалось, что понятие «демократия» означало разные вещи для разных людей, и каждая страна имела отныне право «избрать» любую предпочтительную форму демократии<sup>7</sup>.

Все это было весьма далеким от видения Рузвельта. Фактически Советы говорили на языке «сфер влияния», то есть оперировали понятиями, которые, если судить по заявлениям Бирнса и Рузвельта, утрачивали преж-



ную роль. Сталин последовательно поддерживал идею «сфер влияния» для главных европейских держав. Именно вследствие приверженности упомянутой идее он и поднял вопрос о послевоенных границах и «секретном протоколе» на первой встрече с Иденом в декабре 1941 года. Именно поэтому Советы столь живо отреагировали на «процентный» подход Черчилля в октябре 1944 года. Сталин уяснил значимость этих встреч и считал их куда более ценными, чем «напыщенный и размытый язык» не только «Четырнадцати пунктов Вильсона», но и четко обозначенную роль детища Рузвельта – Организации Объединенных Наций.

И теперь Сталин получал весьма различные отклики относительно того, согласится ли Запад с его подходом. Он полагал, что выполнил свою часть сделки и дал понять, что понятие «сфер влияния» представляло собой «улицу с двухсторонним движением», – разве не он дал Черчиллю карт-бланш на действия в Греции, где британские войска помогли свергнуть власть прокоммунистически настроенных партизан в декабре 1944 года? Так где же все-таки оставалась пресловутая «услуга за услугу»? И к чему возникли все эти неожиданные разговоры о закате эры «сфер влияния» и «равновесия сил», если действия британцев в Греции ясно продемонстрировали приверженность Черчилля прежним суровым реалиям?

Да, Сталин подписался под соглашением о «свободных» выборах в Польше, но, как и понятие «демократии», по его мнению, понятие «свободы» также имело сколько угодно толкований. Если опираться на мнение Советов, то «выборы» в оккупированной Восточной Польше осенью 1939 года тоже были «свободными». Тогда Рузвельт – независимо от тональности своих публичных высказываний – в частной беседе в Тегеране

признался, что не слишком озабочен судьбой Польши, если оставить за скобками чисто практический аспект — то есть реакцию постоянно проживавших в Соединенных Штатах поляков. В свете вышесказанного было вполне возможно — во всяком случае, вероятно, — что Сталин воздержался от конкретных формулировок относительно степени «свободы» Польши.

Но было бы ошибкой полагать, что Сталин на данном этапе намеревался превратить все восточноевропейские государства, занятые Красной Армией, в мини-подобие Советского Союза. Он стремился к тому, к чему стремился всегда: наличию «дружественных» государств вдоль всех границ СССР в рамках взаимно согласованной советской «сферы влияния». По общему признанию, сталинское толкование понятия «дружественный» совершенно исключало и намек на то, что западные союзники считали «демократией». Он желал, чтобы упомянутые государства стали верными и преданными союзниками СССР. И он будет очень внимательно отслеживать их становление в качестве таких союзников, соответственно урезая политические и иные свободы их народов. Сомнений не было в том, что эти страны были бы «свободными» в том смысле, который вкладывали в понятие «свобода» Черчилль и Рузвельт. Но Сталин считал, что в первые послевоенные годы вовсе не обязательно насаждать в них коммунистический режим. В мае 1946 года советский вождь недвусмысленно изложил свою концепцию польским коммунистам. «Ваша демократия — особого рода, — заявил он. — У вас нет класса крупных капиталистов. Вы за 100 дней национализировали промышленность, в то время как англичане изо всех сил стараются ее национализировать вот уже 100 лет. Не копируйте западную демократию. Пусть они скопируют вашу. Демократия, которую вы установили в Польше, в Югославии и частично

в Чехословакии, приблизит вас к социализму без установления диктатуры пролетариата или советской системы. Ленин никогда не говорил, что путь к социализму лежит только через диктатуру пролетариата, он признавал, что прийти к социализму можно и взяв за основу буржуазную демократическую систему, такие ее элементы, как Парламент»<sup>8</sup>.

Однако Черчиллю чаще других членов «Большой тройки» пришлось сталкиваться со специфической проблемой, возникшей в связи со стремлением выставить в самом выгодном свете тему Польши в Ялтинском соглашении. И эта проблема материализовалась 20 февраля на встрече британского премьер-министра с генералом Андерсом. Польский командующий был оскорблен и возмущен Ялтинским соглашением, которое он рассматривал как «издевательство над принципами Атлантической хартии», и готов был аргументированно возразить тому, кто всего за полгода до этого делал столь многообещающие заявления после взятия Монте-Кассино.

«Вы не удовлетворены Ялтинским соглашением», — отметил Черчилль, явно пытаясь сгладить острые углы.

«То, что я неудовлетворен, — ответил Андерс, — означает ничего не сказать. Я считаю его катастрофой».

Андерс объяснил Черчиллю, что его неприятие Ялтинского соглашения — не просто идеализм — оно имеет и практическую сторону. «Наши солдаты сражались за Польшу, — напомнил он, — сражались за свободу своей страны. А что мы, их командиры, скажем им сейчас? Что Советская Россия, до 1941 года — союзница Германии, теперь забирает себе половину нашей территории, а на остальной стремится насадить свою власть».

Слова Андерса вызвали у Черчилля раздражение. «Вы сами виноваты, — бросил он в ответ, добавив, что

если бы поляки уладили вопрос о восточных границах ранее, — все выглядело бы теперь по-другому». И в тот момент Черчилль не удержался от колкого замечания, если учесть жертвы, принесенные поляками, сражавшимися против немцев в рядах британских вооруженных сил. «Сейчас у нас войск достаточно. И в вашей помощи мы не нуждаемся. Можете отвести свои дивизии. И без них обойдемся»<sup>9</sup>.

В этой перепалке усматривается не только растущее раздражение Черчилля позицией поляков, но и его политическая уязвимость как следствие принятия решений Ялтинской конференции. Его авторитет как политического деятеля оказался под угрозой из-за того, что он сознательно закрывал глаза на то, как Сталин действовал в Польше и других восточноевропейских странах. Ради сохранения своих заслуг в период войны он вынужден был уповать на то, что Сталин будет и впредь придерживаться своих «обещаний». Увы, но упованиям британского премьер-министра суждено было рассыпаться в прах действиями Советов на вновь оккупированной ими территории.

Фельдмаршал сэра Алана Брук, начальник Имперского Генерального штаба, на встрече с Андерсом ощутил «глубокое сочувствие к этому человеку, верному боевому товарищу, на долю которого выпали столь тяжкие испытания»<sup>10</sup>. Андерс сказал ему, что: «После того как ему пришлось побыть в плену и своими глазами видеть, как русские относились к полякам, он знает их куда лучше, чем британский премьер-министр или президент США... Тогда в российской тюрьме, будучи на пределе отчаяния, он всегда старался не утратить надежду. Теперь же ему надеяться не на что. Ведь его жена и дети в Польше, и им не суждено увидеться снова, что само по себе — уже несчастье. Но несравнимо хуже то, что все

его подчиненные полагались на него в поисках решения этой неразрешимой проблемы!.. А он, Андерс, не видел решения, это и лишало его сна».

Вскоре все убедились, что взгляд Андерса на намерения Советов оказался верен, ибо сталинское толкование понятий «свободные» и «выборы» уже никому разъяснять не требовалось. В марте 1945 года прошли выборы в оккупированной Советами Румынии, и пусть большинство населения проголосовало за некоммунистов, результаты были проигнорированы, и король Михай под давлением согласился сформировать правительство коммунистического большинства. По Румынии уже прокатилась волна арестов и депортаций около 200 тысяч «фашистов» — термин, всюю использовавшийся Советами и распространявшийся на всех, кто служил бывшему режиму или представлял для них, как они считали, опасность. По существу, этот подход практически ничем не отличался от того, который применялся в Восточной Польше осенью 1939 года. Для Советов перво-степенное значение всегда имело окончательное и бесповоротное устранение любой оппозиции.

Черчилль никогда не считал принципиальным вопрос о действиях Советов в Румынии — он был слишком поглощен обсуждением своего «сомнительного» документа, в соответствии с которым Румыния относилась к советской зоне влияния. За месяц до этого, в январе, когда ему сообщили о насильственной высылке этнических немцев (составлявших в Румынии меньшинство), он изложил свою точку зрения в письме министру иностранных дел: «С какой стати мы поднимаем шум относительно российских высылки [немцев] из Румынии? Вполне логично, что и русским необходимо внести свою лепту. Во всяком случае, у нас нет возможности предотвратить их»<sup>11</sup>. И на следующий день,

когда министерство иностранных дел обратило внимание премьер-министра на факт того, что и румын направляли на принудительные работы в лагеря, Черчилль ответил: «Не вижу ничего страшного в том, что 100–150 тысяч человек направят на работы. Мы не должны забывать, что мы сами пообещали Советам решить судьбу Румынии»<sup>12</sup>. Черчилль недвусмысленно дал понять, что речь идет о «сферах влияния».

Но в феврале, и позже в марте, в отношении Польши заговорили по-другому. В феврале 1945 года советские органы продолжили массовые аресты поляков, которых потом целыми товарными составами отправляли на восток Советского Союза (только из одного Белостока арестованных было отправлено свыше 240 грузовиков<sup>13</sup>). И в марте месяце, обманным путем заманив людей на митинг, Советы арестовали и бросили в тюрьму бывших глав польского движения Сопротивления.

И американскому, и британскому правительствам было нелегко увязать проводимые Советами репрессии с имиджем надежного партнера, с которым они встречались в Ялте. Так они в очередной раз вернулись к своему дежурному оправданию. Сталин все еще заслуживал доверия; это все они, те самые одиозные фигуры в Кремле, именно они ставят палки в колеса достигнутой в Ялте договоренности. Чарльз («Чип») Болен, видный американский дипломат и советолог, отметил в мае 1945 года, что представители Государственного департамента, участвовавшие в Ялтинской конференции, считали, что именно «оппозиция», с которой Сталину пришлось столкнуться «в советском правительстве» по его возвращении в Москву, стала чинить препятствия<sup>14</sup>. И, как выразился Гарри Хопкинс, «мы были уверены, что сможем положиться на него [на Сталина], рассчитывая на разум и понимание, — но мы никогда не могли

с определенностью сказать, кто или что повлияет на него после возвращения в Кремль»<sup>15</sup>. Тем временем посол США в Москве Аверелл Гарриман вычислил, что именно «маршалы Красной Армии» так или иначе подмяли все и всех под себя<sup>16</sup>.

Но хотя перечисленные версии были отнюдь не новостью для Лондона, среди британских дипломатов были и те, кто в свое время работал в Москве, как, например, Томас Бримелу<sup>17</sup>, кто подверг сомнению факт наличия «темных сил» за спиной Сталина. И, разумеется, оказался прав. А вот его коллеги постарше, представлявшие выработанное общими усилиями мнение в МИДе, равно как и политические лидеры США и Великобритании, без помощи извне измыслившие эту теорию, явно заблуждались. Никаких «кукловодов» за спиной Сталина не было и в помине. Более того, поначалу имелось альтернативное объяснение действий Советов — довольно правдоподобное, если не сказать больше. Имевшая место изменчивость подхода Сталина, его спорадические и не всегда логичные поступки — такие как отправка выдержанной явно в примирительных тонах, однако в той же мере и обличительной телеграммы — вполне можно было истолковать как обычные тактические шаги, целью которых было заставить западных лидеров думать и гадать. А теперь, когда отношения между державами разъедал кризис, возникло куда более близкое к истине объяснение линии поведения русских: Сталин жестко дал понять, что все ухищрения американцев в Ялте оказались напрасными. Он всегда стремился к тому, чтобы сопредельные с СССР государства были «дружественными», но в его, Сталина, понимании. Что в свою очередь означало, что он безо всяких колебаний сметет с пути всех, кого сочтет угрозой для Советов.

Но ни Черчилль, ни Рузвельт так и не могли уразуметь того, что Сталин просто последовательно продвигался к своей цели. Прежде всего и тот, и другой вложили слишком большой политический капитал в идею того, что смогут, невзирая ни на что, иметь дело с советским лидером. Как мы уже убедились, еще задолго до личной встречи со Сталиным Рузвельт не скрывал уверенности, что сумеет «обработать» и его. Да и Черчилль на том самом памятном ужине летом 1942 года на квартире Сталина внезапно ощутил эмоциональную связь с советским лидером.

Оба лидера западных держав уверовали, что смогут добиться «особых отношений» со Сталиным. И оба потерпели фиаско. Сталин отнюдь не горел желанием устанавливать «особые отношения» с кем бы то ни было. Но в своих попытках вскружить ему голову и Черчилль, и Рузвельт так и не заметили, как сами подпали под его чары.

Именно Черчилль больше других горевал по поводу того, как повели себя в Ялте русские — что, должно быть, немало удивило Сталина. В конце концов Черчилль дал Советам карт-бланш в Румынии, а те в ответ позволили британцам задушить революцию в Греции. Разве это не доказательство тому, что Черчилль продолжал мыслить категориями «сфер влияния»? Не был ли протест Черчилля по поводу Польши — вне контекста точной формулировки Ялтинского соглашения — вопиющим примером политического лицемерия?

Черчилль никак не согласился бы с подобной аргументацией. Для него Польша представляла собой нечто особое. В марте в длинной и взволнованной телеграмме Рузвельту он заявил, что рассматривает Польшу как «некое “пробное дело”, своего рода пробный шар, запущенный для проверки различия подходов нас



и русских к таким понятиям, как демократия, суверенитет, независимость, представительное правление и свободные выборы»<sup>18</sup>. Более того, «он [Молотов] явно хочет превратить в фарс консультации с нелюблинскими поляками — что означает, что новое правительство Польши, по сути, то же самое, что и старое, хоть и чуть подкрашенное, чтобы выглядеть более респектабельным, — и всеми силами стремится воспрепятствовать тому, чтобы мы обратили внимание на продолжающиеся репрессии и депортации... Это всё заигрывания, обычные для тоталитарного режима перед очередными выборами и созданием нового правительства. Что же до конкретного вывода, то если мы сейчас не возьмем положение под контроль, то вскоре мир поймет, что мы с Вами поставили подписи в Крыму под мошенническим соглашением».

Рузвельт (чье слабое здоровье означало, что его телеграммы все чаще и чаще составлялись его советниками, Бирнсом или Лихи) ответил на послание Черчилля 11 марта, любезно заявив, что «единственное различие» между британцами и американцами в этом ключевом вопросе «тактического характера» и что «тактика» Рузвельта направлена на то, чтобы не нагнетать напряженность в отношениях со Сталиным до того, как посланники утрясут этот вопрос в Москве. Но попытка успокоить Черчилля не удалась. 13 марта премьер-министр направил еще более взволнованное послание: «Польша утратила границу. А теперь утратит свободу? Это — вопрос, который неизбежно вызовет дебаты в Парламенте и в общественных кругах. Я не хочу вскрывать все расхождения между британским и американским правительствами, но, разумеется, вынужден ясно заявить, что мы на грани большого провала того, о чем была достигнута договоренность в Ялте, однако мы, британцы,

не располагаем достаточной военной мощью, чтобы настоять на своем, наши лимиты исчерпаны<sup>19</sup>.

Рузвельт не сомневался, что Черчилль слишком остро реагировал на происходящее. И нетрудно заметить почему. Как впоследствии указал президент, текст Ялтинского соглашения можно было истолковать так, что у Сталина появлялось множество поводов отклонить всякие претензии. Так с чего бы Черчиллю расстраиваться? Он утверждал, что все из-за того, что Сталин нарушил данные в Ялте обещания. Но дело скорее всего было не только в этом. Черчилль сознавал, что выборы на носу, и британский электорат явно не придет в восторг от того, что Польша, страна, по милости которой и вступила в войну Великобритания, оказалась предана. Кроме того, экспансивная риторика Черчилля относительно Польши и Сталина (не в последнюю очередь, его комментарий действий Чемберлена, дескать, «поверившего» Гитлеру, в то время как он сам, Черчилль, «поверил» Сталину) подразумевала, что речь шла не о заурядном внешнеполитическом маневре, а принципе, определявшем его премьерство на протяжении почти всей войны. Рузвельт же, только что заступивший на новый срок президентских полномочий, подобными реминисценциями обременен не был.

Но даже в этот самый решающий период риторика Черчилля была отнюдь не тем, чем могла показаться. Хотя на публике он сколько угодно мог рассуждать о моральном императиве войны, в конфиденциальных беседах премьер признавал, что руководствовался куда более приземленными и не всегда благородными мотивами. 13 февраля, по пути домой из Ялты, он спорил с фельдмаршалом Александером, «умолявшим» Черчилля оказать послевоенной Италии более значительную помощь в восстановлении страны. Александер считал,

что «ведь мы, собственно, и вели эту войну ради того, чтобы обеспечить свободу и достойное существование народам Европы».

«Ничего подобного, — ответил тогда Черчилль, — мы боремся за то, чтобы обеспечить надлежащее уважение к англичанам!»<sup>20</sup>

15 марта Рузвельт направил прохладный ответ на послание Черчилля от 13 февраля: «Не могу не разделить озабоченности по высказанным Вами идеям... мы просто обсуждали самую эффективную тактику, и я не могу согласиться, что столкнемся с провалом Ялтинского соглашения, пока прилагаем усилия для преодоления препятствий, возникших на московских переговорах»<sup>21</sup>. Черчилль понял, что зашел слишком далеко. И, как обычно поступал в напряженные моменты, возникавшие в их отношениях с Рузвельтом, попытался призвать на помощь обаяние: «Надеюсь, что множество телеграмм», выразился он 17 марта, «которые мне пришлось отправить, порядком Вам наскучили. Наша дружба — скала, на которой я возвожу будущее мира, пока что являясь одним из строителей»<sup>22</sup>. Рузвельт на это ничего не отвечал, и 30 марта Черчилль жалобно вопрошал: «Между прочим, вы получили от меня телеграмму чисто личного характера..?»<sup>23</sup> Рузвельт после этого все же признал, что получил эти «весьма приятные»<sup>24</sup> послания.

И хотя в тот период Рузвельта куда меньше, чем Черчилля, волновал польский вопрос, он не на шутку рассердился, когда Сталин обвинил американцев в проведении серии встреч с представителями рейха в столице Швейцарии Бёрне по вопросу о возможной капитуляции немецких войск в Италии. Сталин рассматривал эту встречу как возможность для немцев усилить отпор на Восточном фронте и ускорить продвижение войск

западных союзников через территорию Германии. Рузвельт был разъярен тем, что Сталин умело подловил его на двуличии, и 4 апреля ответил ему: «Откровенно говоря, я не могу не чувствовать крайнего негодования в отношении Ваших информаторов, кто бы они ни были, в связи с таким гнусным, неправильным описанием моих действий или действий моих доверенных подчиненных»<sup>25</sup>.

В своем ответе Сталин немедленно скруглил острые углы:

**«ЛИЧНО И СЕКРЕТНО  
ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА  
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ**

Получил Ваше послание от 5 апреля.

1. В моем послании от 3 апреля речь идет не о честности и надежности. Я никогда не сомневался в Вашей честности и надежности, так же как и в честности и в надежности г-на Черчилля. У меня речь идет о том, что в ходе переписки между нами обнаружилась разница во взглядах на то, что может позволить себе союзник в отношении другого союзника и чего он не должен позволить себе. Мы, русские, думаем, что в нынешней обстановке на фронтах, когда враг стоит перед неизбежностью капитуляции, при любой встрече с немцами по вопросам капитуляции представителей одного из союзников должно быть обеспечено участие в этой встрече представителей другого союзника. Во всяком случае, это, безусловно, необходимо, если этот союзник добивается участия в такой встрече. Американцы же и англичане думают иначе, считая русскую точку зрения неправильной. Исходя из этого, они отказали русским в праве на участие во встрече с немцами в Швейцарии. Я уже писал Вам и считаю не лишним повторить, что

русские при аналогичном положении ни в коем случае не отказали бы американцам и англичанам в праве на участие в такой встрече. Я продолжаю считать русскую точку зрения единственно правильной, так как она исключает всякую возможность взаимных подозрений и не дает противнику возможности сеять среди нас недоверие.

2. Трудно согласиться с тем, что отсутствие сопротивления со стороны немцев на Западном фронте объясняется только лишь тем, что они оказались разбитыми. У немцев имеется на Восточном фронте 147 дивизий. Они могли бы без ущерба для своего дела снять с Восточного фронта 15—20 дивизий и перебросить их на помощь своим войскам на Западном фронте. Однако немцы этого не сделали и не делают. Они продолжают с остервенением драться с русскими за какую-то малоизвестную станцию Земляницу в Чехословакии, которая им столько же нужна, как мертвому припарки, но безо всякого сопротивления сдают такие важные города в центре Германии, как Оснабрюк, Мангейм, Кассель. Согласитесь, что такое поведение немцев является более чем странным и непонятным.

3. Что касается моих информаторов, то, уверяю Вас, это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на деле. Судите сами. В феврале этого года генерал Маршалл дал ряд важных сообщений Генеральному штабу советских войск, где он на основании имеющихся у него данных предупреждал русских, что в марте месяце будут два серьезных контрудара немцев на Восточном фронте, из коих один будет

направлен из Померании на Торн, а другой – из района Моравска Острава на Лодзь. На деле, однако, оказалось, что главный удар немцев готовился и был осуществлен не в указанных выше районах, а в совершенно другом районе, а именно в районе озера Балатон, юго-западнее Будапешта. Как известно теперь, в этом районе немцы собрали до 35 дивизий, в том числе 11 танковых дивизий. Это был один из самых серьезных ударов за время войны с такой большой концентрацией танковых сил. Маршалу Толбухину удалось избежать катастрофы и потом разбить немцев наголову, между прочим, потому, что мои информаторы раскрыли, правда, с некоторым опозданием, этот план главного удара немцев и немедленно предупредили о нем маршала Толбухина. Таким образом, я имел случай еще раз убедиться в аккуратности и осведомленности советских информаторов».

Но хотя Сталин был готов дать задний ход по этой проблеме, он ни на дюйм не собирался отступать в том, что касалось Польши. 7 апреля он писал Рузвельту, который, наконец, послал телеграмму протеста советскому лидеру 31 марта 1945 года следующего содержания:

**«ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА  
СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА**

Я не могу скрыть от Вас беспокойства, с которым я слежу за происходящими после нашей плодотворной встречи в Ялте событиями, в которых мы взаимно заинтересованы. Решения, принятые нами там, были хорошими, и большая часть из них была встречена с энтузиазмом народами всего мира, которые увидели в нашей способности найти общую основу для взаимопонимания, наилучшую гарантию безопасности и мира во всем

мире после нынешней войны. Величайшее внимание, с которым люди следят за их выполнением, вызвано именно теми надеждами и ожиданиями, которые были порождены этими решениями. Мы не имеем никакого права допустить, чтобы они были разочарованы. До сих пор в деле ожидаемого всем миром выполнения политических решений, к которым мы пришли на конференции, в частности решений, относящихся к польскому вопросу, не было достигнуто успехов, и это обескураживает. Говоря откровенно, я озадачен тем, почему это происходит, и должен сказать Вам, что я во многих отношениях не вполне понимаю безразличную, по-видимому, позицию Вашего Правительства. Я уверен, что мы втроем, поняв друг друга так хорошо в Ялте, можем устранить и устраним все препятствия, которые возникли с тех пор. Поэтому я намерен в этом послании изложить Вам со всей откровенностью проблему в том виде, как я себе ее представляю.

Хотя я прежде всего имею в виду трудности, которые встретились в переговорах по польскому вопросу, я должен коротко упомянуть о нашем соглашении, воплощенном в Декларации об Освобожденной Европе 90. Откровенно говоря, я не могу понять, почему недавние события в Румынии 91 должны рассматриваться как не подпадающие под действие условий этого соглашения. Я надеюсь, что Вы найдете время для того, чтобы лично ознакомиться с перепиской между нашими правительствами по этому вопросу.

Однако та часть наших соглашений, которая вызвала наибольший интерес среди широких слоев и которая является наиболее срочной, относится к польскому вопросу. Вам, конечно, известно, что созданная нами Комиссия 92 не продвинулась вперед в своей работе. Я считаю, что это объясняется тем толковани-

ем, которое Ваше Правительство дает крымским решениям. Для того чтобы не было недоразумений, я излагаю ниже свое толкование пунктов соглашения, относящихся к трудностям, с которыми встретились Комиссия в Москве.

В переговорах, которые имели место до настоящего времени, Ваше Правительство, по-видимому, придерживалось той позиции, что новое Польское Временное Правительство Национального Единства, которое, как мы договорились, необходимо создать, должно лишь немногим отличаться от нынешнего Варшавского Правительства. Я не могу привести это в соответствие ни с нашим соглашением, ни с нашими переговорами. Хотя верно, что Люблинское Правительство должно быть реорганизовано и что его члены должны играть видную роль, это нужно сделать так, чтобы создать новое правительство. Этот момент ясно подчеркивается в нескольких местах в тексте соглашения. Я должен пояснить Вам исчерпывающим образом, что любое такое решение, которое привело бы к несколько замаскированному продолжению существования нынешнего варшавского режима, было бы неприемлемо и заставило бы народ Соединенных Штатов считать, что соглашение, достигнутое в Ялте, потерпело неудачу.

В равной степени ясно, что по той же причине Варшавское Правительство не может по условиям соглашения претендовать на право выбирать или отклонять кандидатуры тех поляков, которые должны быть вызваны в Москву Комиссией для консультации. Разве мы не можем согласиться с тем, что дело Комиссии выбирать тех польских деятелей, которые должны приехать в Москву для консультации в первую очередь и что в соответствии с этим должны рассылаться приглашения? Если бы это можно было сделать, у меня не было бы



больших возражений против приезда сначала Люблинской группы с тем, чтобы она могла полностью ознакомиться с согласованным толкованием ялтинских решений по этому вопросу. Разумеется, что если Люблинская группа приедет первой, то с ней одной до прибытия других польских деятелей, вызванных для консультации, не должно быть заключено каких-либо соглашений. Для того чтобы облегчить достижение соглашения, Комиссия могла бы прежде всего избрать небольшую, но представительную группу польских деятелей, которые могли бы предложить других кандидатов на рассмотрение Комиссии. Мы не препятствовали и не стали бы препятствовать выбору каких-либо кандидатов, которых мог бы предложить г-н Молотов для консультации, и не налагали и не стали бы налагать на них вето, будучи уверенными, что он не предложит каких-либо поляков, которые относились бы враждебно к целям крымского решения. Я считаю, что моя просьба о том, чтобы моему Послу было оказано такое же доверие и чтобы любой кандидат, предложенный для консультации любым из членов Комиссии, был принят с доверием другими членами, не является чрезмерной. Мне ясно, что если право Комиссии выбирать этих поляков будет ограничено или если Комиссия разделит это право с Варшавским Правительством, то будет уничтожен как раз тот фундамент, на котором покоится наше соглашение.

В то время как вышеизложенное и составляет те препятствия, которые, по моему мнению, помешали нашей Комиссии достичь успехов в этом важнейшем деле, имеются два других предложения, которые не содержатся в соглашении, но которые, тем не менее, весьма существенно влияют на результаты, которых мы все стремимся достичь. Пока еще Ваше Правительство

не приняло ни одного из этих предложений. Я имею в виду следующее.

1) В Польше должно царить максимальное политическое спокойствие, и враждующие группы должны прекратить принятие всяких мер и контрмер друг против друга. Мне представляется вполне разумным, чтобы мы соответственно использовали наше влияние в этом направлении.

2) Кажется также вполне естественным, чтобы американскому и британскому членам Комиссии, ввиду возложенных на них соглашением обязанностей, было разрешено посетить Польшу. Как Вы помните, г-н Молотов сам предложил это на одном из первых заседаний Комиссии и только впоследствии взял свое предложение обратно.

Я хотел бы, чтобы Вы поняли меня, насколько важно справедливое и быстрое решение этого польского вопроса для успешного осуществления нашей программы международного сотрудничества. Если это не будет сделано, то все трудности и опасности, которые угрожают единству союзников и которые мы так ясно осознавали, когда разрабатывали наши решения в Крыму, предстанут перед нами в еще более острой форме. Вам известно, я уверен, что в Соединенных Штатах требуется искренняя поддержка народа для проведения любой политики Правительства, как внешней, так и внутренней. Американский народ самостоятельно приходит к тому или иному мнению, и никакие действия Правительства не могут изменить его. Я упоминаю об этом факте потому, что последняя фраза в Вашем послании относительно участия г-на Молотова в конференции в Сан-Франциско заставила меня задуматься, учитываете ли Вы полностью этот фактор»<sup>26</sup>.

Ответ Сталина не заставил себя долго ждать:

**«ЛИЧНО И СЕКРЕТНО  
ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА  
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ**

В связи с Вашим посланием от 1 апреля считаю нужным сделать следующие замечания по вопросу о Польше.

Дела с польским вопросом действительно зашли в тупик.

Где причина?

Причина состоит в том, что Послы США и Англии в Москве — члены Московской Комиссии 92 отошли от установок Крымской конференции и внесли в дело новые элементы, не предусмотренные Крымской конференцией.

А именно:

а) На Крымской конференции мы все трое рассматривали Временное Польское Правительство как ныне действующее правительство в Польше, подлежащее реконструкции, которое должно послужить ядром нового Правительства Национального Единства. Послы же США и Англии в Москве отходят от этой установки, игнорируют существование Временного Польского Правительства, не замечают его, в лучшем случае — ставят знак равенства между одиночками из Польши и из Лондона и Временным Правительством Польши. При этом они считают, что реконструкцию Временного Правительства надо понимать как его ликвидацию и создание совершенно нового правительства. При этом дело дошло до того, что г. Гарриман заявил в Московской Комиссии: возможно, что ни один из членов Временного Правительства не попадет в состав Польского Правительства Национального Единства.

Понятно, что такая установка Американского и Английского Послов не может не вызвать возмущения у Польского Временного Правительства. Что касается

Советского Союза, то он, конечно, не может согласиться с такой установкой, так как она означает прямое нарушение решений Крымской конференции.

б) На Крымской конференции мы все трое исходили из того, что следовало бы вызвать для консультации человек пять из Польши и человека три из Лондона, но не больше. Послы же США и Англии в Москве отошли от этой позиции и требуют, чтобы каждому члену Московской Комиссии было предоставлено право приглашать неограниченное число людей из Польши и из Лондона.

Понятно, что Советское Правительство не могло с этим согласиться, так как вызов людей должен происходить, согласно решению Крымской конференции, не отдельными членами Комиссии, а Комиссией в целом, именно как Комиссией. Требование же неограниченного количества вызываемых для консультации противоречит тому, что намечалось на Крымской конференции.

с) Советское Правительство исходит из того, что по смыслу решений Крымской конференции на консультации должны приглашаться такие польские деятели, которые, во-первых, признают решения Крымской конференции, в том числе и решение о линии Керзона, и, во-вторых, стремятся на деле установить дружественные отношения между Польшей и Советским Союзом. Советское Правительство настаивает на этом, так как обильно пролитая кровь советских войск для освобождения Польши и тот факт, что в течение последних 30 лет территория Польши была дважды использована врагом для нашествия на Россию, — все это обязывает Советское Правительство добиваться того, чтобы отношения между Советским Союзом и Польшей были дружественные.

Послы же США и Англии в Москве не считаются с этим и добиваются того, чтобы приглашать для кон-

сультации польских деятелей независимо от их отношения к решениям Крымской конференции и к Советскому Союзу.

Таковы, по-моему, причины, мешающие решению польского вопроса в порядке взаимного согласия.

Чтобы выйти из тупика и добиться согласованного решения, необходимо, по-моему, предпринять следующие шаги:

1) Установить, что реконструкция Временного Польского Правительства означает не его ликвидацию, а именно его реконструкцию путем его расширения, причем ядром будущего Польского Правительства Национального Единства должно быть Временное Польское Правительство.

2) Вернуться к наметкам Крымской конференции и ограничиться вызовом восьми польских деятелей, из коих пять должно быть вызвано из Польши и три из Лондона.

3) Установить, что при всех условиях должна быть проведена консультация с представителями Временного Польского Правительства, причем эта консультация с ними должна быть проведена в первую очередь, так как Временное Польское Правительство представляет собой наибольшую силу в Польше по сравнению с теми одиночками, которые будут вызваны из Лондона и из Польши и влияние которых на население Польши не может идти ни в какое сравнение с тем громадным влиянием, которым пользуется в Польше Временное Польское Правительство.

Я обращаю Ваше внимание на этот пункт, так как, по-моему, всякое иное решение по этому пункту может быть воспринято в Польше как оскорбление польского народа и как попытка навязать Польше правительство, созданное без учета общественного мнения Польши.

4) Вызывать на консультацию из Польши и из Лондона только таких деятелей, которые признают решения Крымской конференции о Польше и стремятся на деле установить дружественные отношения между Польшей и Советским Союзом.

5) Реконструкцию Временного Польского Правительства произвести путем замены части нынешних министров Временного Правительства новыми министрами из ряда польских деятелей, не участвующих во Временном Правительстве.

Что касается количественного соотношения старых и новых министров в составе Польского Правительства Национального Единства, то здесь можно было бы установить приблизительно такое же соотношение, какое было осуществлено в отношении Правительства Югославии.

Я думаю, что при учете изложенных выше замечаний согласованное решение по польскому вопросу может быть достигнуто в короткий срок.

7 апреля 1945 года».

Сталин согласился с американским президентом в том, что: «Дела с польским вопросом действительно зашли в тупик». Но, по мнению Сталина, причину этого следовало искать в действиях западных союзников, «отошедших от установок Крымской конференции».

Последствия допускаявшего двоякое толкование языка не только соглашения о Польше, заключенного в Ялте, но и дебатов о ней между западными союзниками и Сталиным в целом на протяжении последних трех и более лет, были налицо. Сталин заявил не только о том, что люблинские поляки должны составить большую часть нового правительства (ибо достигнутое в Ялте соглашение призывало лишь к расширению существовавшего на

тот момент временного правительства) и, кроме того, «должны быть приглашены те польские деятели, которые, во-первых, признают решения Крымской конференции, в том числе и решение о линии Керзона, и, во-вторых, стремятся на деле установить дружественные отношения между Польшей и Советским Союзом». А уж Советы, разумеется, сами решат, кто им друг, а кто враг. Все это являло собой некий экзамен на лояльность, которому сталинский режим намеревался подвергнуть поляков и в соответствии с которым практически кто угодно мог угодить в «противники Советского Союза».

«Советское правительство настаивает на этом, так как обильно пролитая кровь советских войск для освобождения Польши и тот факт, что в течение последних 30 лет территория Польши была дважды использована врагом для нашествия на Россию, — все это обязывает Советское правительство добиваться того, чтобы отношения между Советским Союзом и Польшей были дружественные», — писал Сталин.

Рузвельт куда лучше Черчилля понимал, что, учитывая возможность весьма вольной трактовки Ялтинского соглашения, западные союзники мало что могли сделать, разве что выразить очередной протест — и даже в рамках протеста необходимо было соблюсти корректность, учитывая необходимость сотрудничества с Советами в других областях. Одна из последних телеграмм, посланных Рузвельтом Черчиллю незадолго до смерти американского президента, гласила: «Следует свести, по возможности к минимуму, проблемы с Советами, поскольку они в той или иной форме возникают практически ежедневно, и большинство из них вполне можно урегулировать...»<sup>27</sup>

30 марта 1945 года Рузвельт в последний раз покинул Белый дом, отправившись в курортный городок Уорм-

Спрингс в Джорджии. Там его дожидалась огромная куча документов касательно конференции в Сан-Франциско, где предстояло учредить Организацию Объединенных Наций. Документов Рузвельту хватило в буквальном смысле до конца жизни — Рузвельт до последнего вздоха был предан идее создания ООН. И в сравнении с этой воистину грандиозной целью бледнели частности — такие как Польша и притязания на нее Советской России.

Вероятно, кое-кому даже его смерть в апреле 1945 года виделась как некий акт жульничества — что было не удивительно для человека с репутацией того, «чья правая рука не ведает, что творит левая». Разумеется, речь не идет о каком-либо умышленном обмане или мистификации, если вспомнить о том, сколь тщательно Рузвельт скрывал свои недуги от американского народа — но и в том, что касалось его умения скрывать наиболее сокровенные чувства. За многие годы до этого, вскоре после бракосочетания с Элеонорой, он влюбился в Люси Мерсер, в ту пору личную секретаршу его жены. Рузвельт подумывал о разводе с Элеонорой ради Люси, но все же не решился на столь эпатажный шаг и, таким образом, уберег свою политическую карьеру. Теперь он пожелал, чтобы Люси была рядом. 9 апреля он вместе с ней и художницей Элизабет Шуматоф, которая должна была написать портрет президента, выехал в Уорм-Спрингс. А уже 12 апреля скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг. Именно Люси была с ним в день его смерти, но не Элеонора.

Черчилль, как и ожидалось, отдал Рузвельту дань уважения в палате общин, но что любопытно, на похороны президента не явился — о чем он, судя по его дальнейшим заявлениям, весьма сожалел. Его оправдание — загруженность работой — была просто отговоркой. Из



всех лидеров «Большой тройки» Черчилль разъезжал больше всех. Вероятно, таким образом британский премьер решил выразить свое разочарование президентом США — мелочный жест в отместку за то, что Рузвельт не поддержал его во время недавних протестов в адрес Сталина.

### Битва за Берлин

Тем временем повсюду гремела битва за Берлин. И планирование, и осуществление этого завершающего сражения европейской войны послужило наглядным примером раскола союза со Сталиным.

Планирование операции осуществлялось в конце марта — начале апреля на фоне растущих подозрений Сталина в том, что западные союзники готовы заключить сепаратный мир с Германией, о чем и договаривались в Бёрне — эта идея до глубины души оскорбила президента Рузвельта, омрачив ему последние дни жизни.

Поздним вечером 29 марта 1945 года Сталин, вызвав в Кремль маршала Жукова, самого видного из советских военачальников, вручил ему донесение разведслужбы, где были изложены предположения о переговорах западных союзников с нацистскими посланниками. Советский лидер отметил, что «Рузвельт не пойдет на расторжение Ялтинского соглашения [в соответствии с которым Берлин оказывался в согласованной сторонами советской зоне оккупации Германии], но ведь Черчилль способен на все»<sup>28</sup>.

Сталин только что получил телеграмму от генерала Эйзенхауэра, который, к великому неудовольствию Черчилля, подтвердил, что западные союзники не торопятся к Берлину. В мире двоемыслия, в котором оби-

тал Сталин, это служило доказательством обмана союзников: то есть, если они пытаются убедить, что не торопятся взять Берлин, то, разумеется, сделают все возможное, чтобы овладеть столицей рейха. Все это до боли напоминало о параноидальном состоянии, в котором Сталин пребывал весной 1941 года незадолго до вторжения гитлеровцев. И, действуя в этом же духе «говорим одно, делаем совершенно другое», Сталин 1 апреля направил телеграмму Эйзенхауэру, в которой заявил, что, дескать, согласен, что овладение Берлином вовсе не является приоритетной задачей, ибо город «утратил прежнее стратегическое значение»<sup>29</sup>.

И Сталин, стремясь ускорить темпы наступления и тем самым лишить Жукова единоличной славы, объявил генералитету, что овладение столицей гитлеровской Германии поручено двум советским армиям, что положило начало нездоровой конкуренции между 1-м Белорусским фронтом под командованием Жукова и 1-м Украинским фронтом под командованием Конева. «Сталин всячески поощрял распри, — утверждает Махмуд Гареев, в тот период майор штаба советского 45-го пехотного корпуса, а впоследствии заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР. — Когда проводили разграничительную линию между этими двумя фронтами в Берлине, Сталин перечеркнул ее и сказал: “Кто первым ворвется в Берлин, тот и будет его брать”. Он искусственно создавал трения... И не забывал о том, каков будет авторитет Жукова после войны, если тот возьмет Берлин»<sup>30</sup>.

16 апреля войска Жукова начали массированную атаку позиций противника на Зееловских высотах восточнее Берлина и в течение четырех дней прорвали мощную оборону немцев — последний бастион на пути к столице Германии. В день рождения Гитлера, 20 апреля, Красная

Армия уже вела обстрел центра Берлина, включая комплекс зданий Имперской канцелярии и бункер Гитлера.

Для Владлена Анчишкина<sup>31</sup>, капитана минометного дивизиона 1-го Белорусского фронта Жукова, это наступление стало кульминацией всех лет войны: «Наконец война близилась к концу, это была победа, это походило на гонку на длинную дистанцию... Я чувствовал себя — ну, окрыленным, что ли... Трудно подобрать подходящее слово, и одновременно с этим ощущалось сильное психологическое и эмоциональное давление. Естественно, мне не хотелось погибнуть. Это вполне естественно. И оказаться раненым тоже не хотелось. Мне хотелось дожить до победы, но эти мысли отходили на задний план, а на передний выступило чувство долга. Этим и объяснялось напряжение».

И этот капитан не сомневался, что лютые военные годы не прошли даром ни для него, ни для его товарищей: «В конце концов, на войне люди просто сходят с ума. Они превращаются в животных. Нечего и пытаться видеть в солдате интеллектуала. Даже интеллектуал, становясь солдатом, видит кровь, выпущенные кишки, мозги, тут срабатывает инстинкт самосохранения... И человек теряет все человеческое. Солдат превращается в животное».

Сражение за Берлин была одна из самых кровопролитных и ожесточенных баталий Второй мировой войны. И раскритикованный за стремление переложить всю тяжесть борьбы на плечи Советов, генерал Эйзенхауэр не ошибся в расчетах, прогнозируя огромные потери обеих сторон. В ходе Берлинской операции погибло около 800 тысяч советских солдат, из них 25 тысяч человек — в уличных боях непосредственно в Берлине.

«Столько наших полегло — ужасно много, не перечить, — вспоминает Владлен Анчишкин. — Это было

непрерывное наступление — мы продвигались вперед и днем и ночью. Немцы тоже решили держаться до конца. Дома в Берлине высокие, стены их очень толстые, а подвалы были прекрасно укреплены... И наш полк угодил в ужасную неразбериху, а в неразберихе трудно понять, кто свой, а кто чужой. Все становится с ног на голову, повсюду взрывы, грохот, воронки...»

В гуще сражения шло состязание между Жуковым и Коневым. Анатолий Мерешко<sup>32</sup>, офицер одной из частей 1-го Белорусского фронта Жукова, получил приказ разузнать, чьи именно войска заняли один из пригородов столицы рейха. «Я сел в машину с пулеметчиками. Поехал туда и переговорил с танкистами. Один сказал: “Я с Белорусского фронта”, а другой: “А я с Украинского”. “Кто прибыл первым?” — спросил я. “Не знаю”, — ответили они. Я спросил гражданских: “Чьи танки первыми появились здесь?” Они ответили, что, мол, “русские танки”. Даже военный человек не всегда разберется, что за танки и чьи они, а уж о гражданских и говорить нечего. Вернувшись, я доложил, что первыми были танки Жукова, а потом подоспели и танкисты Конева. И очередной победный салют в Москве гремел в честь Жукова».

В пылу сражения было также ясно, что состязание между Жуковым и Коневым отнюдь не способствовало единению солдат: «Они [Жуков и Конев] были конкурентами, — утверждает Владлен Анчишкин. — Между двумя фронтами разгорелась конкуренция. И ничего в этом зазорного... Но эта конкуренция в Берлине не всегда действовала положительно, потому что иногда солдаты не знали, кто где находился... Так было на границах между фронтами, и много людей погибло только вследствие состязания двух фронтов».

Невзирая на трудности, Красная Армия героически сражалась в Берлине, подстегиваемая стремлением ото-

мстить врагу за все. «Мы гордимся, что добрались до логова зверя, — писал один фронтовик домой. — И мы отомстим, отомстим за все наши беды»<sup>33</sup>. Месть подпитывалась знаменитым призывом советского пропагандиста Ильи Эренбурга: «Солдаты Красной Армии! Все немецкие женщины — ваши!»<sup>34</sup>

Изнасилования в Германии приобрели едва ли не глобальный характер — число этих преступлений там даже превысило аналогичные показатели в Венгрии — объектом насилия советских солдат стали около 2 миллионов женщин. Один из самых трагических примеров — случай с берлинским адвокатом, сумевшим защитить свою жену-еврейку даже в годы нацистского преследования, но не уберечь ее от красноармейцев — те застрелили его при попытке вступить за жену. Умирая, он видел, как они надругались над ней<sup>35</sup>.

Расположенный неподалеку от Берлина Потсдам, определенный как место предстоящей заключительной конференции союзников, сильно пострадал от разрушений. Ингрид Шюллер<sup>36</sup>, проживавшая в многоквартирном доме примерно в полутора километрах от дворца Цицилиенхоф, где должна была проходить конференция, было 17 лет, когда Красная Армия заняла Потсдам в апреле 1945 года. «Мои родители спрятались, — вспоминает Шюллер. — И нам крупно повезло — мою мать русские не изнасиловали... Они (солдаты Красной Армии) ни одной женщины не пропускали. Хуже себе и не представишь... Хочу вам рассказать, как один пекарь с нашей улицы вступился за жену. Так его тут же пристрелили, а жену изнасиловали».

Масштаб насилий над населением, совершенных Красной Армией в Германии за первые шесть месяцев 1945 года, был огромен. И мотивационные факторы были тоже ясны. Владлен Анчишкин объясняет это так:

«На ваших глазах симпатичная немка рыдает после того, как стала добычей русских. Скажите, а почему она не рыдала, получая посылки [от мужа], воевавшего на Восточном фронте!» Сами солдаты в письмах домой рассказывали о фактах насилия нечасто. «Они [немки] ни слова не понимают по-русски, — писал один солдат Красной Армии домой в феврале 1945 года, — но так еще и легче — уламывать не приходится. Просто показываешь ствол, куда лечь, и делу конец, делаешь свое дело, и до свидания»<sup>37</sup>.

Конечно, все это, как и то, что творили отдельные солдаты Красной Армии в Венгрии, также следует рассматривать в общем контексте неутолимого желания расквитаться с врагом. Не год, и не два Красная Армия насмерть сражалась с врагом, открыто объявившим «войну на уничтожение». Это может подтвердить и Анчишкин, поскольку сам принимал непосредственное участие в акте отмщения в Чехословакии. Однажды его подразделение обстреляла группа отступавших эсэсовцев. Это и переполнило чашу терпения. Захватив этих немцев в плен, солдаты приводили их к нему на допрос — одного за другим.

«Меня охватила неопишуемая ярость. Я приказал: “Пройди сюда”. Потом выхватил нож и прирезал его, — признается Анчишкин. — Вы и представить себе не можете, до чего податливо человеческое тело — нож вошел в него, как в масло. Одно легкое движение — и глотка перерезана. [На самом деле] все происходит очень быстро, и жертва умолкает навеки — только кровавые пузыри на губах, хрип, и все. Вот в каком состоянии я был тогда... Что я чувствовал? Да ничего — одну лишь жажду отомстить, и больше ничего... “Ты хотел убить меня? Ну, получай!” Вы 4 года убивали нас, теперь расплачивайтесь за это, я сейчас решаю, жить вам или умереть».

Немцы, не выдержав натиска Красной Армии, отступили и сдали Берлин. Днем 30 апреля 1945 года Гитлер покончил с собой. В типичном для него духе он незадолго до самоубийства высказался: «Раз немцы не сумели победить в этой войне, они недостойны меня».

Неделю спустя, ранним утром 7 мая генерал Альфред Йодль, начальник Штаба оперативного руководства вермахта, подписал Акт о безоговорочной капитуляции. Война в Европе завершилась.

### Новый президент

Пока Красная Армия готовилась праздновать свою победу в Восточной Европе, на смену скончавшемуся Рузвельту пришел его вице-президент Гарри Трумэн, 60-летний бывший сенатор от штата Миссури. Трумэн тут же энергично взялся за дело. Джордж Элси, обслуживавший кабинет карт Белого дома, вспоминает: «Гарри Трумэн был совершенно непохож на президента Рузвельта с точки зрения личных отношений. Во-первых, он мог передвигаться без посторонней помощи. Он был человеком энергичным, физически здоровым. Хотя он был всего лишь на несколько лет моложе Франклина Рузвельта, ему спокойно можно было дать на пару десятков лет меньше. Впервые войдя в кабинет карт, он с улыбкой обошел всех сотрудников и, поздоровавшись с ними за руку, представился: “Я – Гарри Трумэн...” Он с нескрываемым интересом осмотрел карты, папки с документами, задавал вопросы... Трумэн был человеком открытым и готов был учиться всему, чего не знал, и, самое главное, не стеснялся признаться в том, что чего-то не знает. Рузвельт никогда бы не признался в том, что чего-то не знает...»

Что касается Советов, те имели об этом провинциальном политическом деятеле весьма смутное пред-

ставление — а то, что им удалось узнать, было явно не по душе. В конце концов, именно Трумэну принадлежало высказывание, сделанное им сразу же после нападения Германии на Советский Союз и часто цитированное в прессе. Сенатор тогда цинично заявил, что, дескать, если американцы увидят, что выигрывает Германия, они должны помогать Советскому Союзу, если же Советский Союз, то, напротив, помогать Германии. И пусть они, таким образом, убивают как можно больше<sup>39</sup>. Трумэн не понимал всех хитросплетений американской внешней политики; посему в первые недели президентства в отношениях с Советским Союзом он всецело полагался на людей искушенных, Гарримана и Хопкинса. 25 мая 1945 года, спустя полтора месяца после смерти Рузвельта, Гарри Хопкинс по просьбе Трумэна прибыл в Москву. Советник и специальный помощник президента Франклина Рузвельта, пока проходила Ялтинская конференция, находился на больничной койке (он страдал раком, от которого год спустя умер), и, еще не совсем оправившись после лечения, решился на этот визит ради того, чтобы помочь новому президенту.

Хопкинс встретился со Сталиным вечером 26 мая 1945 года. Это была важная встреча, не столько по части принятых на ней решений и договоренностей, сколько для понимания того, что именно Сталин, а не некие «силы за его спиной» определяли внешнюю политику СССР. В начале встречи Хопкинс подчеркнул, что «общественное мнение» в Америке весьма обеспокоено «невозможностью исполнить Ялтинское соглашение в его части, касавшейся Польши»<sup>40</sup>. Сталин ответил, что, мол, вина в этом целиком и полностью лежит на Великобритании, по словам Сталина, стремившейся к созданию некоего «санитарного кордона» у границ Советского Союза, вероятно, ради обретения возможности кон-



тролировать Советы. Хопкинс отрицал наличие подобных намерений у США, добавив, что американцы были бы счастливы видеть «дружественные страны» вдоль советских границ. Использование термина «дружественный», судя по всему, успокоило Сталина, и тот заявил, что, если это на самом деле так, «мы сможем легко достичь согласия» по вопросу о Польше.

Эти два высказывания Хопкинса — о могуществе общественного мнения в Америке и о том, что Соединенные Штаты желают видеть «дружественные страны» вдоль советских границ, Сталин обернул против него же в ходе второй встречи 27 мая. Советский лидер в ответ заявил, что не будет прятаться за советское общественное мнение, а лучше расскажет о тревоге, которую испытывают в «советских правительственных кругах» относительно последних шагов Соединенных Штатов. Советский вождь тогда высказал мнение, которое предугадал еще Рузвельт: Ялтинское соглашение означало, что существующее Люблинское правительство просто-напросто могло быть «восстановлено». «Несмотря на то, что мы люди простые», добавил Сталин, «русских не следует считать ни дураками, как это иногда позволял себе Запад, совершая огромную ошибку, ни слепыми, потому что они прекрасно видят, что происходит у них на глазах. Верно, что русские — люди терпеливые, но и их терпению есть пределы»<sup>41</sup>. Сталин выразил также беспокойство по поводу приостановки поставок по ленд-лизу. «Та манера, в которой все это было сделано, — сказал он, — очень неловка и груба. Если решение было сделано для того, чтобы оказать давление на Россию, то это было коренной ошибкой. Хотя распоряжение Трумэна было затем отменено, оно вызвало у Советского правительства большую озабоченность. Я должен сказать господину Хопкинсу откровенно, что если

к русским будут относиться искренне, на дружеской основе, то очень многое может быть сделано, но репрессии в любой форме приведут лишь к прямо противоположному результату. Советский лидер явно хотел убедиться, что любая послевоенная помощь от Америки не будет диктоваться политическими вопросами. В оправдание правительства США Хопкинс сослался на «техническое недоразумение», допущенное одним американским учреждением, ни в коем случае не представляющее собой политического решения.

Перед Хопкинсом предстал истинный Сталин – чтобы выбить из колеи оппонента, он излагал свои претензии напрямик, зачастую грубо и при этом совершенно бесстрастно. Сталин умел сдерживать себя и использовать наступательные методы, но не ради того, чтобы выплеснуть наружу переполнявшие его эмоции, а в качестве метода прощупать оппонента, выяснить, насколько тот силен. Так, в недавнем прошлом он оскорбил Рузвельта подозрением о якобы имевших место в Бёрне переговорах, и, убедившись, что американский президент явно расстроен, взял свои слова обратно. Любопытно, что когда Черчилль пожаловался на поведение Сталина в рамках той же проблемы, советский лидер ответил на его письмо: «Мои послания являются личными и строго секретными. Это дает возможность высказываться ясно и откровенно. В этом плюс секретной переписки. Но если Вы будете каждое мое откровенное заявление принимать за оскорбление, то это очень затруднит такую переписку. Могу заверить Вас, что у меня не было и нет намерения оскорбить кого-либо»<sup>42</sup>.

И Черчилль, и Рузвельт, и Хопкинс – все они в той или иной мере почувствовали на себе оскорбительный тон Сталина, что говорит об их уверенности в том, что, дескать, они все же сумели добиться особых, довери-

тельных отношений с советским вождем. Однако Сталин прекрасно понимал, что эти переговоры не имели никакого отношения ни к «дружбе», ни к «доверительным отношениям». Сталин мог себе позволить не очень-то тревожиться по поводу того, кто его любит, а кто нет. Главным для него были и оставались могущество и способность убедить оппонента; могущество, позволявшее подмять под себя государства у своих границ, насадить в них «дружественные» режимы и склонить оппонента трактовать отдельные пункты Ялтинских соглашений так, чтобы это оказывалось ему, Сталину, на руку. И, надо сказать, Сталин преуспел и в том, и в другом. Не приходится удивляться тому, что Иден, человек, обладавший немалым опытом по части ведения серьезных международных переговоров, писал: «Если бы я набирал для себя группу переговорщиков, я бы начал со Сталина»<sup>43</sup>.

На этой встрече в мае 1945 года Сталин едва ли не играл с новым президентским эмиссаром. Он сказал Хопкинсу, что «четыре или пять» министерских постов в польском временном правительстве могут быть отданы полякам из списка, «представленного Великобританией и Америкой», правда, потом Молотов поправил его, назвав цифру «четыре», потому что «он думал, что «Варшавские» поляки [ранее именуемые «Люблинскими»] просто не примут больше четырех министров от других демократических групп». Сама мысль о том, что Сталин уступит пожеланиям своих польских марионеток, была чистейшей уловкой, которую он использовал уже не раз и прежде — но никто не посмел сказать ему в глаза, что это очевидная ерунда.

К концу встречи Хопкинс сделал страстный призыв к Советам даровать народам «свободы», столь дорогие для Атлантической хартии — свободу слова, собраний и

совести — на только что оккупированных Советами территориях. И в своем ответе Сталин вновь «поиграл» с Хопкинсом, заявив, что «в отношении части свобод, упомянутых г-ном Хопкинсом, они могут быть допущены, но с известными ограничениями». В конечном счете был достигнут некий «компромисс» — пять независимых кандидатур в новое временное правительство, — разумеется, все это было очень далеко от идеала, на который рассчитывали Рузвельт и Черчилль сразу же по завершении Ялтинской конференции.

Суровая реальность состояла в том, что Сталин и Советы овладели и Польшей, да и большинством других сопредельных с Советским Союзом государств. И западные державы мало что могли противопоставить этому — именно такой была суровая реальность, возобладавшая на заключительной конференции трех держав, состоявшейся на оккупированной Советами зоне Германии.

### Потсдамская конференция

После разгрома гитлеровской Германии три лидера союзных держав пришли к соглашению о встрече в Потсдаме, городке, расположенном вблизи Берлина и некогда служившем резиденцией Фридриха Великого. Выбор места носил явно символический характер — он диктовался стремлением подчеркнуть не только факт окончательного разгрома Германии, но и доминирующую роль Советов в Восточной Европе. Как и в Ялте, в Потсдаме советское руководство взяло на себя все вопросы организации и проведения конференции. Замечательно и то, что за всю войну и первые послевоенные годы Сталин нечасто покидал Москву, а если покидал, то в сопровождении целой армии охраны.

В Ялте была достигнута договоренность о разделе Берлина на секторы под управлением оккупационных войск — их было всего четыре: советский, американский, британский и французский (Франция была признана четвертой державой-победительницей). И Ингрид Шюллер, в то время 17-летняя девушка, быстро уловила различие. «Это были два абсолютно различных мира — [мир] русских и [мир] западных союзников... Ванзее [примыкавший к Потсдаму западный пригород Берлина] занимали американцы. Это было прекрасное место — проживавшие там американцы общались [с местными жителями], ходили по улицам, непринужденно болтали друг с другом. Люди их не боялись». И даже не искусственной в политике девчонке, какой была в ту пору Ингрид, «этот союз» между «двумя мирами был просто “непостижимым”». «На Востоке никакой демократии не было и в помине... местное население и не спрашивали ни о чем, всем управляли и все решали сами... никакой свободы вообще. Все знали, скольких людей они выслали неизвестно куда. А здесь... здесь была свобода».

Один доставлявший массу головной боли вопрос все же удалось уладить еще до открытия Потсдамской конференции — Запад признал правительство Польши. В июне было учреждено «новое» временное правительство — хотя и непосвященному было понятно, что оно очень и очень напоминало «старое» временное правительство, в котором до 75% членов поддерживали Советы. Поговаривали, что именно нежелание западных союзников признать поддерживаемое Советским Союзом правительство и послужило причиной первоначального отказа Сталина послать Молотова на конференцию в Сан-Франциско, где обсуждался вопрос о создании Организации Объединенных Наций. Эта проблема не

давала покоя Рузвельту в последние дни жизни, и хотя Сталин в конце концов занял более мягкую позицию и, желая сделать шаг навстречу Трумэну, согласился на присутствие Молотова в Сан-Франциско, все это говорило о том, что свою политику Советы смягчать не намерены. Существовало множество вопросов, по которым Советы могли принимать решения явно в ущерб Западу, если бы захотели. И теперь, когда компромисс по польскому вопросу, позволявший сохранить лицо, наконец был найден, и британцы, и американцы с готовностью пошли на него. Впоследствии они вновь подтвердили, что целиком и полностью принимают новые границы Польши, согласно которым вся восточная часть страны, захваченная Советами еще в 1939 году в союзе с Гитлером, отходила СССР.

Американцы признали временное правительство законным правительством Польши 5 июля 1945 года, а сутки спустя их примеру последовали и британцы. Разочарование членов польского правительства в изгнании и других поляков, сражавшихся плечом к плечу с западными союзниками, было, как и следовало ожидать, огромно. Генерал Андерс писал: «Таким образом, польский президент, г-н Рачкевич, которого в 1940 году на Паддингтонском вокзале встречал король Георг VI, а также польское правительство в Лондоне, и Войско польское, всю войну сражавшееся на стороне Великобритании и Соединенных Штатов, оказались не у дел... В 1940 году г-н Черчилль уверял генерала Сикорского, что мы навечно связаны борьбой против общего врага. Однако Советская Россия оказалась намного сильнее этих заверений»<sup>44</sup>.

Андерс к открытию Потсдамской конференции не знал, что англичане уже рассмотрели и отклонили возможность склонить «Россию принять позицию Соеди-

ненных Штатов и Британской империи». Вслед за явным отказом Советов придерживаться пунктов подписанного в Ялте соглашения Черчилль распорядился начать планирование военной операции против Советского Союза на случай, если события будут развиваться по наихудшему из сценариев. Название операции как нельзя более точно раскрывало ее характер – «Операция “Непостижимость”» (*Operation Unthinkable*), и разработка ее была завершена 22 мая 1945 года. Это во многих отношениях весьма эксцентричный документ еще и потому, что, по сути, означает поворот на 180 градусов от прежнего внешнеполитического курса Великобритании. Заключительный абзац гласил: «Для полного достижения нами поставленных политических целей на длительный период поражение России в тотальной войне необходимо. Результат тотальной войны с Россией невозможно предсказать, но одно бесспорно – для полной победы нам потребуется очень много времени»<sup>45</sup>. Начальник Имперского Генерального штаба сэр Алан Брук явно по неосмотрительности записал в своем дневнике 24 мая: «Сегодня вечером тщательно изучил отчет оперативного отдела штаба о возможности нападения на Россию на случай возникновения непредвиденных затруднений в наших с ней предстоящих переговорах. Нам было поручено изучить подобный вариант. Идея, несомненно, утопичная и шансы на успех минимальные»<sup>46</sup>. Дело в том, что начиная с лета 1941 года Советский Союз прошел долгий путь, и теперь сама идея «завоевания» Советского Союза была изначально несерьезной.

Пока Черчилль переваривал эти новости, его отношения с Трумэном ознаменовали не очень хорошее начало. Трумэн мгновенно понял, что Великобритания, как партнер в треугольнике отношений «США – Вели-

кобритания – СССР», играет явно второстепенную роль. Новый американский президент даже не потрудился обсудить с Черчиллем детали предстоящей миссии Хопкинса в Москву. Он также отклонил приглашение Черчилля о встрече для обсуждения и выработки совместной тактики в канун трехсторонней встречи глав государств-победителей. Масла в огонь подлило и решение Трумэна направить в Великобританию Джозефа Дэвиса – того самого, который в мае 1943 года в беседе со Сталиным заметил, что после войны финансы Великобритании будут истощены. Дэвису предстояло растолковать британскому премьеру суть американской политики. В результате из встречи Дэвиса и Черчилля – мягко выражаясь – ничего хорошего не вышло.

Черчилль забрасывал Трумэна эмоциональными посланиями с предложениями ужесточить проводимый в отношении Советов курс в связи с отказом русских придерживаться подписанного в Ялте соглашения. В частности, Черчилль предлагал, чтобы западные союзники остались на той территории Германии, которую захватили к 9 мая 1945 года и которая теперь, в соответствии с достигнутой в Ялте договоренностью, под управлением Советов. Он даже направил Трумэну телеграмму, в которой предостерег, что «перед Советами опускается железный занавес»<sup>47</sup>. Но Трумэн не стремился к не сулившей ничего хорошего конфронтации со Сталиным, в особенности с подачи Черчилля. У британского премьер-министра сложилось впечатление, что Трумэн пытается вообще устранить его от решения важнейших вопросов просьбой прибыть на Потсдамскую конференцию уже после встреч американцев со Сталиным. Черчилль на это ответил, что в таком случае он просто «не готов к участию в конференции»<sup>48</sup>. В результате американцы согласились, что британская делегация во



главе с Уинстоном Черчиллем будет присутствовать на встрече в Потсдаме с самого начала.

Потсдамская конференция начала работу 17 июля 1945 года серией встреч во дворце Цицилиенхоф, бывшей резиденции немецкого кронпринца Вильгельма. Американский президент остановился в вилле по соседству, до недавнего времени принадлежавшей богатому немецкому издателю Гансу Дитриху Мюллеру-Гроте. Но до 1950-х годов Трумэн не знал о зловещей истории места, когда сын прежнего владельца написал ему. «В начале мая прибыли русские. За десять недель до того как Вы переступили порог этого дома, его владельцы жили в постоянном страхе. Днем и ночью приходили русские солдаты, насиловали моих сестер на глазах у родителей, избивали их. Вся мебель, платяные шкафы и серванты были изуродованы штыками и прикладами, а их содержимое разбросано...»<sup>49</sup>

Но хотя тогда Трумэн и не знал об этих печальных происшествиях, поведение Красной Армии в Берлине говорило само за себя. «Советы, разумеется, “освобождали” все, что попадалось им на глаза, — вспоминает Джордж Элси, член американской делегации в Потсдаме. — Советские грузовики, в основном американского производства, сновали круглые сутки с полными кузовами награбленного, которое предстояло отправить в Советский Союз для ускорения восстановления подорванной войной экономики. Даже во дворце, где проходила конференция, причем в период работы конференции, Советы демонтировали все что можно...»

Элси и другие американцы также знали об отношении Советов к немцам: «Мы были наслышаны об изнасилованиях — о них нам рассказывали наши солдаты. Британские и американские солдаты рассказывали невероятные истории об отношении Советов к немецко-

му населению. Поначалу я не очень-то в это и верил, но потом пришлось поверить... Не думаю, что это заставило меня переменить отношение к Советскому Союзу в целом — это было лишь поведение людей, годами живших в страшнейшем напряжении, отсюда и грубость, и необузданность». Американские и британские солдаты не вели себя так уже потому, что, по мнению Элси, «их страны не сталкивались с проблемами, с какими на протяжении десятилетий пришлось сталкиваться населению Советского Союза. Отсюда и дисциплина, боевая выучка и так далее... Они [британские и американские солдаты], в конце концов, не были крестьянами Бог знает откуда, они были молодые, порядочные британские и американские граждане. И поэтому мы гордились, что наши войска, в отличие от Советов, вели себя достойно».

В полдень 17 июля состоялась первая встреча Гарри Трумэна со Сталиным. Вождь страны Советов произвел на него впечатление, как до этого на Рузвельта и Черчилля. «Со Сталиным можно иметь дело, — писал он в своем дневнике, — человек он честный, но хитер, как дьявол»<sup>50</sup>. Новый американский президент напрямик заявил советскому партнеру, как предпочитает работать: «Я сказал Сталину, что я не дипломат и обычно говорю да или нет в ответ на вопросы после того, как выслушаю все аргументы. Это ему понравилось». Они обсуждали роль Франко в Испании («Ему хотелось бы избавиться от Франко, — сделал запись Трумэн, — я против этого возражать не буду»), ситуацию в Италии (Трумэн писал: «Сталин рвется “разделить мандаты”») и положение в Китае. Сталин также подтвердил Трумэну, что 15 августа вступит «в войну с япошками».

Но, как Трумэн хорошо понимал, оставался огромный по важности вопрос, до сих пор не ставший предме-

том обсуждения между Соединенными Штатами и Советским Союзом — нечто такое, что новый американский президент считал «динамитом... который я пока не взрываю». Самому Трумэну стало известно об этом взрывоопасном вопросе лишь за неполных три месяца до описываемых событий. 25 апреля его впервые проинформировали о «Манхэттенском проекте» — о создании ядерной бомбы. Несмотря на масштабы и дороговизну разработок, Трумэну ни словом не обмолвились об этом при жизни Рузвельта. Как только он оказался посвящен в эту тайну, президент США очень быстро оценил потенциал нового оружия и эффект его воздействия на отношения с Советским Союзом. И незадолго до начала Потсдамской конференции в пустыне штата Нью-Мексико на испытательном полигоне Альмогордо прошло первое успешное испытание новейшего оружия — взрыв бомбы был произведен 16 июля 1945 года, то есть за день до встречи Трумэна со Сталиным.

Наличие ядерной бомбы вызвало у президента США массу принципиально новых политических вопросов, причем отнюдь не второстепенным был вопрос о том, рассказать ли об этом Сталину. И Черчилль, и Рузвельт ранее договорились не сообщать Сталину о разработке ядерного оружия — что говорило о том, что и тот, и другой не до конца доверяли Сталину; хотя некоторые из их сотрудников, такие как Джордж Элси, утверждали, что, поскольку Советский Союз пока что не вступил в войну с Японией, в которой американцы собирались впервые применить ядерную бомбу, вопрос о ней, попросту говоря, Советского Союза не касался. Созванный Трумэном консультативный комитет, в задачу которого входило регулярно информировать его по всем вопросам боевого применения ядерной бомбы, предложил президенту следую-

ший сценарий: Советы узнают о новом оружии лишь после его использования в войне с японцами. Но еще до Потсдама советники передумали и рекомендовали, чтобы Трумэн все же посвятил Сталина в вопрос о ядерной бомбе. Трумэн обсудил этот вопрос на частном обеде с Черчиллем 18 июля и сделал запись – дескать, они теперь все же «решили сказать Сталину о ней». Трумэн добавил, что уверен, что «япошки сдадутся еще до подхода русских. Не сомневаюсь, что так и будет, когда в Японии опробуют “Манхэттен”».

Знаменателен тот факт, что в той же дневниковой записи Трумэн в лиричной форме пишет о своей встрече и беседе со Сталиным. Он писал, что пригласил советского лидера посетить Америку с дружественным визитом и был готов предоставить в его распоряжение линкор «Миссури». Сталин сказал ему, что «хочет мирного сотрудничества с США в мирное время по примеру войны, но более прочного. Сказал, что его совершенно неправильно понимают в США, а меня – в России. Я сказал, что мы в силах исправить сложившуюся ситуацию у себя дома и что я со своей стороны готов предпринять все от меня зависящее у себя дома. Он одарил меня сердечной улыбкой, пообещав, что проведет соответствующую работу у себя в России».

Черчилль, несмотря на его сердитые телеграммы о нарушениях Сталиным Ялтинского соглашения, тут же смягчился, встретившись со Сталиным лично. Как Кадоген отметил в своем дневнике: «Он снова попал под чары Сталина. И все время повторяет: “Мне нравится этот человек”». – Кадоген, весьма неглупый функционер, которому был отнюдь не чужд и цинизм, добавил: – Я восхищен тем, как Сталин обработал его»<sup>51</sup>.

В конце концов Трумэн, уже после пленарной встречи в Потсдаме 24 июля, сообщил Сталину о том, что Со-

единенные Штаты «недавно испытали новое оружие необычной разрушительной силы»<sup>52</sup>. Сталин не стал расспрашивать о «новом оружии», ответив только, что рассчитывает, что американцы эффективно используют его против японцев.

Объяснение такого равнодушия Сталина простое: он уже знал все о «проекте «Манхэттен»». Советы получили информацию от своих агентов – ученых из Лос-Аламоса, в частности, от Клауса Фука и Дэвида Грингласса. На суде в 1951 году Грингласс заявил, что он передавал ядерные секреты в Советский Союз с ноября 1944 года. Мотивами многих из советских агентов было не только искреннее сочувствие коммунистам и принятие их идей, но и стремление не допустить монополии американцев и англичан на ядерную физику.

Зоя Зарубина была одной из тех, кому по долгу службы был доверен перевод полученной от американцев секретной информации, касавшейся разработок ядерной бомбы на русский язык. «Мы получили эти бумаги от определенных лиц – назовем их “друзьями Советского Союза” – и от сотрудников наших собственных разведслужб, и мы очень, очень быстро переводили их на русский язык...» Большая часть материала, с которым она работала, представляла собой технический текст, и «постепенно нам в помощь прислали инженеров. Обычно мы переведем две страницы, а затем инженеры просматривают их. “Нет, нет, так неверно – вот, может быть, так?” Нам это все казалось какой-то мозаикой, неразрешимой загадкой... Сталин понимал в этом куда больше меня – он во всем разбирался».

Сталин так стремился заполучить в свои руки все, что касалось разработок нацистами атомного оружия, что уполномочил Берию направить в Германию специализированную поисковую группу специалистов; в за-

дачу ее входило отбирать все, что касалось на тот момент самой важной области науки. Группа во главе с генерал-полковником Завенягиным прибыла в Берлин еще до завершения войны в Европе, и несколько видных немецких ученых были обнаружены, задержаны и отправлены в Советский Союз<sup>53</sup>.

Трумэн сначала упомянул о наличии «нового оружия» Сталину в конце довольно бурного обсуждения тремя лидерами о том, как Советы трактуют и соблюдают достигнутые в Ялте договоренности. Эта встреча четко определила все разногласия. Западные союзники сетовали, что на деятельность их представителей в странах, занятых Советским Союзом, накладывались строгие ограничения. Сталин просто отрицал подобные факты. Трумэн повторил требование, чтобы «все правительства государств-сателлитов были реорганизованы на демократической основе, как и было согласовано на Ялтинской конференции». Черчилль, в свою очередь, заявил, что «о Румынии, и в особенности о Болгарии, мы ничего не знаем. Наша миссия в Бухаресте блокирована так, что это уже напоминает интернирование».

«— Но, — возразил Сталин, — вы излагаете факты, которые невозможно проверить.

— Но мы не сомневаемся, что это так, — ответил Черчилль, — нам это известно от нашего представителя в этих странах.

Маршал Сталин был бы очень удивлен, ознакомившись с длинным перечнем проблем, с которыми приходится сталкиваться миссии. Их окружили железной оградой.

— Это все сказки, — отпарировал Сталин.

— Разумеется, — ответил Черчилль, — мы можем сколько угодно обвинять друг друга в том, что мы рассказыва-

ем сказки, но я совершенно уверен в наших представителях в этих странах»<sup>54</sup>.

Эта перебранка символизировала бессилие западных держав — бессилие перед лицом двух, на первый взгляд не имевших решения проблем. Первой были реалии военного характера — перечисленные восточноевропейские страны были теперь заняты советскими войсками, и потребовалась бы еще одна война, чтобы избавиться от них. Вторая проблема касалась уже языка и могла возыметь далеко идущие последствия. Начинали давать о себе знать проблемы, которые американцы и англичане создали для себя, согласившись на то, что будущее правительство Польши должно быть настроено «дружественно» к Советам. Теперь настала очередь ощутить подобные же проблемы, но проистекавшие из понятия «демократический». Без малого 6 лет назад, например, советские власти решили сделать занятую Восточную Польшу «демократической». Эта демократия представляла собой выборы истинных, а не фальшивых, однако исключительно «дружественно настроенных» кандидатов. Это была профанация демократии — но тем не менее давала в руки советской пропаганде некий козырь — возможность на весь мир провозгласить СССР приверженцем «свободы». Именно так и была распропагандирована Советская Конституция 1936 года — как один из самых либеральных политических документов в мире, гарантировавшая гражданам СССР право на труд, право выбирать и быть избранным, право на отдых. Идея создания этой конституции ошибочно приписывалась Сталину, хотя документ был задуман Николаем Бухариным, которого в тот период «Правда» объявила «самым мудрым человеком эпохи»<sup>55</sup>. Опыт 1936 года и позволил Сталину поддержать пропагандистское положение на встрече 24 июля с Трумэном и Черчиллем — дескать, он

ничуть не меньший «демократ», чем они, все дело в том, что он по-другому понимал демократию.

25 июля Черчилль покинул Потсдам и вернулся в Великобританию для ознакомления с результатами проведенных ранее всеобщих выборов. Подсчет голосов занял длительное время из-за того, что очень многие избиратели оказались за пределами Великобритании. Результаты выборов оказались для Черчилля катастрофическими. Лейбористская партия одержала полную победу и теперь располагала большинством в 145 мест в палате общин. И хотя никто не стал бы опровергать факт того, что избирательная кампания консерваторов оказалась совершенно бесцветной и что сам Черчилль допустил в ходе ее серьезную оплошность, заявив в одной из речей, что, дескать, правительство социалистов будет насаждать в стране некую тайную полицию, победа лейбористов была результатом не столько промахов консерваторов, сколько доминировавшего среди самых различных слоев населения Великобритании стремления к переменам в стране.

И теперь британскую делегацию на Потсдамской конференции возглавляли уже новый премьер-министр Клемент Этли и новый министр иностранных дел Эрнест Бевин. Бевин, в частности, был антиподом своего предшественника-консерватора Энтони Идена. В отличие от Идена, получившего образование в Итоне и Крайст-Черч (Оксфорд), Бевин с 11 лет работал черно-рабочим. Пэт Эверетт<sup>56</sup>, секретарша Энтони Идена в течение без малого пяти лет, восприняла смену начальства в высшей степени положительно. В том числе и потому, что за все время работы Иден даже не удосужился узнать, как ее зовут: «Ну, он был человеком сдержанным, предпочитал держать дистанцию. Он всегда называл меня: “Мисс... э-э-э...” А мне это было на самом де-



ле неприятно. Как только он читал очередной меморандум, где был представлен список тех, кому предстояло вылететь в составе делегации, и среди них была и моя фамилия — мисс Хорн [девичья фамилия секретарши] — тогда Иден недоуменно вопрошал: “А кто такая мисс Хорн?” И я каждый раз повторяла: “Это — я”. А он каждый раз удивлялся: “О, о, правда?”»

С приходом Бевина обстановка коренным образом изменилась: «Понимаете, он был очень внимателен. Когда я впервые вошла к нему в кабинет, он сказал: “Входите, входите, юная мисс и присаживайтесь”. Ну, понятно, я вошла, и он спросил: “А как вас зовут?” Я ответила, что меня зовут мисс Хорн, а он и говорит: “А вы откуда?” Я отвечаю: “Из Бристоля”. Он отвечает: “А я тоже оттуда”. Я ему отвечаю: “Да, да, я знаю”. А он меня спрашивает: “А вы из какого района Бристоля?” Я говорю: “Ну, у моего отца был дом у главной дороги на выезде из Бристоля”, потому что, как врач, он проживал в большом доме на углу. И Бевин тогда говорит: «Черт побери! Я обычно проезжал на телеге своего пивовара мимо дома вашего отца, когда привозил пиво в «Синий лев»»».

Именно Бевин, вместе с новым американским госсекретарем Джеймсом Бирнсом (назначенным Трумэном 3 июля), обсуждал со Сталиным соглашение по репарациям, и в ходе этого готовил план раздела Германии. Сталин, выслушав их предложения, высказал свое: «С учетом акций и иностранных вложений, вероятно, демаркационную линию между советскими и западными оккупационными зонами целесообразно считать и линией раздела [между Советами и западными союзниками] и, что западнее этой линии, должно отойти [западным] союзникам, все, что восточнее, — русским»<sup>57</sup>.

Упомянутое соглашение, которое, по существу, давало возможность Советам установить размер репараций по своему усмотрению в своей и взаимно согласованной оккупационной зоне, стало одним из первых моментов, когда раздел страны между Востоком и Западом превратился в реальную возможность. Оно символизировало кризис доверия и взаимопонимания сторон — послужив подтверждением тому, что совместное управление Германией так и не будет осуществляться подписавшими Ялтинское соглашение лидерами.

Потсдамская конференция завершилась 2 августа. Трумэн покинул Европу в твердой решимости больше туда не возвращаться. Именно так и произошло. И хотя он убедился, что со Сталиным можно иметь дело, поскольку советский лидер — человек прямой<sup>58</sup>, он не тешил себя иллюзиями о природе советского режима, который, как он писал матери, представлял собой «в чистом виде полицейское государство: кучка главарей дубинками и пистолетами загоняют простых людей в концентрационные лагеря»<sup>59</sup>.

За день до того, как в Норфолк прибыл корабль, на борту которого президент Трумэн должен был вернуться в США, от военного секретаря поступило сообщение огромной важности. «Я расшифровывал донесение, — вспоминает Джордж Элси, — и передал его Трумэну. Оно было коротким: “Бомбардировка Хиросимы — эффект сильнее, чем во время испытаний”. Трумэн, не сдерживая ликования, объявил всем, что отныне мы располагаем новейшим мощным оружием и что теперь война уж точно закончится — во вторжении [в Японию] нет необходимости... Все кругом страшно обрадовались... Вот в таком настроении мы и возвратились в Вашингтон».

И хотя кое-кто десять лет назад предпринял попытку<sup>60</sup> подать решение Трумэна использовать ядерную

бомбу против японцев как стремление продемонстрировать Сталину «новейшее мощное оружие», которым располагали на тот момент американцы, другой исследователь<sup>61</sup> смотрел на это событие под совершенно другим углом. Причина, по которой на Японию сбросили ядерную бомбу, заключалась в желании американцев как можно скорее закончить эту войну и избавить себя от необходимости вторжения в Японию.

Но наличие ядерной бомбы на самом деле открывало совершенно иные возможности воздействовать на Сталина, по крайней мере так считал Черчилль в Потсдаме. Как утверждает сэр Алан Брук, он был «в бешеном восторге!». Черчилль не устал повторять, что «теперь у нас есть нечто позволяющее говорить с русскими на равных!». Кроме того, «теперь мы можем пригрозить им... тем, что сотрем с лица земли Москву, Сталинград, Киев, Куйбышев, Харьков, Севастополь и т. д., и т. д.»<sup>62</sup>. Без сомнения, после беспомощности, не покидавшей Черчилля вот уже несколько месяцев, перспектива возможности оказывать давление на Сталина угрозой сбросить на Советский Союз ядерную бомбу была весьма и весьма привлекательна. Но это вряд ли можно всерьез рассматривать в чисто практическом аспекте. Хотя одно дело угрожать лидерам милитаризованной державы, что, дескать, начни они войну, против них немедленно будет применено ядерное оружие, и совершенно другое — напрямик заявить главе государства, которое было твоим союзником, что, если он будет игнорировать демократические принципы в государствах, где находятся его оккупационные силы, его страна подвергнется уничтожению. К тому же никто не сомневался в том, что и Советский Союз уже очень скоро обзаведется собственной ядерной бомбой — что и произошло: в 1949 году Советы провели первое испытание ядерного оружия.

В этом и следует видеть доказательство тому — даже в первые послевоенные годы, еще до того как у Советов появилась ядерная бомба, Сталина мало волновало пусть даже очевидное преимущество американцев. Он прекрасно понимал, что у американцев не хватит ядерных бомб для полного уничтожения Советского Союза;<sup>63</sup> да он и не полагал всерьез, что американцы отважатся применить против СССР ядерное оружие, разве что в случае открытой и грубой провокации, чреватой угрозами непосредственно США. Таким образом, обладание ядерным оружием не удержало Сталина от того, чтобы бросить вызов Западу еще за год до появления у Советов новейшего сверхмощного оружия. Речь идет о блокаде (Западного) Берлина в 1948 году, когда вождь страны Советов предпринял неудавшуюся попытку выкурить западных союзников из разделенного на секторы города. «Я верю, что Сталин, — считал Андрей Громыко, заместитель министра иностранных дел СССР, — [хотя], разумеется, никто в глаза ему подобный вопрос не задал, предпринял эту акцию [блокаду (Западного) Берлина] отчетливо сознавая, что этот конфликт не приведет к ядерной войне. Он считал, что американским правительством управляли серьезные люди, которые не станут начинать ядерную войну в подобной ситуации»<sup>64</sup>.

### Советское наступление в Маньчжурии

Сброшенная американцами на Хиросиму ядерная бомба не положила конец войне. И спустя три дня после Хиросимы, в тот же самый день, когда жертвой ядерной атаки стал еще один японский город — Нагасаки, и почти три месяца спустя после формального окончания войны в Европе, Советы сдержали данное Рузвельту обещание и объявили войну Японии. 9 августа 1945 го-

да Красная Армия вошла на территорию Маньчжоу-Го (то есть территорию, находящуюся под опекой Японии). Выбор времени вторжения не был скоординирован с ядерными ударами — Советы не располагали сведениями, где и когда будут сброшены бомбы.

Маньчжурская операция — по западной терминологии Операция «Августовская буря» — под командованием маршала Василевского представляла собой широкомасштабное наступление, в котором участвовали свыше полутора миллионов солдат и офицеров Красной Армии. Наступление проводилось по двум направлениям и развивалось успешно — японцы не располагали хорошо подготовленными оборонительными позициями. «Я говорил себе, что мы сражаемся за правое дело, — вспоминает Иван Казанцев<sup>65</sup>, командир батальона части, участвовавшей в операции. — Японцы причинили много горя и китайцам, и нам... конечно, ядерная бомба [в Хиросиме] охладила пыл самураев, сбила с них спесь, но война закончилась не поэтому...»

В его батальоне, сражавшемся в Маньчжурии, один взвод состоял из солдат — выходцев из Западной Украины. Эти западные украинцы утверждали, вспоминает Иван Казанцев, что «раньше они были поляками». Они происходили как раз из той части Восточной Польши, которая стала предметом ожесточенных споров председателя польского правительства в изгнании с Черчиллем и Сталиным за год до описываемых событий, а в 1945 году была присоединена к СССР и признана союзниками частью Советской Украины, республики в составе Советского Союза. Эти поляки — или «украинцы», какими их считал Казанцев, если пользоваться политкорректной советской терминологией — явно не горели желанием сражаться в рядах Красной Армии в Маньчжурии, за тысячи километров от дома. «Выйдя из

палатки, я заметил, что половина моих солдат, те самые западные украинцы, плачут. Вот такая была их кулацкая психология, кулака, а не патриота. Мне было двадцать три года, а они были гораздо старше меня – им было уже за сорок, может, и того старше... Их очень беспокоила судьба их семей, их хозяйства... Мы поняли, что идеологически они отличались от нас... Мы понимали, что этих людей предстояло перевоспитать в политическом смысле, и мы проводили с ними политзанятия».

Вот яркий пример личной трагедии. Вместо того чтобы пользоваться всеми благами в освобожденной Польше – «свободной и демократической», – о которой они мечтали с самого начала войны, этих бывших польских граждан, теперь, помимо их воли, уже как граждан Советского Союза призвали в Красную Армию и бросили в бой с японцами. Не приходится удивляться, что их «предстояло перевоспитать в политическом смысле».

15 августа 1945 года император Хирохито объявил, что японцы принимают условия Потсдамской декларации, призывавшей японцев капитулировать перед угрозой «скорого и сокрушительного разгрома». В его обращении к японцам, когда подданные впервые услышали голос своего императора, он заявил: «Если мы продолжим сражаться, это приведет не только к полному уничтожению японской нации, но и к полному исчезновению человеческой цивилизации. После всех выпавших на нашу долю страданий мы избираем дорогу мира для всех поколений».

Вторая мировая война завершилась.

### **Жизнь за «железным занавесом»**

После падения диктатуры Адольфа Гитлера союзники заявили, что даруют Германии «демократию». Но сразу после войны в немецкой столице все понимали, что де-

мократия воспринимается по-разному в зависимости от государственной принадлежности. Берлин, как и было согласовано «Большой тройкой», был разделен на четыре оккупационных сектора — британский, американский, французский и советский, причем столица располагалась именно в советском секторе. В те первые годы можно было без особого труда перемещаться из одной оккупационной зоны города в другую — Берлинская стена была возведена лишь в августе 1961 года. И Гейнц Юрген Шмидтхен<sup>66</sup> описывает, как жилось тогда тем, кто волею случая оказался в Восточном Берлине, в недавно установленной советской зоне.

Шмидтхен в те годы был подростком и в войне не участвовал, но, как большинство молодых людей, вступил в Гитлерюгенд. Теперь все различия между представителями оккупационных сил стали ему понятны: «Мы видели французов, которые не слишком были настроены к нам, мы видели англичан, которые были хоть и настроены дружелюбно, но предпочитали дистанцироваться от нас. Мы видели американцев — с этими было проще всего. Нам они нравились — нравились их манеры, стиль общения». Что касается русских, он страшно боялся их. «Я знал, что в первые дни [овладения городом] мою тетю изнасиловали русские солдаты. Моей второй тете повезло больше — с нее только сорвали украшения. Мы никогда не видели, чтобы кто-нибудь из них появлялся один — всегда группами. Они постоянно напивались и вели себя шумно. Целыми грузовиками увозили награбленные вещи. Это нас поражало. Ничего подобного в западных секторах не происходило. Они [советские солдаты] тащили из домов все, что только могли».

В первые месяцы после Потсдама Шмидтхен и его друзья с великим трудом пытались осознать новое для

них понятие — «демократия». «Мы попытались интерпретировать слово “демократия”, [но] мы не вполне понимали, как это будет выглядеть на практике...» Когда он побывал на митинге коммунистической партии, он понял, что все «почти так, как прежде [при нацистах]. Раздавались приказы и распоряжения, а люди должны были их выполнять». Несколько месяцев спустя он решил сходить на митинг Социалистической партии Германии (СПГ) в Западный Берлин, уже не в советском секторе, и там он понял, что «демократия» означает свободу высказать свое мнение.

Он вместе с друзьями стали расклеивать плакаты СПГ в Восточном Берлине, но к весне 1946 года его действия привлекли внимание советских властей. «Это было в субботу 9 мая, и я уже собрался выйти из дома, когда ко мне подошел полицейский-немец, спросил, как меня зовут, и велел явиться в понедельник в русскую комендатуру. Я его спросил: “А зачем?” Он ответил: “В общем, они хотят задать вам пару вопросов”. Я спросил его, а что с собой брать, он ответил, что ничего брать не надо, потому что “вы к обеду вернетесь домой”».

Будучи уверенным, что вызов — простая формальность, Шмидтхен в понедельник отправился в комендатуру. Но стоило ему войти в здание, как охранник проводил его наверх, и у него возникло «смутное ощущение того, что я сделал что-то не так. Меня словно в жар бросило, хоть я и не понимал, что мне предстоит». Шмидтхена через переводчицу допросил майор. «Сначала он попросил у меня аусвайс, спросил, как дела, достаточно ли еды, в общем, бытовые вопросы. А потом ни с того ни с сего спросил меня: “Почему вы против коммунистов и русских?” Я спросил у него: “Кто мы?” Пропустив мой вопрос мимо ушей, майор продолжал допрос. Вел он себя в целом спокойно, говорил тихо. А вот перевод-



чица чуть ли не кричала — очень громко говорила. Я, наверное, только половину понял из того, что говорилось. Так продолжалось около двух часов».

После первого допроса его отвели в расположенную в подвальном помещении камеру. «Там горела тусклая лампочка, ватт на 15, не больше, и стояла жуткая вонь... Глаза постепенно привыкли к тусклому свету... Там еще были люди, камера почти битком была набита арестованными... Я словно оцепенел и не знал уже, что и думать». Всего там в этом подвале было семнадцать человек, и Шмидтхен понял, что «некоторые уже находились там по 3—4 месяца, естественно умыться было негде». Одним словом, жизнь молодого человека круто изменилась. Он-то думал, что ему на самом деле «зададут несколько вопросов, отпустят и он как раз успеет домой к обеду. Но оказалось гораздо хуже — я, 17-летний мальчишка, понять не мог, что со мной будет».

После двух недель пребывания в подвальной камере Шмидтхена в 3 часа утра вызвали на второй допрос. На сей раз и следователь, и переводчица были уже другие. Но вопросы задавались те же самые: «Почему вы против Красной Армии и коммунистов». Он попытался объяснить свой интерес к политике, но переводчица взбесилась, отвесила мне пару затрешин, а потом сняла с ноги туфлю на высоком каблуке и заехала мне ею по голове. До сих пор шрам остался... Какое-то время спустя меня снова потащили в подвал... а на следующее утро остригли наголо. Тогда я понял, что и мне грозит та же участь, что и остальным арестованным... Мне не хотелось верить, что мне уже не выйти отсюда. Продолжал надеяться до последнего. Но каждую ночь, когда некоторые возвращались с допросов, мне казалось, что они просто хотят сломить нас... Чтобы признались в том, чего не совершали. Многие так и сделали. От отча-

яния. Они просто очень боялись, что их избыют до полусмерти или поместят в “водяную камеру” (такие тоже были), а потом отдадут под суд и приговорят к смертной казни...»

Шмидтхен побывал во многих тюрьмах советской оккупационной зоны Восточной Германии. Условия были ужасны. В конце 1946 года, например, пайки урезали вдвое. «Их и так не хватало. Но однажды, это было 5 ноября 1946 года, мы получили всего лишь пол-литра бульона и кусок хлеба. Вот это был уже смертный приговор. С марта месяца уровень смертности возрос настолько, что даже русские были потрясены. В те месяцы не было дня, чтобы кто-нибудь не умер... Просыпаешься утром и думаешь – как поесть столько, чтобы выжить в этот день. Мы уже надеялись, что когда-нибудь нас выпустят. Жили как во сне. Не раз мне уже было все равно, погибну я или нет».

В конце концов Шмидтхена все же освободили – восемь лет спустя после ареста. Так он поплатился за свои симпатии к «демократии». Сегодня он уже почти не испытывает «ненависти к тем, кому обязан неволей. Куда больше я ненавижу тех в нынешней Германии, кто оценивает те времена совершенно по-другому и назначает тем, кто вершил делами тогда солидные пенсии, что равносильно издевательствам над памятью жертв режима. Я не так давно написал кое-кому из наших политиков о том, как я в свое время расклеивал плакаты, призывавшие к демократии. Но если бы я знал, как все повернется и как все будет выглядеть сейчас, я бы ни за что не стал расклеивать их».

В своих усилиях подавить всякое инакомыслие и обрести контроль над своей оккупационной зоной Советы с успехом воспользовались наследием нацистов, включая и концентрационные лагеря. Джон Нобл<sup>67</sup>, в 1945-м

22-летний американец, был одним из тех, кто открыл эту жуткую правду, попав уже после войны в концентрационный лагерь Бухенвальд близ Веймара в советской зоне Германии.

Во время войны он проживал с семьей в Дрездене, где его отцу принадлежал завод по производству фотоаппаратов. Все они были американскими гражданами, и, хотя нацисты не бросили их в лагерь, интернирования им избежать не удалось: с 1939 года их передвижение ограничивалось районом Дрездена, а с 1941 года они должны были регулярно отмечаться в полиции.

Весной 1945 года, когда Красная Армия пришла в Дрезден, семья Нобл стала свидетелем творимых Советами злодеяний: «Из дома рядом с нашим советские солдаты вывели на улицу женщину, бросили ее на похищенный у кого-то тюфяк и изнасиловали немку. Мужчин заставили на все это смотреть, а потом расстреляли. В конце нашей улицы другую женщину привязали к колесу машины и жутким образом надругались над ней... Разумеется, мы еле сдерживались, чтобы не воспрепятствовать этому, но просто не могли». Насилие над женщинами и грабеж города продолжались в течение как минимум трех недель, пока не было наведено какое-то подобие порядка. Но даже в последующие дни семья Нобл регулярно слышала о том, как на работниц принадлежавшего им завода совершались нападения, пока они добивались с работы домой.

Вначале Ноблы полагали, что сами они и их завод — в относительной безопасности. Они вывесили на фабричной крыше звездно-полосатый американский флаг и считали, что, будучи американскими гражданами, могут рассчитывать на защиту. Но осенью 1945 года Джона Нобла и его отца арестовали сразу же после возвращения из Западной Германии, куда они отправились

за линзами для объективов фотоаппаратов. Точный повод их ареста неясен, хотя Джон Нобл полагает, что речь идет об элементарной алчности – скорее всего Советам уж очень хотелось прибрать к рукам их предприятие.

Джона с отцом сначала бросили в одну из дрезденских тюрем, причем без предъявления обвинения. Джон был назначен в канцелярию тюрьмы и благодаря этому узнал об обращении с заключенными. Он был потрясен тем, что вместе со взрослыми в тюрьме содержались и дети. «Например, одного 10-летнего мальчишку посадили якобы за попытку взорвать мост, – вспоминает он. – Он так в этом и не признался, не в чем ему было признаваться, и они его пытали. Мы с врачом принесли его в камеру и оказали помощь, насколько это было возможно. Вскоре его снова потащили на допрос, где он снова отрицал свою вину, и его снова подвергли пыткам. В третий раз он уже не выдержал и признался. От него отстали, но из тюрьмы не выпустили. А потом вызвали на допрос и сказали: “Мы узнали, что никаких попыток взорвать мост не предпринималось. А ты лгал представителю советской власти. А раз ты лгал, получишь десять лет. Впоследствии этот мальчик так и умер в тюрьме”».

Как и Гейнц Юрген Шмидтхен, Джон Нобл – также испытал на себе все ужасы голода. «В дрезденской тюрьме я пережил голод – целая тюрьма пережила его. Ночью кто-то позвал из соседней камеры. Я услышал эхо в тюремном зале: “Если Бог на небесах существовал бы, то этого не допустил бы”... И каждый раз, ложась на койку – это был пятый или шестой день [голода], не помню точно, – я молился: “Господи, прикрой мне глаза и не дай раскрыть их снова. Я больше не могу выдерживать этого, но если жизнь моя мне не принадлежит, возьми ее у меня”. И вот тогда все и изменилось».

Он почувствовал прилив духовной силы, Нобл поверил, и это помогло ему выдержать недели голода. И когда его осенью 1948 года перевели в Бухенвальд, тамошние условия практически ничем не отличались от тюрьмы в Дрездене. Все вокруг умирали. И заключенные шли на все ради куска хлеба. «В тех бараках, где люди в буквальном смысле умирали, охранники, проходя мимо лежавших заключенных, касались большого пальца ноги — если теплый, значит, жив, и тогда, стало быть, ему еще положен паек. Поняв это, заключенные шли на хитрость — они разогревали большие пальцы ног уже умерших и, таким образом, получали его паек, который потом делили между собой».

Джону Ноблу повезло — он выжил, хотя свыше 7 тысяч человек погибли в лагере Бухенвальд уже при Советах. И хотя большинство заключенных в Бухенвальде после 1945 года были бывшими нацистскими бонзами, там оказались и бывшие противники нацизма. «Двое в бараках, куда бросили меня и моего отца, уже побывали здесь при нацистах. Причем именно в роли узников, а не охранников. Мы еще их спросили: “В чем разница?” Они ответили, что никакой. Тогда я спросил: “Как это могло произойти? Если вы были заключенным тогда, как вы оказались здесь теперь?” [И они ответили] “Знаете, если ты — противник режима, над тобой всегда висит угроза ареста”».

Когда Советы все же решили закрыть Бухенвальд в 1950 году, заключенных разбросали по другим тюрьмам. А Джона Нобла отправили не куда-нибудь, а в ГУЛАГ — в воркутинские лагеря севернее Урала, где продержали аж до 1955 года, иными словами, он провел в советских лагерях свыше девяти лет. «В конце концов, ты просто тупеешь настолько, что уже никакая несправедливость тебя не проймет, — признается он, имея в виду годы,

проведенные в заключении. — Потому что вся жизнь вокруг — сплошная несправедливость. Не только в лагере — повсюду, куда бы ни пришли русские, там всегда была несправедливость. И чтобы постичь это, необходимо выжить».

К тому времени пока Джон Нобл томился в Бухенвальде, то есть к концу 40-х годов, передел Европы был в целом завершен. Просоветские марионеточные режимы были установлены в Восточной Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии и Болгарии, а более «независимые» коммунистические режимы (хоть и не вышедшие полностью из-под влияния Сталина) пустили корни в Югославии и Албании.

В 1947 году США объявили о «плане Маршалла» — гигантском комплексе мер экономической помощи для восстановления разрушенной войной экономики Европы. «План Маршалла» свел на нет антинемецкие чувства, вдохновляемые «планом Morgентау». Также он положил конец любым доводам в пользу неразделенной Европы. Как только стало ясно, что для извлечения выгоды из «плана Маршалла» все страны были обязаны согласиться с совершенно чуждыми Сталину принципами — такими, как свободная торговля и права человека, — советский лидер потребовал, чтобы все восточноевропейские страны отклонили предложенную американскую помощь<sup>68</sup>. В качестве альтернативы Сталин объявил о создании Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), который хоть и связал страны Восточного блока экономически, но так и не смог предоставить им помощь от Советского Союза в соотносимых с «планом Маршалла» масштабах. В течение месяцев была осуществлена советизация большей части Восточной Европы — последние шаги на пути к коммунизму были явно торопливыми. С созданием военных союзов НАТО

(1949 год) на Западе и Варшавского договора (1955 года) на Востоке были окончательно проведены линии фронта «холодной войны».

Параллельно с этим расколом в Европе происходили без преувеличения тектонические сдвиги в этнографическом аспекте, беспрецедентная в европейской истории миграция населения, в значительной степени обусловленная военными решениями лидеров союзных держав. Сразу же по завершении военных действий два миллиона поляков выехали из Восточной Польши после того, как она вошла в состав СССР. Лишь немногие решились на это добровольно, но большинство по принуждению. Одновременно с этим в общей сложности свыше 11 миллионов немцев были выселены из Восточной Пруссии, Чехословакии, Венгрии и других восточноевропейских государств. Как минимум полмиллиона из них погибли в ходе принудительного переселения. Кроме того, западные союзники согласились передать советским властям всех без исключения советских граждан, которые по тем или иным причинам оказались на их территории — независимо от желания этих людей возвратиться на родину. Два миллиона человек возвратились; многие из них, в особенности те, кто сражался на стороне немцев, сразу же по возвращении в СССР оказались в лагерях.

### **Фарс и трагедия Катыни в Нюрнберге**

Если Сталин однажды изрекал очередную монументальную ложь, он уже никогда не отказывался от нее, чем бы это для него ни оборачивалось. Так, после разгрома Германии Сталин решил возложить вину за расстрелы в Катыни на немцев. На Нюрнбергском процессе над военными преступниками Советы обвинили не-

мецких военных в массовых убийствах польских офицеров, к которым они, разумеется, никакого отношения не имели.

С самого начала западные судебные эксперты с большой настороженностью отнеслись к просьбе Советов включить Катынь в список военных преступлений нацистов. Главный обвинитель от США рекомендовал своему советскому коллеге не делать этого, но Советы наотрез отказались.

Советы использовали отчет комиссии Бурденко в качестве основания для возбуждения уголовного дела и представили суду множество фиктивных свидетелей. Но не все представители советской стороны согласились с обманом. Помощник главного обвинителя от СССР юрист Николай Зоря<sup>69</sup> усомнился относительно правдивости материала, который его попросили представить о Катыни. Ранее он заявил, что стыдился распространять ложь – в 1939 году его понизили в должности после того, как он заявил, что его вынуждали к должностному подлогу. И как следствие, Зоря угодил в «неудобные» с точки зрения советских властей и соответственно был отстранен от ведения Катынского дела. Возмущенный Зоря попросил разрешения съездить в Москву и обсудить свои сомнения с прокурором СССР Горшениным. Ему было отказано, и уже на следующий день, 23 мая 1946 года, он был обнаружен мертвым в своей комнате.

Никто никогда не предпринимал и попыток установить причину смерти Зори. Но один из советских переводчиков в Нюрнберге, Т. С. Ступникова, восприняла его смерть как «назидание нашим юристам – не упорстуй». В этом смысле установление истинной причины его смерти было куда менее важно, нежели ее предполагаемые мотивы – Зоря не желал поступать так, как ему



предписывали сверху. И его жизнь могла оборваться, как размышляет Т. С. Ступникова, как угодно: «Он мог совершить самоубийство, почувствовав, что иного выхода нет, или же ему могли посоветовать совершить самоубийство, пригрозив, что это и есть единственный выход для него, или же его просто устранили бериевские подручные, которых было полно и в Нюрнберге, — обо всем этом можно лишь строить догадки»<sup>70</sup>.

В июле 1946 года Нюрнбергский трибунал формально рассмотрел массовые убийства в Катыни. Обе стороны, советская и немецкая, имели право представить троих свидетелей. Свидетели советской стороны были тщательно подготовлены. Профессор Виктор Прозоровский, ведущий советский судмедэксперт, заявил суду — как и комиссии Бурденко, — что нет сомнений в том, что поляки были расстреляны осенью 1941 года. Доктор Марков, болгарский медицинский эксперт, который первоначально входил в немецкую комиссию в 1943 году, обвинившую Советов в преступлении, теперь полностью изменил свои показания, заявив, что это дело рук немцев, на них и лежит ответственность за катынские злодеяния.

Единственным свидетелем советской стороны, кто оставался в Смоленске в годы немецкой оккупации, был Борис Базилевский, заместитель городского головы Смоленска. Как многие из «свидетелей», дававших показания комиссии Бурденко годом раньше, Базилевский сотрудничал с немецкими оккупантами, и поэтому изо всех сил старался угодить своим нынешним советским хозяевам. Разумеется, он поддержал измышленную Советами версию о виновности немцев в чудовищном преступлении. Он заявил, что «весной 1941 года, в начале лета, они [поляки] работали на ремонте дорог»<sup>71</sup>. Базилевский также утверждал, что осе-

нию того же года попросил, чтобы его непосредственный начальник городской голова Смоленска Меньшагин «умолил» немцев выпустить на волю одного из советских пленных только ради того, чтобы Меньшагин рассказал ему, что узнал от одного немецкого офицера о том, что «русских обрекают на гибель в лагерях, хотя у них были намерения истребить всех поляков». Базилевский также заявил, что Меньшагин добавил: «Вы должны понять это в самом буквальном смысле слова». Две недели спустя он спросил Меньшагина: «А что с польскими военнопленными?» И Меньшагин спокойно ответил: «А их уже нет. С ними покончили». Базилевский, по его словам, сам случайно услышал, как один немецкий офицер сказал Меньшагину: «Поляки — отбросы, мусор, какой с них толк, пусть хотя бы удобряют земли рейха».

Советский обвинитель заявил суду, что Меньшагин — очевидно, самый основной свидетель из всех — не может быть допрошен в Нюрнберге, поскольку сбежал на Запад с немцами, и его нынешнее местонахождение неизвестно. Это, как и все остальное, связанное с Катыню и заявляемое русскими, было ложью. Они прекрасно знали, что Меньшагин арестован и находится в советской тюрьме.

«Меньшагин во время Нюрнбергского процесса, — утверждает Анатолий Яблоков<sup>72</sup>, бывший военный прокурор, расследовавший массовые убийства в Катыни в начале 90-х годов, — с 1946-го по 1951 годы находился в тюрьме НКВД. И затем в течение еще девятнадцати лет он пребывал в тюрьме города Владимира в одиночной камере... а его имя использовалось в качестве доказательства — ложного доказательства». В течение 25 лет Меньшагин отказался подтвердить ложь, которую советские власти распространяли о нем — и соответствен-

но расплачивался за это: «Уже то, что он был заключен в тюрьму на 25 лет — 19 из которых провел в одиночной камере, без права переписки, без права свиданий с родственниками, — это уже пыточные условия содержания... Его стойкость, его [Меньшагина] нежелание [смириться с ложью, публично заявленной в Нюрнберге] вызывали уважение даже у администрации тюрьмы. Представители тюремной администрации подтвердили, что Меньшагин так и не поддался оказываемому на него на допросах давлению. И я испытываю глубокое уважение ко всем тем, кто отказался участвовать в этих фальсификациях».

Несмотря на яростные попытки протолкнуть вымышленную версию катынских событий, Советы так и не смогли доказать виновность немцев в массовых расстрелах поляков. Несоответствия советской версии были очевидны. Базилевский, например, на совесть отрепетировал свои показания, и когда советский обвинитель попытался в ускоренном порядке прогнать его через процедуру дачи показаний под присягой, то получил от суда предупреждение. Еще одним доказательством в пользу ложности показаний Базилевского было то, что Советы на удивление мягко обошлись с бывшим пособником врага, даже не осудив его за сотрудничество с немцами.

Но кульминацией этого юридического фарса стала неспособность Советов доподлинно установить имя, фамилию, звание и должность немецкого офицера, командовавшего подразделением, которому был поручен расстрел польских военнопленных.

Хотя в отчете Бурденко и фигурировал некий «подполковник Арнес», как ответственный за массовые убийства; советское следствие лишь смогло обнаружить немецкого офицера по фамилии Аренс и даже от-

дало его под суд, но и эта жалкая попытка разбилась о доказательства защиты. «Советский обвинитель до сих пор лишь утверждал, что 537-й полк под командованием полковника Аренса и приводил в исполнение казнь поляков, — как заявил доктор Штамер, защитник, на второй день слушания. — Но потом от этого обвинения отказались, и было заявлено, что, если это не был полковник Аренс, в таком случае, это был его предшественник, полковник Беденк; а если и полковник Беденк не совершал ничего подобного, на очереди была и третья версия: злодеяния были делом рук СД»<sup>73</sup>.

В результате этой неразберихи катынские расстрелы просто исчезли из списка преступлений, рассматриваемых Нюрнбергским трибуналом. Приговора по делу так и не было вынесено, как и судебного решения. Выслушали свидетелей, а потом — тишина. Только после того как Михаил Горбачев санкционировал допуск к главным архивным материалам — включая документ, подписанный Сталиным, который и привел к уничтожению поляков, — правда о Катыни наконец стала известна миру. В 90-е годы власти России провели новое расследование, но виновные в нем так и не понесли наказания.

### Участь поляков

Как только война закончилась, 200 тысяч и более поляков, сражавшихся на стороне западных союзников, столкнулись с трудным — почти невозможным — выбором. Возвращаться ли в Польшу, страну с уже измененными национальными границами и находившейся под властью Советского Союза? Или же должны попытаться строить будущее в другом мире?

Сложность выбора усугублялась и тем, что многие из них почувствовали, что больше не нужны англичанам.

И это было не просто ощущением — ни одну польскую часть англичане не допустили до участия в Параде Победы в Лондоне летом 1946 года. Поскольку британское правительство официально признало режим, поддерживаемый Советским Союзом, польские военнослужащие в Великобритании представляли собой нечто непонятное и досадное. В параде позволили участвовать только тем полякам, кто сражался в рядах Королевских ВВС Великобритании, но те отказались из солидарности с их товарищами. «Мы походили на людей, выполнили нелегкую задачу, а после этого мы уже оказались не нужны, — считает Веслав Вольвович, сражавшийся в составе II польского корпуса при Монте-Кассино. — И вот в благодарность за это нас даже не пригласили участвовать в параде — так нас отблагодарили. Я никогда этого не забуду англичанам... Такого не забудешь. Это было просто бесчеловечно с их стороны».

Уинстон Черчилль, теперь лидер оппозиции, заявил в Палате общин 5 июня, всего за три дня до лондонского Парада Победы, что «глубоко» сожалеет, что «ни одна из польских частей, сражавшихся вместе с нами, никто из солдат, проливавших кровь, не удостоились чести маршировать на Параде Победы». Он также косвенно признал провал всех обещаний западных союзников, как это неоднократно обещалось, обеспечить свободу и независимость Польши. Поляки, считал он, отныне попали под «жесткий контроль руководимого и направляемого Советами правительства, которое не смеет провести свободные выборы под наблюдением представителей трех или четырех союзных держав. Участь Польши все более походит на бесконечную трагедию, и мы, кто, будучи неподготовленными, вступил в войну ради ее защиты, с озабоченностью взирают на совершенно непонятный результат всех наших усилий».

Около 15 тысяч человек II польского корпуса, сражавшихся под командованием генерала Андерса, решили после войны возвратиться в Польшу. Для подавляющего же большинства, как выразился сам Андерс, «впереди была лишь жизнь в изгнании»<sup>74</sup>.

Збигнев Волак<sup>75</sup>, один из солдат армии Андерса, также столкнулся с нелегким выбором возвращаться на родину или нет. Он сражался в рядах Армии Крайовой в Варшаве и попал в немецкий плен. После освобождения из лагеря военнопленных наступавшими британскими войсками он без промедления вступил в польские части, сражавшиеся в Италии. В результате Збигнев Волак после войны как офицер британских вооруженных сил оказался в Англии. Именно здесь случилось то, что изменило его жизнь: «Я был в увольнении, в форме шел вместе с моей девушкой-англичанкой по улице в Честере. Вдруг из подъехавшего автомобиля-малолитражки выходит незнакомый мне англичанин в твидовом пиджаке от Харриса, подходит ко мне и спрашивает: “Лейтенант, могу я задать вам один вопрос?” Я ответил: “Да”. Он, ткнув пальцем в мой польский значок, спрашивает: “Сколько еще вы, поляки, будете жрать наш хлеб в Англии? Вы что, не слышали, что война кончилась?” И первой моей мыслью было спросить у него: “А вы бы задали этот вопрос полякам, которые прибыли сюда в 1940 году драться с немцами за вас?” Этот случай послужил для меня уроком – никакой дружбы между народами нет и быть не может... Вас призывают помочь только тогда, когда вы должны вызволить их из беды. Англичане дошли до ручки в этой войне. Средний англичанин в Чeshire – он ничего не понимал... Они все желали, чтобы мы убирались к дьяволу... Тогда я всерьез разозлился [на англичан]... В тот период нас всех переполняли романтические чувства... Теперь я понимаю, что нельзя быть злопамятным...

[теперь], я понимаю, что у люди повсюду сталкиваются с подобными проблемами, и ни на кого нельзя рассчитывать. Даже на своих соотечественников. Люди всегда остаются один на один со своими проблемами – все именно так и есть».

Эта встреча с англичанином из малолитражки в Честере послужила катализатором – Збигнев Волак решил уехать из Великобритании. Друзья предостерегали его от возвращения в Польшу, но он пропустил их советы мимо ушей. «Я ответил им: я один, у меня никого нет – ни родителей, ни своей семьи. Как бы там ни было – я возвращаюсь, пусть даже с риском загреметь в советские лагеря. Я хочу быть в Польше и разделить судьбу своего поколения».

И Збигнев вернулся в Польшу в форме армии Андерса. Его тут же, буквально в первые сутки после прибытия схватили и бросили в тюрьму. Збигнев Волак должен был представить подробнейшую автобиографию – список самых важных событий и дат – причем он вынужден был писать ее снова и снова, поскольку следователь стремился подловить его на отличиях. «Они мне так и сказали: здесь в Польше вы никому не нужны. Такие люди нам здесь не нужны». После освобождения ему не надо было объяснять, что его ждет судьба чернорабочего, а на учебе, о которой мечтал, придется поставить крест. Лишь много лет спустя, побывав на множестве низкоквалифицированных работ, Збигнев наконец смог получить возможность поступить в университет. Но он никогда не чувствовал себя в безопасности в коммунистической Польше: «Это чувство изолированности, чувство, что за тобой постоянно следят, всю жизнь не покидало меня».

Хотя часть возвратившихся на родину поляков, сражавшихся в рядах британских вооруженных сил и были

осуждены на различные по длительности сроки заключения или подвергались преследованиям, большинство все же смогли получить работу, хоть и самую тяжелую, и выжить. Но — как и все остальные поляки — они не были свободными гражданами свободной страны, о которой они мечтали, Польши, которую пообещал им Черчилль.

### Благодарность Сталина

Как только война была победоносно завершена, Сталин оказался перед весьма серьезным выбором: как Советский Союз будет дальше функционировать в роли государства и как ему действовать в роли вождя. Как отблагодарить тех, кто помог ему выиграть войну? Как поступить со своими возвратившимися на родину соотечественниками, на собственном опыте познавшими, что такое капиталистический мир? Может быть, избрать тот путь, на который так рассчитывал Запад, и каким-то образом все же «модерировать» наиболее зловещие черты режима?

Отнюдь. Так поступать он явно не собирался. Первые послевоенные годы лишь усугубили параноидальную подозрительность Сталина. Любой побывавший на Западе представлял собой опасность. Возвращающиеся из немецкого плена советские солдаты, пережившие ужасы неволи, были одними из первых, чьи страдания не закончились с возвращением домой. Во время войны Сталин озвучил идею о том, что, дескать, «нет никаких советских военнопленных — есть только предатели»; и, в полном соответствии с этой бесчеловечной догмой, захваченные в плен немцами солдаты Красной Армии, после освобождения из плена, немедленно попадали в фильтрационные лагеря НКВД, а после допросов примерно половина из них отправилась в ГУЛАГ.



Сразу же после войны даже советским женщинам — женам военнослужащих союзных войск отказали в разрешении на выезд из СССР, нет необходимости описывать, как это было воспринято ими. Хью Лунги, офицер британской военной миссии в Москве влюбился в молодую русскую женщину по имени Дина, хотел жениться на ней и увезти ее в Великобританию. Но когда он обратился к советским властям за соответствующим разрешением, ответом было «молчание и ничего больше. Это была их обычная практика: ты обращаешься, в ответ молчание, ты вновь обращаешься с тем же вопросом — в ответ гробовое молчание, потом ответ: “Да-да, мы занимаемся этим вопросом”, а потом опять молчание, и так до конца».

Дина уже пострадала из-за своих отношений с Лунги. Она призналась своему возлюбленному в том, что с самого начала их знакомства НКВД велел ей шпионить за ним — и это каким-то немыслимым образом успокоило молодого офицера — в конце концов, ему было нечего скрывать от советских властей. Но «они были очень разочарованы, вероятно, из-за того, что девушка снабжала их не теми сведениями», в результате ее дважды за войну, правда ненадолго, заключали в тюрьму. Но как только война кончилась, ею занялись вплотную, и в 1947 году Дину отправили в трудовой лагерь. Лунги встретился с ней сразу же после освобождения, девушка была страшно напугана, и он пришел в ужас от того, что увидел ее «окончательно сломленной... буквально раздавленной тем, что ей выпало перенести».

После этого Лунги возненавидел советский режим и его «демагогию». «Советские средства массовой информации оперировали понятиями вроде “самая свободная в мире страна”, “самая демократическая в мире Сталинская конституция...” И тут же непременно следова-

ла хлѣсткая фразеология: дескать, эти «буржуазные свободы» [на Западе] не одно и то же, что наши – советские, социалистические свободы – именно они есть настоящие свободы».

Все эти беды и цинизм режима способствовали укреплению ненависти Лунги к нему, хотя простые люди относились к нему «со всей сердечностью и дружелюбием»; по мнению Лунги, советский режим, по сути, мало чем отличался от нацистского. Но Лунги признавал факт, что «без Советов-союзников нам никогда бы не одолеть нацизм. Война затянулась бы неизвестно на сколько, и нельзя было исключать и вторжения Гитлера в Соединенное Королевство, не будь русские нашими союзниками...» И все же «вышло так, что нам выпало сражаться против немцев плечом к плечу с тем, кто на самом деле был еще хуже Гитлера – да-да, мы действительно считали, что Сталин был хуже Гитлера, если вообще возможно быть хуже Гитлера. То есть, я хочу сказать, что один дьявол был еще чернее другого».

Сталин с подозрением относился не только к иностранцам, но и к своим соотечественникам – представителям советского генералитета. В частности, он всеми силами старался отодвинуть своих генералов в тень, хотя именно им был обязан победой Красной Армии в войне. Начиная с Тегеранской конференции, куда он прибыл в военной форме, он пытался выдать себя за гениального стратега, который едва ли не в одиночку выиграл войну. Этот спектакль достиг кульминации полтора года спустя в Потсдаме, когда Сталин появился в поверженной Германии в великолепном белоснежном мундире с погонами Генералиссимуса Советского Союза. Но и он сам, и его ближайшее окружение прекрасно понимали, что к чему. Мало того что его «военный гений» отнюдь не способствовал победам: лишь после то-

го, как он все же, умерив пыл, перестал вмешиваться в выработку тактических решений, предоставив ее своим генералам, Красная Армия твердо и неуклонно стала продвигаться к победе над свирепым врагом.

Незадолго до Парада Победы в Москве на Красной площади, состоявшегося 24 июня 1945 года, ходили упорные слухи о том, что Сталин довершит создание имиджа великого стратега и полководца тем, что будет принимать парад и объедет вытянувшиеся во фронт войска армии-победительницы верхом на боевом коне. Но, упав с лошади на землю во время одной из репетиций парада, он решил отказаться от этой идеи. В результате в центре внимания оказался маршал Жуков — именно он гарцевал на белом коне на Красной площади перед солдатами и офицерами Красной Армии. «Парад Победы стал событием огромного значения в Советском Союзе, — вспоминает Светлана Казакова<sup>76</sup>, в тот период специалист по связи в штабе Жукова, лично знавшая Жукова. — Я до сих пор вижу его. Был летний день — с утра зарядил дождь, и Красная площадь была украшена красными знаменами. Все участники парада надели медали, и, казалось, сияние боевых наград освещает всю площадь. Стрелки часов Спасской башни Кремля приблизились к десяти, все стояли по стойке “смирно”, а затем раздался звон курантов, и в этот момент Георгий Жуков, трижды Герой Советского Союза, на белом коне въехал на площадь. Он так изящно держался в седле, будто младший лейтенант». Оказавшись в положении наблюдателя, неудивительно, что Сталин был снедаем завистью к Жукову. И не только завистью, но и растущей тревогой. Сталин вполне сознавал, какой огромный авторитет снискал в армии Жуков. Знал он и то, что Наполеон в свое время воспользовался своими победами на поле брани для узурпации Французской революции и захвата власти.

Так что Жукову предстояло расплатиться за свою популярность. Час расплаты пробил после ареста в начале 1946 года Александра Новикова, командующего советскими ВВС. НКВД выбили из него «признание» в том, что он позволил «втянуть себя в паутину преступлений», связанных с отправкой в Советский Союз имущества и товаров, которые впоследствии были присвоены и использовались в корыстных целях»<sup>77</sup>. Это было воистину смехотворное обвинение, ибо в подобных «преступлениях» можно было обвинить практически кого угодно, от рядового до маршала Красной Армии. Но в этом случае Сталину позарез требовался компромат на Жукова. И Новиков тут же сознался в «участии в опасных с политической точки зрения беседах с Жуковым». «Прежде всего, — показал он на допросе, — я должен сказать, что Жуков — властолюбивый и самовлюбленный человек; человек, обожающий почести, требующий беспрекословного подчинения и совершенно нетерпимый к любой критике». Кроме того, заявил Новиков: «Жуков всячески старается преувеличить свою роль главнокомандующего в войне, хвалебно заявляя, что планы всех решивших исход войны военных операций были разработаны им лично».

Несмотря на все уловки НКВД, Новиков так и не мог указать ни на какие конкретные примеры, которые свидетельствовали бы о том, что Жуков готовит заговор против Сталина. Но в результате данных под принуждением признательных показаний Жуков предстал в образе человека, одержимого жадной поклонения, эгоцентричного и совершенно нетерпимого к промахам других (такое описание вполне подошло бы и ко многим из самых известных и прославленных командующих войсками западных союзников). Этого с лихвой хватало для отправки Жукова напрямик в ГУЛАГ — только этого не

произошло, что, в целом, довольно любопытно. Поначалу «избиение» Жукова шло в полном соответствии с укоренившейся сталинской практикой. На совещании в Кремле 1 июня 1946 года, после зачитывания «признательных показаний» Новикова, Молотов и Маленков сочли Жукова «виновным».

«Бывший командующий Военно-воздушными силами Новиков направил недавно в правительство заявление на маршала Жукова, в котором сообщал о фактах недостойного и вредного поведения со стороны маршала Жукова по отношению к правительству и Верховному главнокомандованию.

Высший военный совет на своем заседании 1 июня с. г. рассмотрел указанное заявление Новикова и установил, что маршал Жуков, несмотря на созданное ему правительством и Верховным главнокомандованием высокое положение, считал себя обиженным, выражал недовольство решениями правительства и враждебно отзывался о нем среди подчиненных лиц.

Маршал Жуков, утерев всякую скромность и будучи увлечен чувством личной амбиции, считал, что его заслуги недостаточно оценены, приписывая при этом себе, в разговорах с подчиненными, разработку и проведение всех основных операций Великой Отечественной войны, включая и те операции, к которым он не имел никакого отношения.

Более того, маршал Жуков, будучи сам озлоблен, пытался группировать вокруг себя недовольных, провалившихся и отстраненных от работы начальников и брал их под свою защиту, противопоставляя себя тем самым правительству и Верховному главнокомандованию.

Будучи назначен главнокомандующим сухопутными войсками, маршал Жуков продолжал высказывать свое несогласие с решениями правительства в кругу близких

ему людей, а некоторые мероприятия правительства, направленные на укрепление боеспособности сухопутных войск, расценивал не с точки зрения интересов обороны Родины, а как мероприятия, направленные на ущемление его, Жукова, личности...»

Берия добавил, что: «Проблема Жукова состоит в том, что он — человек неблагодарный, — ведь не кому-нибудь, а именно товарищу Сталину он обязан всем. Он не уважает ни Политбюро, ни товарища Сталина, и его следует поставить на место»<sup>78</sup>. Слово взял до сих пор вполне предсказуемый маршал Конев, главный соперник Жукова, особенно в последние месяцы войны. Он мог многое извлечь из отставки Жукова, но, хоть и заявил, что Жуков был «очень тяжелым человеком», все же «категорически отрицал... неуважение к Центральному Комитету. “Я считаю Жукова человеком, преданным стране, правительству и лично товарищу Сталину”». Конева поддержал маршал танковых войск Павел Рыбалко, выдающийся полководец: «Неверно, что Жуков — заговорщик. У него есть свои ошибки, как и у всех, но он — патриот, и доказал это во время Великой Отечественной войны». Знаменательно то, что Рыбалко также заявил о том, что считает, что «пришло время прекратить верить в правдивость доказательств, выбитых из обвиняемых».

Смелый акт поддержки этих двух маршалов — перед мужеством этих людей можно лишь преклоняться: шутка сказать — оба поставили под сомнение непогрешимость НКВД — означал, что Жуков мог выступить единым фронтом со своими военными коллегами против Сталина. Жуков заявил советскому вождю, что «подобные обвинения безосновательны. С тех пор как я вступил в партию, я беззаветно служил ей и Родине. Я никогда не был связан ни с какими заговорами». Кроме

того, продолжил Жуков, он уверен, что обвинение против него — «ложь», и выдвинуто «под пыткой».

Надо сказать, в конце заседания Сталин принял взвешенное решение — Жукова на Лубянку не отправлять, а «удалить его из Москвы на некоторое время». Он был снят с должности главнокомандующего Группой советских войск в Германии и главноначальствующего Советской администрации в Германии и назначен командующим Одесским военным округом, то есть по долгу службы ему пришлось оказаться довольно далеко от советской столицы. «Сталин решил убрать его по-дальше, это было нечто вроде ссылки, и для Георгия Константиновича начались долгие безрадостные дни, — вспоминает Светлана Казакова, которая вместе с мужем поддерживала контакты с Жуковым в годы изгнания. — Некоторые, это были подхалимы, тут же перестали звонить ему, но даже и порядочные люди боялись позвонить ему, потому что знали, что тайная полиция прослушивала телефонные звонки. Говорить можно было только вне стен дома... Мы были очень опечалены судьбой Жукова, но мы хранили молчание. Что могли изменить наши чувства... Эта система ужасна, так с людьми обращаться нельзя, это вопиющая несправедливость, причем только во вред стране. Она потеряла человека, который был способен удержать армию в руках...»

Но для самого Жукова все обстояло куда хуже. Сталин доказал в ходе чисток 30-х годов, что способен устранить самых видных военачальников, убить их или замучить в лагерях. И в связи с этим возникает вопрос — почему Жукова не постигла их участь? Вопрос на него может быть лишь один — Сталин все же сохранил былое уважение, возможно, даже испытывал к нему благодарность за его роль в войне, и почувствовал, что авторитет

Жукова ему не подорвать. Но это, разумеется, лишь предположение, причем несколько идеализированное.

Одной из ключевых причин такого поведения Сталина была его органическая неспособность к проявлению чисто человеческих чувств к людям, его окружавшим. В отличие от Гитлера, например, глубокое уважение к «старым Борцам», таким, как Герман Геринг, с которым был связан с первых лет нацистского движения, Сталин рассматривал всех своих старых товарищей по партии как потенциальных врагов и соперников. Какое-то время, даже очень долгое время, они были ему полезны — и осознание того, что ему без них не обойтись, перевешивало якобы исходившую от них угрозу. Но это уравнение всегда оставалось непостоянным, и в любую минуту все могло кардинально измениться.

Таким образом, причины столь мягкого решения Сталина в отношении Жукова почти наверняка следует искать в том, что он понял, что никакой серьезной угрозы на самом деле маршал не представляет, так что пока можно обойтись без пыток и расстрелов. И поскольку у Жукова было достаточно много преданных ему людей в Красной Армии, свидетельством чего и послужила солидарность советских маршалов, Сталин пришел к заключению, что спокойнее будет расправиться с Жуковым постепенно. Первой стадией стало его удаление из Германии и ссылка в советскую провинцию. А вот следующая стадия зависела от обстоятельств, которые сложатся в будущем. Это могли быть как суд над ним и смертная казнь, так и полная реабилитация. В конце концов, Жуков еще мог понадобиться в будущем — к примеру, на случай внезапной войны, когда потребовались бы его таланты полководца. И, взвесив все за и против, Сталин с холодной головой решил отправить Жукова не на Лубянку, а в Одессу.



Разделавшись с тем, кто больше других способствовал победе Красной Армии в войне, Сталин взялся за другого и самого видного представителя своего ближайшего окружения, Вячеслава Михайловича Молотова, начав атаку на его жену, Полину Семеновну Жемчужину. На протяжении длительного времени Сталин относился к ней долго с подозрением — она была еврейкой и располагала родственными связями за границей: ее сестра проживала в Палестине, а брат — в Америке. В декабре 1948 года Сталин начал кампанию травли против нее, заведомо зная, как это подействует на ее мужа. Хотя советский министр иностранных дел по причине всегдашней холодности и несговорчивости удостоился у своих британских коллег прозвища «Господин Нет», причем в него вкладывался явно отрицательный, если не оскорбительный оттенок, Молотов очень любил свою жену, и все нападки на нее воспринимал как выпад против себя.

На основе «расследования» НКВД в декабре 1948 года Политбюро вынесло решение об исключении Жемчужиной из рядов ВКП(б). Это означало первый шаг на пути в ГУЛАГ. Политбюро решило что: «Первое. Проверкой Комиссии партийного контроля установлено, что Жемчужина в течение длительного времени поддерживала близкие отношения с еврейскими националистами, не заслуживающими политического доверия и подозреваемыми в шпионаже; участвовала в похоронах руководителя еврейских националистов Михоэлса и своим разговором об обстоятельствах его смерти дала повод враждебным лицам к распространению антисоветских провокационных слухов о смерти Михоэлса; участвовала в религиозном обряде в Московской синагоге. Второе. Несмотря на сделанные Жемчужиной в 1939 году Центральным Комитетом ВКП (б) преду-

преждения по поводу проявленной ею неразборчивости в своих отношениях с лицами, не заслуживающими политического доверия, она нарушила это решение партии и в дальнейшем продолжала вести себя политически недостойно. В связи с изложенным — исключить Жемчужину из членов ВКП (б)»<sup>80</sup>.

Резолюция была подписана всеми присутствовавшими членами Политбюро за исключением одного человека. Молотов не мог заставить себя осудить собственную жену и поэтому воздержался. Но последующие недели он мучительно обдумывал свой шаг. Разве мог он после стольких лет верного служения Сталину решиться на открытое противостояние с ним, пусть даже из-за горячо любимой им женщины? В конечном итоге он решил, что не мог, и в январе 1949 года Молотов пишет Сталину письмо:

«20 января 1949 года. Совершенно секретно. Тов. Сталину.

При голосовании в ЦК предложения об исключении из партии П. С. Жемчужиной я воздержался, что признаю политически неверным. Заявляю, что, продумав этот вопрос, я голосую за это решение ЦК, которое отвечает интересам партии и государства и учит правильному пониманию коммунистической партийности. Кроме того, я признаю свою тяжелую вину, что вовремя не удержал близкого мне человека от ложных шагов и связей с антисоветскими националистами вроде Михоэлса. Молотов»<sup>81</sup>.

Можно только вообразить чувства Сталина при прочтении этого раболепного извинения от человека, который теперь понял, что, поддерживая свою жену, подверг себя смертельной опасности. Скорее всего Сталин воспринял содержание и дух покаяния Молотова как подтверждение своим собственным взглядам на людскую

природу. Столкнувшись с угрозой для себя лично, едва нашелся бы тот, кто способен пожертвовать жизнью ради идеи. И вновь Сталин убеждался в людской ничтожности. Полина Жемчужина была арестована в январе 1949 года и отправлена в ссылку. Освободили ее лишь после смерти Сталина.

Стремление Сталина подавить потенциальную оппозицию в любом ее виде — и в особенности тех, кто на практике продемонстрировал незаурядные лидерские качества и способность к принятию самостоятельных решений в годы войны, — вылилось в организацию так называемого «Ленинградского дела». Блокада Ленинграда немецкими войсками продлилась с сентября 1941 по январь 1944 года, став одним из самых страшных событий войны, стоивших советскому народу огромных жертв. Свыше миллиона советских людей погибло от голода, множество из них стали жертвами людоедства. обороной Ленинграда руководил А. А. Жданов, секретарь городской и областной парторганизаций. И Сталин с нескрываемым подозрением относился к инициативам, проявляемым им и его коллегами в период блокады. «Очень странно, что товарищ Жданов не считает необходимым связаться с нами в Москве в это трудное время, — писал он Ленинградским официальным представителям партии во время войны. — Мы можем предположить, что Ленинград вместе с товарищем Ждановым находится не в СССР, а на каком-нибудь острове в Тихом океане»<sup>82</sup>.

Несмотря на нападки Сталина на ленинградское руководство и страшные потери, город выдержал фашистскую блокаду, став для всех примером мужества и негибкости советских людей. Но те, кто перенес блокаду, изменились. «Мне кажется, я поняла, — вспоминает Юлия Каганович<sup>83</sup>, в то время молодая женщи-

на, — что моя жизнь до победы, во время блокады в некоторой степени была жизнью человека свободного. Мне никто не указывал, как поступать. Вы были востребованы, и вы понимали, что делать. Некий кулак, который постоянно давил меня и заставлял поступать не так, как я считала нужным, исчез. Возникло ощущение свободы, которую я оценила по достоинству лишь много позже».

«В целом, — считает Валерий Кузнецов<sup>84</sup>, сын 2-го секретаря Ленинградского горкома партии, — война очень многих избавила от каких-либо иллюзий. Точнее, лишила их веры в непогрешимость центрального руководства. Пример Ленинграда уникален. Он стал своего рода островком, где люди сами решали, как поступить».

Разумеется, все это было неприемлемым для Сталина. И его первым шагом в решении этой «проблемы» стал перевод обоих прежних руководителей Ленинграда в Кремль, где они были лишены возможности принятия независимых решений. Жданова, который во время блокады передал полномочия своему заместителю, после того как понял, что в одиночку ему не справиться, весной 1948 года направили в санаторий. Его пьянство, дошедшее до весьма серьезной стадии, усугублялось. И невзирая на рвение, с которым Жданов организовал травлю писателей, поэтов и вообще людей искусства, по его мнению, не соответствовавших коммунистическому «идеалу», Сталин тем не менее с подозрением относился к нему. После месяца, проведенного в санатории, Жданов скончался.

Но если смерть Жданова до сих остается просто «таинственной», нет сомнения в том, что именно Сталин инициировал последовавшую вскоре кампанию репрессий, жертвами которых стали несколько сотен человек, представителей руководства блокадного Ленинграда, и

в частности Алексей Кузнецов. Ему были предъявлены сфабрикованные обвинения якобы в том, что Ленинградский комитет партии присваивал деньги для обеспечения себе автономии от Москвы — но в действительности это была, разумеется, чисто сталинская паранойя, она и послужила причиной арестов. «Я сказал своей жене: это — безумие, — вспоминает Михаил Таиров<sup>85</sup>, в тот период депутат Ленинградского горсовета. — Это же бессмысленно. В чем виновны мы — те, кто пережил блокаду? И на следующий день они арестовали и меня».

Валерий Кузнецов запомнил день, когда пришли арестовать его отца. «Он встал, оделся, и помню, как он сказал: “Дождитесь меня. Я к ужину вернусь. Не ужинайте без меня...” Он прошел через ближние ворота Кремля. Потом повернулся и помахал нам. Мы все стояли у окна. Тогда я в последний раз видел отца».

Кузнецов вместе с другими видными руководителями парторганизации Ленинграда были подвергнуты пыткам, в результате которых у них было вырвано признание, а после этого расстреляны. Кроме того, как минимум две тысячи представителей руководства города были сняты с должностей. Сталин не забыл этот «островок» самостоятельности в Советском Союзе военных лет. Для Сталина любое проявление инициативы, любой намек на самостоятельность был равнозначен независимости. А независимость уже была равнозначна предательству.

## Смерть Сталина

1 марта 1953 года Сталин потерял сознание после очередного застолья со своим ближайшим окружением на даче, а через четыре дня умер. Для многих из его самых

близких «соратников» — Хрущева, Берии, Молотова — его смерть была как нельзя кстати. Сталин планировал дальнейшие репрессии, и направлены они были против главных фигур, остававшихся рядом с ним в годы войны.

Сталин оставил в наследство Восточную Европу под властью Советского Союза. Польша, в частности, была, конечно же, «дружественной» по отношению к Советскому Союзу, как и предполагал Сталин. Природа пресловутой «дружественности» подтвердилась и визитом польского руководителя Болеслава Берута в Москву в 1950 году. Берут поинтересовался у Сталина о судьбе многих польских коммунистических лидеров, отправившихся в 30-х годах в Советский Союз, после чего бесследно исчезнувших. Сталин, повернувшись к Берии, спросил: «Где они? Я ведь сказал вам отыскать их. Почему вы их не отыскиали?» Потом, когда Берут вышел из кабинета Сталина, Берия обратился к главе новой Польши: «Чего вы донимаете своими вопросами Иосифа Виссарионовича [Сталина]? Мой совет вам — оставьте его в покое, иначе пожалеете»<sup>86</sup>. Какими бы жестокими ни могли показаться слова Берии, они — самое наглядное напоминание об угрозе, которую нес с собой сталинизм.

После смерти Сталина режим смягчился — массовые репрессии отошли в прошлое — но только массовые. С упразднением системы ГУЛАГа многие сотни и тысячи его узников вернулись домой, однако главные гражданские свободы — слова и совести — так и не соблюдались в Советском Союзе. Преследование тех, кто был выслан или брошен в лагеря при Сталине, нередко продолжалось вплоть до крушения коммунистической системы, и виновные в этом не понесли наказания, напротив, к ним продолжали благоволить. «Те, кто служил охранниками, те, кто организовывал и проводил массовые депортации, кто участвовал во всех преступлениях ста-

линского периода, все они впоследствии прекрасно устроились, — считает Нина Андреева, в 1940 году высланная из Восточной Польши в Казахстан. — Они получили номенклатурные посты, все виды привилегий, абсолютно все. А один из охранников [перевозивших их семью в Казахстан] и вовсе живет поблизости от нас [в бывшей Восточной Польше — ныне часть Западной Украины]. И мы в магазине часто с ним встречаемся. Он меня хорошо помнит. Как-то подошел ко мне, поздоровался и спросил: “А как ваш брат?” А брат Нины Андреевой, о чем она узнала лишь в 1990 году, погиб от рук сотрудников НКВД во время войны. “Возможно, он где-нибудь за границей? Наверное, до сих пор антисоветски настроен?” Вот такие дела у нас творятся... Нас поделили на чистых и нечистых. Мы — нечистые, а они — чистые. И ничего, ничего с этим не поделаешь — у них в руках власть... И [только] когда распался Советский Союз, он [охранник] стал поглядывать на меня по-другому, уважительно. И как-то спросил меня: “Нина, я прошу вас забыть о том, что было. Разве я в чем-то виноват? Я просто исполнял приказ”».

Но независимо от того, простила ли Нина или же нет того, кто во время депортации конвоировал ее вместе с сотнями и тысячами других жителей Восточной Польши, никакого наказания этот человек не понес.

Даже сегодня любой, кто придет на Красную площадь, имеет возможность лицезреть у Кремлевской стены памятник тому, кто, будучи самым главным виновником творимых преступлений, должен понести самое суровое наказание, пусть даже посмертно, и тем не менее так и не понес его — Иосиф Сталин. Как и многие тираны до него — и, вне всякого сомнения, как многие тираны после него — он избежал справедливого суда.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Могли ли лидеры Запада предотвратить советское господство в странах Восточной Европы, поступи они по-другому в период союзнических отношений со Сталиным? Иными словами, вполне уместно сформировать вопрос и по-другому: а вправе ли мы обвинять других в тех бедах, в которых виновны и мы, представители Запада?

Если оперировать чисто практическими категориями, единственным способом предотвратить овладение Красной Армией странами Восточной Европы было просто-напросто опередить ее. Это, в свою очередь, означало бы либо перенос даты открытия второго фронта и Дня «Д» как минимум на год, то есть на 1943 год, либо вступить в союз с немцами к концу войны — разумеется, при условии физического устранения Гитлера и всей нацистской верхушки.

Второй из этих двух вариантов изначально невозможен — даже при условии, что в то время среди союзников были и такие — и немало, — кто всерьез рассматривал возможность устранения советской угрозы путем привлечения на свою сторону германских войск. Джордж Эрл, бывший губернатор Пенсильвании, уже знакомый читателю этой книги по протестам, высказанным Рузвельту по вопросу о Катыни, даже встречался с бароном Куртом фон Лерснером, близким другом Франца фон Папена, бывшего канцлера Германии, для



обсуждения такой возможности<sup>1</sup>. Лерснер инкогнито встречался с Эрлом в Стамбуле в 1943 году, где предложил — от имени надежной группы заговорщиков, — чтобы западные союзники приняли так называемую «условную» капитуляцию от немцев. Идея состояла в том, что часть немецкого генералитета, предварительно уведомленного о поддержке западных союзников, устранит Гитлера и других видных представителей нацистского руководства, после чего вермахт присоединяется к силам западных союзников с целью не допустить Советы в Центральную Европу и Германию. Эрл в письменном виде ознакомил с этим предложением президента Рузвельта.

Это был бы пагубный путь. Возможно, натиск Красной Армии и удалось бы сдержать ценой колоссальных жертв со стороны союзников. Более того, Европа, возникшая бы в результате подобной политики, после войны была бы куда менее стабильной, чем при нынешнем раскладе сил и развитии событий. Дело в том, что даже после Сталинграда немецкая армия представляла собой внушавшую страх военную машину. Ведь если бы западные союзники сражались вместе с немцами, а затем все же добились заключения весьма ненадежного мира с Советами, которые, разумеется, считали бы себя преданными Западом и были готовы на вооруженный конфликт с ними, — кто в таком случае разоружал бы немецкие войска? Германия не была бы оккупирована западными союзниками и оставалась бы все еще сильной. Но, к счастью, Рузвельт отправил план Эрла в мусорную корзину.

Идея же открытия второго фронта в 1943 году кажется куда менее вздорной. И на самом деле, проблемы, связанные с ним, оказались настолько сложны, что один историк написал целый труд на эту тему<sup>2</sup>. Понят-

но, что если бы Черчилль с упорством, достойным лучшего применения, не пытался бы пропихнуть свою идею удара в «мягкое подбрюшье Европы» — а мы убедились, насколько бессмысленной затеей обернулась высадка сил союзников на юге Италии, — тогда, вероятно, стало бы возможно начать вторжение через Ла-Манш в 1943 году. В этом случае союзным войскам скорее всего удалось бы проникнуть к концу войны куда дальше на Восток Европы. Таким образом, влияние Советов было бы существенно меньше. Проблема в том, что в таком случае союзники были бы вынуждены пойти на куда большие жертвы.

То, о чем иногда забывают на Западе, — это огромный разрыв потерь, понесенных западными союзниками в сравнении с Советским Союзом. Американцы и англичане потеряли по отдельности около 400 тысяч человек убитыми, в то время как число погибших в ходе войны в Советском Союзе зашкаливает за 27 миллионов. Сталин всегда считал, что Великобритания и Америка умышленно затягивали открытие второго фронта, чтобы Советский Союз продолжал нести основную тяжесть войны на своих плечах — все ж лучше, если гибли русские, а не англичане, американцы и другие. Но нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах ни Черчилль, ни Рузвельт не заикались об этом ни в шутку, ни всерьез. Однако это отнюдь не означает, что на чисто интуитивном уровне эти весьма неглупые политические деятели Запада не понимали того, что в самых ожесточенных сражениях с немцами гибли красноармейцы, а не их ребята. Да, да, все это знали и понимали, но вовсе не обязательно было орать об этом на каждом углу — к тому же и Черчиллю, и Рузвельту приходилось думать о голосах выборщиков, дабы остаться у власти. А обрекая народ на невыносимые жертвы,

много голосов не получишь. Были ли Черчилль и Рузвельт действительно готовы пожертвовать миллионом больше человеческих жизней ради того, чтобы гарантировать независимость стран Восточной Европы от коммунизма после войны?

И хотя не может быть никаких сомнений в том, что американцы действительно были целиком за открытие второго фронта в 1943 году (хотя нам никогда не узнать, воплотились бы эти благие намерения на практике или же нет, даже в случае согласия англичан), Рузвельт всеми силами старался втянуть Советы в войну с Японией ради уменьшения числа потенциальных потерь американцев и приближения сроков окончания мировой войны. Рузвельт мастерски владел наукой оценки американского общественного мнения — а в 1944 году ему предстояли выборы, борьба за сохранение президентского кресла. Исходя из этого, никак нельзя было отрицать, что стремление во что бы то ни стало уменьшить число погибших американских солдат и офицеров как на Европейском, так и на Тихоокеанском театрах военных действий, не являлось для него приоритетным.

Что касается Черчилля, тот был настроен против второго фронта почти до самого Дня «Д». Он смертельно боялся второго Дюнкерка и, как следствие, разгромил сил британцев. Но его неприятие опиралось на простейшее сравнение политической выгоды и цены, которую за эту выгоду придется заплатить. Если бы в 1943 году вопрос о выживании британской нации встал бы со всей остротой, он бы ратовал за его скорейшее и безотлагательное открытие. Однако на тот момент, то есть на 1943 год, когда Советы успешно громили врага и гнали его на Запад, подобной необходимости для Великобритании не возникало.

Но даже учитывая, что открытие второго фронта было отложено до 1944 года, оставался ряд моментов, когда Рузвельт и Черчилль играли каждый за себя. Неприятные взаимные обвинения после Ялты до известной степени воплощали ответственность западных союзников. Да, конечно, Сталин не выполнял своих обещаний. Но он почти наверняка и не думал, что кто-нибудь потребует от него их выполнения. И Рузвельт, и Черчилль каждый по-своему — президент своими «беседками» с глазу на глаз в Тегеране, премьер-министр — обсуждением «дивидендов» — дали понять, что не склонны спорить до хрипоты относительно «сфер влияния». Сталин, судя по всему, воспринял содержание и итоги тех встреч как реальность, а все публичные высказывания и заявления Черчилля и Рузвельта — как обычную предвыборную риторику, цель которой — умиротворить избирателя.

И затем никак нельзя было сбрасывать со счетов еще одну громадную для западных политиков проблему: воздействие массивной, просоветской пропагандистской кампании в Великобритании и США. Попытка представить НКВД как полицию, «ну совсем как ФБР», например, в немалой степени дезориентировала общественность, затрудняла понимание происходящего уже в послевоенные годы, когда отношения с Советским Союзом затрещали по всем швам. И то, что Джорджу Оруэллу до самого конца войны так и не удалось опубликовать блестящую сатиру на Советское государство «Скотный двор», лишний раз доказывает, насколько пагубно сказалась на культуре лживая пропаганда. Один из издателей, кто вначале принял было книгу, однако вскоре отказался ее издавать (после того как офицер из британского министерства информации порекомендовал ему воздержаться от пуб-

ликации). Издатель тогда написал Оруэллу следующее: «Если бы эта история была адресована диктаторам вообще и диктатурам в целом, то публикация была бы оправданна, но она, как я понимаю, настолько правдиво отражает становление именно Советской России и возвышение ее диктаторов [Ленина и Сталина], что спутать невозможно... И еще: публикация книги была бы менее вызывающей, если бы каста привилегированных не была бы изображена в виде свиней. Полагаю, что выбор именно свиней как правящей касты, вне сомнения, заденет многих, в особенности уж очень ранимых, каковыми, несомненно, являются русские»<sup>3</sup>.

Передергивание фактов во время войны с целью выставить Сталина как доброго старого «Дядюшку Джо» были не только разрушительны для общественного мнения Запада, но и вызывали определенные трудности для власть предержащих. Фрэнку Робертсу из британского Форин Офис принадлежит ставшее широкоизвестным высказывание: «Весьма неудобный вопрос – если мы сражаемся за торжество морали и тут же обвиняем Советский Союз в военных преступлениях, совершенных в Катыни». Тут было бы уместным добавить, что он становился еще более неудобным в силу того, что выписанный пропагандой союзников в розовых тонах образ советского вождя вовсе не вязался с такими злодеяниями, как Катынь или принудительные депортации. Сэр Оуэн О’Мэлли, ответственный за Катынский отчет, прокомментированный Фрэнком Робертсом, не скрывая разочарования, писал после войны: «Между 1943-м и осенью 1945-го... потребовалось куда больше жертв, чем отдавание на закление Польши, дабы умиротворить Сталина; необходимо было закрывать глаза и на то, как он поедает и

другие страны. Одна за другой были захвачены Эстония, Латвия, Литва, часть Финляндии, четверть Польши, потом и вся Польша, Чехословакия, Югославия, Венгрия, Болгария, Румыния, Албания, четверть Австрии и треть Германии. Насколько же больно было видеть, как многие уникальные культурные сообщества, будто безмолвное стадо, загоняют в духовную и культурную газовую камеру! Какой же контраст с погожим утром Атлантической хартии и играющих на солнце волн, рассекаемых “Огастой”! Все это послужило испытанием для поляков. И для меня тоже, ибо у меня была масса друзей в перечисленных странах. Самых везучих — если они оказывались женщинами — всего лишь насиловали, ну, а тем, кому повезло меньше, через резиновые трубки заливали воду в легкие или же отпиливали пилой пальцы»<sup>4</sup>.

Разумеется, было чрезвычайно затруднительно соотнести благородного Сталина из «Миссии в Москву» с катынскими преступлениями или описанными О’Мэлли пытками. И все же существовал некий средний с политической точки зрения путь, который было можно избрать во время войны — пусть даже с риском подгорчить патоку просоветской пропаганды — путь признания ценности Советского Союза как боеспособного союзника, но который вновь подтвердил бы политику, о которой говорил в январе 1942-го Черчилль и заключавшейся в том, что западные союзники придерживаются «тех принципов свободы и демократии, которые сформулированы в Атлантической хартии, и что упомянутые принципы необходимо применять особенно активно там, где встает вопрос передачи территории под управление другого государства».

Однако в конечном итоге на деле от такого плана действий было бы мало проку. Вполне возможно, это

ничуть не помешало бы Сталину контролировать большую часть Восточной Европы. Но вот западные союзники все-таки оставались бы верны провозглашенным ими же принципам о том, что они ведут войну ради защиты погрязших нацистами ценностных норм. И стоит повторить, что в этом случае политические лидеры Великобритании и Америки вели бы себя куда последовательнее и честнее, и речь не идет о каких-то радикальных или чересчур наивных шагах — всего лишь о следовании тем политическим установкам, которые Рузвельт и Черчилль сами выработали в 1942 году.

Естественно, подобный подход был бы чреват риском. Но допущение о том, что Сталин вследствие твердости, проявленной лидерами западных держав, предпримет серьезную попытку выхода из войны после победоносного 1943 года и снизойдет до замирения с Гитлером, представляется в высшей степени малореалистичным. Гитлеровское вторжение в Советский Союз похоронило даже остатки доверия Сталина к Гитлеру, впрочем, и последний — как он однажды заявил Риббентропу — ни при каких условиях не стал бы носиться с идеей заключения мира со Сталиным.

Все, о чем говорилось выше, оставляет без ответа непростой вопрос: в какой степени Вторая мировая война была войной, защищавшей «моральные ценности»? То, что нацизм был и оставался в сути своей явлением в высшей степени аморальным — одной из самых аморальных идеологий, когда-либо существовавших, — сомнений не вызывал ни у кого; в этой связи война, которую вели западные демократические государства, имела целью устранение антигуманной идеологии, тем самым автоматически переходя в разряд справедливых. В точности так же, как была справед-

лива Атлантическая хартия с ее приверженностью свободным выборам и верховенству закона. Проблема возникала с заключением союза с СССР. Советский режим совершил огромное количество ужасающих преступлений, значительная часть которых приходится именно на годы союзнических отношений с западными державами. Самым неаппетитным пятном на репутации западных союзников стали действия Советского Союза в отношении Польши. Позицию западных союзников, занятую в вопросе о Польше, отличало малодушие и непорядочность: от сознательного прикрывания Катынской трагедии до секретного соглашения в Тегеране, в соответствии с которым границы Польши сместились на запад без согласия поляков; от встречи в Москве, когда Черчилль обвинял членов польского правительства в изгнании в том, что, дескать, они «неблагодарные люди, стремящиеся разрушить Европу», и до запрета на участие польских частей в лондонском Параде Победы 1946 года. Это — грустный перечень, о котором, разумеется, я и слыхом не слыхал, учась в школе, где мне твердили, что, дескать, мы должны «положительно оценивать» действия западных союзников во время Второй мировой войны.

Подытоживая сказанное, я считаю, что не следует рассматривать военное столкновение 1939—1945 годов в Европе исключительно как войну за защиту «моральных ценностей». Куда логичнее было бы рассматривать Вторую мировую войну как возможность устранения нацизма, под пятой которого оказалась Европа, как избавление Китая и Юго-Восточной Азии от ига японцев. Западные державы стремились выиграть войну с минимальными для себя издержками; именно ради успешного достижения этой цели они — если мы перефразируем Черчилля — и заключили союз с Дьяволом.



Самый распространенный миф о Второй мировой войне, своего рода упрощенно-голливудское переложение мировой истории, заключается в следующем: дескать, люди хорошие ради того, чтобы одолеть Зло, заключили союз с людьми нехорошими. Нет ничего утешительнее, нежели воспринимать прошлое именно так, и весьма печально, что мы вынуждены мириться с этим.

## ПРИМЕЧАНИЯ

### ВСТУПЛЕНИЕ

1. Советский Союз (Союз Советских Социалистических Республик) – наиболее точный термин для обозначения страны во время Второй мировой войны. Однако часто использовался (и используется до сих пор) также термин «Россия», хотя имелся в виду именно СССР. Сталина нередко именуют «правителем России», и Черчилль, и Рузвельт, да и нацисты широко пользовались этим термином. Это не совсем точно, потому что во время войны СССР состоял из 16 республик, из которых лишь одна – РСФСР – являлась собственно Россией. Да и сам Сталин был по национальности не русским, а грузином. Поэтому использование терминов «российский» и «Россия» косвенно преуменьшает огромный вклад, внесенный в разгром гитлеризма представителями всех других 16 республик.
2. David Dilks (ed.), *The Diaries of Sir Alexander Cadogan OM 1938–1945*, Cassell, 1971, pp. 708–9, entry for 11 February 1945.
3. Alex Danchev and Daniel Todman (ed.), Field Marshal Lord Alanbrooke, *War Diaries 1939–1945*, Phoenix, 2002, p. 483, entry for 28 November 1943.
4. Alanbrooke, *War Diaries*, p. 608, entry for 15 October, 1944.
5. Alanbrooke, *War Diaries*, pp. 299–300, entry for 13 August 1942.
6. John Lewis Gaddis, 'Presidential Address: The Tragedy of the Cold War', p. 4, quoted in Amos Perlmutter, *FDR and Stalin 'A Not So Grand Alliance'*, University of Missouri Press, 1993, p. 17.

7. Цит. по: Ben Pimlott (ed.), *The Second World War Diaries of Hugh Dalton 1940–1945*, Jonathan Cape, 1986, entry for 13 January, 1942, p. 348.
8. PRO FO 371/34577, O'Malley's report on Katyn, 24 May 1943.

### Глава 1. СОЮЗНИКИ НА СЛОВАХ

1. See General Ernst Kostring, *Erinnerungen aus meinem Leben 1876–1939*, Verlag E. S. Mittler und Sohn, Frankfurt am Main, Vol. 1, p. 142.
2. Lord Alanbrooke, BBC TV interview.
3. Хотя Сталин утверждал, что родился 21 декабря 1879 года, новое исследование доказало, что датой его рождения является 6 декабря 1878 года. См.: *Stalin*, Pan Macmillan, 2004, p. 14.
4. Gustav Hilger, *The Incompatible Allies*, New York, 1953, p. 301.
5. Laurence Rees, *Nazis: A Warning from History*, BBC Books, 1997, p. 93.
6. From интервью BBC with Reinhard Spitzy.
7. Rees, *Nazis: A Warning from History*, p. 93.
8. Talbott, Strobe (ed.), *Khrushchev Remembers*, Deutsch, 1971, p. 307.
9. интервью BBC.
10. Павлов В.Н. Автобиографические заметки // Новая и новейшая история, 2000. С. 98–99.
11. Из интервью, данного BBC Гербертом Дёрингом, офицером СС и служащим Бергхофа.
12. Max Domarus, *Hitler: Speeches and Proclamations*, Vol. 2, 1935–8, I. B. Tauris, 1992, Nuremberg Party rally, 13 September 1937.
13. J. Noakes and G. Pridham, *Nazism: A Documentary Reader 1919–1945*, University of Exeter Press, 2001, Vol. 2, p. 278.
14. Geoffrey Roberts, *The Unholy Alliance – Stalin's Pact with Hitler*, I. B. Tauris, 1989, p. 149.

15. G. Roberts, *The Unholy Alliance*, p. 152.
16. Из записок Густава Хильгера 27–29 сентября о советско-германских переговорах в Москве. Этот факт приведен в статье: Fleischhauer I. Molotov und Ribbentrop in Moskau // *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, 3/1991.
17. «Известия», Цит. по: Roberts, *The Unholy Alliance*, p. 109.
18. И.В. Сталин. Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 года. На англ. яз. Опубл.: J. V. Stalin, *Problems of Leninism*, Foreign Languages Press, Peking, 1976, pp. 874–942.
19. Цит. по: Roberts, *The Unholy Alliance*, pp. 140–1.
20. Andrew Roberts, *The Holy Fox: The Life of Lord Halifax*, Phoenix Press, 1997, p. 166.
21. Андор Хенке, ундер-секретарь Министерства иностранных дел Германии, показания под присягой 12–15 октября в Висбадене; цит. по: Institut für Zeitgeschichte München PL (GPA) [1–12–50].
22. Интервью BBC for Rees, *Nazis: A Warning from History*.
23. Протокол допроса Хенке и его меморандум о беседе от 23 августа 1939 г.: Politisches Archiv, Berlin, ADAP DVII DOK213.
24. Hilger, *The Incompatible Allies*, p. 304.
25. Допрос Хенке: DOK 213.
26. Допрос Хенке: DOK 213.
27. Johnnie von Herwarth, *Memoirs*, Collins, 1981, p. 167.
28. Heinrich Hoffmann, *Hitler Was My Friend*, Burke, 1955, p. 110.
29. Hoffmann, *Hitler Was My Friend*, p. 112.
30. Feliks Chuev, *Molotov Remembers* [7–9–71], Ivan Dee Inc., 1993.
31. Hencke, ADAP DVIII DOK 213.
32. Laurence Rees, *The Nazis: A Warning from History*, BBC DVD, episode 3.
33. Интервью BBC.
34. Интервью BBC.
35. Roberts, *The Holy Fox*, p. 157.

36. Roberts, *The Unholy Alliance*, p. 159.
37. Речь Молотова на сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1939 г.
38. Dmitri Volkogonov, *Stalin: Triumph and Tragedy*, Weidenfeld and Nicolson, 1991, p. 361.
39. Германский посол в Москве в Министерство иностранных дел Германии. Телеграмма. Москва, 10 сентября 1939 – 21 час. 40 мин.: Jan Gross, *Revolution from Abroad*, Princeton University Press, 1988, p. 11.
40. Интервью BBC.
41. Интервью BBC.
42. Этот город в течение XX века неоднократно менял название: с Лемберга (Lemberg), которым он был в составе Австро-венгерской империи и под нацистами, на Львов (Lwów) в составе Польши, Львов – в СССР, наконец, Львов (Lviv) – в составе Украины. Это пример того, как менялись границы в Центральной Европе в эти годы.
43. Интервью BBC.
44. Интервью BBC.
45. Цит. по: Gross, *Revolution from Abroad*, p. 44.
46. Köstring, *Erinnerungen aus meinem Leben*, pp. 144–6.
47. Erich Kordt, *Wahn und Wirklichkeit*, Stuttgart, 1948, pp. 220–8.
48. Записки Хильгера в: *Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte*, 3/1991. See Fleischhauer, *Dokumentation. Der deutsch-sowjetische Grenz und Freundschaftsvertrag vom 28 September, 1939. Die deutschen Aufzeichnungen über die Verhandlungen zwischen Stalin, Molotov and Ribbentrop in Moskau*, pp. 457–64.
49. Ibid.
50. Допрос Хенке и Карла Шнурпе в: *Aus einem bewegten Leben, Heiteres und Ernstes*, Bad Godesberg, 1986, pp. 90–5.
51. Допрос Хенке, p. 25.
52. Ibid.
53. Hilger, *The Incompatible Allies*, New York, 1951, p. 314.
54. Hilger *Vierteljahreshefte*, p. 466.

55. Simon Sebag Montefiore, *Stalin and the Court of the Red Tsar*, Weidenfeld and Nicolson, p. 321.
56. Андор Хенке в письме от 28 января 1941 года фотографу Гельмуту Ло: Politisches Archiv, Berlin, ADAP DVIII-161, Appendix 1.
57. Hilger, *The Incompatible Allies*, p. 314.
58. Constantine Pleshakov, *Stalin's Folly*, Weidenfeld and Nicolson, 2005, pp. 43–4.
59. Wladyslaw Anders, *An Army in Exile*, Macmillan, 1981, pp. 14–15.
60. William L. Langer and S. Everett Gleason, *The Challenge to Isolation, 1937–1940*, New York, 1952, pp. 160–1.
61. *Hansard*, 20 September 1939, Prime Minister's statement.
62. Seeds despatch, 18 September 1939, FO 371/23101.
63. *Ibid.*
64. Seeds despatch, 30 September 1939, FO 371/23103.
65. Kirkpatrick report, 1 October 1939, FO 371/23097 F207–8.
66. Perth to Cadogan, 5 October 1939, FO 371/23104 F38, 65, 68–9.
67. Cadogan to Perth, 3 November 1939, FO 371/23104 F38, 65, 68–9.
68. Written answer by R. A. Butler MP, 19 October 1939.
69. Интервью BBC.
70. Gross, *Revolution from Abroad*, p. 89.
71. Anders, *An Army in Exile*, p. 16.
72. Письменные показания Хенке американским следователям 15.12.1945 в Висбадене.
73. Wolfgang Praeg and Werner Jacobmeyer, *Das Diensttagebuch des Deutschen Generalgouverneurs in Polen 1939–1945*, Stuttgart, 1975.
74. Дневник советской делегации германо-советской комиссии по вопросам границы // Архив Российской Федерации, Москва, с. 27 (запись от 27.10.1939).
75. For the latest figures see Stanislaw Ciesielski, Wojciech Materski and Andrzej Packowski, *Represje Sowieckie wobec Polakow I Obywateli Polskich*, Warsaw: KARTA 2000, p. 12.

76. 6 October 1939, CAB 65–2, 39–7.
77. Snow to FO, 21 October 1939, CAB 84–8.
78. Chiefs of Staff report, 27 October 1939, CAB 104.
79. Интервью BBC.
80. Alan Bullock, *Hitler and Stalin: Parallel Lives*, HarperCollins, 1991, p. 731.
81. 18 December 1939, CAB 65–2, 118–3.
- 81a. Осадники (*osadnicy*) – вышедшие в отставку солдаты и офицеры польской армии, члены их семей и гражданские переселенцы (всего ок. 77 тыс. чел.), получившие после 1920 года земельные наделы (всего ок. 600 тыс. га) на территориях Западной Украины и Западной Белоруссии. В 1939 году ок. 90 % осадников были депортированы. – *Прим. пер.*
82. Архив Президента Российской Федерации, РФ.Ф. 3, Оп. 30, Д. 199, Л. 3–5.
83. Архив Президента Российской Федерации, ГРААСПИ Ф. 17, Оп. 162, Д. 26, Л. 119.
84. Интервью BBC.
85. Российская прокуратура в начале 1990-х годов назвала расстрелы поляков уголовным преступлением, что автоматически делает Сталина уголовным преступником в соответствии с российским законодательством. Впрочем, этот факт не получил широкого распространения и озвучен не был.
86. George Sanford, *Katyn and the Soviet Massacre of 1940*, BASEES / Routledge series on Russian and East European Studies, 2005, p. 297.
87. См.: Wojciech Materski. *Zbrodnia Katynska po 60 latach*, Warsaw: NKHBZK, 2000. P. 27.
88. См. кн. Natalia Lebedeva, Wojciech Materski (p. 30 in Sanford, *Katyn*).
89. BBC располагает видеозаписью этого допроса.
90. Интервью BBC.
91. Интервью BBC с Анатолием Яблоковым.
92. См.: Amtliches Material zum Massenmord von Katyn; Berlin: F. Eher Nachf, pp. 114–35.

93. Цит. по: Gross, *Revolution from Abroad*, p. 211.
94. Интервью BBC.
- 94а. Харцеры – добровольная массовая организация детей и молодежи в Польше с программой, близкой бойскаутам. – *Прим. пер.*
95. Цит. по: *Katyn 1940–2000: Documents*, Vyes Mir, Moscow, 2001, Document No. 93, p. 674.
96. Sanford, *Katyn*, p. 27.
97. *New York Times*, 15 April 1940, L4, p. 5.
98. Kennard to Halifax, 18 May 1940, C5744/116/55.
99. Kennard to Strang, 30 April 1940, FO 371/24472.
100. Strang to Kennard, 14 May 1940, FO 371/24472.
101. Интервью BBC.
102. Записки Густава Хильгера (published by Dr Ingeborg Fleishhauer), p. 464.
103. Bundesarchiv Freiburg, RM 11–35, Kriegsmarine M. Att. Russland von 05 Oktober 1939 bis 20 April 1940, Band 1, p. 7, Scan 09.
- 103а. Териберка – поселок городского типа в Мурманской области, расположен на берегу Баренцева моря, в устье р. Териберка, в 127 км к северо-востоку от Мурманска. – *Прим. пер.*
104. Bundesarchiv Freiburg, RM 11–35, Kriegsmarine M. Att. Russland von 05 Oktober 1939 bis 20 April 1940, Band 1, p. 103, Scan 118.
105. Bundesarchiv Freiburg, RM 11–39, Oberkommando der Kriegsmarine, M. Att. Russland-BN (Basis Nord) vom 29 August 1940 bis 11 Marz 1941, p. 37, Scan 42, out of the Action report of VM Murmansk, Moscow, 10 October 1940.
106. Письмо военно-морского атташе фон Баумбаха командованию Кригсмарине; Москва, 8 ноября 1939 г.: Bundesarchiv Freiburg, RM11–35, Kriegsmarine M. Att. Russland vom 05 Oktober 1939 bis 20 April 1940, Band 1, p. 43, Scan 53.
107. Отчет врача о состоянии здоровья на борту «Финикии» с февраля по сентябрь 1940 г.: p. 1, Scan 03. Отчет являл-



- ся и частью личного дневника Кампфа: Bundesarchiv Freiburg, RM12II-161.
108. Ibid., Scan 04.
109. Bundesarchiv Freiburg, RM12II-161, 4 May, p. 7, Scan 13.
110. Bundesarchiv Freiburg, RM12II-161, 4 May, p. 9, Scan 15.
111. Clive Ponting, *Winston Churchill*, Sinclair Stevenson, 1994, p. 442.
112. Полный текст дискуссии по этому вопросу см.: PRO Cab 65/13 and PRO Cab 66/7; John Lukacs, *Five Days in London*, Yale University Press, 2001; Ian Kershaw, *Fateful Choices*, Penguin, 2007, pp. 11–54.
113. *Dalton Diaries*, pp.26–8, and 77k; *Churchill War Papers*, Vol. 2, pp. 182–84, Sinclair Stevenson, 1997.
114. Winston S. Churchill, *The Second World War*, Penguin Classics, 2005, Vol.2, p. 88.
115. Churchill, *The Second World War*, Vol. 2, pp. 23 and 51.
116. Edward Crankshaw, *Khrushchev Remembers*, Deutsch, 1974, pp. 156–7.
117. Интервью BBC.
118. Kershaw, *Fateful Choices*, p. 69.
119. Tobias R Philbin III, *The Lure of Neptune*, University of South Carolina Press, 1994, pp. 137–12.
120. Интервью BBC.
121. Военный дневник «Комет»: Bundesarchiv, RM100–49, pp. 55–6.
122. Robert Eyssen, HSK Kometa, Kapernfahrt auf alien Meeren, 2nd edition, Koehlers Verlagsges, 2002, pp. 42–3.
123. Письмо германского военно-морского атташе Баумбаха Верховному командованию ВМФ в Берлине, 30 сентября 1940 г.: Bundesarchiv Freiburg, KM 11–39, p. 33.
124. Albert Speer, *Inside the Third Reich*, Phoenix, 1996, p. 172.
125. Pavlov, 'Autobiographical Notes', pp. 104–5.
126. Hilger's notes, Nazi-Soviet relations 1939–1941, University Press of the Pacific, 2003, p. 253.
127. Ibid., p. 254.
128. Pavlov, 'Autobiographical Notes'.

129. Заявление под присягой на заседании Специального комитета Сената по делу о Катынских расстрелах: US government publications, 1952, part 4, p. 555.
- 129а. Ленд-лиз — система передачи США вооружения, боеприпасов, продовольствия и других материалов и услуг займы или в аренду иностранным государствам, чья оборона признавалась жизненно важной для национальной безопасности США. Закон о ленд-лизе был принят 11 марта 1941 года. 1 октября 1941 года был подписан протокол о поставках помощи СССР по ленд-лизу на общую сумму в 1 млрд. долларов. Всего в период Второй мировой войны США передали СССР по ленд-лизу 14 795 боевых самолетов, 7056 танков, 8218 зенитных орудий, 131 600 пулеметов, различное вооружение и боеприпасы, 400 тыс. автомобилей, а также тракторы, мотоциклы, морские суда, локомотивы, стратегическое сырье, продовольствие и другие товары. — *Прим. пер.*
130. Черчилль — Рузвельту 31 July 1940, C20x, in Warren F. Kimball, (ed.), *Churchill and Roosevelt, the Complete Correspondence: Vol. 1, Alliance Emerging*, Collins, 1984, pp. 56–7.
131. See Robert Dallek, *Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy 1932–1945*, Oxford University Press, 1981, p. 51.
132. *Ibid.*, p. 59.
133. 17 декабря 1940 г. Пресс-конференция президента США; документы находятся: Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, New York.
134. Dallek, *Franklin D. Roosevelt*, p. 218.
135. Речь Ф.Д. Рузвельта 10 февраля 1940 г. перед Американским молодежным Конгрессом в Вашингтоне, округ Колумбия.
136. Gabriel Gorodetsky, *Grand Delusion, Stalin and the German Invasion of Russia*, Yale University Press, 1999, p. 56, Intelligence report of 29 September 1940.
137. Интервью BBC.

138. Доклад Кребса 4-му обер-квартирмейстеру Генштаба в Берлин от 15 апреля 1941: Bundesarchiv/Militararchiv Vol. 1 (July 1937 to June 1941).
139. Evan Mawdsley, 'Crossing the Rubicon – Soviet plans for Offensive War in 1940–1941', *International History Review*, 25 (2003), p. 853. Also Kershaw, *Fateful Choices*, p. 280.
140. Chris Bellamy, *Absolute War: Soviet Russia in the Second World War*, Macmillan, 2007, p. 97.
141. Gorodetsky, *Grand Delusion*, p. 174.
142. Архив Президента Российской Федерации. Ф 3, Оп. 50, Д 415, Л. 1, 50–52.
143. Winston Churchill, *The Second World War: The Grand Alliance*, Houghton Mifflin Books, 1986, p. 316.
144. Цит. по: Gorodetsky, *Grand Delusion*, p.244.
145. Mawdsley, 'Crossing the Rubicon – Soviet Plans for Offensive War', p. 864. 146. Hilger, *Incompatible Allies*, p. 312–13.
146. Hilger, *Incompatible Allies*, p. 312–13.

## Глава 2: РЕШАЮЩИЕ МОМЕНТЫ

1. Интервью BBC.
2. Интервью BBC.
4. Bellamy, *Absolute War*, p. 187.
5. O. Romaniv and I. Fedushchak, *Western Ukrainian Tragedy 1941*, Shevchenko Society, Ukrainian Free University Foundation in USA, Library of Ukrainian Studies, N18, Lviv – New York, p. 155.
6. Интервью BBC.
7. Serge Krushchev (ed.), *Memoirs of Nikita Krushchev: Commissar, Vol. 1*, Perm State University Press, 2005.
- 7а. Auftragstaktik (нем.) – метод управления войсками путем постановки (общих) задач. – *Прим. пер.*
8. Микоян А.И. Так было. «Вагриус», М. 2000. С. 390–392.
9. Там же, p. 390.
10. Там же.

12. Dimitri Volkogonov, *Stalin: Triumph and Tragedy*, Weidenfeld and Nicolson, 1991, p. 413.
13. Churchill BBC Radio Broadcast, 22 June 1941 (BBK/C/87).
14. John Colville, *The Fringes of Power. Downing Street Diaries 1939–1955*, Weidenfeld and Nicolson, p. 350.
15. Bullock, *Hitler and Stalin, Parallel Lives*, p. 768.
16. Joan Beaumont, *Comrades in Arms: British Aid to Russia, 1941–1945*, Davis-Poynter, 1980, p. 26.
17. Цит. по: *New York Times*, 24 June, 1941, p. 7.
18. Ross Munro, *Gauntlet to Overlord: The Story of the Canadian Army*, Mulberry Books Toronto, 1946, p. 284.
19. Ibid.
20. Ibid., p. 286.
21. Major Blake's report, 28/8/41 FO/371/29492.
22. Записка от 11 сентября 1941: FO 371/29490.
23. Записка Уорнера от 17 сентября 1941: FO 371/29490.
24. Text of 7.15 bulletin, 9 September 1941, BBC Empire News, FO 371/29490.
25. Telegram from Cripps to Foreign Office, 9 September 1941, FO 371/29490.
26. Churchill, *The Grand Alliance*, p. 406.
27. Dallek, *Franklin D. Roosevelt*, p. 278.
- 27а. По сути – военный министр: должностное лицо, возглавлявшее Военное министерство США (War Department). Пост был упразднен в июле 1947 года после создания министерства обороны (Department of Defense, U.S.). – *Прим. пер.*
28. Herbert Feis, *Churchill-Roosevelt-Stalin: The War They Waged and the Peace They Sought*, Princeton University Press, 1957, p. 10.
29. David M. Kennedy, *Freedom from Fear*, Oxford University Press, 1999, p. 406.
30. James MacGregor Burns, *Roosevelt: The Soldier of Freedom*, Harvest Books, 2002, p. 114.
31. Dilks (ed.), *Cadogan Diaries*, p.423, entry for 6 August, 1941.

32. Harold Ickes, *The Secret Diary of Harold L. Ickes*, Da Capo, 1974, 12 May 1940.
- 32а. Никербокер (Knickerbocker) — семья первых голландских поселенцев, прибывших в Америку в 1674 году и основавших Новый Амстердам, который позднее стал называться Нью-Йорком. — *Прим. пер.*
- 32б. Отец Уинстона — Рэндолф Спенсер-Черчилль был третьим сыном 7-го герцога Мальборо и носил титул учтивости «лорд» (т.е. пэром Англии он не был). — *Прим. ред.*
33. *Daily Mail*, 24 April, 1935.
- 33а. Болезнь Гийена — Барре — острый первичный идиопатический полирадикулоневрит. — *Прим. пер.*
34. Bullock, *Parallel Lives*, p. 811.
35. Интервью BBC.
36. Интервью BBC.
37. Интервью BBC.
38. Интервью BBC.
39. Интервью BBC.
40. Куманев Г. Рядом со Сталиным: Откровенные свидетельства. М., 1999. С. 272–273.
41. Интервью BBC.
42. Интервью BBC.
43. *Hitler's Table Talk*, Entry for 17 October 1941, Phoenix Press, 2000, p. 68.
44. Интервью BBC.
45. Dallek, *Franklin D. Roosevelt*, p. 285.
46. Интервью BBC.
47. *The Crime of Katyn, Facts and Documents*, Polish Cultural Foundation, London, 1989, p. 87.
48. Интервью с сэром Фрэнком Робертсом: *The Cold War*, a BBC/Turner Broadcasting co-production.
49. Телеграмма Идена от 17 декабря 1941 Черчиллю и в Фоллин Офис: FO 371/29655.
50. Dilks (ed.), *Cadogan Diaries*, p. 422, entry for 17 December 1941.
51. Anthony Eden (Rt Hon the Earl of Avon, KG, PC, MC), *The Eden Memoirs: The Reckoning*, Cassell, 1965, p. 302.

52. Sir Frank Roberts, *Dealing with Dictators*, Weidenfeld and Nicolson, 1991, p. 59.
53. *Eden Memoirs*, p. 302.
54. Телеграмма Идена Черчиллю от 5 января 1942: PREM 3/399/7.
55. Запись Черчилля к телеграмме Идена, 7 января 1942: FO 371/32864.
56. Интервью BBC.
57. Интервью BBC.
58. Цит. по: William Taubman, *Khrushchev: The Man and His Era*, Free Press, 2003, p.167.
59. Ibid., p. 168.
60. Laurence Rees, *Horror in the East*, BBC Books, 2001, p. 72.
61. Черчилль – Рузвельту, 7 марта 1942: FO 954/25.
62. Roy Douglas, *From War to Cold War, 1942–1948*, London, 1981, p. 7.
63. Интервью BBC.
64. John M Carroll, George C Herring, *Modern American Diplomacy*, Rowan and Littlefield, 1995, p. 83.
65. Warren F. Kimball (ed.), *Churchill and Roosevelt: The Complete Correspondence*, Vol. I, Princeton University Press, 1984, p. 421; Рузвельт – Черчиллю, 18 марта 1942.
66. Eleanor Roosevelt, *This I Remember*, Greenwood Press, 1975, p. 199.
67. *Ржешевский О.А.* Война и дипломатия. Изд-во «Наука», М., 1997. С. 170.
68. Hopkins memorandum, 29 May 1942, in Hopkins papers, in FDR Presidential Library, Hyde Park, New York.
69. Alanbrooke, *War Diaries*, p. 269, entry for 21 June 1942.
70. См.: Professor S. H. Cross (the American interpreter), notes from 11 a.m. conference on Saturday, 30 May 1942, Molotov Visit, Book 5, in FDR Library, Hyde Park, New York.
71. *Ржешевский О.А.* Война и дипломатия. Изд-во «Наука», М., 1997. С. 176.
72. Hopkins memorandum, 3 June 1942, in FDR Library, Hyde Park, New York.

73. Bellamy, *Absolute War*, p. 421.
74. *Ibid.*, p. 424.
75. См. Приложение к протоколам совещаний Комитета начальников штаба от 16 мая 1942 г.: PRO CAB 79/21.
76. Обращение премьер-министра к генералу Исмею, 17 мая 1942: PRO D 100/2.
77. Протокол заседания Военного кабинета, 18 мая 1942: CAB 65/26.
78. Интервью BBC.
79. Интервью BBC.
80. Интервью BBC.
81. Интервью BBC.
82. Интервью BBC.
83. Интервью BBC.
84. Цит. по: Burns, *Roosevelt: The Soldier of Freedom*, p. 182.
85. REF AND 237/168 PRO.
86. Интервью BBC.

### Глава 3: КРИЗИС ДОВЕРИЯ

1. Интервью BBC.
2. *Байбаков Н.* От Сталина до Ельцина, GazOil-пресс, М., 1998, с. 64–65.
3. Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1958.
4. Кларк Керр – Форин Офис, 25 июля 1942: FO 371/32911.
5. Lord Moran, *Winston Churchill, the Struggle for Survival 1940–1965*, Heron Books, 1966, entry for 1 August 1942.
6. Winston S. Churchill, *The Second World War: The Hinge of Fate*, London, 2005, p. 428.
7. Лорд Анабрук, замечания к Интервью BBC.
8. CAB 66/28/3, p. 19 PRO.
9. CAB 120/65, PRO.
10. Churchill, *The Hinge of Fate*, p. 440.

11. Martin Kitchen, *British Policy Towards the Soviet Union During the Second World War*, Macmillan, 1986, p. 136.
12. См.: Charles Richardson, *From Churchill's Secret Circle to the BBC*, Brassey's, 1991, p. 139.
13. Alanbrooke, *War Diaries*, p. 301.
14. Ibid.
15. Arthur Bryant, *The Turn of the Tide*, London, 1957, pp. 461–4.
16. Lord Moran diary, entry for 14 August 1942, pp. 60–1.
17. Ibid., entry for August 15, p. 62.
18. FO 800/300 PRO.
19. Pavlov, 'Autobiographical Notes', pp. 98–9.
20. Эти данные взяты из: Churchill, *The Hinge of Fate*, pp. 446–7, Vladimir Nikolaevich Pavlov, 'Autobiographical Notes', pp. 98–9; A. H. Birse, *Memoirs of an Interpreter*, London, 1967, p. 102.
21. FO 800/300 PRO.
22. Кэдоган – Идену, FO 800/404.
23. Churchill, *Hinge of Fate*, p. 448.
24. Alanbrooke, *War Diaries*, entry for 13 August, 1942, pp. 299–300.
25. Интервью BBC.
26. Интервью BBC.
27. Интервью BBC.
- 27а. Jiggy – англ., груб., сленг. – to have sexual relations with – вступать в половую связь. – *Прим. пер.*
- 27б. «Мэйси» – крупнейший не только в Нью-Йорке, но и во всем мире универсальный магазин, занимающий целый квартал между 34-й и 35-й улицами, Седьмой авеню и Бродвеем. – *Прим. пер.*
28. Интервью BBC.
29. Приказ Народного комиссара обороны от 7 ноября 1942 г.
30. Information Bulletin, Embassy of the USSR, 10 November 1942.
31. Интервью BBC.



32. Burns, *Roosevelt: The Soldier of Freedom*, p. 310.
33. Интервью BBC.
34. Интервью BBC.
35. Интервью BBC.
36. Burns, p. 315.
37. Ibid.
38. Интервью BBC.
39. PRO CAB 66/36.
40. Ibid.
41. John H. Lauck, *Katyn Killings: In the Record*, Kingston Press, 1988, p. 55.
42. Черчилль – Идену, 28 апреля 1943: FO 371/34571 PRO.
43. Kimball (ed.), *Churchill and Roosevelt: The Complete Correspondence*, Vol. I, pp. 400^02.
44. О'Мэлли был назначен послом при польском правительстве в феврале 1943 г.
45. Sir Owen O'Malley, *The Phantom Caravan*, John Murray, 1954, p. 234.
46. FO 371/34577.
47. FO 371/34577.
48. PRO PREM 3/353, p. 101.
49. See Kimball, *Churchill and Roosevelt*, Vol. III, C-4 12/2, Churchill to FDR, 13 August, 1943, p. 389.
50. Charles Bohlen, *Witness to History*, Norton, 1973.
51. William H. Standley, *Admiral Ambassador to Russia*, Chicago, 1955, p. 368.
52. Ibid., p. 369.
53. Joseph E. Davics papers, Manuscript Division, Library of Congress, Washington DC, entry for 20 May 1943.
54. FRUS, Conferences at Cairo and Tehran 1943, Washington 1961, pp. 3–4.
55. Reynolds, *In Command of History*, Penguin Books, 2005, p. 381.
56. Памятная записка, 21 июля 1942: CAB 66/26, WP (42) 311 (TNA).
57. Черчилль – Этли, 29 июля 1942: PREM 3/499/9 (TNA).

58. Susan Butler (ed.), Arthur Schlesinger (fwd), *My Dear Mr Stalin, the Complete Correspondence of Franklin D. Roosevelt and Joseph V. Stalin*, Yale University Press, 2005, pp. 136–8.
59. W. Averell Harriman and Elie Abel, *Special Envoy to Churchill and Stalin, 1941–1946*, Random House, 1975, pp. 216–7.
60. Черчилль – Рузвельту, 25 июня 1943: no. 328, Kimball, *Complete Correspondence*, Vol. II.
61. Рузвельт – Черчиллю, 28 June 1943: no. 297, Kimball, *Complete Correspondence*, Vol. II.
62. Harold Nicolson, *Diaries and Letters, 1939–1945*, Collins, 1967, p. 277.
63. See OSS report no. A-5094, 11 May 1943, and OSS report no. A-9469, 9 August 1943; also George Wiseman to Christopher Warner, British Foreign Office, 11 August, 23 1943, N 4898/66/38, FO 371/36956. Цит. по: Vojtech Mastny, *Russia's Road to the Cold War*, New York, 1979.
64. Mastny, *Russia's Road to the Cold War*, pp. 73–85.
65. Интервью BBC.
66. Цит. по: Dallek, *Franklin D. Roosevelt*, p. 543.
67. Оригинал дневника находился в обществе «Мемориал» в Москве.
68. Интервью BBC.
69. Интервью BBC.
70. Интервью BBC.
71. Данные из: Bellamy, *Absolute War*, p. 583.
72. Интервью: *BBC Timewatch*, 1993, Dai Richards (producer), Laurence Rees (executive producer).

#### Глава 4: ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

1. Речь президента Дж. Буша в Риге. Латвия, 7 мая 2005.
2. Keith Sainsbury, *The Turning Point*, Oxford University Press, 1986, p. 11.
3. Dallek, *Franklin D. Roosevelt*, p.423 (полный текст Каирской конференции: FRUS, *The Conferences at Cairo and Tehran*, 1943, pp. 291–455).

4. Ibid., p. 426.
5. Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. Политздат, М., 1983. Т. 1. Док. 301.
6. Moran, *Winston Churchill, the Struggle for Survival*, entry for 28 November 1943.
7. Ibid.
8. Интервью BBC.
9. См.: FRUS, *The Conferences at Cairo and Tehran*, 1943, Bohlen minutes, pp. 482–6.
10. Цит. по: William Roger Louis, *Imperialism at Bay*, Oxford University Press, 1986, p. 181.
11. John Morton Blum (ed.), *Morgenthau Diaries 1941–1945*, Houghton Mifflin, 1967, entry for 15 September 1944.
12. PRO CAB 99/25.
13. Moran, *Winston Churchill, the Struggle for Survival*, entry for 28 November 1943.
14. PRO PREM 3/136/8 pp. 2–3 (also recorded in FRUS Bohlen minutes, p. 512).
15. Черчилль – Идену, 16 января 1944: PRO PREM 3/399/6.
16. Замечание приведено: Sumner Welles, quoted in Gaddis, *The United States and the Origins of the Cold War*, Columbia University Press, 1972, p.41. Полный текст беседы см.: Churchill, Roosevelt and the Stalin Enigma 1941–1945 // Reynolds, *From World War to Cold War*, Oxford University Press, 2007.
17. FRUS Cairo and Tehran, 30 November 1943, p. 584.
18. For a detailed discussion of these issues see Martin H. Folly, *Churchill, Whitehall and the Soviet Union 1940–1945*, Macmillan Press, 2000.
19. Tehran Conference: minutes of Meetings of Military Experts held at the Soviet Embassy Tehran on Monday 29 November at 10.30 a.m., CAB 99/25, p. 128 PRO.
20. FRUS, pp. 482–6.
21. Второе пленарное заседание, см.: FRUS The Conference at Cairo and Tehran, p.533–540.

22. FRUS minutes, pp. 552–5.
23. Churchill, *The Second World War*, Vol. 5, pp. 329–30.
24. Elliot Roosevelt, *As He Saw It*, Greenwood Press, 1974, pp. 186–91.
25. Moran, *Winston Churchill, the Struggle for Survival*, entry for 28 November 1943.
26. Alanbrooke, *War Diaries*, p. 485, entry for 29 November 1943.
27. Цит. по: Ralph Levering, *American Opinion and the Russian Alliance 1939–1945*, University of North Carolina Press, 1976, p. 74.
28. Alanbrooke, *War Diaries*, pp. 486–7, entry for 30 November 1943.
29. As told to Frances Perkins, subsequently recorded in *The Roosevelt I Knew*, Harper and Row, 1965, pp. 83–5.
- 29a. John Bull – Джон Бульль – насмешливое прозвище типичного англичанина; так звали простоватого фермера из памфлета английского публициста Джона Арбетнота «История Джона Булля». – *Прим. пер.*
30. Roosevelt, *As He Saw It*, pp. 174–6.
31. FRUS Conferences at Tehran, pp. 594–6.
32. Katyn Massacre testimony to Senate, p. 2109.
33. *Ibid*, p. 2102.
34. PRO PREM 3/136/9, pp. 12–13.
35. Clayton Koppes and Gregory Black, *Hollywood Goes to War: How Politics, Profits and Propaganda Shaped WWII Movies*, Free Press, 1987, p. 191.
36. Dallek, *Franklin D. Roosevelt*, p. 439.
37. Samuel I. Rosenman (ed.), *The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt*, Harper, 1938–1950, 13 Vols, 1943, pp. 553–62.
38. А. Яболов писал о Кисереве в статье: Катынское преступление: Барометр состояния права в человеческом измерении // Между прошлым и будущим. М., 1999. С. 272–74.
39. Бурденко – Молотову. 2 сентября 1943 г. и комментарии Молотова к письму. ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 114. Д. 8. Л. 18–24.

40. Moscow embassy to Foreign Office, 25 January 1944, PRO PREM 3/353.
41. Moscow embassy to Foreign Office, 23 January 1944, PRO PREM 3/353.
42. Цит. по: Katyn Massacre testimony to Senate, testimony of John Melby, p. 2150.
43. Ibid, p. 2147.
44. Report of 25 January 1944, PRO PREM 3/353.
45. Черчилль – Идену, 30 января 1944: PRO PREM 3/353.
46. Отчет О’Мэлли. 11 февраля 1944: PRO FO371/39390 C2099.
47. Katyn Massacre testimony to Senate, p. 2111.
48. Интервью BBC.
49. See Earle’s testimony at the Katyn Massacre hearings, p. 2197.
50. Ibid, p. 2204–7.
51. Рузвельт – Эрлу, 24 марта 1945. Факсимиле: *Confidential* magazine, August 1958 (Vol. 6, no. 3), as part of article by George Earle, ‘FDR’s tragic mistake’.
52. Письмо Берии Сталину от 10 мая 1944 г.: Сталинские высылки 1928–1953 гг., Международный фонд Демократической России. XX век. М., 2005. С. 496
53. J. Otto Pohl, ‘The Deportation and Fate of the Crimean Tatars’, paper presented at the 5th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities (‘Identity and the State: Nationalism and Sovereignty in a Changing World’), Columbia University, 13–15 April 2000.
54. BBC Interview.
55. Интервью BBC.
56. Интервью BBC.
57. Pohl, ‘The Deportation and Fate of the Crimean Tatars’.
58. Ibid.
59. Интервью BBC.
60. Интервью BBC.
61. M. Blumenson, *Salerno to Cassino*, US Government Printing Office, 1969, p. 286.

62. Цит. по: Matthew Parker, *Monte Cassino*, Headline, 2003, р. xvii.
63. Ibid, см. иллюстрации.
64. Цит. по: Martin Gilbert, *The Road to Victory*, Heinemann, 1989, р. 667.
65. Интервью BBC.
66. Цит. по: Parker, *Monte Cassino*, р. 182.
67. Fred Majdalany, *Cassino: Portrait of a Battle*, Longmans, 1957, р. 91.
68. Цит. по: ibid, р. 215.
69. Anders, *An Army in Exile*, р. 163.
70. Интервью BBC.
71. Интервью BBC.
72. Anders, *An Army in Exile*, р. 176.
73. Интервью BBC, эпизод 1 для фильма *D-Day to Berlin*, Andrew Williams (producer), Laurence Rees (executive producer), transmission on BBC1, 20 April 2005.
74. Ibid.
75. Интервью BBC.
76. Earl Ziemke, *Stalingrad to Berlin: The German Defeat in the East*, US Army Historical Series, Office of the Chief of Military History, Washington DC 1987, р. 316.
77. Интервью BBC.
78. Интервью BBC.
79. Brian Glyn Williams, *A Homeland Lost. Migration, the Diaspora Experience and the Forging of Crimean Tatar National Identity*, PhD dissertation, University of Wisconsin, 1999, р. 56.
80. Интервью BBC.
81. Aleksandr Nekrich, *The Punished Peoples: The Deportation and Fate of the Soviet Minorities at the End of the Second World War*, Norton, 1979, pp. 113–14.
82. Интервью BBC.
83. Keith Sword, *Deportation and Exile: Poles in the Soviet Union 1939–1948*, Macmillan Press, 1994, р. 149.
84. Anders, *An Army in Exile*, р. 191.

## Глава 5: РАЗДЕЛ ЕВРОПЫ

1. Norman Davies, *Rising '44*, Pan Books, 2004, p. 226.
2. Цит. по: *Ibid.*, p. 164–5.
3. Цит. по: Jan Ciechanowski, *The Warsaw Rising of 1944*, Cambridge, 1974, p. 285.
4. Интервью BBC.
5. Цит. по: *Documents on Polish-Soviet Relations 1939–1945, Vol. 2, 1943–1945*, General Sikorski Historical Institute, p. 309, doc. 179.
6. Цит. по: *ibid.*, p. 309–22, doc. 180.
7. *Stalin's Correspondence with Churchill, Attlee, Roosevelt and Truman, 1941–1945*, E. P. Dutton, 1958. doc. 311.
8. Интервью BBC.
9. Neil Orpen, *Airlift to Warsaw. The Rising of 1944*, University of Oklahoma, 1984.
10. Цит. по: *Documents on Polish-Soviet Relations 1939–1945*, p. 334, doc. 189.
11. Davies, *Rising*, p. 321.
12. Winston S. Churchill, *The Second World War*, Vol. 4, p. 118.
13. R-606 in Kimball, *The Complete Correspondence*, Vol. 3, p. 296.
14. Интервью BBC.
15. Цит. по: Davies, *Rising '44*, p. 249.
16. *Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals*, US Government Printing Office, Washington, 1949–53, Vol. XIII, p. 323, and P. Padfield, *Himmler, Reichsfuehrer-SS*, Henry Holt and Co., New York, 1990, p. 469.
17. Интервью BBC.
18. Перевод польского протокола встречи Андерса с Черчиллем 26 августа 1944-го, веденного лейтенантом Любомирским и на данный момент находящегося в Польском институте и музее Сикорского, Лондон: КОА.4b.
19. Черчилль – Иден, 7 января 1942: FO 371, 32864.
20. Интервью BBC.
21. Davies, *Rising '44*, p. 302.

22. Ibid., p. 348.
23. Интервью BBC.
24. Генерал Куртис ЛеМей, см.: MacKiniay Kantor, *Mission with LeMay: My Story*, Doubleday, 1965, p. 565.
25. Henry Morgenthau Jr, 'Our Policy Toward Germany', *New York Post*, 28 November 1947, p. 18.
26. See Foreign Relations of the United States (FRUS): Quebec 1944, pp. 325–6.
27. Moran, *Winston Churchill, the Struggle for Survival*, entry for 13 September 1944.
28. FRUS, Quebec, p. 361.
29. The view expressed by John Dietrich in his *The Morgenthau Plan: Soviet Influence on American Postwar Policy*, New York, 2002, p. 54–6.
- 29a. Черная страна — сильно загрязненный, каменноугольный и железообрабатывающий район Стаффордшира и Йоркшира в Англии. — *Прим. ред.*
30. *Eden Memoirs*, p. 476.
31. FRUS, p. 362, Morgenthau's recollections.
32. Morgenthau Diary, vol. 783, p. 35–9, Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, New York.
33. John Morton Blum (ed.), *Morgenthau Diaries 1941–1945*, Houghton Mifflin, 1967, p. 342.
34. *Documents on Polish-Soviet Relations 1939–1945*, p.339, doc. 191.
35. Цит. по: Moran, *Winston Churchill, the Struggle for Survival*, entry for 13 September 1944, and in FRUS, p. 325.
36. David Rees, *Harry Dexter White: A Study in Paradox*, 1974, University of Michigan, p. 270.
37. See Venona document at [www.nsa.gov/venona/document](http://www.nsa.gov/venona/document), 18 October 1944.
38. Цит. по: broadcast form in *D-Day to Berlin*, episode 3 at 8 minutes, Andrew Williams (producer), Laurence Rees (executive producer), transmission BBC1, 4 April, 2005.
39. Цит. по: Dallek, *Franklin D. Roosevelt*, p. 477.
40. Ibid.



41. Frederick Gareau, 'Morgenthau's Plan for Industrial Disarmament in Germany', *Western Political Quarterly*, Vol. 14, no. 2, June 1961, pp. 520.
42. PRO PREM 3/434/2, pp. 4–5.
43. Meeting 21 May 1944, FO 371, 39402.
44. Приказ Сталина от 31 октября 1944 по 6-й воздушной армии, см.: История советско-польских отношений. М., 1944. С. 43.
45. PRO PREM 3/66/7 and Clark Kerr's record of the meeting PRO FO 800/30.
46. PRO PREM 3/434/2, pp. 10–14.
47. FRUS, The Conferences at Cairo and Tehran, 1943, p. 256 and p. 531.
48. PM to War Cabinet, 17 October 1944, CHAR 20/181 (CAC).
49. Geoffrey Roberts, *Stalin's Wars*, Yale, 2006, p. 220.
50. Русский протокол встречи с лондонскими поляками, 13 октября 1944, опубликованный в: *Ржевский О.* Сталин и Черчилль. М., 2004. С. 444–448. Перевод польской копии: Documents on Polish-Soviet Relations Volume III, London, pp. 405–415, Sikorski Institute.
51. Обсуждение линии Керзона М. Миколайчиком и г-ном Черчиллем в присутствии членов польской делегации: GSHI A.11.49/Sow/4-b. (Translation from Polish) Documents on Polish-Soviet Relations 1939–1945, Vol. II 1939–1945, Sikorski Institute.
52. Ibid.
53. Цит. по: Yohanan Cohen, *Small Nations in Times of Crisis and Confrontation*, State University of New York Press, 1989.
54. Цит. по: Anders, *An Army in Exile*, p. 239.
55. Цит. по: Dallek, p. 503.
56. Kitchen, *British Policy towards the Soviet Union*, p. 237.
57. CAB 65–48, 157, 27 November 1944.
58. Цит. по: Mary Soames, *Clementine Churchill*, Houghton Mifflin, 1979, p. 361.
59. Цит. по: Krisztian Ungvary, *Battle for Budapest*, I. B. Tauris, 2006, p. 4.

60. Интервью BBC.
61. Интервью BBC.
62. Quote in Ungvary, p. 286.
63. Интервью BBC.
64. Интервью BBC.
65. BFL XXV 4a 002645/1953 Budapest Capital Archive and Ungvary, p. 287.
66. Интервью BBC.
67. Milovan Djilas, *Conversations with Stalin*, Penguin, 1962, p. 76.
68. Цит. по: Richard Overy, *Russia's War*, Allen Lane, 1998, p. 261.
69. Amy Night, *Beria, Stalin's First Lieutenant*, Princeton University Press, 1993, p. 97.
70. Interview in BBC *Reputations* on Lavrenti Beria, first transmitted BBC2 1994, Helen Bettison (producer), Laurence Rees (executive producer).
71. Crankshaw, *Khrushchev Remembers*, p. 338.
72. Цит. по: Gregor Dallas, *Poisoned Peace 1945 – the War that Never Ended*, John Murray, 2005, p. 327.
73. Charles de Gaulle, *The Complete War Memoirs*, Richard Howard (translator), Carroll and Grad, 1998, p. 750.
74. Jean Laloy (unofficial Russian-French interpreter), *A Moscou: Entre Staline et De Gaulle, Decembre 1944*, *Revue des Etudes Slaves*, Paris, 1982, p. 147.
75. de Gaulle, *The Complete War Memoirs*, p. 756–7.
76. Robin Edmonds, *Big Three*, Penguin, 1992, p. 409.
77. Moran, *Winston Churchill, the Struggle for Survival*, entry for 4 February 1945.
78. *Cadogan Diaries*, entry for 8 February 1945, p. 706.
79. Цит. по: Martin Gilbert, *Road to Victory: Winston S. Churchill 1941–1945*, Houghton Mifflin, 1984, p. 664.
80. Stalin's speech quoted in *On the Great Patriotic War of the Soviet Union*, Moscow, 1944.
81. FRUS, Conferences at Malta and Yalta. Yalta discussions are from pp. 547–996.

82. FRUS, p. 726.
83. Moran, *Winston Churchill, the Struggle for Survival*, diary entry for 3 February 1945.
84. Ibid., entry for 10 February 1945.
85. Burns, *Roosevelt: The Soldier of Freedom*, p. 573.
86. Цит. по: *ibid.*, p. 572.
87. Встреча с Рузвельтом, 22 декабря 1944, FO 371/44595.
88. Moran, *Winston Churchill, the Struggle for Survival*, entry for 9 February 1945.
89. Admiral Leahy, Yalta diary, p.33, entry for 11 February 1945, in William Leahy, / *Was There*, Whittlesey House, 1950.
90. *Cadogan Diaries* entry 11 February 1945, pp. 708–9..
91. См. анализ в: David Reynolds, *Summits*, Penguin: Allen Lane, 2007, p. 131.

#### Глава 6: ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС

1. British War Cabinet minutes, 19 February 1945, WM (43) 22.1 CA.
2. Pimlott (ed.), *Dalton Diaries*, entry for 23 February, 1945, p. 836.
3. House of Commons debates, 5th series, Vol. 408, 27 February 1945.
4. Fraser Harbutt, *Churchill, America and the Origins of the Cold War*, Oxford University Press US, 1986, p. 92.
5. Mcjimsey (ed.), *Documentary History of the Franklin Roosevelt Presidency: Vol 14 Yalta*, University Publications of America 2001–3, doc.144.
6. Цит. по: Harbutt, *Churchill, America*, p. 93 .
7. Ibid.
8. Vostochnaya Evropa v Dokumentakh Rossiiskikh Arkhivov, 1944–1953, doc. 151. Цит. по: Geoffrey Roberts, *Stalin's Wars*, Yale University Press, 2006, pp. 247–8. See pp.228–253 of *Stalin's Wars* for a detailed discussion of these issues.
9. Anders, *An Army in Exile*, p. 256.

10. Alanbrooke diary entry for 22 February, 1945, p. 665.
11. FO 954/23, 18/1/45.
12. FO 954/23, 19/1/45.
13. Figures quoted in Dallas, *Poisoned Peace*, p. 422.
14. Bohlen, *Witness to History*, p. 217.
15. Цит. по: Robert E. Sherwood, *Roosevelt and Hopkins, an Intimate History*, Enigma Books, 2008, p. 832.
16. Balfour to Warner, 30 May 1945, F0371/47862/N6417. Цит. по: Martin FoUy, • *Churchill, Whitehall and the Soviet Union 1940–45*, Hutchinson, 2000, p. 144.
17. Martin Folly, *Churchill, Whitehall and the Soviet Union 1940–1945*, Hutchinson, 2000, p. 146.
18. Warren F. Kimball (ed.), *Churchill and Roosevelt, the Complete Correspondence*, Vol. 3, *The Alliance Declining*, Princeton University Press, 1984, Kimball C-905, 8 March 1945, p. 547–9.
19. Черчилль – Рузвельту, 13 марта 1945, Kimball C-910, p. 565.
20. *Cadogan Diaries*, 13 February 1945.
21. Рузвельт – Черчиллю, 15 March 1945, Kimball R-718, p. 568.
22. Черчилль – Рузвельту, 17 March 1945, Kimball C-914, p. 574.
23. Черчилль – Рузвельту, 30 March 1945, Kimball C-927, p. 597.
24. Рузвельт – Черчиллю, 31 March 1945, Kimball R-731, p. 601.
25. Susan Butler (ed.), *My Dear Mr Stalin: the Complete Correspondence*, Yale University Press, 2005, Roosevelt to Stalin 301, 5 April 1945, p. 315.
26. Ibid., Stalin 303, 7 April 1945, p. 318.
27. Ibid., Roosevelt's note of 11 April 1945 to Churchill, p. 321.
28. Stalin, quoted by Zhukov in John Erickson, *Road to Stalingrad*, Weidenfeld & Nicolson, 1985, p. 721.
29. John Lamberton Harper, *American Visions of Europe*, Cambridge University Press, p. 128.

30. Интервью BBC.
31. Интервью BBC.
32. Интервью BBC.
33. Letter from a soldier named Bezuglov to his collective farm.  
Цит. по: Catherine Merridale, *Ivan's War*, Faber and Faber, 2005, p. 260.
34. Цит. по: Dallas, *Poisoned Peace*, p. 7.
35. Анонимous, *A Woman in Berlin*, Virago, 2005, p. 17.
36. Интервью BBC.
37. Случайно обнаруженное частное письмо. Bundesarchiv, RH2–2688, 13; также цит. по: Merridale, *Ivan's War*, p. 267.
38. Milan Hauner, *Hitler – A Chronology of His Life and Time*, Macmillan Press, 1983, entry for 30 April, 1945.
39. Цит. по: *New York Times*, 24 June, 1941.
40. Sherwood, *Roosevelt and Hopkins, an Intimate History*, p. 851.
41. Ibid., p. 855.
42. Черчилль – Рузвельту, 11 April 1945, Kimball, Vol. 3, C-941, p. 624.
43. Anthony Eden (Lord Avon), *The Reckoning* p.504, entry for 4 January 1945, p. 514.
44. Anders, *An Army in Exile*, p. 275.
45. Report by joint planning staff, 22 May 1945, CAB 120/691 109040.
46. Alanbrooke, *War Diaries*, p.693, 24 May 1945.
47. Churchill to Truman, 10 May 1945, FRUS, 1945, *Foreign Relations of the United States The Conference of Berlin, 1945*, Washington, 1960, Vol. 1, pp. 8–9.
48. Churchill to Truman 31 May 1945, FRUS, 1945, *The Conference of Berlin*, Vol. 1, p .53.
49. Robert S. Mackay: «This Mr. President is the Story of the Little White House.» *The Truman House in Potsdam 1892–2002/ «Sie werden verstehen, es bewegt nicht sehr.» Ein Haus und seine ergreifende Geschichte von 1892 bis zur Gegenwart*, Friedrich Naumann Stiftung, Potsdam, 2002, pp. 24–5.
50. Факсимиле с оригинала: [www.trumaniibrary.org](http://www.trumaniibrary.org).

51. *Cadogan Diaries*, 17 July 1945, p. 764.
52. FRUS *The Conference of Berlin, 1945*, Vol. 2, pp. 378–9.
53. Norman M. Naimark, *The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945–49*, Belknap, 1995, pp. 205–30.
54. FRUS, *The Conference of Berlin, 1945*, Vol. 2, pp. 359–62.
55. *Pravda*, 25 November 1936.
56. Интервью BBC.
57. FRUS, pp. 566–9.
58. Цит. по: Sebag Montefiore, *Stalin and the Court of the Red Tsar*, p. 508.
59. Цит. по: Dallas, *Poisoned Peace*, p. 567.
60. Gar Alperovitz, *The Decision to Use the Nuclear Bomb*, Vintage Books, 1996.
61. См., например: Robert H. Ferrell (ed.), *Harry S. Truman and the Bomb: a Documentary History*, Worland, 1996; David Holloway, *Stalin and the Bomb*, Yale University Press, 1996.
62. Alanbrooke, *War Diaries*, entry for 23 July 1945, p. 709.
63. Holloway, *Stalin and the Bomb*, pp. 42–87.
64. Andrei Gromyko, *Memoirs*, New York, Doubleday, 1989, pp. 391–2.
65. Интервью BBC.
66. Интервью BBC.
67. Интервью BBC.
68. Robert Service, *'Comrades': World History of Communism*, Pan Macmillan, 2007, pp. 239–50.
69. И.С. Яборовская, А.И. Яблоков, В.С. Парсаданова. Катынский синдром в советско-польских отношениях. М., РОСПЭН, 2001. С. 185–192.
70. Там же, а также: Stupinkova's memoirs, *Nothing but the Truth -from Nuremberg to Moscow*, Moscow, 1998.
71. Testimony from Nuremberg trials day 168, 1 July, 1946. Morning session/Vol.XVII Nuremberg IMT.
72. Интервью BBC.
73. Testimony from Nuremberg trials, day 168, Monday, 1 July 1946. Afternoon session.

74. Anders, *An Army in Exile*, p. 288.
75. Интервью BBC.
76. Интервью BBC.
77. *Георгий Жуков*. Стенограмма Октябрьского (1957 г.) пленума ЦК КПСС и другие документы. / Под ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. В. Наумов и др. – М.: Международный фонд «Демократия», 2001.
78. Там же, с. 681.
80. Y. Gorlizki, Khlevniuk, *Cold Peace. Stalin and the Soviet Ruling Circle, 1945–1953*, Oxford University Press, New York, 2004, p. 198. Резолюция ЦК ВКП(б) по докладу Шкирятова и Абакумова.
81. Письмо Молотова Сталину, 20 января 1949: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1518. Л. 164.
82. Цит. по: BBC *Timewatch: Stalin and the Betrayal of Leningrad*, Martin Balazova (producer), Laurence Rees (executive producer) transmission BBC2, 9 August 2002.
83. Интервью BBC.
84. Ibid.
85. Ibid.
86. Teresa Toranska, *Stalin's Polish Puppets*, Collins Harvill, London, 1987, p. 146.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

1. См. статью: George Earle // *Confidential*, August 1958, Vol. 6, no. 3, p. 15.
2. John Grigg, *1943: The Victory That Never Was*, Methuen, 1980.
3. George Orwell, 'The Freedom of the Press' // *The Times Literary Supplement*, 15 September, 1972.
4. O'Malley, *The Phantom Caravan*, p. 232.

Научно-популярное издание

Лоуренс Рис

**СТАЛИН, ГИТЛЕР И ЗАПАД:  
ТАЙНАЯ ДИПЛОМАТИЯ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ**

Зав. редакцией *О.В. Сухарева*  
Ответственный редактор *К.А. Залесский*  
Технический редактор *Т.П. Тимошина*  
Корректор *И.Н. Мокина*  
Компьютерная верстка *Е.М. Илюшиной*

ООО «Издательство Астрель»  
129085, г. Москва, пр-д Ольминского, д. 3а

Издано при техническом содействии ООО «Издательство АСТ»

Адрес нашего сайта: [www.ast.ru](http://www.ast.ru)  
E-mail: [astpub@aha.ru](mailto:astpub@aha.ru)

Издано при участии ООО «Харвест». ЛИ № 02330/0494377 от 16.03.2009.  
Ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.  
E-mail редакции: [harvest@anitex.by](mailto:harvest@anitex.by)

Республиканское унитарное предприятие  
«Издательство «Белорусский Дом печати».  
ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009.  
Пр. Независимости, 79, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.





Как вы считаете, когда завершилась Вторая мировая война? В августе 1945 года после капитуляции Японии? Принес ли конец войны свободу стран, пострадавшим от нацистской оккупации, или она пришла к ним только после крушения коммунистических режимов? Это одни из принципиальных вопросов, на которые пытается дать ответ эта книга.

Почти всю вторую половину XX века руководители Запада без особой охоты признавали факт тесного союзничества их стран со Сталиным. Внимание фокусировалось на героизме западных союзников — на Дюнкерке, битве за Англию и Дне «Д». Но ведь не только перечисленные события составляют историю Второй мировой войны. Почему ни Черчилль, ни Рузвельт не выступили с осуждением Сталина, хотя всегда подчеркивали свое негативное к нему отношение?

В этой книге рассказывается об отношениях между союзными державами и Советским Союзом, и именно личность Сталина доминирует на ее страницах.

[www.elkniga.ru](http://www.elkniga.ru) • [www.ast.ru](http://www.ast.ru)

ISBN 978-5-271-42260-7



9 785271 422607 >